АЛЛА ДЫМОВСКАЯ

АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Третья часть авторского литературного триптиха.

«…Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий…»

«…Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилом прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малахольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени…»

Текст книги опубликован в авторской редакции.

- Алла Дымовская
  - От автора
    - К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»
    - Об обложках
  - Часть первая. Делай как мы!
    - Гарсоньерка
    - День святого понедельника
    - О «сущном» и насущном
    - La primavera
    - «Исправленному верить»

- Русский ум – пытливый
- Почем в лесу шишки?
- Славны бубны за горами
- Послание в бутылке

- Часть вторая. Делай с нами!
  - Не заводи рака за камень
  - Семь верст и все лесом
  - Граждане, коцайте ваши тикета!
  - L’Estate
  - Ехало – болело
  - И про старуху бывает порнуха
  - Во первых строках моего письма…
- Часть третья. Делай лучше нас!
  - Пацак и чатланин
  - Здесь Родос, здесь прыгай!
  - Расстрел через повешение
  - L’Inverno
  - Деревянное железо
  - Сад с горчичное зерно
  - Vale et plaude! (прощайте и хлопайте!)

Алла Дымовская
Абсолютная реальность

Хотящего судьба ведет – не хотящего тащит.

Луций Анней Сенека

– А все же, с какой целью был создан этот мир? – спросил Кандид.

– Чтобы постоянно бесить нас, – отвечал Мартен.

Вольтер «Кандид»

От автора

К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»

Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий.

Вилим Мошкин – мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова.

Медбрат Коростянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат, ради этого исполняет долг, который сам себе назначил, потому что бежать дальше уже некуда, и бегство никого не спасет, а значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже.

Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в

которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилом прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малахольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени.

Все три романа фантастические, но! Сказка ложь, да в ней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе? Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ?

Об обложках

Все три в одной цветовой гамме. Первая была красно-черно-белая, с преобладанием красного, как основного фона. Потому для двух других романов трилогии – следующая концепция: черно-красно-белая, бело-черно-красная, с преобладанием в одном случае черного, в другом белого цветов.

По рисунку. Для романа «Невероятная история Вилима Мошкина» на фоне белом черная или красная паутина, заглавие оставшимся цветом, черным или красным. Этот образ в видениях героя основной, именно через него он может трансформировать удачу в человека, которого любит, соответственно уничтожение этой паутины ведет к наказанию – герой Вилим Мошкин таким образом отбирает успех у недостойного человека. Паутина – история самой жизни героя, в которой он запутывается, думая, будто он паук, повелитель мух, но всегда сам оказывается ее пленником, и нет ему исхода.

Для романа «Абсолютная реальность» второй вариант – черный фон с белым или красным мертвым деревом, совершенно лишенным листвы, одни только голые сучья. Соответственно заглавие дается третьим оставшимся цветом, белым или красным, но в иных сочетаниях, чем в предыдущих двух книгах серии. Дерево – основной лейтмотив произведения, образ открывающейся герою абсолютной реальности существования, совершенно невообразимой для человека, настолько фантастической, что поражает, будто электрический разряд. Но и одновременно уничижает. Именно указывая место в ветвях этого дерева, разрушая трон, на который цивилизация сама себя водрузила. Герою от плодов этого дерева выпадает его мертвая, призрачная сторона, лишенная подлинной жизни, но все лучше, чем ничего. Это награда за выбор, его не уничтожает смерть, люди из абсолютной реальности даруют ему возможность жить в мире теней, и герой принимает сомнительный дар, потому что его земной долг еще не исполнен до конца.

Часть первая. Делай как мы!

Гарсоньерка

День не задался с утра. Как пошло, как пошло! Так и вышло. А началось все с прихода Коземаслова. Вот уж был человек! Потрясающий человечище – чтоб так: и фамилия к месту, если брать по частям, и от козла, и от масляного подлизы, всего понемногу. Душно от него становилось. Но вот пришел, вернее обозначить – вперся с утра пораньше в квартиру к Леонтию, и все настроение мерно поехало под откос. Сами посудите, какой нормальный и в своем уме гомо сапиенс решится утверждать, будто бы приход Ваньки Коземаслова – это удачное начало счастливого дня? Слопал все яйца из холодильника – а их и было всего-то три штуки, – Леонтий чихнуть не успел, как модная, сияющей меди, сковорода оказалась изгаженной подгорелыми яичными хлопьями и сожженным до черноты куском свиного шпика. Лиловая дымная вонь ползла по жилплощади, и уж Леонтию совсем расхотелось притворяться спящим: пришлось вылезать на свет божий из-под дутого зимнего одеяла – трескуче-скользкий сатин, натянутый на пуховую основу. Сколько раз зарекался он! На своей только памяти миллион и сто тысяч раз. Не оставлять квартирных ключей в распределительном щитке! Ну, или хотя бы время от времени запирать входную дверь на ночь. Беда, она в том, что дом его был дорогой, хотя и старый, сталинский, оттого имел привратницкую и в ней наемного сидельца-охранника, торговавшего тишиной, и достаточно бдительного, чтобы не пускать, кого попало из граждан сомнительного вида. Впрочем, солидный разбойник и сам бы к Леонтию не полез, не стоило хлопот маскироваться, это было бы все равно что, – по выражению Теккерея, который Уильям, – снимать с огородного пугала его лохмотья, лишний труд. И вовсе не оттого, что Леонтий был уж как-то чрез меру беден, вовсе нет. Мотать он умел, это да! Налево и направо, на всяческую ерунду – на то же одеяло, например. Барахольщик он был, что поделаешь? Деньги не держались у него. Не за одеяло же стараться, пускай и самому недальновидному грабителю!

– Вот. Называется «sunny side up», – многомерно изрек Коземаслов, словно бы вычертил словами пирамиду в воздухе. – Так и называется. Ей, богу!

– Что называется? – лениво потянулся Леонтий, ему было плевать, но надо же поддержать разговор, не то Ванька обидится и тогда его вообще не спровадить прочь, будет нудить до греческих календ.

– Яичница называется. По-американски, – Коземаслов поднял

указательный палец, точно афинский философ, изрекающий неписаную истину.

– По-английски, – уточнил Леонтий, и тут же прикусил язык: ну, нафига он это сказал?

Далее на ушах его повисла тягучей лапшой ненужная ни с какой стороны лекция о различии английских и американских разговорных диалектов. Леонтий выслушал терпеливо и в конце буркнул только:

– Умыться бы мне. Пойду, – и поспешно скрылся в ванной.

Это он так думал. Коземаслов тут же подался следом – ведь идеальный слушатель, как бы не уплыл из рук! забитый зубной пастой рот, минут на пять, если следовать советам стоматологов, а Леонтий им следовал. Зато узнал, что как раз сегодня растреклятый Пашка Дарвалдаев – его кровный враг и смерд ползучий, читает лекцию в МГИМО. И не просто так читает, на доброхотных, мол, началах, а за реальные и конкретные деньги.

– О фёем, о фё-ёом? – то бишь «о чем?» вопросил с набитым пастой ртом Леонтий, не то, чтобы ему стало вдруг смертельно завидно, а так разве – до зарезу обидно. И его самого могли позвать. Но не захотели.

– О разложении государственности российской. В трех вариантах, – с угодливой готовностью подлез Коземаслов, за что и схлопотал плевок белой пены на рукав – а не лезь!

– О Фёе-е-м, о-о Фё-е-ем? – тут уж у Леонтия оба глаза выскочили, не сговариваясь, на переносицу. Пашка Дарвалдаев, блудодей, и на тебе! О государственности российской, да еще в трех вариантах. Он и в одном-то… А-а! что говорить. История этого самого государства в Пашкином случае – едва-едва студиозусу натянули оценку из жалости к старушке маме на трояк. В свое время.

Остальное Леонтий уже слушал плохо, так сильно он расстроился. Деньги нужны были ему, и нужны были страстно. Любимый Ящер не чинен – вторую неделю без колес, – и вдобавок через три дня вносить алименты, Калерия голову оторвет, если не внесет. Как самка богомола ухажеру после совокупления. Гам-гам, и нет помина! С ее габаритами хоть «Челюсти – 666» в 3D снимай. Да не жалко! Дочку он любил, и любил сильно. Правда, сосуществовал с ней лишь косвенно, воскресным папашей – это не меняло дела. Но не вовремя навалилось все и сразу, как всегда. Хотя алименты те могли бы и подождать. Что они там, подохнут с голоду без его вспомоществования?! Капля в море. Ради дисциплины исключительно, лишь бы ему, Леонтию, досадить, оттого Калерия и старается, а всем прочим плевать. Вот Ящер его опять болен, истинно, где засада. Многострадальный семилетка

«поршик», купленный единственно форсу ради, не по средствам, к тому же сильно битым в аварии, и после восстановленный кое-как, хворал с удручающей регулярностью. То поносом, то запором, то сердечными припадками – ходовую перебирали знакомые гаражные умельцы уже дважды, а под капотом живого места родного не осталось. Ящер разве на физиономию был хорош – ослепительного серебристого цвета, и фары, будто глазюки у Горыныча, отсюда и пошло его прозвище. С шиком можно подъехать куда угодно, хоть в «Галерею», хоть бы и к клубу «Адмирал», это когда Ящер бывал здоров, но вот, опять занедужил. А за оконным бортом, между прочим, минус пятнадцать, и плюс – непролазная грязь. Это откуда же берется? Размышлял про себя Леонтий, витая вдали от разглагольствований незатыкаемого Коземаслова. При минус пятнадцати-то! Какой же скверной надо поливать мостовые, чтобы так нагадить вокруг! Лучше бы уж снег лежал. Нет, не лучше, – упрекнул себя Леонтий, – зимних ботинок у него сроду не водилось, не стильно это, как он мыслит себе: шлепать по сугробам в фасонных, сияющей кожи, туфлях? А Ящер все на больничном – полетела передняя подвеска, беда бедовая, и дорогостоящая весьма.

– Третий вариант самый безнадежный, (так считает Пашка, конечно – не я), но и самый вероятный из всех. Мы проигрываем войну, нас делят на множество несогласуемых частей, и труба! Родной язык скоро забыт, одна часть населения, скажем, будут китайцы, другая – американцы, а еще турки, поляки и…

– Папуасы, – нелогично и совершенно на автомате продолжил перечисление Леонтий, ничегошеньки он не слушал, разве в полуха, слово «папуасы» показалось ему эффектной вставкой.

– Какие еще папуасы!!?? – неподдельно взбеленился Коземаслов. – Я тебе толкую. Есть три варианта…

– Я понял. Понял. У Пашки Дарвалдаева очередной климактерический бред. Вот он и бредёт. Какая в пень трухлявый война? С кем? Слона с китом? Человека-паука с Алешей-поповичем? Не смеши мои жировые отложения! Америка! Китай! Я скорее в папуасов поверю. Кому оно надо? Кому оно надо до такой степени?

– Я не постигаю, – Коземаслов так внушительно произнес свое «я не постигаю», что Леонтий насторожился. Нет ничего хуже упертого пророка или его ретивого последователя, словам которых, э-э, … не верят на слово. Ну, допустим. – Я не постигаю, – еще раз отчеканил Ванька. (Леонтию остро захотелось вдруг добавить к имени приятеля через тире «дурак», хотя бы и мысленно). – Ты, стало быть, не доверяешь? Ты очень странно

себя ведешь в последнее время, не узнать. После твоей поездки в Непал – ты что, заделался буддистом?

– С чего ты взял? – тут уж Леонтий удивился натурально. Кем-кем, но буддистом его никто до сих пор не обзывал. Мудаком, козлом, пофигистом, такое случалось. Но чтоб буддистом? Он и близко в тех краях умом не лежал. И в Непал-то его занесло – телерепортаж для «кругосветки» минут на пятнадцать болтовни вместе с перебивками, Стасик Шаповалов просрочил паспорт, вот и вышла отличная халтура на подмене, еще поди поищи! Одно только… в этой клятой… как там ее… вроде областной столицы… марихуана на каждом шагу, десять баксов пакет, потому не то, что монастыри и храмы, себя самого Леонтий помнил смутно – разве как спускал в гостиничный унитаз остатки того самого пакета, не через российскую таможню же! А ведь предупреждали знающие люди: от жадности не бери много. Как не бери, когда дешево!

– Вот ведь. Статуэтка у тебя. Сидящий Будда Гаутама. Зачем? Я и спрашиваю. Зачем человеку Будда Гаутама, если сам он не склонился в его веру?

– Херь какая-то. Вон у меня цветы в горшках, и даже одна пальма. Я что, теперь друид, по-твоему? У меня еще на антресолях где-то валяется антикварный бюст Сталина. Чистейший гипс. Поставлю рядом с Гаутамой, да и не Гаутама вовсе – редкость, Будда Майтрейя, блюститель грядущего. Не разбираешься, а говоришь. И не сидящий он, а созерцающий свою внутреннюю суть. Балда.

– Не важно, мелочи-подробности. Лучше я тебе доскажу. О третьем варианте! В общем Дарвалдаев считает…

Леонтию захотелось убить Коземаслова, не менее страстно, чем в кратчайшие сроки раздобыть приемлемое количество дензнаков. От тюрьмы и непомерных расходов на адвокатов – состояние непреднамеренного аффекта, может, дадут условно, – его спас благодетельный приход соседского мальчика Аркаши. Удивительного чудо-ребенка, точнее подростка двенадцати лет.

Спасение явилось к Леонтию отнюдь не в переносном смысле. До убийства, понятно, дело бы не дошло, но до белого каления – определенно, а там и до термоядерного скандального взрыва. Что вышло бы не только вредно для здоровья, но и бесполезно в смысле удаления Коземаслова. Такая уж это была порода. Человеческая. Кто не знает, и кто не сталкивался! Кто не знает и не сталкивался, тому без вопросов повезло. Потому что Ванька Коземаслов, он был из размусольщиков. Леонтий как-то однажды выдумал это понятие, или скорее выстрадал, оно вошло в его тайный словарный обиход, исключительно мысленного

приложения, но к Ваньке прилипло тютелька в тютельку, будто бы сам Юдашкин кроил. Размусольщик – это такой человек. Такой человек… который… В общем, если случалось кому иметь дело: такой человек представляет о себе, что он семи пядей во лбу, ну – или умней интернета, на худой конец. Может, оно так и есть: кусками разрозненных энциклопедических знаний напичкан под кадык, и добирает еще – будто тришкин кафтан, на коем разномастные заплаты пошли уже вторым слоем. Размусольщик этим горд. Но просто и молча гордиться ему тяжело, или как то говорится на блатном языке – сильное западло. Вот и начинает он шастать по людям. Знакомым и не очень, которые достаточно терпеливы, дабы не швыряться в него травмоопасными предметами, или не пытаться выкинуть незваного гостя в окно, или – под зад коленом выставить за входную дверь. Заметьте, Ваньки Коземасловы всегда гости незваные, потому – какой же чудак их добровольно позовет к себе, – но очень навязчивые и как-то напрочь лишенные элементарной тактичности. Может, в энциклопедиях об этом полезном свойстве воспитанных личностей ничего и нигде не сказано?

Но главная беда – размусольщик все время говорит. Говорит, говорит и говорит. Нудно, подробно и с особенным садистическим удовольствием, если видит, что тема неприятна или болезненна для слушателя. Знакомо? Ну, еще бы! Блестящая способность, к примеру, в самый разгар финансового кризиса, талдычить днями напролет недавно безработному «топ-воротничку», что худшее по прогнозам еще впереди, равно как и голодная смерть под забором, если не сменить профориентацию, скажем, в сторону чернорабочего на урановом руднике. А уж если у размусольщика имеется обожаемый кумир или любимый конек, тут невольно пожалеешь, что ручных гранат не бывает в свободной продаже. Коземаслов кумира, слава Аллаху, Будде и Христу, не завел, – не от низости приземленной души, а сам мечтал стать таковым, хоть бы и посмертно, – но вот конек, да еще какой! Тянуло его в советчики спасителям, если и не самой государственности российской, то хотя бы народностей, населяющих оною. Оттого и Пашка Дарвалдаев был его сердцу близок, – правда, тот и сам не дурак был потрепаться на публике, все же Коземаслова терпел, для фона и оттенка, так сказать. Но Леонтий-то за что? В свое время он пробовал высказать в глаза Коземаслову правду-матку как она есть, и даже про размусольщика – толку вышло, ровно в поговорке «палач жертву не разумеет». Ванька нисколько не обиделся, для него происшедший инцидент был – предвзятая критика, он же и принялся тошно-мелочно излагать Леонтию, отчего тот неправ в

отношении его особы. Этому гаду не получалось даже одолжить крупную сумму денег, чтобы потом во веки вечные не видать должника. Самое страшное – Коземаслов родился счастливым обладателем независимого дохода, именно что родился, в наследство ему досталась роскошная дача в Завидово, от дедушки-генерала, он сдавал особняк внаем и уж точно не задумывался о хлебе насущном. Напротив, Леонтию порой приходилось занимать у Ваньки кое-какую мелочь на карманные расходы, и, к сожалению, не всегда он возвращал долг вовремя. Оттого выставлять Коземаслова пинками ему было особенно стыдливо и неудобственно. Тем более, что вот и теперь! И теперь наличные нужны были Леонтию страстно. Может, опять у Коземаслова? Само собой, тогда Ванька не отвяжется до вечера, послезавтрашнего, в лучшем случае. Не-ет, этого Леонтию было не вынести. Он и так еле терпел. Если бы не приход Аркаши! Почему визит именно соседского мальчика выглядел для Леонтия настоящим и единственным спасением? Элементарно. Размусольщика может заткнуть и удалить прочь на просторы только одно. Одно единственное. Запомните на всякий случай, авось, пригодится. Удалить размусольщика возможно лишь одним пассивно-агрессивным способом, а именно – отнять у него клиентуру. Для этого нужен подходящий третий, которому по силам станет завладеть всеобщим вниманием, и ребенок на эту роль сгодится превосходно. Ну, еще перспективно – использовать домашних животных любимцев, на грани фола – сердитую тещу, все лучше, рано или поздно она по своей воле уберется нафиг, – или на самый маловероятный конец, маститого друга-академика и нобелевского лауреата. Последнее особенно хорошо, размусольщики настоящей ученой публики сторонятся, как чумы, по вполне понятным причинам. Кому охота быть уличенным в неловком воровстве чужих идей? Своих у размусольщиков никогда не бывает, а если и бывают – то это уже зовется иначе: кабинетная профессура, ей шляться некогда, люди делом заняты. В случае Леонтия вариант тоже был отличным, на полные пять с плюсом. Аркаша не то, чтобы Коземаслова! соседское подрастающее дитя могло забить и подавить одним своим присутствием, пожалуй, что и участников программы «почемуянестивенхокинг», случись те внезапно под рукой. Вдобавок, в отличие от Коземаслова, мальчик Аркаша ничуть не тяготил Леонтия своим наличием в квартире. А по некоторым причинам интимно-личных соображений даже был и желателен. Дело в том, что мама Аркаши…, но об этом щекотливом обстоятельстве несколько позднее. Может быть, и как повезет.

Итак, пришел мальчик Аркаша. Со спасительным визитом из

квартиры, аккурат напротив. Он будто бы возник в двухкомнатной берлоге Леонтия сам собой, бесшумно, словно бы просочился через крышу – эта ненавязчивая способность соседа весьма была приятна. Полноватый, немного рыхлый Аркаша – гладкокожий, голубоглазый блондинчик с обязательно ультрамодной стрижкой текущего сезона, – передвигался, будто бы снежный барс в безвоздушном пространстве, не оставляя звуковых и прочих иных следов своей неустанной деятельности. Ни секунды не пребывая в покое, даже когда свертывался калачиком в просторном плюшевом кресле Леонтия – любимом хозяйском, которое именно занимали нагло все, кому не лень, – все равно возился, ерзал, дрыгал ногой, в общем, кипел неизрасходованной энергией крепкого, здорового телом ребенка, вынужденного, в силу чрезмерно развитых умственных способностей, нести ученый крест записного грызуна-отличника. Это было редкое сочетание «в здоровом теле здоровый дух», когда оба слагаемых не только не существовали слитно, но в сильном противоречии мешали друг другу и самому мальчику Аркаше жить хотя бы в относительном «гармоническом равновесии». Бедняжку раздирали на части плавательно-боксерские тренировки с одной стороны, с другой – астрономический кружок, репетиторы сразу по трем иностранным языкам: английскому, немецкому и китайскому. Добавьте сюда уроки компьютерного программирования, кои Аркаша и сам мог бы давать уже кому угодно, домучивая очередного приходящего преподавателя из МИФИ, который выдавил из себя все, на что был способен, и оттого советовал маме мальчика обращаться далее хотя бы и к ведущим специалистам фирмы «майкрософт», потому что, лично он иссяк!

Леонтий и Ванька Коземаслов обнаружили чудо-ребенка как раз в пресловутом плюшевом кресле – Аркаша, завалившись на спину, сучил ногами в воздухе, изображая быстро едущий велосипед: многоэтапные гонки Тур-де-Франс были его излюбленным болельщицким зрелищем в режиме «онлайн-интернет», когда хватало дозволенного мамой времени, естественно. И как всегда Аркаша начал беседу отнюдь не с вежливого «здрастье» хоть на каком языке – чего церемониться, если с Леонтием они, можно сказать, не расставались, а на Ваньку Коземаслова даже хорошо воспитанному ребенку было плевать, – оно, возможно, и правильно. Начал мальчик Аркаша с обескураживающего вопроса.

– Ленчик! – ну, что поделать, для всех он был Ленчик, хотя объяснял кратное возрасту вселенной число раз, что звать его Леонтий, а вовсе не Леонид. Но как пошло еще от младшей

группы детсада, так и закрепилось в веках для исторических летописей. Ленчик, да Ленчик. Впрочем, чудо-Аркаше было простительно. – Ленчик! – для затравки позвал его ученый младенец еще раз. Если не ответить, то будет твердить до бесконечности: мальчику непременно требовалось словесное подтверждение внимания, иначе он отказывался общаться.

– Я! – по-военному отрапортовал готовность Леонтий. – «Глаукос» слушает «спейсбоя», би-пи-пи!

И тут же получил от Аркаши можно сказать, что бронебойным в лоб:

– Ленчик, а почему все девушки любят за деньги?

Коземаслов хрюкнул за его спиной, будто слюной подавился. Оно не мудрено. Это нужно было знать Аркашу – стремительную внезапность его непредсказуемых вопросов, и не менее парадоксальных комментариев на ответы. Кажется, Ванька уразумел, что его дело на сегодня – хана! И оттого притаился безмолвным наблюдателем за спиной Леонтия. Оставалось надеяться, что скоро он смоется вон из квартиры.

– Ну-у, не все. Но многие, – попытался смягчить предложенную формулировку Леонтий.

– Это статистическая погрешность. Мы ее не будем принимать во внимание, – отклонил попытку Аркаша.

– Хорошо, не будем, – пришлось согласиться. Да и в действительности, какая разница? Самому Леонтию девушки из области погрешности пока что не попадались. Ну, или он их не замечал за невзрачностью. Не своей, разумеется. – Понимаешь, так уж сложилось исторически…, – тут Леонтий затормозил. Что было делать? Излагать подробно доморощенную теорию отношений полов? Или «запрудить» тему общими местами, вдруг Аркаше надоест. Коземаслов продолжал хмыкать где-то позади, но встревать не решался, неохота, небось, была выглядеть идиотом.

– А надолго сложилось? – чумовым абсолютно интересом перебил его раздумья нетерпеливый вундеркинд.

– Надолго, – выпалил Леонтий, но ведь, правда же? Разве нет? До конца он так и не успел понять, что брякнул.

– Клево! – завопил чудо-Аркаша, и взбрыкнул в воздухе высоко задранными ногами – будто мяч футболил через голову. – Ура! Буду жить без девчонок!

– Это почему? – удивился Леонтий. Логика детских рассуждений не всегда была ему ясна, тем более, если она намного превышала взрослое среднее разумение.

– Потому что я буду бедным! Нарочно! Как Перельман! – от восторга взахлеб, глотая фразы, просветил его Аркаша.

Житейская позиция чудесного ребенка несколько пришибла Леонтия. Он даже растерялся – впрочем, в присутствии мальчика Аркаши не впервой. Но разве привыкнешь к такому! Ему и представиться не могло в угаре, что кто-то… нарочно… минуточку-минуточку. А что, если пресловутый Перельман рассуждал где-то сродни… новая форма мышления нового же поколения, только гений-математик чуть-чуть опередил в порядке рождения юного «вундера» и иже с ним. Бедность не то, чтобы не порок, но единственная форма спасения. От чего? Да все от того же! От бабья! Живи себе счастливо и свободно! Хочешь, ходи в обносках, хочешь, пахни козлом, а главное – делай только то, что хочешь, или в высшем варианте – к чему ты сам призван. Получалось оригинально-остроумно. Надо будет подать параллель как свою, на приличный фельетон достанет, только бы Ванька не опередил! Но у того сообразительности не хватит, к тому же мотает в уме свою жвачку и зеленеет с досады, что слушать его более некому.

– Здорово! – согласился на всякий пожарный случай Леонтий. А что еще сказать? Перевел невзначай стрелки: – Как обстановка на боевых фронтах?

– А-а-а! – это Аркаша придал воображаемому велосипеду ускорения, одновременно выразив пренебрежение к собственному ответу: – Две «олимпы»: по «инглишу» и по «физе», – имелись в виду городские олимпиады по английскому и физике, в которых чудо-Аркаша должен был принять участие между прочим наравне с четырнадцати– и пятнадцатилетними. И собирался занять первое место – он всегда собирался и всегда занимал, без дураков.

– Тебе, наверное, надо готовиться? – с надеждой подал голос Коземаслов. – В мое время к общественным мероприятиям дети подходили ответственно, – обрадовался, не зная, что его ждет, но Леонтий с ехидным, сладким замиранием ждал, когда Коземаслов плюхнется удало в невидимую лужу-ловушку, – ночи напролет, бывало, сиживали накануне за учебниками.

– Зачем? – вполне серьезно вопросил его «вундер» и даже ногами дрыгать перестал от обалдения.

– Как это, зачем? – обалдел не меньше своего визави Коземаслов. – Это, по-моему, очевидно.

– По-моему, это чушь, – безапелляционно возразил мальчик Аркаша. – «Олимпы» послезавтра и в пятницу. Что же я, за два дня поумнею, что ли? Только зря париться. Вообще все это ерунда – плевое дело. Зато понтов много, и «преподы» вместе с «классручкой» заругают, если не поеду. Там же честь школы.

– Ну, да, ну, да, – зачастил обломавшийся в чаяниях

Коземаслов, совсем уже не зная, с чем и встрять.

– Я у тебя побуду до обеда, гут? – не обращая на него более внимания, попросился к Леонтию чудо-ребенок.

– Так я тогда откланяюсь?? – несколько обижено прогудел Коземаслов – Леонтий разве кивнул небрежно-согласно. – Может, вечером еще увидимся. Ты, конечно, идешь отмечать к Суесловскому, у него затевают после фуршет?

– Само собой, – Леонтий улыбнулся как можно радужней. Ага, счас! К Суесловскому! Премия Дарвина, третье место! Грязи с его подошв там не будет, не то, что личного присутствия. Хорошенького понемножку.

– Тогда до встречи! И вам, молодой человек, всего наилучшего! – Коземаслов затопал в прихожую.

Аркаша полностью проигнорировал его прощальное пожелание, мальчика тревожило иное:

– Можно? Гут или не гут? – обеспокоено повторил свою нужду «вундер».

– Гут. Сколько влезет, столько и сиди. Только у меня жрать нечего. Поэтому, тебе и впрямь лучше до обеда.

– Клево! – опять бросил ему вместо «спасибо» чудо-ребенок. – Я твой «комп» пока возьму. Отстойное барахло, но другого ведь нет ничего.

– Нету, – согласился миролюбиво Леонтий. Лэптоп его был старенький, вот-вот собирался поменять – хотелось игрушку покруче, но, то не хватало наличных средств, а в кредит себе дороже, то ожидалась новая заоблачная модель, и Леонтий ждал тоже – модели, однако, сменяли друг друга, а у него оставалось прежнее отстойное барахло, по выражению мальчика Аркаши. – Ты уходить будешь, дверь прихлопни, не забудь. А я поеду скоро. По делам.

– В субботу-у! – с некоторым презрением сморщился Аркаша. Не то, чтобы он нуждался в компании Леонтия, тут было скорее высокомерие к тягомотным «взрослым» обязанностям.

Могло показаться на первый взгляд, что мальчик Аркаша прятался в холостяцкой гарсоньерке Леонтия оттого, что бедному чудо-ребенку некуда было деться или в собственном его доме «вундеру» грозили неприятности. Вовсе нет, нисколько. А просто квартира напротив, по мнению Леонтия, представляла собой чистый и беспримесный дурдом, во всяком случае, сам он скорее бы застрелился, после утопился, после спился… ну, в общем, чем так – или там, – жить. У чудо-Аркаши, помимо его самого и весьма интересной мамы, в доме имелись! Внимание, оп! Двое сильно младших братьев – один был орущий годовалый младенец, – при них состояла ворчливая няня-калмычка.

Отдельно нервная, пожилая гувернантка – преподавательница младших классов, для среднего из трех детей, помимо – приходящая домработница, тщетно пытавшаяся за пять дней в неделю героически осилить уборку авгиевых конюшен. Плюс иногородний двоюродный кузен хозяйки, временно проживающий в квартире уже десятый год нахлебником в поисках будущего и хорошо оплачиваемой работы, а пока несущий обязанности порученца, сантехника, ремонтника-столяра и вообще где требуется мужская сила. Это, не считая отца семейства, по уши завязшего в делах бизнесмена, да не нашего, не отечественного, но амстердамского розлива, который, правда, по будням беззаветно пропадал в офисе, зато по выходным, по уверениям Аркаши, от него житья не было – бурная любовь к своим отпрыскам у голландского воротилы выражалась в том, что он ни на минуту не оставлял детишек в покое бестолковыми игровыми затеями. Частенько затеи заканчивались порчей имущества, синяками и справедливой руганью мамы детишек, перемежавшейся уверениями няни-калмычки, что «с нея узже фатит!». Не то, чтобы мальчик Аркаша был сильно против домашней обстановки, но ведь надо же отдохнуть мыслящему человеку! От нянь, от родителей, от дядюшек, от ручных хомяков в количестве расплодившихся семи штук, – детям необходимо общение с животными, – от репетиторов, от галдящих пяти домашних кинотеатров системы «филипс», а как же, все свое, родное, голландское! очень патриотично – во всех пяти комнатах, и еще плазменная панель в ванной! С ума спятить – пояснял Аркаша, и шел в гости к одинокому обалдую соседу. Здесь была тишина. Слава тебе, о, создатель кибервселенной Норберт Винер, и твоим апостолам Биллу и Стиву! Здесь можно было спокойно обсудить насущные до зарезу темы – о природе вещей, и о вещах в природе. Здесь поощрялась безалаберность и приветствовался парадокс, здесь можно было отлынивать в удовольствие от строго упорядоченного делового беспорядка его мамы. В общем, у Леонтия чудо-ребенку было клево!

– Интегралы так и не разрешили? – из недр встроенного платяного шкафа прогудел потусторонним филином попутно собиравшийся на рандеву Леонтий. Не из вежливости: эпопея с дополнительными, нештатными и не входящими в возрастную группу мальчика Аркаши интегральными исчислениями была для них печальной сказкой о спящей царевне, к которой не подпускают влюбленного богатыря.

– Не-а! Говорят, через год поступишь в «пешку», там и проедай им плешь, а здесь жуй уй!

– Аркадий, ты что? Не выражайся! – проявил воспитательную

строгость Леонтий. Еще не хватало, чтобы заманчиво-загадочная мама чудо-ребенка намылила ему холку за то, что учит нецензурным идиомам, гад такой! Хотя, если принять в расчет современный темп внешкольного образования, то неизвестно кто кому даст здесь фору.

– А что я сказал? Правду! В «пешке» тоже – возрастной ценз, да возрастной ценз, заладили! Ваш сын не потянет нагрузку по возрасту. Поубивал бы всех! – имелась в виду престижная, знаменитая на всю Москву школа для математически одаренных детей, но вот беда – принимали туда лишь после полноценного восьмого класса, в то время как бранчливый соседский «вундер» официально числился только в седьмом. – Обидно, что я принцип-то знаю. Но это на элементарном уровне. Мне бы интегралы по Лебегу!

– И опять – не выражайся! Я твоего птичьего языка все равно не понимаю, а звучит куда хуже, чем простые матюки, – Леонтий как раз застегивал прошитый цветной строчкой воротник моднючей полосатой рубашки, одновременно разглядывая себя в зеркале: в этот момент он нравился себе, рубашка была к лицу.

– Это ты так думаешь, потому что у тебя в башке мусом, – Аркаша никогда не говорил «мусор», не оттого, что не выговаривал букву «р» или уважал легендарную советскую милицию, еще как выговаривал, и много чего еще! Просто, как верный поклонник Толкиена, брал на вооружение понравившиеся ему литературные словечки иллюзорного корифея, отсюда были и пресловутый «мусом» и даже «мусомный амбар», в коем, как известно хоббиты хранили завалящие доброхотные подношения. – Плох тот ученый бес, который такому балбесу как ты не сможет втюхать на пальцах, – Аркаша растопырил набитую боксерскую пятерню, – что такое интеграл Лебега.

– И слушать не хочу. Мне бежать пора, – попытался уклониться Леонтий, но не слишком, ему, впрочем, как и всегда в отношения с Аркашей, стало вдруг интересно.

– Ленчик, ты будешь скоро умственный дегенерат, если перестанешь развивать серое вещество. Вот лучше смотри сюда: Лебег – он был молоток, он поменял область определения функции, ну в интегральных расчетах, на область ее значений…

– Все, умолкни. Я уже в трансе, – Леонтий и взаправду испугался одних этих слов.

– Погоди, я же обещал, что на пальцах. Вот, прикинь: затеял ты у себя в интерьере «реставрейшн», и захотел новые «тейблы», «честы» или «вордробы», ну и пошел в маркет. Чего тебе понравилось, покруче, то ты и купил – только не все, потому: у тебя деньги кончились. А тебе еще нужны один «бэд» и шесть

«чэев», но не на что. Это оттого вышло, как ты все строил не по результату. Потом ты расставил в своем «флэте», чего купил, и там живешь. Захочешь, сможешь по-другому переставить, из того, что у тебя есть. Теперь наоборот. Ты расставляешь не «дрова», которые уже с «сэйла», но вместо деньги. У тебя на «пластике» десять штук баксов, и ты пишешь – штука на «бэд», две на «честы» и тому подобное. Посчитал, и после только купил. На все хватило, хотя может оно и сплошное уродство – как моя мама говорит. Ты понял? Ты расставлял по «руму» не вещи, а деньги. Это и есть значения предметов, вместо их определения. Ферштейн?

– Что-то больно просто, – позволил себе усомниться Леонтий.

– Само собой, – издевательски хмыкнул над его невежеством чудо-ребенок, и вновь уткнулся носом в «комп». Леонтий на какое-то время перестал его интересовать.

С одной стороны, неплохо. Можно было дальше собираться спокойно. Тем более что наступал ответственейший момент уложения прически на воск и на гель. Проклятые жесткие и слегка вьющиеся волосы никак не желали лежать ровно и гладко без насильственного принуждения. Пес их раздери! С другой стороны. Аркаша задел его больное место. А именно проблему квартирного интерьера.

Потому, что Леонтий был отчасти и мучимый порочной завистью щеголь. Знал это о себе, как о дурной болезни, подцепленной в портовом притоне мимоходом с пьяных глаз. Если бы еще он счастливо завидовал чужим способностям или чужой удаче, как Ванька Коземаслов, для примера. Если бы! Был бы он тогда стремительным карьеристом или, по крайней мере, безжалостно грозным следователем прокуратуры. Всего-то и надо, что поедом есть себя изнутри, растравляя завидку при виде талантов ближнего. Но вот же была засада – у Леонтия и у самого имелся талантец, может, не развитый, как положено по науке, и небрежно присыпанный, если не землей, то антресольной или чуланной пылью, но ведь имелся же! Завидовать удаче он вовсе считал занятием для дебилов – напротив, по щенячьи радовался, когда кому-то везло, не обязательно даже знакомому с ним человеку, а просто так, услышал и узнал. Почему? Ха! Это ведь служило сигнальным символом откуда-то сверху – удача на белом свете реально существует, и кто знает, в следующий раз тебя самого не обойдет стороной. Значит, возможно, чтобы свезло, значит, прецеденты есть, значит, жить хорошо! Чего же завидовать, радоваться надо.

Но, господь и святые угодники, идолы языческие и шаманские бубны, что начинало твориться с Леонтием, когда

взору его представал. Или представал перед его взором… Неважно. Короче, когда в общественном месте – расфуфыренном под барокко ресторане или шальном полуподпольном кабаке, – Леонтий видел особь мужского пола, прифрантившуюся много лучше его самого – последняя коллекция, шик и блеск, – он тут же падал духом об пол. И ничто на этой грешной земле не могло его поднять, в смысле духа, конечно, а не самого Леонтия Гусицына, акулу пера и лэптопа: он же, согласно благозвучному литературно-журнально-телевизионно-репортажному
псевдониму, коим подписывал статьи и титры, – Л. Годо (с ударением на последнем слоге). Любой шикарно одетый мужик, ну то есть, намного более шикарно, чем Леонтий, напрочь выводил беднягу из состояния приятной самодостаточности. Словно бы хирургическим скальпелем начинали резать сердце, словно бы заставляли напиться уксуса, словно бы у него случался приступ острой диареи и приходилось замирать на месте, мучительно боясь чихнуть. Может, шикующий стиляга был вовсе не практикующим олигархом, а карточным шулером или альфонсом на выданье, без гроша в кармане и проигравшимся во всех отношениях в прах. Но вот же у того сияли на чуть вывернутых наружу ступнях ботинки из крокодиловой кожи нежно зеленеющего оттенка, по тысяче евро за каждый, а у Леонтия только стандартный джентльменский набор – «хендерсон» или уцененные «гуччи», – кто знает, что они уцененные, кто видел, куплены-то с распродажи в Милане за копейки, но от-то знает, так что все равно. И Леонтий чувствовал себя всякий раз, словно нюхнувший дерьма, приставшего к собственным своим подошвам. Эх, мне бы! Эх, кабы! Он нарочно повышал звенящий досадой голос, словно бы задирал окружающих, словно бы крича – это навонял не я, не я! Никому не было до него дела, никто, за редчайшим исключением, не обнюхивал чужие ботинки или брюки, многие из его приятелей и вовсе не читали этикетки брендов – их зачастую одевали жены, и счастье, если не во что попало. Но Леонтия, знаменитого – ну, не знаменитого, пускай, начинающего приобретать известность, – журналиста-очеркиста Л. Годо-«меткоеперо», зависть забирала, да еще как! Оттого он изводился сам, и налево-направо изводил деньги, только бы не отстать. От чего? От моды, естественно, от чего же еще? Отсюда и безнадежный инвалид, многострадальный Ящер, зачем, на какой фиг, какого… (ух, забористо!) купленный за кровные, едва-едва отчужденные от самого насущно-необходимого, денежки? Чтобы раз в месяц покрасоваться у парадного чужого подъезда. И тут же схватить очередную завидку, потому что на новый-то «порш» не хватает, а уж на

«мазерати», что говорить! Да и Ящер-то, не по собственному изобретению купленный – собезьянничал, честно признайся, голубчик родный! Насмотрелся – четыре сезона подряд, пиратски скачанный, (заметьте, без перевода, вот где класс!), сериал «Блудливая Калифорния», овсяная кашка для интеллектуалов-диетиков: где та Калифорния, и где Москва. Вообразил себя… это называлось просто – со свиным рылом в калашный ряд, так-то, а деньги потрачены, и бестолково. По уму, надо было брать в рядовом салоне скучную, нахохлившуюся «тойоту-камри», с выплатами в рассрочку, с гарантией и включенной в стоимость страховкой, как сделал бы всякий нормальный человек, и как советовали наиболее благоразумные из приятелей. Или еще лучше, «форд-фокус», иначе «форд с фокусником», как у Петьки Мученика (последнее было прозвище – он же Гийом Абстрактный), театрального фотографа и дружка Леонтия, проживавшего в такой же гарсоньерке, но съемной, не собственной, двумя этажами ниже. Только как же! Как же, ну, скажем, заманчивая мама мальчика Аркаши, когда при встрече у подъезда Леонтий садится или выходит из своего «поршА», так не в грязь фасадом! У прекрасной соседки у-у-у! транспортное средство не хуже, но много лучше, и все время разное, один крутой джип сменяет другой с назойливой регулярностью. Как же перед ней, из какого-то убогого «фокуса», который по карману. К любовным утехам бабы Яги такой позор и такой стыд! Леонтий и такси нарочно подзывал на заказ к далекому крылу родного дома, называя ложный адрес, чтобы не срамиться. По правде говоря, интересовавшей его соседке было от сердца равнодушно, что у него и как, по многим причинам, но Леонтий нипочем не мог счесть хоть одну уважительной.

И вот теперь его квартира. Предмет честной гордости и нарочного хвастовства. Очаровательное неряшество, будто бы в самом Леонтии и в его окружении боролись два святых духа – мужской и женский, и каждый одерживал победы через раз, а после словно бы заикался и спотыкался, пока соперник не упускал свой шанс, и так инь-ян-инь-ян-инь-ян-… не надоело? Но так оно и было. Украшенные шитьем и пышными кистями шелковые чехлы на декоративных подушках, и тут же с кругами, прожженными сковородкой – журнальный лаковый столик-псевдоантиквариат. Щербатый, от рождения не циклеванный паркет – и на нем умопомрачительной ширины кожаный диван с резными деревянными столбиками-боковушами. Модный «персидский» ковер распластан у стены с давно потрескавшейся декоративной штукатуркой – как раз у самой глубокой трещины чугунное бра с разбитым плафоном, вместо оного кое-как

прилажен бумажный китайский фонарь, сиротский приют бы постеснялся подобного рукотворного приспособления. Та же ритмичная обстановка на кухне и в крошечной спальной комнате, заповедное место, в которое, как ни странно Леонтию не хотелось допускать ни одну женщину – он и не допускал. Это была его кровать, его собственная, и посторонних здесь не надобно, для «траха» есть диван и даже плюшевое кресло – пусть его, – а дальше лучше уж он потратиться на обратную доставку, но в свою кровать, шалишь. Если, конечно, это не будет соседская интересная мама чудо-Аркаши, или «на крайняк», Дженнифер Лопес, или, с натяжкой, Анна Нетребко. Понятно дело, никто из трех вышеперечисленных дам пока в кровать к Леонтию не забредал, и даже в планах не имел. А ремонт нужен был, хотя бы косметический, и мебель, и техника, бытовая и телевизионно-изобразительная, и комплекс «умный дом», и ванна из золота – уже шутил над собой размечтавшийся и опомнившийся Леонтий. Где средства взять? Источник Иппокрены – это вам не техасская нефтяная скважина, и то – здесь скорее был доход в духе ильф-петровского Герасима, прибыльно шествовавшего кудрявым лесом, чем идейно чистый заработок неподкупного литератора – тогда бы Леонтий точно подох с голоду, какие там «гуччи» с распродажи. Нечего и воображать.

А гарсоньерку свою он любил, как и себя в ней. Так точно любит рак-отшельник захребетную раковину, так точно любит дворовый пес щелястую конуру – единственную положенную ему защиту от непогоды. Недаром ведь сказано – дом человека есть его третий кожный покров. Хотя до конца, положа руку на сердце, или на какое иное значимое место, Леонтий не смог сразу признать и осознать, что квартира эта его. Только его и ничья больше. Доставшаяся ему путем сложных внутрисемейных, скандальных обменов и воинственных дележей, от маминой покойной сестры, тети Кати, а ее дочери – взамен современная «трешка», бизнес класс, но в Сокольниках, – гарсоньерка была подарком языческих небес и перстом капризного фатума. Уже после развода, гол как сокол, вернулся он, опять же гордым соколом, в отчий дом, и вот, спустя какой-то год получил в собственность, после смерти сначала бабушки, а потом одной из трех дочерей-сестер (не по-чеховски еще с утробы грызшихся меж собой), ее, родимую! Отдельную квартиру. И какую! Вблизи Академического метро, престижный район, и дом сталинский, профессорский, с самого первого заселения – учено-привилегированный. Правда, светлой памяти свекор тети Кати профессором не был, и не собирался никогда, зато служил начальником отдела кадров в институте… э-э-э, никто толком не

знал, в каком, что-то там говорилось о теплотехнике, но вы догадываетесь. А уж на кадрах в те годы сидели серьезные люди, квартирами их обделять было бы недальновидно ни для кого, и не обделили, выделили, может, даже вне законной очереди. От хлопотливого свекра перешла в наследство сынку с невесткой. Теперь вот, досталась Леонтию.

Какое-то время его, свежего поселенца, помнится, одолевали по поводу квартиры, странные желания и фантазии. О нет, ничего извращенного, хотя, как посмотреть. Он словно бы примерял гарсоньерку на себя, или, что одно и то же, себя приноравливал к ней. Поначалу, будто бы утверждая выстраданную свободу ото всех на свете и разом, он располагался на ночлег в самых ненормальных местах. В чугунной, тогда еще не смененной на акрил, старой ванной – неудобно вышло жуть. Или на кухонном столе и даже под столом, стелил одеяла – одно на другое, все равно было жестко, зато необыкновенно «вседозволено». Или у батареи под окном – благо лето пылало в разгаре, и он не простудился в обнимку с холодным ребристым металлом. Такая случилась с ним блажь. Но скоро прошла, потому что необыкновенность ощущения исчерпала себя. Он стал господином гарсоньерки, джином своей собственной бутылки, повелителем квадратных метров, вписанных в официальный акт БТИ, исправным плательщиком квартирных жировок – что угодно мог он просрочить, но только не это, – и все равно не верил до конца. В частную собственность, которая дает свободу. В личную и неприкосновенную. Оттого, наверное, и держал парадную дверь постоянно гостеприимно открытой, как бы заклиная подобным образом злого духа судебной конфискации и материального ущерба. Мало ли чего! В смысле – в этой жизни бывает. Теперь вот, священная корова требовала ремонта. Законно. Леонтий вздохнул.

Он уже закончил одеваться, придирчиво смотрелся в зеркало прихожей – перекидное, берущее в полный рост, как объектив дорогого профессионального фотоаппарата. Понравился себе. Рост, конечно, маловат. Но что, рост. Подумаешь, рост. Никогда не стремился в баскетбольную команду, да и ни в какую не стремился, даже где коротышки – благо. В жокеи, например. Больно надо, к тому же лошадей он не любил: огромная скотина, то ли лягнет, то ли укусит. Зато лицо у него, положим, откровенно симпатичное, может, излишне чернявое, как раз покойная бабушка была жгучая, черноокая брюнетка-украинка. Такие, знаете ли, коса толщиной в руку, белое лицо с острыми чертами, маленькая, юркая. В нее. И язык. Хорошо подвешен. Это, пожалуй, самое большое было его достоинство. Не то, чтобы

женщины действительно любят ушами – в это Леонтий не верил, но что всякая красавица бережет свое самолюбие пуще бриллиантового колье – бесспорная истина. Проверял, и доверял проверенному. Потому неохота ей под меткое пулеметное словцо, которое потом как клеймо, не отмоешь. А Леонтий мог, и слыл человеком опасным, читай – загадочным и привлекательным. Так что, рост – ерунда. К тому же взаимностью ему отвечали девицы в основном крупногабаритные, не в смысле толстые – это уж перебор, но просто высокие и широкие. Леонтию того только и надо было, чем мощнее, тем лучше, не потому лишь, дескать, тщедушные коротышки предпочитают больших, грудастых женщин, но посудите сами! Кавалер мальчик с пальчик и с ним дюймовочка, не хватает еще левретки на поводке. Леонтия подобные видения всегда смущали, а смущаться он не любил, не комфортно. Так зачем же провоцировать нарочно? Если столько их в столице, на любой вкус, от ста семидесяти и выше. Вот и Калерия. Думал, повезло… но, но, но. Об этом после как-нибудь.

В зеркале Леонтий скорчил сам себе рожу – Гуинплен смеется, – вывалил язык и хлюпнул носом. Чихнул от удовольствия и обувной пыли. Лаковенькие, новенькие, эти пока в сторону. Совсем не сезон. А вот эти пойдут. Надел жесткие, блестящие туфли оттенка лужи, сверкающей под солнцем на черном асфальте – почти негнущаяся подошва, зато вид! Как у ответственного менеджера цветущего предприятия, ну, или у муниципального чиновника, курирующего жилищно-коммунальные хозяйства. На плечи – кожаное полупальто, холодное, скрипучее, но широкий норковый воротник, на большее не хватило, и выглядит богато. Ничего, не замерзнет, пешком недалеко, на Ленинском только руку поднять, как тут же и частник. Делов! Крикнул прощальное «пока» мальчику Аркаше, и еще раз про дверь, чтобы захлопнуть не забыл. Леонтий выскочил на лестничную клетку. Лифт ему ждать не хотелось. Известно ведь – суббота прогулочный день, папаши с колясками, работающие мамаши по магазинам, гости-кости, пока дождешься на последний этаж, упаришься, даже и в холодном пальто. Леонтий запрыгал вниз по ступенькам широкой, в три пролета, монументальной лестницы, и сразу же, на следующем, восьмом этаже, непостижимым, несчастным образом, столкнулся с фигурой, длинной и тонкой, взявшейся вдруг на его пути, ну совершенно непонятно откуда. И как столкнулся, лоб в лоб! Зубы зазвенели, в глазах – словно бы у телеэкрана отрубилась антенна – один сплошной черный снег, а фигура ойкнула, присела, что-то упало и перекатилось с железным, зловещим чавканьем.

– Простите, вы простите меня. Что это я, и впрямь, как козел.

Горный! – Лепетал ушибленный Леонтий какую-то вежливую бессмыслицу.

– Ничего. Ничего, – женский голос безжизненно-металлический, словно компьютерная баба из метрополитена: «следующая станция Кропоткинская», дважды повторил ему в ответ. Темная худая фигура нагнулась, стала шарить стреловидной рукой в блестящей перчатке по плиточному, нечистому полу.

– Я помогу. Что вы! – Леонтий бросился искать. – Это был ключ?

– Да, конечно. Ключи, много – так же чеканно сказал женский голос, приятный, впрочем, хотя и строгий.

– Вот, возьмите, – Леонтий отыскал первый, и, слава богу. – Они? (Связка в пуд, куда столько? От двух-то замков. Но его, разве, ума?)

– Да, так есть, – фигура еще и кивнула.

Женщина, молодая, гладко причесанная, не мой вкус, но стильная. Определение стукнутой фигуры явилось Леонтию само собой. Еще отметил он странную переливчатую шубу, неужто, шиншилла? Да какая ему-то разница! Бессознательно отметил и все. Хорошо, что мыслей не слышит никто. Тоже мужчина называется. Смотрит не на лица, или там, на ноги и грудь, надо же, шуба! Но такой есть, какой есть, – успокоил себя Леонтий. Не на кошелек ведь зарится, в самом-то деле, чтобы ненароком стянуть!

– Извините еще раз! – Леонтий поторопился на всякий случай быстрее откланяться, ситуация была неловкая.

– Не за что, – спокойно бросила ему фигура, уже во след.

Как это, не за что? Неуместный какой ответ, еще подумалось на ходу Леонтию, но сознание его не задержалось на некстати произнесенной фразе. Только, может, отметил, что незнакомка открывала дверь как раз под квартирой-дурдомом мальчика Аркаши и его интересной мамы. Там же нет никого! Профессор Тер-Геворкян уже пять лет, как отбыл в Америку, читать бесконечные лекции о физической химии, а сдавать Тер-Геворкяны были против, да и нужды им! Неужто, передумали? Или продали? Все может быть. Все может быть в наши дни. Вот это самое помыслил на бегу Леонтий, и мысль свою отставил в сторону, как ненужную. Заметьте, только в надуманных сюжетах второразрядных телепрограмм случается – суровая поступь судьбы, рок вам подает знаки, или предчувствия его не обманули. Не было никаких предчувствий и знаков тоже не было. Не свершилось. Соловей-разбойник не засвистел, папоротник не расцвел, ворона не каркнула, даже черной кошки не попалось

навстречу ни одной. А и стаи их выйди, хоть вещий ангел с транспарантом, помощи все равно никакой. Отмерила бы судьба что-нибудь другое, тоже гадкое или двусмысленное. Леонтий бестрепетно ступал себе мимо. Разве болел у него лоб, и он беспокоился, чтобы не осложнилось дело до сотрясения мозга. Вечером он собирался пить алкоголь.

День святого понедельника

Он очнулся около полудня и сразу не смог сообразить, что выходные, в общем-то, кончились. Воскресенье было еще ничего – а может, и чего, как раз воскресенья-то Леонтий и не помнил. Ну, или помнил смутно, где-то допивал и догонял, компания подобралась мирная, раз он проснулся в собственной кровати, а не в полицейском «обезьяннике». Вот суббота. Та, да. Как с утра не задалось. Так и…, и маму вашу тоже так. Кончилось все плохо. Зачем? Зачем все же он сунулся к Суесловскому? Ведь знал же наперед. Честно отработал вторым ведущим затейником, то бишь толкачом модератором, заказанную презентацию – поперек горла уже, но деньги, деньги, – публика, слава тебе, многотерпеливый Махатма Ганди! попалась не особенно взыскательная, какая-то полутусовка, все впрок. Под им же самим придуманным словечком Леонтий подразумевал следующее. Полутусовка это… Нет, совсем не половина обычной тусовки, с иерархией продольной и поперечной: от сильно известных персонажей к менее известным, от многочисленных сопровождающих до случайно осчастливленных простофиль, вообразивших, что их впускают чуть ли не в рай, от ужасно беспечных скучающих толстосумов, до оторвавших от сердца свои кровные жадно «хавающих» все подряд молодых да ранних предпринимателей, с выражением на лицах «меня прямо сейчас задушит жаба». Плюс интеллектуальная обслуга – подобные Леонтию обязательные статисты, которые озвучат и отразят, отберут и осветят, каждому овощу положенное по рангу грядки, короче, кому смех, кому рабочий грех. А полутусовка то же самое, в принципе, только с одним кардинальным отличием – знаменитостей, в смысле экранно-журнальных, нет и в помине, но как бы деловой междусобойчик, пресса, конечно, и банкет, но между своими: экспортерами, импортерами, заказчиками, приказчиками – менеджеры-челенджеры, херота-маята, побольше втюхать товару, под водочку и черную икру. С застольем на полутусовках всегда богато, для себя любимых ведь не жаль. Что же презентовали? Леонтий напряг нейронные связи, которые чудом уцелели в мозгу за выходные для нормальных людей дни. Ага! Нефтяное бурильное оборудование! Вот почему был рекой коньяк и весь до последней чекушки ХО, и даже его самого свободно посчитали за банкетного гостя, не копейничали, да и с чего бы? Сидел он где-то на застольной периферии, в углу, рядом с квакающим тритончиком из «связей с общественностью» – ныне даже фирмы, производящие аграрный гумус имеют широкие связи с

общественностью, – и наливал, наливал, себе – ему, и опять себе – ему, так, что бедняга под конец деэволюционировал из разряда земноводных в класс рыб и обзавелся жаберными щелями, что у твоей белой акулы, еще бы, сколько было влито! Кажется, тритончик-акула упился до положения «раз плюнуть обоссать с крыши небоскреб», и приставал потом к тощей, «диор-шанелевой» с ног до головы, белесой бабе, много выше его по столу, и та сперва грозилась что уволит, до ора грозилась, а потом… потом он больше не видел ни ее, ни акуло-тритона, видимо, сговорились. Ну и ладно, значит, не зря поил, глядишь, пойдет в гору, парень был вроде не говнюк.

Вот только Леонтию желтая – в смысле, коньячная, – вода ударила в одно место. Не в мочевой пузырь, в голову. Он тоже порешил, что запросто обоссыт хоть два небоскреба враз. И в памяти, как назло, всплыл Суесловский, что было уже совсем лишнее. Тут надо пояснить пусть бы и парой слов. А то, Суесловский, Суесловский. Чем плох, кроме, разумеется, фамилии? И кто бы захотел добровольно присвоить такую? Так вот. Суесловский. Собственно, Суесловский, как личность, был не особенно причем. Фигура довольно заурядная, вроде как герой нашего времени, усредненный арифметически. Премию, он, правда, получил, и давал по сему поводу фуршет. Какую премию? Литературную? Да нет же, нет! И не Государственную, куда ему. Ноб… даже не заикайтесь, перекреститесь лучше. Забыли уже, небось, какие бывают премии. Денежные, какие же еще. На рабочем месте человеку за самоотверженный труд полагается иногда премия, в размере оклада или двух, смотря по обстоятельствам. Суесловскому полагалась квартальная, не за что, а почему. По липовым послужным документам. За мемуары одного деятеля, который ни разу не смог изложить связно собственную анкетную биографию на четвертушке бумажного листа, но желал опубликовать воспоминания. О том, как… то ли кого-то там бомбил, то ли приказывал бомбить другим, мемуары были военные, чечено-афганские, а заказчик из богатой федеральной организации. Фонда взаимопомощи или союза взаимовыручки, и он, то бишь, заказчик, там председатель. Суесловский, стало быть, вспоминал за него.

Вот эти-то воспоминания, точнее, вознаграждение за них, и поехал обмывать Леонтий. Вам случалось…? Конечно, случалось, если вы человек, а не обезьяна какая-нибудь. Каждому случалось, в этой жизни или в предыдущей – если нет, то все равно в будущей не убережетесь, – собственно, случалось ли вам? В сильно пьяном виде двигаться по непрямолинейному пути откуда-то из пункта А в пункт В. Где без вас не то, чтобы совсем

жить не могли, но в принципе не против вашего присутствия. И по одной простой причине: чем больше знакомых-свидетелей триумфа, тем лучше, особенно когда свидетель может рассказать другим. Ну, о том, чему он был свидетелем. От Леонтия никто, разумеется, не ждал журнального разворота, посвященного фуршету у Самого Суесловского – да и кто бы ему дал, пусть и не под Суесловского, – но по крайней мере, характерного рассказа, неважно, если обличительно непристойного, лишь бы не умолчал, – о том, что подавали и что наливали, и что ужасного Чебоксаров поведал Федчуку-Казначеенко, или о том, как Малых-Книжный (это псевдоним) уел на корню зарвавшегося Пурговского. Леонтий бы рассказал, жалко ему, разве? И сам любил передавать сплетни. Но вот не терпел служить для них действующим лицом. А придется, теперь деться некуда. Загвоздка вышла в градусах, хороший коньяк, он как… э-э-э…, как элитный солярий в щадящем режиме. Легкая музычка, приятный ветерок, ароматерапия и богатое воображение. Только когда очнешься – ожог второй степени по всему бренному телу, включая и кору на пятках. Все почему? Потому что, пропущен момент, когда следовало задействовать мозги и остановиться.

Леонтий ничего полезного задействовать уже не смог – по дороге его развезло в теплом, душном такси, он вслух читал стихотворную ересь собственного изобретения, громко читал, нараспев, и уверял тщедушного старичка-водителя, что это утерянная десятая глава Евгения Онегина, которую сам призрак Пушкина передал ему завещательно во сне.

Перед дверью Суесловского – то есть перед дверью офиса: стальной, непробиваемой с видеокамерой-глазком, – Леонтия мощно стошнило. Офис – четыре комнатушки и приемная – был взят напрокат по случаю фуршета у полузнакомого барыги, и отчего-то располагался в здании Общества слепых, Леонтий запомнил противно «пикающий» на каждом этаже лифт, ему пришлось, как выяснилось, подняться аж на пятый. Вот от этого ухосверлильного пиканья его и прихватило. В бронированную дверную твердь позвонить не успел. Вывернуло. И хоть бы отпустило или, по крайней мере, накатил стыд. Ему бы убраться по-тихому. Куда там! Стоя, с усилием прямо, в луже родной блевотины, он принялся тарабанить в обитое дорогой кожей железо, будто в пионерский барабан, закрытый подушкой. Удары его падали в никуда, но вот вопли «эйвыоглохличтоль?!», те да. Дошли до адресата. Гостям, с любопытством «а чего там такое?» ринувшимся на звук, было на что посмотреть. Вроде, потом стошнило кого-то еще. Однако и здесь миновала лишь половина беды. Потому что Леонтий, не внемля вразумленьям мудрым,

кажется, неиссякаемого Коземаслова, все же донес себя до фуршета. Дальше он помнил события в отрывочном хронологическом порядке несвязных кадров. Тарталетки, набитые сырной дрянью с маслиной поверх, ага, балык красной рыбы – Суеслллл… как там тебя, он же несвежий! – не нравится, не ешь, – сам …удак! Пиво, пиво, – что? Не пиво, шампанское? А на вкус, как пиво – «Абрау-Дюрсо»? Гадость, дешевка. Ага, счас! Дай обратно сюда бутылку! Сойдет твое «дюрсо». Кстати, а кто такой этот «Д. Юрсо»? А кто такой «Абрау»? Тоже никто не знает? А я вам скажу, открою страшную тайну. Это «Абрам д'Юрсо», вот как правильно. Кто шовинист? Я шовинист? Да я сам еврей! По двоюродной бабушке Поле, по кому же еще? Откуда знаю? А она в Чернигове жила. Ну и что? Ну и то! А? Ай-яй-а-а! Сволочь, харя необрезанная! Не держите меня трое! Я и сам упаду. Вот только сейчас дам этому гаду раза!

Кончилось все безобразной дракой. После чего Леонтия выгнали. Не то, чтобы с позором. Вывели, вытолкали. Но культурненько. Знакомый, навязчиво интеллигентствующий хмырь по фамилии Васятников и по имени вроде бы Сергей Михайлович (по имени его никто не звал, да и кому оно нужно, все Васятников и Васятников) пошел его проводить. А куда? Второй час ночи. Сюрреалистически пустой, черно-белый проспект Мира, вьюга как назло – снежная пыль закручивается в спирали Бруно, и опадает и тут же взмывает со стоном вновь, и тонкий прерывистый соловьино-разбойный свист из одного беззащитно обнаженного уха в другое. Леонтий помнил, как беззаветно матерился вслух, пресловутый Васятников неотвязно хихикал, за то и получил рассыпчатый снежок за шиворот. Чтоб охолонул – и чего только нашел смешного? В лыжной шапке – прилизанные белесые волосенки зубцами из-под краешка, будто надорванная почтовая марка – здоровье бережет, зараза, у-у-у, не терплю таких! Вроде не обиделся. Зато у Леонтия болел «засвеченный» на фуршете глаз, еще, кажется, шатался нижний правый клык. А-а-а, фигня! И пчелы тоже. Фиг-ня! Определенно не фигня было, что та сволочь и харя, с которой он ухарски-пьяно разодрался на премиальном застолье, оказался – Костя Собакин, единственный порядочный человечек на всем белом свете, и лучший друг. По крайней мере, так думал Леонтий до последнего субботнего вечера. А как оно сложится дальше, неизвестно. Костя довольно отходчив, но и оскорбления в его адрес посланы были тяжелые. С другой стороны, в нетрезвом состоянии – это мягко сказано. С третьей стороны – не умеешь пить, дуй кока-колу, кто же виноват? С Костей Собакиным следовало помириться любой ценой. Но вот захочет ли тот принять обратно Леонтия хоть за

какую цену? Леонтий загрустил. Наверное, оттого и опохмелялся все воскресенье напролет, хорошо еще, что этот самый Васятников, прилепившийся невесть зачем к Леонтию в напарники, потерялся где-то по пути в очередную дружелюбную к нетрезвому журналисту компашку. Впрочем, Васятников нисколько не любил забубенные загулы – был он какой-то странно ухмылистый, будто бы побочный сын лешего и кикиморы болотной, тем паче «ты меня уважаешь» в его репертуаре не числилось в коронных номерах. Однако Леонтий, как он думал – справедливо, подозревал за Васятниковым совсем иное. Он хорошо помнил наставление своего отца – биологического родного, а не позднее довоспитавшего его добропорядочного отчима, родной-то отец! впрочем, ладно, – так вот. Наставление, данное однажды Леонтию под хорошим «шофэ» гласило! Стоп, стоп, стоп! Это нужно высекать в камне, но хотя бы так: «ТРЕЗВОСТЬ – ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК СТУКАЧА, А ВЫНУЖДЕННАЯ ТРЕЗВОСТЬ – ВТОРОЙ!». Все сказанное подходило Васятникову нельзя более как.

Хотя, если призадуматься, куда вышезаподозренный в неблаговидности белесый хмырь-сопроводитель мог настучать? И главное, о чем? Тех учреждений и того счастливого строя давно уж не было в живых. Но все равно – решил Леонтий, – характер-то остался! Характер прирожденного стукача, не путать, пожалуйста, с блюдолизом, подхалимом, или интриганом-подковерником. Это все разные определения разных же человеческих клише. Стукач, это… Это строгими, логическими понятиями не растолкуешь. Лучше образно аллегорически…

…Итак… Представьте, что вы каменщик – ну, на минуточку-то можно, даже если вы крутой белоручка-олигарх, – представили? И вот – кладете вы эти самые камни или кирпичи на страшной верхотуре, скажем, на готической колокольне. Почему на колокольне и непременно готической? Потому что, гарантированно высоко. Решительно не хотите колокольню? Ладно, на крыше Дома Союзов. Так приятней? Хорошо. Кладете и кладете, до полоумного офигевания – целый божий день класть кирпичи, поневоле, это самое, офигеешь. И тут черт – а он всегда тут, как тут, – толкает вас озорно в бок. А что если, один маленький кирпичик, с колокольни, то бишь, с крыши? Совсем маленький, никто и не узнает, будто случайно. От офигевания и не такое может иногда произойти с нормальным человеком. В общем, послушались вы черта. Взяли кирпич, маленький или большой, уже не важно, по крайней мере, для того неудачника, который беззаботно в это мгновение ступает себе мимо внизу, ну и туда его! Вот дальше есть несколько вариантов поведения. В

ужасе одуматься, что натворил, и деру, деру! Не то, что с крыши, из каменной артели без расчета! Может, кирпич тот ни в кого не попал вовсе, но ужас столь велик, что и к краю подойти никак – проверить, и оставаться невыносимо, только одно – бежать без оглядки, авось, пронесет, никто не догадается, не поймает, не выследит, и как разумное завершение, не посадит. А вот вам другой тип – тут уже: шкодливо глянуть вниз и в зависимости от результата – или деру, деру! Или работать дальше, как ни в чем не бывало, ну с кем глупости не случаются? – это напоследок в самооправдание. Скоро роковой эпизод забывается, однако же, осадок остается – подленький осадочек, рано или поздно на ком-нибудь отыграется, отольется слезой. Ну и несколько промежуточно-колебательных вариантов – от полных штанов, до «ничего, слава богу, он и помиловал» – последний может сопровождаться свечечкой в близлежащей церковке, заменяющей поход к психоаналитику. Но есть еще один финал, заключительный. Вы бросаете свой кирпич и смотрите с крыши – с трезвым расчетцем. Как он летит. И если определенно в чью-то невинную голову, вы поступаете следующим образом – кричите обреченной жертве ваших чертей: «Берегись!», или «Смотри вверх!», неважно, главное, вы ее предупреждаете об опасности. Но! Как раз это «но» и есть самое важное. Вы предупреждаете об опасности, когда ее уже нельзя избежать. Ни за что нельзя, будь вы хоть Усейн Болт, хоть русско-американский хоккеист Овечкин с реакцией супермена. Все. Жертва видит опасность и знает, что сейчас умрет, и только на это ее хватает. Зачем, вы спросите, тогда кричать с колокольни, то есть, с крыши? Очень просто. Чтобы не заподозрили в преступлении. Как раз на кричащего никогда не подумают. Наоборот – решат, что вот мужественный человек, чуть глотку себе не надорвал, желая упредить прохожего. Ах, какой молодец! А потом опять черт в ребро и вся проделка с нового отсчета. Но с другими людьми в другой бригаде, потому что снаряд дважды в одну воронку…, ну вы поняли, если дважды случится, могут почуять неладное. Последний типаж и есть законченный образец стукача. Трезвого – ибо голова должна быть свежей на вдохновенной работе, – любителя острых ощущений за счет ближнего своего. Кто может, тот пусть опишет лучше. Но и вам, кто может, приходилось на своей шкуре, наверное: – Я твой друг и я тебя предупреждаю. Хотя мог бы промолчать. Ты поосторожней, да, да! – Ах, какая жалость! Какая жалость! А ведь я как раз его предостерегал. Но разве он внял!

Знакомо? Кому как, и каждому своя часть: одному – слушающего, а другому, прошу пардону, и говорящего. Это все к чему? Тот, кто слушал, заподозрили вы хоть раз того, кто

говорил? А вы, тот, кто говорил? Получили хоть раз по сусалам и по заслугам от того, кто слушал? То-то же! Наверное, Леонтий и его родной биологический, давным-давно опустившийся на современное дно, но все ж таки дальнозоркий отец, были правы – единственное средство распознать стукача, это проверить его на вшивость, то бишь на алкоголь, будто на лакмусовую бумажку. Так вот, хмырь Васятников никогда не напивался до положения риз. Он вообще никогда не напивался. Рюмку нудить – на это он был мастак. Одну, много две за вечер, зато тосты умел произносить предлинные. И уши, что у твоего африканского слона – имел развесистые. Система локации у Васятникова работала отлично.

Да, что это все о каком-то Васятникове, о Васятникове! Будто других людей нет в Москве и пригородах. Или иных персонажей в моем к вам адресованном повествовании. Сколько угодно. Просто, об этих Васятниковых, как и о Ваньках Коземасловых как начнешь, как начнешь! Не остановишься. Потому что о хорошем человеке мало есть сказать что, на то он и хороший человек. Не то, чтобы скучный, но правильный – а правила мы все и без его примера знаем. Зато вот, отклонения от правил – в сторону зла, естественно, – всегда и бесчисленны, и захватывающи, и поучительны: каждому со своей стороны, кому чтобы остерегаться, а кому – и чтобы применять на практике.

…Потолок расплывчато-тошнотворной каруселью вращался над его головой – Леонтий пытался думать, но думать было тяжко. Неплохо бы встать и пойти. Куда? Хотя бы в ванную. Зачем? Этот резонный вопрос вызвал в голове его болезненный сумбур, будто – босиком по игольной фабрике во время землетрясения. На работу? Есть ли сегодня у него работа? А что сегодня? После воскресенья. После воскресенья всегда идет понедельник. Самый неподъемный день недели – гравитационная нагрузка на психику возрастает обычно до четырех «жэ». А в понедельник у него… в понедельник у него… блин… ага! Эфир на радиостанции «Прошлогодний снег», шутка, конечно, название-то, зато эфир самый настоящий и в придачу прямой, о, ужас! В три пополудни, и до пяти с уходами на рекламу включительно. Еженедельный, авторский – правда, не из самых крутых, да и станция не «Маяк», но для многих реальная везуха, или даже небо в алмазах, вещание на всю область, хотя и не в прайм-тайм, зато гостей, в количестве двух на каждый час, Леонтий мог подбирать самостоятельно – точнее, влиять на выбор редактора, в смысле капризного «хочу-не-хочу».

Сколько уже натикало? Половина двенадцатого. А ехать аж на Белорусскую. Общий привет. Значит, самое позднее, через

сорок минут он должен встать. Вообще на ноги, а не бодро проскакать из спальни в ванную комнату. Встать на ноги и в принципе встать – это далеко не одно и то же. Первое, в его положении, включает довольно продолжительное нахождение равновесия, как физического, так и душевного. Вот-вот, сначала хотя бы оторваться от подушки. Когда такой «вертолет» над головой! Аккуратненько поворачиваем шею влево – чтоб мне сдохнуть, сейчас, на месте! Бл… бл… бл…! Может, лучше вправо, осторожно, так… И тут Леонтий увидал, – о, благодарю тебя, неизвестный датский гастарбайтер, разливший это чудо, где? да хоть бы где! – заначенную мудро бутылку «Карлсберга», полную и неоткрытую, прямо на полу, у самого края затертого коврика а-ля некогда козлиная шкура. Главное теперь – билась мучительно его жадная мысль, – дотянуться, потом схватить, потом открыть, потом не расплескать. Иначе – смерть. От разрыва вдребезги разбитого сердца. Леонтий выпростал из-под дутого, в этот миг противно липнущего, одеяла мелко дрожавшую руку. Надежда – она на том конце. Рука-посланница коснулась зазывно зеленевшего горлышка – крепче, крепче! Не стеклянная, небось. Как раз стеклянная, подумалось ему, но как-то несущественно. Но он донес. Он отвернул. Он вдохнул освежающий, отрезвляющий, кисло-томный запах, ах! У Леонтия получилось даже придать себе положительный двигательный импульс и сесть в кровати. Теперь – очень быстро, Жакоб! (Эх, обожал он этот кучерский призыв-повеление из захаровской «Формулы любви», слишком часто в его жизни приходился кстати!) Чтобы успеть глотнуть, прежде… ну, прежде, чем импульс исчерпает себя в попытке. Давай, соберись, еще чуть-чуть, уже, да, да… Вы говорите, секс, секс! Вот где счастье-то!

Полегчало. И сразу Леонтию захотелось попИсать – а жизнь-то налаживается! Если человек способен самостоятельно отлить в уборной, он способен на многое, если не на все. В смысле физических усилий, само собой. Для усилий умственных требуется еще философское размышление на тему. Потом уж можно и умыться, или как выразился про себя чересчур предвзято Леонтий – ополоснуть харю. Попробовать, во всяком случае. Вот только разить от него будет! Тут хоть тюбик ментоловой пасты слопай, все едино. А-а-а, пустяки! Кто у нас нынче гость, то бишь, гости в студии? Хватило сил тюкнуть пару раз пальцем по экрану планшета. Один полузащитный футболист – если от себя родит хотя бы полслова, уже счастье. У них же на все про все выстраданное годами заявление: своевременное тренерское чутье и мудрая трансферная политика клуба – если не заталдычат наизусть или по бумажке, то ответы мало различаются в главном,

их всего-то два: долгое «а-а-а», или протяжное «э-э-э». С представителем спортивной гордости понятно, что дальше? Один сериальный актер, второплановый середнячок – этот вообще пусть спасибо скажет, что позвали. Да и не звали, небось, услуга за услугу, ты мне я тебе, редакторы-дружечки махнулись телефончиком между собой, чтобы заткнуть дыру – какой-нибудь звездун наобещал и прокатил, вот и свезло. Ой, вторым блоком-то! Народный учитель, нет… заслуженный учитель… а-а, заслуженный учитель народного танца. Этот-то как сюда попал? И принципиально: это он или она – Офонаренко Св. Ден., сто раз просил, требовал, грозил, чтобы имя хотя бы полностью. Забодался просить, а своего не добился. Вот гадай теперь – Святослав Денисович, или Светлана Денатуратовна какая-нибудь? Пусть будет она, надо всегда рассчитывать на худшее. Баба может заложить, придется расстараться поласковее и поинтимнее. Авось, пронесет. Кто у нас четвертый? Звездинский. Вот те раз, Звездинский! Леонтий и забыл – сам же зазывал, заходи, когда хочешь, на любую тему, вот тебе телефон, только фамилию назови, а я уж велю! Чтоб по первому разряду! И велел. Думал, не зайдет, Звездинский, он гордый. И знаменитый. С другой стороны, прямой эфир, вещание на целую область. Московскую. И еще с пяток соседних, каким достанет. Не хрен собачий. А Звездинский, он хороший. Только злой, вернее сказать, обозленный. Не то, чтобы на жизнь, здесь у него все в порядке, скорее по жизни, такое определение вернее. Цапучий и царапучий, с ним интересно бывало временами. Вот только заслуженный учитель, или учительница, не очень ему пара. Ну, да, разберемся… Офонаренко, Офонаренко, допустим, женского рода. Тогда очень плохо, если «юзается» в первый раз…

Вы только не подумайте чего похабного, Леонтий в мыслях своих имел в виду совсем, совсем другое. Это надо знать специфику – специфику его работы, как и вообще любого ведущего, радио или теле – без разницы. Новички, они ведь… ну, по порядку. Необстрелянные и необученные – это очень скверно на войне, а вот на ток-шоу как карта ляжет. Непредсказуемы, что твой дикий мустанг, впервые заявленный на призовые. Может взять, а может и с ипподрома ускакать – легко, – вывернув своего наездника долой в ближайшую канаву. Если программа пойдет в записи, пустяки, в крайнем случае, отрежут и выбросят, без обид, кардинальное хирургическое вмешательство. С прямым же эфиром шутки шутить не стоит. Да еще если идет онлайн в интернете и с видеоизображением из студии. Случись чего – хана! Всю вину повесят на Леонтия, а коли вдобавок всплывет на поверхность, что пришел нетрезв… У-у-у! про маленьких

пушистых зверьков слыхали? Вот один из них и будет. Дело все в том, насколько у новичка станет воображения. Вернее сказать, чего он от других ожидает. Именно, именно, в первую очередь, от других. Никто же специально не предупреждает, ни редакторы, ни их рядовые помощники – сплошь затюканные девчушки с канареечной зарплаткой-на-заплатки. Никто специально не предупреждает о том, что твой первый эфир – он может только для тебя большое событие в жизни и праздник. А для прочих всех – довольно обычная работа, пусть любимая и ценимая, но! – обычная. Вот здесь и есть большая разница и главная засада. Потому что, новичок – он ждет. Сам не знает чего, но ждет. Захватывающе неведомого. Есть которые мечтают, их сейчас в студию внесут на руках – куда там, иногда не то, что чаю, воды забывают или попросту не успевают предложить. Есть которые представляют, что вот они вступили в ряды то ли богемы, то ли небожителей, и прямо сию минуту ведущий или другой званный гость бросятся им на шею «сто лет мечтали только о тебе, после эфира – айда в ресторан, мы угощаем, и все знаменитости с тобой за руку» – хорошо, если после эфира кто вспомнит, как тебя звать, и вообще проводит к выходу, потому – ты уже не нужен, а у известных людей свои дела, им не до чужих-посторонних. Есть которые полагают, что он не столько гость, но и как бы годовалый любимый младенец, о котором пекутся заботливые няньки, что вот сейчас ему вопросики – и терпеливо станут ждать, чего этакого умненького он скажет, а тот, второй приглашенный – он твой лучший друг, и все здесь тебе друзья и поддержка. Хрен там, эфирного времени на круг чистоганом минут сорок, каждому «позарез» надо, за микрофон натурально бывает драка, потому если замолчишь, кто-то другой выгадает – затрут, забьют, здесь каждый сам за себя и за свою рекламу. Вообще лучшие из гостей-новичков, это гении-злыдни, то есть, о себе они точно знают, что гении, чужое одобрение им вовсе не надобно, а злыдни, причем бойцовые злыдни – уже по врожденной природе. Эти могут выплыть, эти, что называется, открытие сезона, редкое, пообтешутся, станут нарасхват, еще злее и заковыристей, но доносить на ведущего им и в голову не придет, потому – в той голове нет никого кроме себя одного наизамечательнейшего. Соседа уесть, да публично, да чтоб ниже плинтуса, это, пожалуйста, но жаловаться – им просто лень. Чего не скажешь об иных прочих из начинающих, особенно о тех, кто успел догадаться – он облажался, и снова нипочем его трепать языком не позовут, такой может наскандалить, а может тишком наябедничать. Второе – хуже. Особенно если женщина, это отдельный ядовитый разговор. Платочек у поплывшего глаза,

хлюп-хлюп, мелко семенящей походочкой шасть-шасть – к шефу в кабинет, она найдет, она прикинется, будто наиважнейшее из дел, и там такого наплетет, что, если бы хоть половину сообразила вылить из себя на эфире, точно бы стала радиозвездой. Что обидели, это она так, попутно, это ерунда, а вот что у вас, страшно сказать – под эгидой самого господина столичного мэра пьяный вдребезги ведущий, это же позор, не мне, что мне? Вам, вам. Народная учительша Офонаренко Св. Ден.

Как дальше сложится? Известно как. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! На сигналы общественности еще наши прадеды учили нас оперативно реагировать. А от Ляпкина-Тяпкина! Мама дорогая! Полный букет. И перегаром, и опохмелом, и тем, чем предыдущие два безутешно пытался заглушить. В общем, пьеса «Гроза», автор А. Н. Островский, апофеозная сцена утопления, только жаль, без реки, всухую. Если и не уволят, то принародно в пыли заставят поваляться. Хуже, когда «попадос» на деньги – оштрафуют, ну а что нагрубят и обхамят, это даже не считается. Потому что, Леонтий Гусицын, он же Л. Годо, сам из начинающих. Хотя и не из ранних. Просто-напросто он не звезда, пока еще. А может, никогда и не засияет по-настоящему, так и останется известным журналистом в известных кругах. Чуть-чуть на слуху. И то спасибо. Желающих, как говорится, много, а местОв, как известно, мало. Тут закавыка не в локтях и подлостях даже, не всегда самый пронырливый и самый подстилочный побеждает, еще необходима закваска, чтобы взошли дрожжи удачи – толика интуиции, толика стечения обстоятельств и рука всевышнего, которая есть предмет вовсе темный, кто ее знает, почему и на кого она укажет в следующий раз. Деньги и связи, кстати, тоже не помешают. Но вот чтобы ничто из перечисленного не задействовалось в успехе, то это как раз шиш! Не случается, вероятность, как нахождение клада Стеньки Разина на дачном огороде. А значит, если кто думает, что будет в гордой нищете сидеть и ждать своего часа на убогом чердаке, а-ля непризнанный Эмиль Золя или Эдисон, который Томас, – пока оценит вселенная и человеческий род, – тот непременно дождется. Похорон за общественный счет или передачи тела в пользу анатомического отделения, студенты-медики точно оценят халявный трупак. Что значит – хочешь от этой самой вселенной хоть медный грош получить, подымай зад и двигай, признание и слава по своей инициативе к тебе на чердак не заглянут.

Кое-что у Леонтия для будущего процветания имелось в наличии, кое-что и кое-кого можно было напрячься и приобрести, но пока считался он вроде как голливудская старлетка, фильмы

серии В, однако, кто знает, вдруг скоро позовут в забойный блокбастер. Потому Леонтию еще многое не могло сойти с рук, но некоторые малые шалости прощались, как бы в кредит, авось окупится в грядущем. Однако пьянство числилось в проступках серьезных, как раз оттого, что медийный шеф был и сам не прочь, еще как, а значит отлично видел соринку в чужом глазу, маскируя таким образом павлинье перо в собственном. Вроде как эсэмэсил окружающим, дескать, я бдю! И если не могу истребить порок в себе самом, то уж, по крайней мере, с подчиненных три шкуры спущу, пусть только посмеют. Я им покажу: дурной пример заразителен! Воду будут пить даже вместо кваса. Хорошо еще, что Леонтий у него раз в неделю по понедельникам. Зато в определенно наиболее несчастливый из семи дней. Найти бы какого-нибудь святого. Святого покровителя, размышлял Леонтий, какого-нибудь Святого Понедельничного Бонифация, или просто Святого Понедельника, наподобие Святого Николая Угодника, завести иконку и молиться по утрам, мол, не дай перескочить с бухлом через воскресенье, дай вовремя затормозить, а я тебе за это – свечечку и лампадку. Только никакого Святого Понедельника не бывает, и вообще, придется Леонтию рассчитывать на свои силы. Как и всегда. Он судорожно-резко вздохнул. И зря. В голове его моментально лопнуло нечто рогатое и колючее, зверская боль разлетелась клочьями. Ба-а-б-а-х-б-у-м! А, черти поганые! И пиво кончилось. Однако пиво все равно было больше нельзя. Леонтий, охая и причитая, будто обреченное изгнанию привидение, дополз до холодильника. Что он хотел там найти? Хотя бы прохладу. Больше было нечего. За исключением полупустой стеклянной банки кетчупа «Черномор» и надорванного пакетика мясной приправы «Кнутт» – последние съедобные два яйца Ванька Коземаслов сожрал еще в субботу, в ту самую, которая во всем виновата и которая не задалась. На дверце вдобавок коварно притаился пол-литровый пакет обезжиренного молока, такой давней даты выпуска, что страшно было открывать – Леонтий и не пытался. Уже с полгода как. Есть кетчуп с приправой он тоже не стал. Распахнул дверцу морозильной камеры, подышал немного на иней, во всю грудь, до колотья в боку, фу-уф! – нет, не стоит, еще схлопочешь простуду или похлеще, ангину, а голос есть его частное орудие производства. Закрыл. Чихнул. Два раза.

Через сорок минут он все-таки выполз на лестницу – правдами и неправдами, чего это стоило! Кто испытал на себе, тот представил животрепещуще и сейчас же содрогнулся. А кто не в курсе, из меньшинства, дай бог вам, праведные товарищи и господа, никогда не пасть до подобного состояния. Ноги Леонтия

слегка дрожали, будто бы к тощим, жилистым икрам его подведен был слабый гальванический ток – как к истязуемой подопытной лягушке, оттого ступал он с некоторым вывихом, неуверенно, и лифт, вот же тварь! Железная, вонючая тварь! Чтоб ему сгореть совсем. Даже не мычал. Ни гу-гу. Ни одна из двух кабинок. Кнопки заалели от нажима, и это все. Тишина, словно дело происходило не в многоквартирном доме, а в каком-нибудь пансионе для благородных девиц во время «мертвого» часа. Ну и что, подумаешь, разгар рабочего понедельника? Не советские времена, дурака валять теперь не зазорно, многие и валяют, но вот же! Леонтий неохотно и с трудом заглянул сквозь крупноячеистую сетку в сырой мрак лифтовой шахты. На этаж ниже, в глухом безмолвии висел черный квадрат кабины – застрял, что ли? В их доме бывало, хотя и редко. Второй лифт стоял совсем далеко, и, судя по скрежещущим звукам, смутно доносившимся с раскатистым эхом, – в нем возилась уборщица Казамат, нечеловеческое имя и наверняка искаженное, но так ее называли в доме все, – провозится с полчаса, Казамат всегда придирчиво боролась с подъездной грязью, зато не любила торопиться. Что же, спасение утопающих, равно как и вечно опаздывающих, есть плод сообразительности их самих, Леонтий тоже принял наилучшее решение – спуститься ровно на три пролета, и попытаться распихать с толкача заснувшее чудовище – да просто кто-то застопорил дверь, вот ишак! Вдруг, повезет? Не может не повезти! Потому что, до парадного с вершин девятого на своих двоих – задачка не для слабонервных.

Леонтий угадал. Или вычислил логически. Что было, в принципе несложно: отнюдь не таблицы Брадиса, по памяти задом наперед. Из нескольких объяснений возможного выбирай самое простое. Лифтовая кабина, в самом деле, была застопорена. Дебильный способ, – ругнулся еще забористей Леонтий. Надо же, кто-то взял, да и подпер несчастную дверь силикатным, белым кирпичом, лифт старый, можно сказать, раритетный, здешние обитатели нипочем не хотели менять, даже собирали рублики на реставрацию, мол, у нас настоящий ценный антиквариат, потом попросту пристроили рядом второй грузовой, а этот дедушка остался. Бедняга уже не пыхтел, не жужжал, и не мигал светом, стоял черный и пустой, будто подавившийся дурацкой этой кирпичиной. Леонтию бы нагнуться, отпихнуть камень преткновения, и ехать куда собирался, и далее – идти, куда шел. Но! Ничто человеческое не чуждо и человеку с сильного опохмела. Хотя, казалось бы, отсутствие свободных жизненных сил должно надежно блокировать ненужную активность. Но любопытство пересилило. И надо признать, это было отчаянное

любопытство, чтобы перевесить по совокупности: слабость в ногах и голове, горящий рабочий график, тикающий счетчик на ожидавшем такси, мамино воспитание, данное в виде строгого запрета брать чужое. Правда, брать чужое Леонтий не собирался, он лишь намеревался совершить действие слегка родственное ему. Потому что он увидел – знакомая дверь квартиры Тер-Геворкянов, бронированное старомодное чудовище с двумя грозными сейфовыми замками, тоже стояла полуприкрытая и тоже была подперта точно таким же незатейливым кирпичом, будто в их элитном подъезде бесхозные кирпичи валялись, где ни попадя! Он вовсе не настолько набрался наглости, чтобы трезвонить и беспокоить. Он только одним глазком хотел заглянуть. Только – для того, чтобы предупредить обитателя, или ту самую обитательницу в шиншилловой шубке – так делать нехорошо, могут быть неприятности с жилищным товариществом. Только-только. У Леонтия имелись исключительно благие намерения. Которыми, будто зловонную кучу роскошной клумбой, пытался он прикрыть, что же? Все то же. Праздное любопытство, вдруг ожегшее его нестерпимым огнем языческой ночи на Ивана Купалу, любопытство, остро неудержимое внутри, словно бы вулканический гейзер исландской долины, это любопытство властно двинуло Леонтия в приотворенную, совершенно темную пещеру Али-бабы, наверное, временно сданную в наем. Кому? Сорока разбойникам, братьям двенадцати месяцам, трем поросятам или одной доброй фее? Вот этот вопрос и завлекал Леонтия более всего. Он не имел охоты мешать или приставать с советом, он на единую секундочку… только сказать… ему, в самом деле, было некогда. Ну, разве наскоро представиться для грядущего знакомства. Пусть не в его вкусе, однако, стильная дамочка – модницам он всегда симпатизировал.

Именно потому, что за дверью была женщина. Женщина-принцесса, судя по шубе, и принцесса не злая, раз уж не рассердилась на него при столкновении, довольно неприятном, надо признать. Случись на ее месте бритый амбал из зазеленевших отбросов нового общества или даже эстетствующий прощелыга-коммерсант, Леонтий бы нипочем не полез в чужой приоткрытый задверный мир, много – прокричал бы снаружи нелестное «не один тут живешь, свиное рыло!» или «вы бы, господин хороший, не хамили!», в зависимости от оппонента, а там уж – на совести получателя. Но в квартиру Леонтий бы не сунулся, зачем? Что может быть загадочного и необыкновенного в жилище банковского торгаша или рыночно-ларечного пастыря? Разве, какое-нибудь необыкновенное бухло. Так не за этим же! Но вот, за дверью была женщина. Откуда он знал? Знал и все. Не

оттого только, что уже довелось ему в буквальном значении столкнуться со странной незнакомкой. Кирпичи эти, и полуприкрытая дверь, как-то уж очень по-женски полуприкрытая, – кирпичи, они лежали кое-как, будто бы их дотащили и кинули через силу, чьи-то слабые руки, Леонтий и сам по телосложению был вовсе не Иван Поддубный, чего там – даже не субтильный Джеки Чан, но и он бы уложил для надежности кирпичные подпорки совсем иначе, аккуратней, что ли? Он был словно смышленая, но все-таки обезьяна, стремящаяся в капкан за спелым, заманчивым бананом, когда инстинкт велит – вперед, а зачатки разума только подсказывают способ оптимизаций действий.

Леонтий ступил одной ногой в прихожую, как бы вежливо для начала пытая – не попрут ли сразу. Он находился какое-то мгновение словно бы в двух параллельных реальностях – там и тут, на придверном щетинистом коврике с одной стороны, и на скользком плиточном полу с другой. Он еще мог повернуть назад, он даже мог остаться в этом нелепом положении, прокричать свою претензию, очень вежливо, и повернуть обратно – убраться восвояси, и дело с концом. Это была точка принятия решений, она же точка невозврата, начало трехмерных координат, и нулевой меридиан, от которого можно в два разных полушария. Леонтий колебался какую-то секунду. Спустя которую решение он принял бесповоротно, и сознание его нисколько не участвовало в выборе. Потому что, выбирать не пришлось. Все решил за него запах. Да, да, запах. Вы, конечно, подумали прежде всего о божественных ароматах случайно разлитых флаконов «шанелей», «герленов» и «ланкомов», всех разом и вперемешку, или об арабских, индийских, китайских благовониях, чадящих и мерцающих в чашах со свечами, или, совсем прозаически, хотя бы о туалетных елочных освежителях воздуха, в неимоверных количествах распрысканных повсюду, будто газ «Циклон Б» по лагерной душегубке. Ничего подобного. Такой банальный обонятельный вкус вовсе бы не принудил Леонтия без рассуждений вторгнуться самозванцем в постороннюю ему квартиру. Этот запах был… как вам сказать? Он был противный. И ни с чем не идентифицируемый. Почему-то единственным сравнением, явившимся на ум Леонтию, оказалась свежераскопанная гробница какого-нибудь фараона, пускай Тутанхамона, может быть, исследователь Говард Картер ощутил точно такой же запах, кто знает? Пахло залежавшейся мумией и золотом, да-да, золотом, тяжелым раскаленным в песчаной пустыне металлом, пыльными горшками и щекочущей ноздри отравой, будто бы смертоносным укропом, если бы такой

существовал на свете, но именно отравой – усталый мозг его всколыхнулся, сигналя об опасности. Какой? Это и предстояло проверить. Может там, в этой полуприкрытой ловушке случилось нечто страшное? Да что там могло случиться? Бандиты-разбойники что ли, нарочно подперли дверь кирпичом? Нет-нет, это был отличный повод, и Леонтий о том знал. У вас все в порядке? Странно пахнет, знаете ли? Я и подумал, вдруг газ? И нужен помощник. Я как раз вот. Простите великодушно.

Он репетировал про себя. А взглядом скользил. По темным стенам прихожей, в даль, такую же темную, соборную, где-то сбоку чуть светлел, наверное, затуманенный сумраком оконный проем. Не разглядел ничего особенного, квартира Тер-Геворкянов была ему, можно сказать, доброй знакомой: супруга профессора Жанна Ашотовна, милая и страшно разговорчивая дама, дружила во времена «оно» с тетей Катей. Оттого бывая в Москве по хозяйственной необходимости, заглядывала к Леонтию, по старой памяти, а он, в свою очередь, порой отдавал визит. Академическая атмосфера, будто бы часть университетской лекционной аудитории была вырезана, выковыряна со своего исконного места, и перенесена сюда, на жилые метры, разве кое-где диван или платяной шкаф портили общую ученую картину. У Тер-Геворкянов – удивительное дело для сугубо армянской семьи, – не было и в помине такой обыкновенной вещи, как стол обеденный, профессор существовал словно бы на ходу, а Жанна Ашотовна обходилась маленьким сервировочным столиком на колесиках. Как они принимали у себя в гостях многочисленных – целую маршевую роту без преувеличений, – родственников, учеников, и просто друзей-знакомых, оставалось загадкой. И спальни у них не было. Это при пяти-то комнатах! Но не было и все. Будто одна сплошная библиотека, бумажные завалы, похожие на раннехристианские катакомбы, то тут, то там мелькала прислоненная картина, масло или акварель, даренная или профессор собирал живопись сам. И всегда в воздухе висела неистребимая пылевая взвесь – да и когда бы хозяйке прибраться? В столице проездом на день-два, зато всегда успевала забежать к Леонтию, если тот, разумеется, бывал дома, или записку оставляла, что, мол, приходила, и передает привет, никогда никаких просьб ни о чем, видно не решалась доверить племяннику покойной соседки даже самое простое поручение. И правильно. Леонтий бы позабыл все равно. Зато несколько раз пил с Жанной Ашотовной черный, до горечи заваренный чай, и слушал красочные рассказы об имперской Америке – профессорша умела повествовать, говорливость ее была отнюдь не занудного свойства, можно легко засидеться и час и два. Сам

Леонтий до Нового Света еще ни разу не долетал, не доплывал и пока в планах поездки не имел, зато почерпнул много полезного на будущее, а вдруг! И вот теперь он опять в квартире, хотя и без приглашения, пробирается вдоль коридорной стены, на ощупь все те же бесконечные стеллажи с книгами. Ему еще подумалось, может ведь он на правах старого приятеля, – ну, хорошо, пусть не приятеля, нос не дорос и возраст не вышел, – на правах знакомого соседского паренька, заглянуть: не нужно ли чего? Он бормотал полувслух свою легенду, получалось:

– Я на минутку, это Леонтий, может, вам говорили, я, собственно, о Жанне Ашотовне, тут пахнет у вас, я бы, если надо чего, вы не стесняйтесь, в случае, очень даже с удовольствием, – бормотание его вряд ли возможно было услыхать далее, чем за четверть метра, хоть бы при собачьей слуховой чуткости, да и не рассчитывал, что услышат, скорее для успокоения совести.

Он так и не вышел из пределов коридора. Не успел. Сначала ему показалось. Что сзади него скользят с шуршанием опрокинутые им по неосторожности бумаги, не удивительно же! Он смутился, забормотал громче, уже извинения. А потом. Вот это «потом» он как раз и не мог пересказать – пересказать таким образом, каким говорят о произошедших действиях, типа «я упал» или «мне дали по шее» или даже «на меня наехали» в переносном смысле. Он не то, чтобы не мог вспомнить, что же такое, или кто такой посторонний и преступный, с ним случился. Он вообще не сразу догадался, разве по истечению многих часов, что с ним вообще случилось что-то, вероятно уголовно наказуемое. Он только ощутил боль, страшную, резкую, невыносимо мучительную, от которой и померкло его сознание. В последнее светлое, разумное мгновение у него в голове мелькнуло закономерное подозрение: вот, допился, теперь получай инсульт – а по заслугам. Еще краем зацепила его надежда, что обязательно найдут, совсем в недолгом времени, и так же непременно спасут, хотя бы и при «скорой помощи». Он упал без чувств, успокоенный этой надеждой.

Очнулся Леонтий в своей собственной квартире. Голова трещала, как детская погремушка, ватное тело плохо слушалось руля, а пересохшее горло атаковала мутная, желчная тошнота. Леонтий лежал на роскошном своем диване с резными боковушами, над ним, согнувшись в позу обреченного томлению узника, возвышался на кухонном, стилизованном под избяной стиль, табурете, давний знакомец и сосед, Петька Мученик. Театральный фотограф и неудачливый женолюб.

– Где все? – спросил у соседа Леонтий, и подивился, что голос звучит нормально, неужто, инсульт его прошел без

последствий? Может, руки и ноги тоже в порядке? Видел и слышал он хорошо.

Петька встрепенулся, горбоносый профиль, будто флюгер, повернулся в сторону Леонтия.

– А? Чего? – кажется, он задремал, и разбуженный, не сразу начал соображать.

– «Скорая» уже того? Уехала? И что сказали? Кто меня перенес? Она? Нет, она бы не смогла. Нежная такая.

– Бред, достойный Гоголя! – хихикнул вдруг с высоты табурета Мученик. – Видать, приложился от души. У тебя, братец ты мой, сотрясение. Я тебе осведомленно говорю. А что, с какой-то феей был? Сбежала? Вот стерва! – как бы перевернул на себя возможное развитие событий Петька. Для указания на дам и их кавалеров он по преимуществу использовал только лишь два определения – фея, если особь женского рода, а везучего на баб мужчинку, не зависимо от внешности именовал почему-то крысиным прозвищем «пасюк». Где вычитал и от кого впитал, об источнике затейливой эрудиции Петька Мученик нарочно умалчивал.

– Да я… постой, постой! А где… ты-то откуда взялся? – вдруг взъерошился Леонтий, нехорошее подозрение внезапностью своей осенило его.

– Откуда взялся! Лучше бы спросил, откуда это я тебя взял! Валялся на лестнице, будто в дымину, я так подумал сначала. А после пригляделся, вроде не сильно бухой. Ну да ладно, споткнулся и споткнулся. Я все равно к тебе шел. Подобрал, конечно. Ты, братец мой, весишь сто и один пуд. Так что, с тебя причитается пол-литра, когда сможешь, само собой. Тогда и разопьем. Только смотри, не водяры какой-нибудь, знаешь, как я тебя тащил! О-о-о, если бы ты знал, братец ты мой, как я тебя тащил! Тысяча и одна ночь! Ты бы фирменного коньяку не пожалел! – Петька мечтательно облизнулся. Выпивать на халяву было его любимым спортивным развлечением. Хоть без закуски, хоть в подворотне, хоть и с люмпен-пролетариями, лишь бы наливали за так. При этом Петька считал себя определенно непьющим, моральным, трезвым человеком.

Он все припомнил, совершенно все припомнил, все плохое, едва только Петька произнес эти самые слова – «тысяча и одна ночь», – и коварные шорохи в неосвещенном коридоре, и рвущую на части боль, и падение в бессознательность, и – роковую, чужую ему пещерную дверь, за которой стоял запах беды. Она и произошла, только с ним самим… Господи всесвятый!

– Который час? Который теперь ча-а-с??!! – возопил от ужаса Леонтий, рванулся с дивана и снова пал, будто нокаутированный

боксер-любитель, с жалким ой-ойканьем: сотрясение, наверное, и впрямь имело место.

– Уже без десяти восемь, провалялся ты, братец мой! Я тебе скажу! Я уж и пообедать сходил, к себе. А ты все лежишь в отключке, бормочешь что-то, про какой-то газ. Ты мастера вызывал, что ли? Не приходил никто. Кстати, не взыщи, я тебе там принес, бутер с беконом, у самого больше нет ни черта. Могу чаю накачать.

Леонтий слушал расхлябанную речь Мученика и обалдевал. От тоски. Без десяти восемь, значит, эфир прошел без него, если вообще прошел. Он теперь безработный, по понедельникам он теперь отныне безработный, дворовый шаман скажет то же самое и не ошибется. За подобный финт хорошо, если выставят без пособия. А то и репутацию круто могут подмочить, шеф, он такой, каверзный, злопамятный говнюк. И только Леонтий подумал так, как тут же, будто по волхованию и наваждению, раздался звонок. Мобильно-телефонный.

– Алло! – без малейшего намека на энтузиазм выдохнул в трубку свое отчаяние Леонтий.

– Живой! – раздался на том конце облегченный от тягостного сострадания голос. Родной, родимый, того самого злопамятного шефа, Климента Степановича, по прозвищу «Граммофон» – влепили за одну и ту же заевшую пластинку. На тему дисциплины. Бесконечную. Ну, и бог с ней! – Ты живой! Мы уж тут всякое думали! Авария, гаишники, такси под грузовик, черепно-мозговая! Какой-то козел звонил, дал телефон больницы, там не знают ни хрена, потом сказали – выписали с рентгеном! И все! Как рентген-то?

– Нормально, – это был совершеннейший автопилот системы самосохранения, включился, больше ничего, Леонтий хоть одно догадался сделать: прикинулся веником, – трещины нет, сотрясение, тело болит.

– Ты лежи, лежи, – забеспокоились на проводе. – Мы как услыхали, стали собирать – ты скажи, что надо. Деньги, лекарства, продукты, Люба завезет, ты скажи только.

– Ничего не надо. Тут сидят со мной. Хотя… продукты, нет, тоже не надо, тошнит, – здесь Леонтий не солгал.

– А мы тебе апельсинчиков! Любишь апельсинчики? Или мандаринчики, а? Вот и отлично, – обрадовался чему-то своему «Граммофон». Наверное, возможности поставить себе галочку милосердия к ближнему. А может, Леонтий был к нему предвзят, вообще-то шеф был ничего, не законченная сволочь, просто такая пошла теперь жизнь. – Скоро Люба подвезет. С запасом.

– Спасибо, – уже играя роль, прошептал обессилено

Леонтий. – Как там эфир?

– Не беспокойся. Попросили Звездинского, он покочевряжился сперва, мол, лишний час теряет, но только узнал о тебе, тут уж без разговоров, и подменил и даже на свое место второго гостя сыскал. Очень оперативненько, правда гость был сомнительный, его же собственный референт, но ведь и ситуация внештатная.

– Ага! – сумел выдавить из себя Леонтий, впрочем, уж кто-кто, а Звездинский слыл человеком, без сомнений, благородным, хотя себя сам ни за что не посчитал бы таковым. Полагал джентльменскую репутацию зазорной, отчего-то безопаснее ему казалось слыть за жесткого и местами негодяистого типа. Но не получалось, натура все-таки брала свое. О времена, о нравы! Леонтий фыркнул в телефон.

– В общем, ты лежи. Как отлежишься, тут идея есть. Тебе понравится. Ну, бывай и не хворай, – «Граммофон», не дожидаясь ответных прощаний, повесил трубку.

А Леонтий не мог все поверить своим ушам. Какая больница, кто позвонил и дал телефон? Точно это был не Петька, вон сидит и не заинтересовано пялится в пустое пространство, да и не знал Мученик его планов на сегодняшний день. И куда звонить тоже понятия не имел. Леонтий от беспомощности схватился за голову. В буквальном значении. Вроде бы как обозначил жестом «Ой-ой-ой! Что же происходит со мной, люди добрые!», однако, голова его не вынесла подобного обращения. Потому что, прямиком он попал на самое больное место. На гематомную шишку. Попросил Петьку посмотреть, что там такое.

– Об угол, предположительно, трёхнулся, братец ты мой. Иначе я бы сказал – тебя замочили, то есть, хотели замочить. Ударом тупого предмета. Топора, например.

– Это не тупой предмет, если ты не обух имел в виду, – но что-то щемящее, сбивчивое уже колыхнулось в его сердечном ритме, нарушило его, пустило вскачь. Петька прав, его и вправду хотели… ну, может и не убить, но что дали по башке, это уж, наверное. Познакомился, здравствуйте! Что же теперь делать? И надо ли вообще делать что-то?

– Чай будешь или как? Тебе полезно, с лимоном. Только лимона нет.

– Сейчас привезут. Люба со студии, – утешил своего заботливого соседа Леонтий. – Ставь чайник. Да не бойся, газ у меня в порядке.

Задним числом пожалел, что так и не спросил у «Граммофона», кто же такой оказался Офонаренко Св. Ден.? Он это был или она?

О «сущном» и насущном

Он проболел весь следующий день тоже. И следующий за ним. И следующий. Сотрясение оказалось нешуточным. Не слишком скверным, но все же, без врачебной помощи не обошлось. Сердобольная Люба, та самая, которой суждено было привезти Леонтию апельсины-мандарины, сунула ему наскоро начертанный на клочке бумаги телефонный номер – отличный специалист, невропатолог, то что, нужно, не стесняйся, скажи, от Ефима Лазаревича – кто такой? шут его знает, но помогает в общении – тогда приедет на дом, расчет сто евро, можно российскими деньгами. Он и позвонил, промаявшись ночь с Петькой и свирепой головной болью – от Мученика вышло мало пользы, не потому, что оказался бестолков, а просто Петька был не врач, ничем кардинальным помочь не мог, даже медицинским утешением – его словам «наверное, ничего серьезного» Леонтий не сумел придать веры. Разве сосед менял холодную мокрую тряпку на его страждущем лбу, или пытался заставить пить болеутоляющее, но тут Леонтий отказывался наотрез, как бы хуже не стало, и заодно не смазать клиническую картину – подслушал фразу в кино. Однако случилось, что был совершенно прав: о том ему поведал хваленный невропатолог, сто евро взял, плюс за такси в оба конца на Масловку, и прописал какой-то «энцефабол» дважды в день по две таблетки. Петька сбегал за лекарством в аптеку. А еще отличный специалист прижег шишку йодом – та «кровила» время от времени, – и велел лежать, хотя бы денька три-четыре, спиртного в рот ни-ни, не садиться за руль и, ни боже мой! на карусели не кататься! С чего это светило мозговой терапии взяло, что тридцатипятилетний мужик захочет крутиться зимой на каруселях, было совершенно неясно. Но Леонтий решил – сие предупреждение из разряда обязательных дегенеративных, типа «не сушите домашних животных в микроволновой печке» или «выходя из самолета, убедитесь в наличии трапа», в общем, что-то вроде того.

Зато у него появилось свободное время. Законно удостоверенное, даже оправданное медицинской справкой, свободное время. Нафиг оно было ему нужно! Спрашивается. Леонтию необходимы были деньги, вот что реально требовалось, и, следовательно, возможность их заработать, а он валялся. И ничего не мог с собой поделать – он был рад. Лежать, болеть, отвечать на сочувствия, спроваживать «напряжных» посетителей и задерживать у своего «ложа страждущего» тех, кто был ему приятен. Петька Мученик выступал за распорядителя и

привратника, когда не занимался собственными заработками, понятное дело. Самое хлопотное и затратное для здоровья было – сплавить как-нибудь вежливо, но решительно необратимо, маму – Ариадну Юрьевну Левашову, по первому мужу Гусицыну. Леонтий вовсе не мог сказать о себе – дескать, единственный ребенок в семье, – но сын, сыночек, сыночка, да, такой он был у мамы один. Младшая вредоносная его сестренка Лиза пятый год как якобы проходила стажировку в Германии, теперь в Берлине, и насколько Леонтий о ней понимал – назад в Россию ни в коем случае не собиралась. Да и стажировка та! Четвертый университет сменила, просто ей нравилась жизнь в Европе, сестра даже денег никогда не просила, ни в долг, ни в дар, сама зарабатывала, числиться в стажерах ей было выгодно – тем самым обеспечивалась въездная учебная виза, но домой ни-ни. Лучше в судомойки чем… чем «что», она не уточняла, но Леонтий и сам понимал – чем тут у вас. Общался с ней исключительно по скайпу, «ото и тильки», как говорят наши братья-украинцы. Однако мама – мама это была проблема. Хорошо еще, саранчой не успела напустить на него орду врачей – визитка «Семен Абрамович Гингольд, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук (который от неведомого Ефима Лазаревича)», в золотом обрамлении с вензелем, произвела на нее умиротворяющее впечатление, мама доверяла исключительно еврейской прослойке отечественной медицины. Иное дело, бедная мама, низенькая, пухленькая, рыхлая, словно недопеченная пышка, пожилая женщина, ни секунды не могла усидеть спокойно на одном месте именно в его квартире. Чтобы ей попить чаю с булкой, если то и другое имелось в наличии, или хотя бы посмотреть телевизионный сериал? Куда там! Мыть, тереть, стирать, перетряхивать и перекладывать, без устали и без особенно заметного результата было ее любимым занятием. А Леонтию как раз требовался покой. Еле-еле удалось втолковать, что свежий воздух больному сыночку, безусловно, необходим, но как раз сейчас, в лютый снегопад не надо доводить все окна до стерильности, и вообще – мама, ничего не надо! Пожалуйста! С ним в целом страшного не произошло, завтра уже встанет, в выходные он сам приедет навестить, и маленькую Леночку привезет, честное пионерское, а как же! – с Калерией все в порядке, мама, иди бога ради, ты волнуешься, а я от тебя – еще больше. Я совсем разболеюсь…. И я тебя тоже… очень…

В один из дней его и вправду навестила Калерия, он не солгал маме – сама, без дочери, без Леночки, видимо, хотела прочесть назидательную лекцию и сделать внушение. Но ничего такого у нее не получилось – бывший муж имел без притворства

жалкий вид и жалобный, срывающийся голос, да и шишка на его обмотанной мокрой тряпицей голове была натуральной, и чем-то великолепно зловещей. Калерия даже рукой на него замахала: какие там алименты, о чем речь, лежи, чучело мое! Потом, потом. Настырно заставила проглотить две таблетки пустырника «для поддержания сердечной мышцы», после чего всплакнула, просто так, из сочувствия. Леонтий еще подумал, что, если бы вот, она чаще плакала, пусть досадно и по любому поводу, пусть по крокодильему притворно, неважно, вместо того, чтобы по тому же любому поводу справедливо (что хуже всего) громыхать громами, он бы нипочем и никогда бы с Калерией не развелся, он бы терпел. Подумаешь, слезы. Ему вспомнилась любимая присказка двоюродной бабушки Поли, той самой, из Чернигова – ничего, ничего, деточка, больше поплачешь, меньше пописаешь. Женские слезы он переносил легко, и вообще считал их признаком милой беспомощности, что особенно ему казалось симпатичным в женщинах крупных, в себе решительных и хватких. Только он знал наперед: сейчас Калерия поплачет, поплачет, а спустя минуту-другую обязательно начнет греметь, пилить, сверлить и выполнять на его счет всякую иную столярную работу. Потому разведенную свою жену Леонтий спровадил с глаз долой заведомо раньше, чем кончились ее сочувственные слезы, удачно притворившись внезапно уснувшим страдальцем. Ну, спи, спи, все-таки… Что «все-таки» она не договорила, но Леонтий знал и так, он продолжил за нее – «все-таки ты мне не чужой».

Он лежал, он болел, он в минуты просветления строил планы на грядущее, он только не делал и не собирался делать одной единственной, самой логичной, самой вроде бы насущной вещи в его положении. А именно. Он не собирался звонить в полицию. Как и вообще в любые правоохранительные органы. Хотя на его месте всякий здравомыслящий человек, возможно, что связался бы даже с ФСБ. Насчет шпионажа и драк, а также несанкционированной деятельности на территории страны нелегальных химических лабораторий. В конце концов, какого разэтакого обдолбанного кучера здесь происходит! В родной бывшей стране Советов! Но Леонтий никуда звонить не стал. Он вообще не обмолвился ни словом об истинной подоплеке происшедшего с ним, и с Петькой Мучеником тоже ни ползвука. И когда пришел Костя Собакин, словно бы меж ними скандального не было, словно бы с чистого белого листа, Леонтий обрадовался бы, до краев и с подлинным чистосердечием, если бы его не тошнило так упорно и страшно, но и ему, самому доверенному другу не сказал ничего. Костя не ждал от него ни радости, ни откровений, ни тем более извинения, Костя принес последние

серии «Теории большого взрыва», две банки ананасового сока, сухую колбасу в нарезку, финские сухарики-хлебцы, любимых маринованных огурцов и что-то еще, мало портящееся и вкусно-съедобное. Костя оказался действительно желанный полезный посетитель, в отличие от многих прочих, хотя к чести того же Коземаслова надо признать: Ванька притащил какого-то необыкновенного устройства надувной матрац и не ушел, пока не проследил, чтобы Мученик надул его, как следует, и подложил под «беспомощное тело друга», по выражению самого Коземаслова. Кстати, матрас достался неплохой, удобно текучий, боли в голове как будто бы даже уменьшились. А у Леонтия многосторонняя забота о его особе вызвала приступ сентиментальной чувствительности – казалось, все проблемы разрешились сами собой и с Костей Собакиным, и с Калерией, и с «Граммофоном», и Ванька Коземаслов вышел на поверку много лучше, чем Леонтий позволял себе думать о нем. И мир прекрасен и многолик, и люди в нем добры и милосердны к ближнему, он чуть было тоже не пустил слезу, да вот только вовремя вспомнил. Что именно послужило причиной его болезни и что как раз милосердные люди, или, по меньшей мере, один из них, приложил его от души по черепушке, да так, что, наверное, едва не угробил. Вот именно поэтому Леонтий не звонил в полицию, и в ФСБ не звонил тоже. Все же его не убили, не прибили до смерти, не добили и не доконали, а попросту выбросили на лестницу, хотя могли… Но, если и не могли, зачем провоцировать. Можно сказать, с его пробитой головой все закончилось, вопрос, что называется, исчерпан. Так зачем же его поднимать? Чтобы неведомая карающая рука довершила свою работу? Пиши потом из городского морга в Страсбургский суд о правах гражданина и человека! Лучше проявить благоразумие. Здесь вам Россия, здесь вам не тут. В общем, не Пикадилли-стрит. Полицейский, он ведь тоже русский человек, его еще заинтересовать надо. А так – ну приедет рядовой опер или прибредет унылый участковый, ну, поколотится он в закрытую дверь, ну скажет, сам дурак, с лестницы упал, еще обматерит. Конечно, если заинтересовать, то может, постучит в бронированные врата Тер-Геворкянов раза два и не обматерит после, но даст дружеский совет – парень, плюнь ты на это дело, все же хорошо закончилось в итоге, не лезь больше, мало ли что, сам знаешь. И правильно скажет. Он не виноват – просто такая теперь жизнь. Поэтому Леонтий никуда и не звонил. Он, честно говоря, опасался подсознательно, как бы ему не позвонили. В телефон или в дверь. С предупреждением, что, мол, еще раз! Сунешься. Тогда извини, пеняй на себя. Он лежал и болел себе

тихо.

Он, можно сказать, болел благодушно, хотя в редкие мгновения вносил поправку в уме – малодушно, малодушно, братец ты мой, как выразился бы Петька Мученик. Ну и ладно, пускай конь педальный заест проблему. Так проще. А вдруг – в самом деле, нелепость какая, случайная и смехотворная. Допустим, э-э-э…, да что угодно. Помешал свиданию любовной парочки, лифт, как средство отступления, был заготовлен для спешного бегства. А тут Леонтий, подумали на него, что муж, что вернулся из командировки, «избитый» сюжет, Леонтию тоже досталось по сценарию, вроде как пьянчужке актеру, забредшему ошибочно не на свою съемочную площадку. Гримировался на роль «мыльного» коммунальщика-подхалима в бытовухе, а угодил в бронированные псы-рыцари на Чудское озеро. А что с «прощения просим» после не пришли, из Тер-Геворкяновской квартирки, так может стыд, он тоже, глаза ест. Сидит – чего не бывает, – шиншилловая дева у себя в теремочке и горько сокрушается, что ухайдокала неизвестного богатыря. И спросить о здоровье совестно, может даже, страшновато, и не спросить – свинство поросячее. Люди разные, кто знает. Насочинял Леонтий себе. Хотя непримиримая его верная интуиция, частенько замещавшая пылкое сердце и совесть обыкновенную, с коварным злорадством сигналила изнутри – не было! Не было нелепости, не было случайности, а было намеренное покушение, которое – завершись оно несколько иначе, к примеру, бездыханным телом, – все одно бы рыданий у модной красотки не исторгло. Ну, зато что ни делается, все к лучшему – совсем уж с каким-то подленьким смирением уверял себя Леонтий – уверял и корил одновременно, он не лучше и не хуже других, он слабый человек, он даже Ваньку Коземаслова не может выгнать в шею. А тут криминальная история. Раз ты из малых сих – сиди и не чирикай. Не то, больно будет. Это Леонтий понимал. Но не выдержал, подсластил пилюлю. Совпадение-то необыкновенное, как все разом утряслось! И на радио, и в личной жизни. Об алиментах, к примеру, можно не беспокоиться, долгое время, и Костя Собакин опять ему друг, и «Граммофон» обещал нечто заманчиво приятное, ах, да! Из больницы-то кто сообщил? И не было больницы, не было! Чертовщина, дедовщина и барщина в одном флаконе! Невероятная смесь. Но была забота о нем. И забота какая-то странная, будто бы протянулась инопланетная рука с Луны, или трезубец Нептуна из кухонного водопровода. Взмах, оп-ля! По щучьему велению. Взять бы ту щуку за жабры – с внезапно вспыхнувшей злостью подумал Леонтий. Но взял он не щуку – попросил у Петьки дать ему в кровать лэптоп, три дня

впустую валяться – этак кондрашка точно хватит. Он вовсе не намерен работать. Хотя на нем висит, и сроки выходят – Гена-«Валет» обещал, что все хозяйство ему оборвет, если заказанной статьи не будет на следующей неделе. Но сейчас только почта, только чуть-чуть, Леонтий ждал важное письмо. Петька многозначительно покашлял, предостерегая, но дал просимое – эх, братец ты мой: только и сказал. Ему пора было бежать на какой-то прибыльный показ, пора было становиться Гийомом Абстрактным, может и не лучшим фотомастером Москвы, но очень неплохим, а уж по обозначаемым Петькой ценам – просто нарасхват, к тому же красивых женщин он частенько снимал задаром – и напрасно, все равно выходило именно задаром. Он был несчастливый ловелас.

Ужели Леонтий не предостерегал его великое множество раз! Петька, брось ты умные разговоры, смени антураж. Эрудиция сейчас не ходкий товар. Не семидесятые годы. Когда хриплые и патлатые ученые умницы могли получить любую бабу, стоило только глазом мигнуть. И получали, разве что ноги им поклонницы не мыли, а так если припечатали тебе клеймо «старик, ты гений» или «большой он у нас талантище», все! Отбою не станет. Хоть ты водку жри с утра до ночи, хоть при посредстве утюга обыкновенного лупцуй смертным боем, все равно. Немало было женщин и девушек, желавших положить свое нагое тело и чистую душу на эфемерный алтарь чужого дарования. Задаром, безвозмездно совершенно, лишь бы позволили на закате жизни поплакать у могилки и с чувством повспоминать, как бил и как чудесил, и что замечательней его, поганца-гения, никого на свете не было, нет и не будет. Те времена случились однажды, и прошли. Прошли безвозвратно. Но Петька Мученик это отказывался понимать. Оттого и прозвище его сложилось. Всякий раз, после закономерно неудачного ухаживания, он вздыхал перед разношерстными приятелями – замаялся я с ними совсем, жить-то когда? Одна мука, братцы мои. А вздыхал и жалобился он часто, отсюда пошло: Петька Мученик. Так прилипло, не отодрать. Хотя чудные свои фотоработы он подписывал «Гийом Абстрактный» – смысл витиеватого псевдонима едва кто постигал, но звучало красиво. В этом был весь Петька – на первый взгляд малопонятный и несъедобный для современных ему женских, хищных желудков. Его и не ели. Не пробовали даже на вкус, словно заведомо ядовитое растение.

Но что примечательно, Петька отличался расторопной благодарностью – редкое качество по любым временам. Нынешняя квартира его – видал бы он виды, если бы не Леонтий, – так чуть ли полы теперь не мыл в гарсоньерке, через

день наведывался, не надо ли чего, вот и в роковой час по совпадению счастливо заглянул, спаситель. Хотя, что такого особенного Леонтий сделал для него? Пара пустяков. Стукнул по дружбе, что, мол, сдается у знакомых без посредников порядочному холостому мужчине, и перед соседом Иосифом Карловичем рекомендовал, дескать, ручается, приятель его старой закалки, девиц водить не будет, вертеп тоже не устроит. Какие там девицы – через полчаса сбегала самая терпеливая, если вообще удавалось изредка заманить. А вертепа не было, как обещано – Петька устроил домашнюю студию, с зонтиками-отражателями и дорогой «кодаковской» фотопечатью, аккуратненько и чистенько, мусор выносил сам аж на улицу, не доверяя мусоропроводу, отчего-то он опасался, что забракованные им, постановочные снимки и портреты могут попасть в руки недоброжелателей, рвал на мелкие кусочки и тащил в завязанном черном пластиковом мешке во двор, будто бы избавлялся от расчлененного трупа. У каждого свои причуды, Леонтий частенько подшучивал над ним, но Петька возражал – ничего он не понимает. Будто бы Петька в жизни понимал много!

На взгляд Леонтия как раз Мученик не понимал только одного, зато главного. Причину его стойкого неуспеха у дам – хотя каких еще дам! Дам уж давно переименовали, их не существовало в «рэсэфэсээре», да и самого РСФСР не было в помине – Российская Федерация, коротко и внятно. Место дам заняли телки, мочалки и чувихи, или еще похуже – это уже не для цензуры. Вот у них-то Мученик при его политике охмурения никак успеха иметь не мог. Дело было не столько даже в произносимом прямо тексте его речей, сколько в смысловом подтексте, который за ним скрывался. Это как – написали вы слово «корова», а картинка к нему может прилагаться двоякая: жвачное животное или толстая тетка, то и другое семантически верно. Вот и с Петькой выходило примерно так. Сами по себе умные разговоры, может, никого бы не напугали, если бы… Если бы по сложившемуся стереотипу за умными скучными разговорами не стояли – далее по списку: житейская непрактичность, отсутствие денежных средств и перспектив, слабое здоровье, неумение «оттянуться», равнодушие к внешнему виду, ладно бы своему, но и своей подруги (это уж совсем ой-ой-ой). Ну и так далее, в том же духе. Ничто или почти ничто из вышеперечисленного к разряду Петькиных грехов не относилось, он бывал при деньгах и при хороших, практичность его если не была выдающейся, то вполне пригодной для жизни в мегаполисе, здоровье тоже имел ломовое, несмотря на то, что Мученик. По поводу «оттянуться» лучше вообще было помолчать, тут только

наливай-успевай. Даже внешний вид Петька – худющий как загулявший мартовский кот, костистый и лохматый, похожий на недоедающего крестьянина с картин Прянишникова, – порой придавал себе вполне гламурный, а по обычным дням облачался в небрежный «кэжуал» для среднего достатка. Но едва стоило ему завести с понравившейся женской особью разговор на тему разности ашкеназского и сефардского произношений в древнееврейском языке – Мученик свободно читал Ветхий Завет, так сказать, с листа в оригинале, – тут его настигал полный и безусловный облом. Петька жалился и сетовал, что вот, мол, общее оболванивание, беспросветная тупость и травоядность, никакого родства двух душ, сплошной ужас и кошмар гибнущего в идиократии мира. А ничего подобного не было. Может, многим его потенциальным пассиям показалось бы интересным и о древнееврейском языке, и о том, как финикийский алфавит повлиял на греческое письмо, тоже ведь живые люди – не век же им думать о тряпках не хуже, чем у этой дуры Маргоши, или о тачке покруче, чем у Горгоны Васильевны. Но всему свое место и время. Человека надо узнать получше и поближе, чтобы понять – он не только о развалинах Иерусалимского храма, однако способен вполне об ипотеке под хороший процент, и не впустую трепаться, но выбить и получить. А Петька этого времени не давал, сразу пускался галопом через буерак, он даже не говорил – вещал. На бедняжек словно бы обрушивался пыльный шквал библиотечных, пустынных ветров безнадеги и безденежья – того, от чего современные дамы, ставшие против воли телками и бабами, старались держаться по возможности дальше. Они считали его неугомонную просвещенность верным признаком бедолаги-неудачника, вечного лузера, обиженного на белый свет, а такой – кому он нужен! Разве старой деве-учительше: затрапезной географии или хорового пения в дворовой школе, пережившей девяностые в ледяном голодном коконе, но вот беда – у последних сам Мученик никогда не пытался искать расположения. Он тоже был разборчив и падок на шик, хоть бы дешевый, и красоту, пусть бы поддельную. Как все нормальные мужики. Да вот незадача – всё стрелял мимо. Любимой его поговоркой было: шикарные женщины как дорогие автомобили, с ними больше трахаешься, чем на них ездишь. Каждый из его приятелей трактовал суть изречения по-своему. В зависимости от везения.

Петька ушел на цыпочках, неслышно прикрыв за собой входную дверь, а Леонтий в своей гарсоньерке впервые пожалел: надо было приучить всех знакомых визитеров хотя бы спускать с «собачки» английский замок! Эх, задним числом умом крепок!

Ему отчего-то сделалось не по себе от мысли, что дверь его, фанерно-картонная, хоть и оббитая чудной тисненой, искусственной кожей, все равно, что нараспашку, натурально может зайти любой, кто хочет. Если раньше это обстоятельство было предметом удовлетворенной гордости, то ныне все в корне изменилось. Боязно стало Леонтию за открытой дверью. Вот бы бронированную на семь замков! И противопехотную мину под половик! Он отложил в сторону лэптоп, отвернул нагретое одеяло, и, шаркая босыми, стынущими ногами, словно древний старик, пораженный болезнью Паркинсона, заковылял в прихожую. Его била короткая дрожь, точно в его теле разрывались тысячи тоненьких, меленьких ниточек – с нежным стоном, трень, трень! – Леонтий решил, это, вероятно, от холода. Он дошел кое-как, затянул до упора оба защитных замка – хлипкие, случайные, ненадежные, – все же сделалось ему немного спокойнее. Может, стулом подпереть? Но не было у него обычных стульев с обыкновенными спинками. Все равно, подумал он, пока будут ломать, он успеет. Успеет что-нибудь – набрать 02, закричать с балкона, открыть воду, дабы лилась на соседей: тогда обязательно прибегут. О том, чтобы сообщить подъездной охране, речи не шло – в междоусобные дрязги жильцов привратные молодцы никогда не вмешивались, даже поубивай ответственные владельцы друг дружку до смерти. Вахтенный долг – держать и не пущать чужих, а уж что там творят свои, не их ума дело. Те, кто могли прийти за Леонтием несомненно были из своих. Он совсем зарапортовался. Что за чушь! Свои, чужие! Хотели, давно бы пришли. Подумаешь, какой невиданный страж Петька Мученик. И не все же время он до сих пор сторожил. С чего Леонтий-то завелся? Запер дверь и ладно. Но было ему по-прежнему страшно.

Леонтий снова лег, натянул до подбородка остывшее одеяло, принялся медленно считать сначала до сорока, потом до ста, потом дышать глубоко, на один длинный вздох два коротких выдоха. Не то, чтобы стало ему спокойнее, но он отвлекся от мыслей вообще, будто бы сознание его повисло в узком, душном коридоре между мирами бодрствования и сна, в пространство которого не допускаются никакие мнимые или реальные чувства. Так он лежал, по-заячьи скрюченными руками вцепившись в край сатинового чехла, зубы его голодными, жующими движениями впивались в жесткий угол накрепко сшитой ткани, вымочили его насквозь слюной, но Леонтий ничего не замечал. Пока вдруг в его памяти не всплыло, четко и с укоризной: а письмо-то он не открыл и, как следствие, не прочитал, долгожданное письмо – он успел отметить, что пришло, успел еще до того, как животный страх подчинил его себе.

Так бывает, знаете ли. Сбили вы, допустим, личным автомобилем на дороге человека – пусть не по своей вине, пусть он лыка не вязал и шел напролом через кусты, а вовсе не по пешеходному переходу, пусть даже дело было глухой ночью на неосвещенном участке шоссе, пусть вы ехали сорок в час и тормоза в порядке. Пусть. Но вот вы сидите на грязной обочине в умственном затмении и непробиваемом ступоре. Вам бы тем временем: срочно звонить в полицию, с добровольным содействием, или оказывать первую помощь, хоть какую, после зачтется, или фотографировать на телефон место происшествия, пока заметны следы, или призывать и заинтересовывать свидетелей вашей полной невиновности. Однако вы сидите и сидите, в голове ни единой мысли, только безбрежный океан пустоты. Как вдруг. Ба, да ведь ко мне Люська через полчаса придет, а я! Ключа-то у нее нет! Беда. И давай названивать этой Люське. Потом уже естественно в полицию, потом – первая помощь, потом – по списку: телефон, свидетели. Все, в итоге, заканчивается изрядным геморроем, но мирно, без следствия и тюрьмы, полюбовно, для всех трех сторон (под третьей стороной подразумеваются работники ГИБДД, несущие тяжкую службу в дождливую ночь) – выплата небольшой компенсации пострадавшему алкашу, выплата вознаграждения, уже побольше, за протокольную маяту (несчастный, непредумышленный случай без жертв и травм чего-то тоже ведь стоит). А все почему? Спасибо Люське, что вовремя напомнила о себе. Хотя Люська-то как раз ничего не получила, кроме испорченного вечера…

Вот и Леонтий оторвался от процесса жевания одеяла, схватился, потянул к себе лэптоп, улегся поудобнее, поджав нервно подрагивающие колени к обслюнявленному подбородку – заметил, утерся, на миг стал сам себе неприятен, – потом, наконец, открыл нужное почтовое окошечко. Уф, надо же и делом заняться. Хотя, строго говоря, это было никакое не дело. Это было…

Минуточку. Пожалуй, без некоторого отступительного разъяснения не обойтись. И вряд ли будет оно кратким. Но может, кому-то покажется весьма интересным, или даже интригующим. Итак. Все началось с того, что где-то примерно с год назад Леонтия одолела одна трепещущая мысль. Нет, если честно, началось все еще раньше, с некоторого неудобства в ощущениях, которое постоянно испытывал Леонтий, общаясь, «чатясь», играя, работая, и просто любопытствуя без конкретного побуждения в пространстве интернета. Неудобство это можно было бы охарактеризовать следующим образом одной лишь фразой – эстетическое голодание. Не то, чтобы Леонтий слыл

таким уж безупречным эстетом во всех отношениях, вкусы его во многом оставались приземленными и согласно собственному мнению о себе – «неразвившимися из личинки в бабочку». Кроме земли обетованной его устойчивого существования – речь шла об области языкознания, ее грамматических, стилистических, синтаксических, семантических идиллиях. Это был райский сад вожделений, оазис благотворный, заветная страна Беловодия, неприкосновенный прометеев огонь, любимая игрушка и обожаемая работа. Конечно, в журналистике свои особенности, Леонтий мирился с ними, а что оставалось делать? К его действительно неподдельному прискорбию, он сознавал свою литературную беспомощность, не оттого, что не сумел бы написать хороший роман, небольшую повесть или рассказ, нет. Дело обстояло куда хуже. Он не смог бы ничего этого придумать. А без нимба, сверкающего аполлоническим сиянием безудержной фантазии, в святые апостолы художественной прозы он не годился. Он был великолепный интерпретатор, оформитель, рассказчик чужого слова, в этом заключался его безусловный дар – но и только. Трепать перо на заданную тему – сколько угодно, умно, тонко и в меру иронично, из него вышел бы, пожалуй, неплохой критик, будь Леонтий посмелее, если бы смог он преодолеть органическое отвращение к тому, чтобы за просто так обижать малознакомых ему людей, хотя бы и справедливо – от заслуженности наказания обида становится еще горше, это он понимал, и не поднимал руки своей, дабы вывалять бездарного ближнего в грязи. К интернету же он пристрастился, как любой среднестатистический наркоман привыкает к доступному в свободе дешевому «балдежу». Да и редкое вечернее одиночество в последние годы порой давило его. А тут – какой простор! Прямо будто название в честь любимого им полотна Репина. Только коробило Леонтия, от рубленных фраз, от пропущенных букв, от варваризмов, от письма на скорую руку вопреки всем правилам словоупотребления. Нельзя же так! Восклицал он частенько вслух, оставаясь тет-а-тет с «ноутбуком» по вечерам, все равно никто не мог слышать его. И в мысленном представлении тогда всплывали недостижимые эпистолярные изыски прежних времен, не то, чтобы «Очакова и покоренья Крыма», но хотя бы переписки Белинского и Гоголя, Чехова и актрисы Ольги Книппер, или измусоленного до банальности Пушкинского шедевра «Письмо Татьяны к Онегину» и соответственно обратно – его послания к ней. Пока однажды он не решился – возродить! И возродить немедленно! Создать своеобразный интернет-клуб, для всех желающих и страждущих, пусть их будет немного, зато в тельняшках – в смысле, немного преданных и увлеченных

эпистолярным жанром, можно историческим, можно современным или даже придуманным по случаю. Лишь бы было красиво, сильно, с присутствием мысли и оттенком чувства, с дуэльными правилами чести для несогласных оппонентов. Ведь вот что еще! Что еще раздражало Леонтия в мире виртуальных отношений. Возможность и позволительность безнаказанного унижения и оскорбления кого попало кем попало – не дочитав, недопоняв, иногда даже едва взглянув одним мутным глазком, хамы и просто мало воспитанные люди выдавали в печать такое! Что Леонтий взаправду начинал жалеть о недоступности немедленно «дать козлу по морде», пусть он окажется втрое сильнее и вдвое выше его ростом. В своем клубе он намеревался покончить со всем этим. Без насильственных методов, без открытия анонимности пишущего и участвующего, без ответных оскорблений. Он составил Уложение, нечто вроде программы его клуба, долго и кропотливо возился, чтобы получилось одновременно призывно и доходчиво, и предложил всякому согласному с ним желающему вступить – подписаться добровольно под каждым словом или хотя бы отправить короткое «да». Но если бы затесался случайно, или может быть, нарочно, в их ряды «хам вокзальный», краткая рекомендация гласила: ничего не предпринимать, ничего не отвечать, а как бы делать вид, что его вовсе не существует – бойкот свирепое и ехидное дело, главное, само по себе оскорбительное весьма. Итак, однажды, в осенний дождливый день интернет-клуб «Свинопас богоравный» (крутой закос и замес на «Илиаде» Гомера) под его водительством начал свое существование. Девиз интернет-союзников был провозглашен: «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР, ДА ЗАПОЕТ В ПАРУСАХ «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»! То есть: чем безумней мечта, тем она прекрасней.

Леонтий помнил, как первым откликнулся какой-то суматошный паренек, пожелавший представиться: ботаник-о-чем-не-жалею. И вот этот самый ботаник разразился студенческим стишком, дабы поддержать коллективный нестойкий дух будущих корсаров нового корабля.

Разбежались мои мысли:
Мимо – станции, как выстрел,
На «Сапсане» кто куда.
Телеграфные, борзые,
Женолюбо-озорные,
Электронно-наливные.
А в стакане «Хванчакара»,
Географии ура!

Как-то так. Но для начала сойдет, подумал тогда Леонтий. Все же рифма была на месте, и много затейливых, хотя довольно невнятных слов. Начинание его резво и феерично разрослось. Однако довольно скоро выродилось. Закончилось разочаровывающим пшиком пиротехнической самопальной ракеты. И было это естественным, малоприятным процессом. После Леонтию даже казалось странным, как это он изначально не смог предвидеть, предсказать такой грошовый исход для миллиона душевных своих затрат. Неубывание энтропии в случае «богоравного свинопаса» вышло прямо-таки чудовищным. Поначалу все шло хорошо. Писали, читали, изощрялись – как он того первоначально желал. Девиз и Уложение клуба тоже не делись никуда, были одобрены, отличены, подняты на знамя. Кто-то из приобретенных им эпистолярных друзей подражал Шадерло де Лакло, кто-то брал за образец любовную переписку лейтенанта Шмидта, кто-то пародировал стиль высоких официальных, дипломатических бумаг – имелся даже один «ТАСС уполномочен заявить». Кто-то не мудрствовал лукаво, шел от себя, эти послания как раз и были наиболее интересными – ультиматум, предъявленный Саруманом серому Гэндальфу, выпускники Хогвартса пишут коллективное письмо лорду Вольдеморту, или еще похлеще: признание в любви диктатора Пилсудского наркомвоенмору Троцкому. Леонтий радовался – под его эгидой и смекалкой получался настоящий римский форум, или, бери выше! – греческая агора, оставалось только дождаться появления Цицеронов и Демосфенов соответственно. Можно будет писать не выборочно письма от госпожи А к господину В, или от месье В к мадам А, но и целые речи, в защиту и против (доколе, – О, Катилина! – будешь испытывать терпение наше…!), хоть завтра поражай слушателей ораторским и риторским искусством.

Как оказалось, радовался Леонтий рано. В смысле, рано радовался. Потому что однажды весь его эпистолярный романтизм очень резво начал скатываться в канаву, то есть – в обыденную пошлость. Причина случившегося упадка была проста. Как солдатская портянка. И точно так же стара, как обитаемая ойкумена. Если реальность в голове не совпадает с миропорядком за окном, то любое начинание в этом роде обречено на провал. Письма высокого стиля хороши там, где для них есть законное обиталище, в обществах более рафинированных и, возможно, менее быстрых, в мышлении и развитии. Кареты, кринолины, кабинетная политика, созерцательный романтизм, и сколько угодно надушенных писем, все на своем месте и все вовремя. Но

горе побежденным виртуально-технической изнанкой! Когда растаяла новизна, сгинул безвозвратно первоначальный пыл. «Богоравные свинопасы» как-то слишком сообща и не сговариваясь вспомнили вдруг, что у них есть насущные дела, и дел этих полно – словно бы разом истек срок годности у типового товара. Сначала послания друг к дружке стали короче и как-то скуднее удобрены финтифлюшками, потом плавно восторжествовал лапидарный стиль, потом сменился сам смысловой контекст – это были уже не рулады распустившимся на подоконнике орхидеям, и не мечты о прекрасных незнакомках, но довольно тривиальные обмены хозяйственными репликами. Где, почем, и как достать без переплаты. Пусть речь шла о достаточно приличных вещах: о театральных билетах, например, или об удачно скачанной пиратским способом призовой «Меланхолии», но это все же были явные, неумолимые признаки заката и упадка «свинопасов». Не за горами стояли полки сокращенных обкорнанных словесных суффиксов и окончаний, небрежных ошибок в правописании, и за ними – орды оседланных, взнузданных, готовых к атаке варваризмов. Скоро резервы перешли в наступление. Духу и сущности клуба «Свинопас богоравный» пришел конец. Равно как и его девизу, особенно после того, как один из одиозных новеньких предложил писать его так: ЛТЧИЙ ГЛДЕЦ. Это и в самом деле был полный глдец. Леонтий все понял правильно. Закрыть клуб он не мог, да и не имел желания связываться. Он сделал то, что сам некогда советовал другим относительно «хамов вокзальных» – он незаметно удалился по-английски. Отряд «свинопасов» совершенно не заметил потери бойца, на римском форуме, равно как и на греческой агоре как раз в то время вдрызг и вхлам, с летящей пеной и ярыми гомосексуальными обзывалками, обсуждалась страшно горячая, чесучая тема – удаление биологически природных молочных желез Анджелины Джоли, или ДжОли, кто знает как правильно? Леонтий думал еще не раз впоследствии – а не послужило ли данное им заглавие к скорой гибели клуба? Может, не стоило о свинопасах? С другой стороны, сама свинья всегда сыщет грязь, даже и в стерильной операционной благоустроенной патронажной больницы. Хотя – как вы яхту назовете! Соответственно так она и потопнет. В свинячестве или в чистых морских водах.

Но кое-что осталось. Единственный плюс, единственная выгода, призовая лотерея, в которой Леонтий пока и сам не понимал – что же такое хочет он выиграть. У него остался друг. После того, как, разумеется, появился. Не такой, как Костя Собакин, и не такой, как Мученик, и уж само собой, не Ванька

Коземаслов. Вообще же это был никакой не друг, но подруга, без имени, без возраста, без всякой системы житейских пространственных координат, он никогда не видел ее лица, даже на фото, никогда не просил о номере телефона или реальном, не электронном, домашнем адресе. Он только догадывался о ней, кто она и что она, зачем она, и чего ждет от него. В клубе «свинопасов» подруга его оказалась, скорее всего, случайным образом, от нечего делать, иногда по вечерам, так похоже на него, и так не похоже. Словно бы он нашел вдруг вторую свою половину, но не мог увидеть ее вблизи, как реверс одной монеты никогда не смог бы обернуться к своему собственному аверсу. Но одно он знал, невесть откуда, но знал – она пришла, чтобы найти его. Только за этим. Необсуждаемая анонимная разлука была негласным условием их сосуществования и переписки, Леонтий мог только воображать, кто его ждет на том конце словесной нити. Но нить эта разматывалась, он различал на ней цвета и оттенки, он мог уже соткать пока смутный еще образ, но все же, это было кое-что. Она звала себя Сцилла, имя довольно зловещее, настолько, что не оставалось тени сомнения – не настоящее, да и кто же в клубе стал бы подписываться настоящими именами. Он писал ей на странный мейл blagh.durh@…, ну и так далее, все как положено. Наверное, подруга его не желала даже подозрений, будто бы написанное, выговоренное ею можно хоть на малую чуточку принимать всерьез. Что как раз свидетельствовало в точности об обратном, это Леонтий прекрасно понимал. Со временем это и вовсе стало неважно. Потому что, звезды перемигнулись между собой, и протелеграфировали на землю обоим – вот ваш счастливый билет, другого не будет. Тогда они оба стали говорить. Понемногу, по капельке, пока Леонтий не почувствовал – пришла пора, говорить о многом и всерьез, и еще он понял – надо быть готовым. К чему? А к чему угодно. Но если сейчас не скажет один – о себе, о себе, о ком же еще! – ничего не скажет второй. Все, конечная остановка, переписку можно будет прекращать, потому как пустое и не зачем. И вот, пришло письмо. Которое, как он думал, решает его судьбу. И ее судьбу тоже. Судьбу их странной, пока не разрешенной в реальность, крепнущей дружбы. Будто бы вместе он и его почти не существующая подруга рисовали некую картину, название которой и весь ее внешний вид им предстояло еще проявить и угадать, ясно обоим было только одно – смысл задуманного полотна, который можно выразить легко и просто: избавление от одинокого себя.

Леонтий, отчасти и затаив дыхание, подвел мышку, коротко щелкнул. Выдохнул. Электронное послание открылось. Сим-Сим!

Кто там? КТО ТАМ?

La primavera

…Помню себя очень рано. Давно. Никто не верит. С двух месяцев, наверное. Мир еще не делился на хорошее и плохое. Он был. Однажды мой весельчак-отец забыл меня, спящую в коляске, в ресторанном фойе. Пошел в воскресенье за хлебом, заодно выгулять младенца, встретил дружков – у папаши всегда были полны карманы денег, зубной техник, живой заработок. Вернулся домой без хлеба. И без меня. Батюшки мои! Где ребенок? После этого мать выгнала его. С концами. Или отец попросту надоел ей, или не хотела еще второго взрослого ребенка на свою шею, предлог тут как тут. Она была очень решительной женщиной. И сейчас для меня есть. Рассказала мне много времени спустя. Но этого я как раз не помню. Про отца. Не хочу. Потом он выехал на ПМЖ в Израиль, купил жену и продал дочь – отказался в письменном виде, так полагалось, иначе мать не дала бы согласия.

Все свое раннее детство я прожила, провела как попало, иногда у кого попало. Матери было некогда. Она поднимала экономическое благополучие страны. Руководитель производства, блин горелый, тогда так говорили. Бой-баба, так говорили тоже. Прокладывала нефтепроводы с севера на юг, и с востока на запад, и поперек – через север на северо-запад, прямо как у Хичкока. Мастер, начальник участка, заместитель директора проектного института. Инженер от бога, наваяла подряд две диссертации, на них теперь технари молятся, будто на Талмуд. Интеллигентная. Могла выдать цитату на латыни, примерно с абзац. Простая, как три рубля. Могла загнуть матом, без напряжения. И рукастая. Могла на спор – пол-литруха нечищеного технического, – сменить сработавшийся бур на сорокаградусном морозе. Под Нижневартовском, под Уренгоем-2, и дальше – Тюмень, Ухта, вкалывала не меряно, зашибала деньгу, но все просвистывало у нее, как ветер в голове. На ерунду. Никогда не умела копить, и заботиться ни о каком живом существе тоже толком не умела. Я была арифметический остаток в решенном уравнении. Меня приходилось всякий раз куда-то девать. Меня, и сибирского кота Финея, Фишку. Чего ради стоило выгонять отца? У матери были на этот счет непонятные соображения.

Капитально мы все осели в конце концов на юге. Каждый удачливый нефтяник рано или поздно поселялся тогда на юге. И вахтовым методом – на полгода полярная ночь, или день, потом домой, к дыням и помидорам. У нас в городе было восемь проездов нефтяников, четыре линии, один проспект и два шоссе.

«Нефтемашремонт», «Нефтегазпереработка», множество других аббревиатур на вывесках, под которыми качали черное золото. Свои гетто, для своих же крепостных. Добротные кирпичные дома, ведомственная котельная, пыльные новые дворы без деревьев. Почему-то только в наших дворах никто не переживал о тени. Город утопал в зелени, будто «Титаник» во льдах, но вот у нефтяных вахтовиков возле подъездов пылало жаркое марево, стояли неприглядные, сожженные солнцем лавки. Все. Одно-два облезлых деревца, – еще когда озеленяли местность для галочки строители, – неухоженные, полу-засохшие. Наверное, нам было все равно. Так мы понимали юг. Чем больше пекла, тем лучше. Само собой, в диковинку прилагались мухи, песочная жесткая пыль, скрипящая на зубах, проливные краткие дожди все лето ровно в четыре дня, казалось, блин, настоящие тропики – выбегали под этот дождь, мы единственные в наших дворах, никто никогда не болел, хотя мокли до нитки, ребятня сразу в лужи по самое горло – луж и грязи было полно, асфальта мало, строились. Мы воображали, лужи эти похожи на море, хотя совсем не похоже, на море мы выезжали, часто, но воображали – не тундру ведь было нам воображать, ха! Многие ее в гробу видали. Попробуй, проживи! Вот и стремились мы на юг. Перелетным клином, чисто дикие лебеди. Нефтяные организации – богатые, и сами нефтяники не бедные. При советской власти особенно были, обыкновенные добытчики и работяги, конечно, я не про тепершних московских фуфлыжников на дармовщинке. Я про то время говорю. Так что, понятно, мне не двадцать лет, а немного больше. Я в школу пошла, еще только Горбачева выбрали. И Брежнева помню, как он на трибуне шамкал челюстью, долгими часами. Я любила его слушать, мне годика три было, но я уже здорово соображала, и понимала тоже достаточно. Мать, когда не кочевала, всегда включала мне перед сном, наспех, старый убитый «Рекорд», черно-белый с рябью, он был вместо няньки. Я лежала тихо-тихо, не мешала, не просила внимания, но и засыпать не торопилась. Программа «Время» начиналась в девять часов, заканчивалась, когда товарищу генсеку было угодно, случалось и за полночь, если читал обращение к съезду. Я думала о нем – он мой любимый домашний дедушка. Так убаюкивающе он бубнил по бумажке, почище всяких спокойнойночималышей, про которые я уже тогда решила: слюнявый отстой. Читал он всегда одно и то же, я подсказывала, как попка, не понимая смысла: агропромышленный комплекс, автоматизация производства, – ему трудно давались эти слова, а я их знала, красивые, как развернувшийся в полете серпантин. Ну и про империалистов вдогонку. Когда он умер, я

плакала. Искренне и с тоской. Я, может, была единственным маленьким человечком, который никакой ему не родственник, но так горько плакал по покойному. Будто бы умер мой настоящий родной дед. Который, надо сказать, козел был страшный. Плевать, что о покойниках или хорошо, или… брехня, сколько их помоями поливают, давно это правило забыто.

На мать я не обижалась. Никогда. В детстве, понятно, надо сначала почувствовать, узнать, что именно это обида, а потом уже…, сравнивать-то не с чем, мы все сначала всё принимаем, как есть. Как данные граничные условия. И люди все разные. Прямо от рождения. Мне, – глупо признаваться, но чего уж там, – выпала на руки дурацкая карта, или очень неудобное природное свойство. Я точно знаю, это редко бывает. Реже, чем болезнь Дауна. И неизвестно, что хуже. Такая я получилась сразу – во мне присутствовал идеальный мир. Все-все невыполнимые человеческие правила, какие можно представить, я принимала за чистую монету и точно их представляла, будто каким-то предзнанием. Типа: лгать нехорошо, старшим грубить нельзя, не сметь красть, даже еду с голодухи, не попрошайничать, не ругаться, не драться, а взрослые справедливы, непогрешимы, и все делают по совести. По коммунистической, разумеется. Или еще круче: как же мне повезло, что я родилась в СССР: можно спокойно заболеть – рядом самые лучшие в мире больницы, можно не бояться на улице и дома – самая крутая милиция меня бережет. Везде можно летать на самых летучих самолетах и плавать на самых непотопляемых кораблях. Мне силком не прививали эту бредятину, я с ней родилась – я уже говорила. Оставалась малость – привести в соответствие себя и мой идеальный мир внутри. Мир снаружи и так был чудо, я в это верила. Сколько могла долго. То есть недолго совсем. Но я старалась.

Да куда там! В детском саду уже началось. Концы катастрофически расходились с концами. Не лгать и не просить, как и не отбирать у товарищей, в принципе получалось. А вот не драться, не жаловаться и не ругаться! Были проблемы. Ну, блин дают! я лучше всех читаю вслух стихи и помню наизусть, никогда не запинаюсь. А снегурочку играет Олька, коза-дереза набитая, потому что у нее мама воспитатель старшей группы. Где справедливость? Нет ее. Так было во многом. И никак иначе быть не могло. Два мира расползались в разные стороны, будто их гнилой ниткой шили, я была несчастна. Но и тогда понимала – люди, собаки, облака, моря, машины, светофоры не виноваты, они живут, как могут. Это у меня что-то не получается. Поэтому на вопрос «кто виноват?», я во всю свою жизнь отвечала

однозначно. Помогало.

Зато меня не отдавали на пятидневку. Не из жалости. Матери было в тягость хлопотать, оформлять лишние бумаги, доверенности, выбивать место. Взяли в ведомственный детсад и будет! Она вообще считала – наверное, очень правильно, не знаю, своего ребенка у меня нет, – дети ни в коем случае не должны мешать взрослым, не должны заедать их жизнь, они маленькие, ничего из себя не представляют, их место шестое. Лучший кусок, перебьешься, у нас закон джунглей – кто первый схватил, тому досталось. Хватал, надо думать, сильнейший. Сыта и ладно. Вообще-то здорово закаляет. Нос сопливый, температура: будешь знать, как вспотевшая хлестать холодную воду из-под крана. И очень быстро я научалась не пить эту воду, не ходить в холода без шапки, мыть руки и спускать после себя в сортире – иначе за последствия отвечала сама. А кому охота? Без всяких там напоминаний, без ой-ой-ой деточка, дай утру тебе глазки, или попей горячего молочка. Хочешь молочка? Вот тебе холодильник, вот тебе газовая плита с ковшиком, согрей и пей, сколько влезет. Потом вымой за собой. Еще меня никогда не били. Мать могла так припечатать одним словом, или обозвать: «бледная спирохета» – и объяснить, что это такое, и почему это я, достаточно было – поплачешь за занавеской, в другой раз соображать начнешь лбом, а не задницей. Я думала тогда, она все делала правильно. Я и теперь так думаю. Вот где мир идеальный совпадал с миром действительным. Единственно. Потому что идеал – это не рай с кучей игрушек, с горой халвы и мороженного, с куклами и белыми бантами, рай – это когда именно по-твоему все правильно, и это непротиворечивое бытие. А у матери все было как раз по-моему правильно. Без перебоев. По одному и тому же закону. Закону джунглей или еще какому. Но по одному раз и навсегда. Так можно, а так нельзя. И ей и мне, без исключений и праздничных скидок. Без двойных стандартов, если по-современному. А то бывает, вроде добрый человек, сюси-пуси, но вот блин, наперед не знаешь, тумак от него получишь или конфету, такие люди всегда вносили разлад. Они раздражали меня и смущали сильно. Я думала, лучше бы их не было.

Во дворе и в детском саду приходилось порой плохо. И не только там. Но по тождественной причине – я была одна, сама за себя. В буквальном смысле. А не в том, что страдала от какого-то там придурошного одиночества, будто Мальвина за Пьеро, вот уж чего не было никогда. Попросту за мной никто не стоял. Ни папа-мама, ни брат-сестра, ни бабка-дедка, ни тетя-дядя, вообще никто. Матери, наверное, скажи – завтра меня расстреливать поведут, в лучшем случае услышу: ты натворила, ты и

разбирайся. В худшем задаст вопрос – в котором часу? в девять? тогда дверь захлопни, квартирные ключи оставь на полочке. Ну и что? Я ведь тоже с ее проблемами не помогала. Я в них не вникала даже, мне было до фонаря. Маленькая? Здесь не бывает маленькая или большая, если ты понимаешь, что у человека заморочка, значит, уже по одному этому можешь помочь. Стакан чая хотя бы подать, или послушать, потерпеть, если нудно, покивать головой, все легче.

Другие дети и родители их жили вокруг меня будто бы кланами. Грызлись промеж себя, как без этого, зато против чужого выступали, что твоя русская рать на Куликовом поле против монголо-татарина. Я и была всегда татарином. Всегда виноватым крайним. Как? Да так. Шалили, сдернули нечаянно на площадке стираное белье с веревок. Свои детки насвистели предкам в уши, те, конечно, поверили, и надрали уши уже мне. Оттого – мне можно было. Вступиться-то некому. Но это-то ничего. Потому что, потом мои уличные друзья-приятели все равно приползали ко мне, кто с конфетами, кто с раскрасками, с шариками-свистульками, хотели дружить – дружить-то было выгодно. В следующий раз на кого сваливать? То-то. Я даже гордилась своей независимостью, воображала себя чуть ли ни Гаврошем под пулями жандармов – читала я много и не по возрасту, оно и понятно, библиотека у нас была, «Ленинка» бы позавидовала, уж на книги мать ничего не жалела, за что отдельное спасибо. Ну и дворовый оброк шел впрок, конфеты у нас в доме редко случались, при этаких-то деньжищах, мать не любила сладкого, я тоже считала справедливым, если она без конфет, то и я. По-честному.

Хуже, когда не ругались. Хуже было, когда соседи шли куда-то всей семьей. В Луна-парк, например. Как я мечтала о Луна-парке! Лет в шесть, наверное. Я, понятно, верила матери, что это вульгарное надувательство, для люмпенов, балаганное развлечение низшего сорта. Что делать, едва в наш город приезжал этот самый парк, всегда почему-то из Чехословакии, и всегда в одно и то же место у черта на куличках, если считать от нашего дома – я прямо покоя лишалась, хоть бы одним глазком, только посмотреть! Навоображала я себе с три короба. И про американские горки, и про комнату страха, чего и быть не могло. А тут наши тянулись из окрестных домов прямо-таки караванами, и возвращались груженные, как верблюды-бактрианы: жвачками, куклами, разноцветными колечками какими-то, фигней, одним словом. Для детворы, понятное дело. Но не то меня ело, что колечки, на кой мне их стеклянная дребедень – у матери из якутских бриллиантов гарнитура три, наверное, было, на заказ

через знакомого ювелира, она и мне давала примерять, ей плевать, что соплюха – однако предупреждала, мол, потеряешь, носом землю будешь рыть – носом рыть не хотелось, я их таскала только дома, и только для себя. Тут ведь в другом суть. Куклы, жвачки и прочие подарки просто так было не выиграть в этом парке. Давали разве какие-то черно-белые открытки с видами на Влтаву, копеечные. Так родители наших нефтяных детишек тайком приплачивали, и вдвое и втрое против рыночной стоимости, чтобы детки именно хорошие призы выиграли. Все об этом знали, и все хвалились, родители – что такие хитрые, детвора – что их так любят и ничего не жалеют. Вот в подобные-то моменты я чувствовала, остро и больно, что мне чего-то недостает. Будто вокруг тебя породистые собаки, а ты единственно дворняжка. И что свобода, полная там, или относительная, иногда – такая херня! Когда семья большая и тесная, оно конечно, свободно не дадут повернуться. Зато и упасть не позволят. Опять у меня возникала неразрешимая проблема неидеального мира. Со временем я расщелкала ее гениально и просто – а ты не падай! Толкай других, если нужно, сильно и жестоко, но не падай. Ни в коем случае. Но это я сильно забегаю вперед.

Воспитание у меня было вроде как походное, гусарское, со всеми вытекающими. Здесь я все о дошкольном периоде веду речь. От застолий меня никогда не отстраняли и не гоняли. Уж застолья-то были! Попойки, а не застолья. Научно-технической интеллигенции. Забористые. И всегда у нас. Мать не любила, как она говорила – шляться по хаткам. Я, кстати, тоже, это у меня от нее. Зато к себе назовет кучу народу, в основном мужиков с работы – жены их мою мать ненавидели люто, только поделать ничего не могли, мать уже на номенклатурной должности сидела, ее надо было улещивать. И две подруги были у нее, такие же безбашенные. Одна актриса местного драмтеатра, который гаже иного драмкружка, Люся-шуба, последнее – прозвище, она шубу из мутона носила в нашу-то южную зиму, гордилась, шуба была венгерская, с толкучки, ей до пят. Белобрысенькая, добрая, в голове совершеннейшая дыра, у нее тянулись переходящие, бесконечные романы с кем попало, до завтрашнего дня, она вечно занимала у матери деньги, и чудо! Иногда отдавала. Мать тогда хохотала и спрашивала сквозь смех: Люська, чего продала? И та в ответ с гоготом: тело, тело! Но это шутка была такая. Никто из них денег за любовь не брал, никогда, это тоже было правило, по материному закону. А мне, как застолье, разрешали что угодно, в смысле никто не обращал внимания, хоть на голове стой. Я и стояла порой. Мне, случалось, хлопали. Чисто цирк и бесплатное

развлечение. Я ползала под столом, щипала гостей за ноги, могла и туфли местами переставить, если кто умаялся и снял, ничего – у нас в доме гости не оставляли обувь в прихожей, мать терпеть не могла дырявые носки, штопанные на пальцах колготки и запах от ног. Полы она не жалела, у нас был простой паркет, плохо циклеванный, как строители положили, так он и лежал. Еще под столом случались во множестве пустые бутылки, от портвейна, от грузинского вина, от водки, ясный пень, какие же нефтяники и чтоб не пили сорокаградусную. Что внутри, что снаружи, что для сугреву, что для стужи, плюс на минус поменяй и в желудке уравняй. Такая прибаутка. Я цапала со стола все, чего только душа хотела – соленые огурцы, покупные, магазинные, вода водой, еще квашенную капусту-кислятину, моченные яблоки и даже засоленные арбузы, уже все с рынка, если летом – овощи-фрукты, салаты – крупно нарезаны, будто порублены, будто саблей в военном походе, еда всегда была так себе, шпроты в банках, картошка в мундире, наш местный кооперативный сервелат, вкуснотища, грызла прямо от куска, вволю, вдобавок я любила есть петрушку с сахаром, натаскаю с тарелок, и сахарницу с собой под стол, наслаждалась. Спиртное никогда не трогала, мать всего-то раз сказала, что детям запрещено, и уже не присматривала за мной, но и в моем идеальном мире этого тоже было нельзя, значит, я не покушалась, к тому же из пустых бутылок противно пахло. Я, между прочим, на это самое спиртное до шестнадцати лет не покушалась, нельзя, плохо и точка. Что потом поменялось, вот об этом как раз потом, когда-нибудь. Слушала всякие травленные байки, бывало и правдивые истории, часто ужасные: как страшно, когда «рвет скважину», и тогда спасайся кто может, и как однажды случилась утечка на перерабатывающем заводе, погибла целая смена, такой огненный шквал бушевал, не выбраться. В тот раз пили за погибших, чехвостили вышнее московское начальство, что вот есть же технологии ранней диагностики, у нас в стране есть, так какого лысого черта! Оборудование накупили? Накупили. В Японии, лазерное, неслыханное, между прочим, за валюту. Вот это самое оборудование и валялось во дворе того самого завода, что сгорел. Собрать не смогли, потому что министерство никак не утверждало эксплуатационную смету. Тоже сгорело японское диво к едрене фене. Обычное дело. А я думала – разве в нашей самой лучшей стране не все безупречно мудро и безопасно? Становилось не по себе. С другой стороны, чего с пьяных глаз не наболтаешь, может, не все правда, я утешалась этим хлипким предположением и слушала дальше. Меня не гнали. Спать я все равно не могла толком лечь, пока гости не соберут или не

отодвинут стол. И самые стойкие не отправятся догуливать на кухню. Мать могла так хоть три дня и три ночи, а утром всякий раз на работу, ее прозвали даже «титановый угар» в мужском роде, за несгибаемость.

Часто она уезжала за границу, моя мама, меня никогда не брала, даже в Болгарию, на Золотой Берег, ей путевки доставались свободно. Не фиг баловать, вот и весь сказ. Для мелких моллюсков есть сначала выездной летний детсад, потом пионерлагерь, любой на выбор из бесчисленных «огоньков» и «костров», все ничего себе, от нефтяных организаций, сытные, с программой летних праздников, типа День Нептуна, и даже актеры из «Неуловимых мстителей» приезжали как-то раз. Я полюбила пионерлагеря, порой по три смены подряд, – там детвора без пап и мам, отдельные персонажи, а я как лицо изначально самостоятельное всегда попадала в какое-нибудь малое начальство, командир отряда там, или санитарный староста, было круто, потому что мне полагалось знать пароль, а значит, я могла сдрыснуть, совершенно законно, за ворота в ближайший поселок, хоть во время тихого часа, хоть в обед, хоть в ужин. У меня всегда водились дружки из местной ребятни, меня побаивались, потому многие слушались, кроме отпетой пацанвы, но к таким я и сама не лезла, ну их. Это тоже было вроде первого урока, хотя выводы из него я сделала намного позже, когда шишек набила мама-не-горюй, но он был, и был неоценим. Сила и власть любой неидеальный мир, конечно, не преобразуют в идеальный, но заставят его тебе подчиниться, а значит, сделают удобоваримым и сносным для существования.

Так о матери. Ездила она часто. С подарками «из-за бугра» дело обстояло, когда как. Когда густо, когда кот наплакал, когда шиш. Могла навезти фиговин, что и не влезало. Фломастеры там, по тридцать шесть штук в упаковке, школьный ранец со стоп-фонариками, колготы с узорами, всего не исчислить. А могла все спустить на гулянки, тогда мне доставались наспех купленные открытки с видами или толстые картонные подставки под пивные кружки, или вовсе ничего. Навроде спортлото, только выигрыш был чаще. Я не расстраивалась – тут как в казино, сегодня продулся в пух и прах, завтра твой день. Отчего мать так легко выезжала за границу? Не-е, не только из-за кучи нефтяного бабла. Ее и в Калифорнию посылали, и в Корею Южную, и в ту же Японию. Все просто. Она была внештатная. Ну, внештатный сотрудник, который числится за КГБ. Потом узнали, после августовского переворота. Мать уже в гробу лежала. Мне доложили доброхоты, только я слюной плевать хотела – сказала, ну и что? А я горжусь. Такая работа. На благо государства. Всегда

ее назначали старшей в группе, поэтому. Я точно знаю – случись чего, мать бы меры приняла крутые, положиться на нее можно было не раздумывая. Разговоры там, о побегах в эмиграцию, или потеря морального облика советского человека – шутки бы шутить не стала. Зато никогда не трогала тех, кто на семью вез, или подкалымить хотел. Да на здоровье. Поменять валютку на икру, на «командирские» блатные, на водку-селедку при ней получалось запросто. А поскольку как раз среди нефтяных туристов недовольных отечественным строем и дураков нет, с матерью ездить любили – говорили «железная Галка – человек!». Она и денег могла взаймы дать, если кому не хватало на дубленку или джинсовые порты, и спросить возврат черт-те когда, если вообще назад спрашивала. И в официальных делегациях точно также, пусть даже академики и директора ехали, вся оргработа лежала на ней. Ну и поскольку сопровождавшие делегацию обычно молодые мужики ничего себе, я имею в виду тех, кто сопровождал «оттуда», а мать на симпатичных и без комплексов была падка, если на раз и без обязательств, то с ней и «оттуда» ездить любили тоже. Один чуть жену потом не бросил, пока не пригрозили, мол, расстанешься с погонами – ему как раз майора обещали на повышении. Поогорчался, поогорчался, Толик его звали, мать быстро мозги вправила – семейный, иди, живи с семьей, нечего ваньку валять. После забредал еще несколько раз, водку со всеми вместе пил, мать его спроваживала. Я думаю, справедливо. Хотя Толик был мне симпатичен, в нем тоже присутствовало нечто «правильное», я чувствовала, наверное, может, поэтому он послушался мать, и вернулся, откуда к нам пришел.

Вообще ненастоящих, приемных отцов у меня было…, сейчас посчитаю. Ага! Числом «три». В разное, естественно, время. Дядя Коля, дядя Паша и дядя Стася. Все трое – заядлые подкаблучники, какие-то социальные беженцы, они за мать цеплялись, будто второклассные, списанные пловцы за надувной матрас. Нет, отцы эти мои не были ни алкашами – дядя Стася вообще не пил, только присутствовал рядом, его мучила язва, – ни бездельниками. Они были… как бы это сказать? Да и не лузерами даже, если выражаться, как теперь говорят. Дядя Коля, между прочим, колоссальные бабки зашибал, автослесарь божьей милостью – по тем временам, все равно, что местный олигарх. Они как бы не умели сами за себя, все трое, куда жизнь их приткнула, там и ладно, даже если неладно совсем. Как дерьмо в проруби, болтается, болтается, или попадет, наконец, в отстойник на удобрения, или утонет со временем, или случайно выловят. Это не значит, что люди плохие, но уж очень зависимые от внешних

обстоятельств, притом пугливые, как премудрые пескари. И растерянные. Вот, к примеру, – с дядей Пашей в обычный наш квартальный продмаг ходить за пропитанием было одно мучение – станет у прилавка и стоит, смотрит на меня, кроху девяти лет, бараньими глазами: чего купить? Не дай бог два вида масла там, или вареной колбасы, нипочем не выберет, продавщица ругается, он только ресницами хлопает. Приходилось мне: дайте того и этого, он потом сумки нес. Говорили – какая у вас сообразительная девочка, сказать «дочка» видно язык у сочувственных баб не поворачивался, похожи мы были с дядей Пашей как свиня на коня. Мама с ним познакомилась – на совещании, явился, как она смеялась, «кусками бритый», то есть неровно. А еще кандидат наук! Она – ему: вам что подарить, лампочку или зеркало? У нас он прижился. До самой маминой смерти. Вернее, до гибели. Об этом пока рано. Вообще-то, сложись все по-другому, может, он остался бы у нас, расписался бы с матерью, и были бы мы все трое навроде, как семья. Первых-то двух мать выперла в конце концов – дядю Колю сосватала подруге, не Люде-шубе, второй, Насте-рыженькой, мол, надоел, много хлопот, а просто дядя Коля своего ребенка хотел – тихо хотел, намеками, однажды отважился, прямо сказал, глаза в пол с перепугу, – мать как услышала, так до свиданья мальчик! Настя-рыженькая ему двоих родила, брата и сестру, двойняшек. Все счастливы. А дядю Стасю выгнала за дело. Он из ее института был, из отдела техобеспечения, матери ниже рангов на пять, мать-то уже замдиректора, тогда молодых руководителей – ну, относительно молодых, – выдвигали, дескать, перестройка, то да се. Мать моя Горбачева терпеть не могла, языком махать – не лопатой, так говорила. И еще – что выродились все в этом их Политбюро, не оттого, что старые, нет. Оттого, что «сказать» и «сделать» стали в значениях путать и мешать, а оно не одно и то же, не колдуны, чтобы заклинаниями джина вызывать: пусть бы он дворцы строил. Так вот дядя Стася – он на сторону ее врагов стал, подкупили чем или застращали, в общем, на каком-то там совещании он ее сдал, она просила не говорить, под большим секретом, о внеплановых поставках, а он, гад, вломил ее по полной. После, конечно, долго-нудно каялся, прости, дескать, я такой. Ну, что мать ему ответила, и в каком направлении послала из нашей квартиры, я повторять здесь не возьмусь, стыдно без нужды этакие-то слова, самые приличные не для каждого забора сгодятся, а я слышала своими ушами, думала, вот здорово! Еще думала, что все по совести, если ты такой слабохарактерный, иди в дворники, или вообще лучше дома сиди, супы и каши вари, в дворниках тоже храбрость нужна, к примеру, собак бродячих

гонять, или пьяных с утра. Блин.

Во времена как раз дяди Стаси я в школу пошла. Тоже, как и в детском саду, одна за себя. Хотя мать расстаралась – она учебе, вообще всякой, не только в школе, придавала вселенское значение. Это как человечий костяк, что сложится, такая будет жизнь. Она отдала меня в хорошую школу, с английским уклоном со второго класса. По блату, единственный раз. А дальше – плыви, как хочешь, авось, выплывешь. За отметки буду убивать – так сказала, – я сразу поверила, убьет, не побрезгует. Пришлось грызть гранит науки, страшно тяжело, потому что, мне хотелось – чтобы все идеально, как не бывает. При дяде Паше разве стало полегче, он любил мне объяснять, важно, с расстановкой, никогда не ругался, если я не понимала с первой попытки, очень терпеливо шел на второй круг, когда и на третий, наверное, всякий раз чувствовал себя большим и нужным в семье человеком. В первый класс, на первый звонок я отправилась сама, то есть, без всякого при себе сопровождения. Мать была в длительной командировке. Сама завязала два белых банта, сама накануне купила букет хризантем для учительницы, хотя думаю теперь, меня надули не меньше, чем на рубль, тогда это были деньги. Тем более, на юге, где цветы копейки стоят. Но я не торговалась – и мать не торговалась на рынке никогда, я считала, в идеальном мире это не годится, это ниже человеческого достоинства. Правда, в идеальном мире детей надувать тоже не полагалось, потому я решила – это так надо, такая цена. Вот я с букетом, в новой форме и в фартучке – все сама выгладила, и воротничок пришила белый, кружевной, – пошла, как принцесса-золушка. Гордилась страшно, даже не расстроилась, что все первоклашки были с папа-мама-дедушка-бабушками. До этого меня в детсад и обратно тащила чуть ни силком соседка, тетя Оля, с ворчанием тащила, ее собственный сын Шурка в тот же сад ходил, толстый, неуклюжий, я вместо «спасибо» защищала его от дразнилок, когда и драться за этого жирдяя приходилось. Тетя Оля-то ворчала не потому, что я была ей в тягость. Не-а. А вроде как в осуждение моей матери – дескать, дите по чужим людям, без присмотра. Будто я в нем нуждалась! В глаза сказать не смела, муж у тети Оли простой мастер смены, а тут замдиректора, она хорошая была, только какая-то ограниченная. Я не любила с ней оставаться, ни с ней, ни у нее. Не из-за Шурки, он был всего лишь увалень и больше ничего, вялый и невозможный на подъем. Но как-то неуютно мне приходилось – тетя Оля не то, чтобы жалела меня, скорее не понимала, как мы с матерью живем, ей это казалось диким несчастьем. Иногда так смешно она вздыхала и бросала вскользь «По мужикам!».

Наверное, воображала, я не понимаю, к чему это она. Я понимала все. Только не могла взять в толк – чего плохого? Но по ее счету было плохо. Все у нас было плохо. И ведь не объяснишь, что нормальная житуха, получше, чем у нее. Где вольная, где строгая – а вместе то и другое замечательно. Я просилась, чтобы не с тетей Олей, пусть бы с бестолковой Люсей-шубой, хоть в гримерке в углу, иногда приходилось спать, уткнувшись носом в колени, не Малый театр, но все равно лучше, однако не всегда это получалось, белокуренькая Люся-шуба тоже любила «по мужикам», и куда чаще у нее случалось. Первый класс зато как бы выдал мне права на полную самостоятельность – передвижения, пропитания и даже на ночь я спокойно оставалась одна, порой недели две подряд. И ничего, дом не сгорел, я не угодила в детскую комнату милиции, конец света тоже не настал.

В школе я будто застряла между двумя мирами – миром учеников и миром их же учителей. Попала я, конечно, как мелкий кур в ощип. Училась у нас в этой разнесчастной престижной школе – тогда не было еще слова «элитной», – всяческая «блатата». У нас так говорили на юге – о рыночных воротилах, всяких там подпольных деятелях, заведующих прод– и промбазами. О позднесоветских торгашах, если короче. У нас в школе их было – на приличную запруду хватит. Мать их ненавидела, как врагов народа. Но мне одна отповедь на все про все – терпи! Ибо знание – сила. Scientia est potentia! Во как! Запомнила, навсегда. Тебя зачем послали? За приятным времяпрепровождением? За отличным аттестатом, или хотя бы очень хорошим. И чтоб в голове пусто не было. Я старалась, как столяр Джузеппе для папы Карло у верстака. Торговые ребята меня сторонились, пионерская организация тогда уже на беду себе шаталась, так что, и на общественном фронте был швах, меня считали идейной, но что за идея такая, уже никто, даже, наверное, наш свирепый директор школы – одно имечко чего стоило, Сталина Александровна, в честь отца народов, а? – тоже не имела ровно никакого понятия. Много трепались о свободе, в основном печати, учителя, конечно, нам-то что? Только вся эта свобода отчего-то сводилась к новообъявленной газете «Спид-инфо». И к каким-то торговым операциям, за которые теперь вроде бы не сажали, кроме валютных, разумеется. Короче, где-то на четвертом году моего обучения в престижной английской, наше среднее образовательное заведение стало напоминать товарно-сырьевую биржу времен Дикого Запада, только деньги еще непосредственно были в ходу. Балаган, одним словом.

У нас, кстати, тоже появились чудеса буржуазного быта. Не какой-нибудь «маг» или «телек», в нашем доме они уже стояли,

фирмы «сони», между прочим. Настоящий «видак», не «Электроника», нет, родной «Хитачи», системы пал-секам, мать сама и подключала, никакие умельцы в помощь ей были не нужны. Мы и сантехника-то сроду не вызывали, матери раз плюнуть, что труба, что «толчок», что газовая колонка. А «видак» мы получили на купоны, это было что-то вроде внутренних расчетных чеков, когда прилавки стали пустеть совсем, и деньги почти обесценились, для своих нефтяников-газовиков ввели эти самые купоны. Типа зарплату выдавали отчасти талонами. И товары завозили заграничные, от всяких там кастрюль даже вплоть до автомобилей. Оно конечно, если бы народ подался с разработок, то вовсе беда – откуда валюту брать на содержание государства. Хотя мать говорила, не золото надо из земли качать, а Горбача гнать из генсеков в золотари, может, какая-то польза. Ей был отчего-то симпатичен предсовмина Рыжков, но вот того действительно скоро поперли. Мать сказала – вероятней всего из-за обмена денег, порядочный человек на такую погань ни за что не пойдет, чтоб совсем людей заедать. Нам-то менять было нечего, когда это у матери деньги держались, да еще в купюрах по сто рублей? Мы не копили на черный день ничего. Мать учила меня – на черный день нужно копить мозги, связи нужно копить и дружеские отношения, а деньги на черный день – это тормоз. Сидеть и ждать, пока прожрешь их и пропьешь, авось, полегчает само по себе? Нет, надо вставать и драться за себя как раз в черный день, тут мудрость, прямо по Апокалипсису. Когда нет ничего, когда жизнь на волоске, тогда человек горы свернет, ему уже не страшно. Я запомнила.

Я вообще чувствовала, что-то происходит. Не у нас дома, в мире вообще. Ну, как я его понимала. Соцлагерь там, Варшавский договор, дружба между народами развивающихся стран. Я успела это впитать, идеальный мой мир принял преподанное мне с радостью, это была как раз сказка о справедливости и счастье, но вот, блин, мне пришлось узнать самое ужасное: для меня ужасное. Все вечное, все бессмертное, оно даже не на века. То, что называют так, однажды кончается, и кончается, не пойми чем. Может, где-то на Луне и существует борьба идей, на самом деле, когда подыхает одна идея, то вовсе не потому, что ее приканчивает какая-то другая. Когда идея подыхает, особенно идея великая, то, блин, на ее месте остается «дико поле». То есть мусорная свалка. А уж тут – кто чего найдет, и чем разживется. Того же качества. В школе вдруг стали покупать оценки. Не в смысле – подарки учителям, это всегда происходило. Открыто стали покупать – у нас, у пяти-шестиклашек еще не очень, но у выпускников чуть ли ни официальные расценки – золотая медаль

десять тысяч, серебряная пять. Охотней всех платили местные, ассимилировавшиеся кавказцы, они привыкли никому и ничему не доверять. Еще в нашей школе в первый раз, наверное, за всю ее недолгую историю, в подпольной продаже стали ходить наркотики. Настоящие, страшные, не какие-то там «солутаны» или «феназепамы», ага! Героин не хотите? Между прочим, «торговал» его не кто иной, как внук генерального прокурора нашего края. Учительская была в шоке, родители были в шоке, милиция и та, была в шоке, но ничего не произошло, дед отмазал – мальчик, дескать, нашел возле отхожего бака пакет, думал, сахарная пудра, он же не знал, откуда ему знать? Мальчик под два метра ростом, усы брил, жлоб и мразь, но ничего, сошло с рук. А мой идеальный мир еле-еле удерживал равновесие. Только благодаря тому, что мать все твердила: через тернии к звездам, per aspera ad astra. Испытания закаляют, в них рождается новый мир, а кризис временный, не такое перебарывали, и все кивала на кооператоров – отдать нафиг легкую промышленность в частные руки, камень на шее, пусть ее, для Госплана спасение, что баба пудов на семь с ветхого воза. И все приводила в пример Дэн Сяопина и Китай, тогда уже понимала то, что мы только сейчас, когда наглядно увидели. Я ей верила свято. Хотя в школе стало тяжко, как некогда в детском саду – но там никто не грозился убивать за оценки. Мать ведь подарков не носила, ей даже в голову такое не приходило. А от меня ждали. Потому – мы были богатые, по всяким тогдашним меркам, «видак» там, ангорковые свитера, джинсы все на те же купоны, мать, конечно, одевала меня во что придется, но это «что придется» – надо понимать, не на фабрике «Большевичка» было сделано. Она просто об этом не думала долго – сносилось, на тебе новое! Какое? Ну, какое-нибудь, и не всегда в размер, чаще на вырост. Могла притащить из-за бугра кроссовки «найк», невиданное диво, ага, тридцать седьмого размера на мой тридцать четвертый, ничего, ваты напхай и сойдет! Зато отстанешь надолго. Я считала – нормально. Смеялись надо мной не очень-то, все же «найк», хоть с бальным платьем, хоть с брючным костюмом, годится – историк моды Васильев точно рехнулся бы и попал в дурдом, услышав подобные рассуждения. Но тогда именно так все и было, особенно в богатой провинции. Смотрели на «фирму» и «мейд ин», к лицу или к попе, широко или узко, цвет, размер, фасон – значения не имело. О чем я? Ага. Короче, ждали от нас подачек. А их не было. И мне стали щемить хвост. До прямой подлости доходило. Была у нас одна крыса. Лариса. Учительница математики. Классная учительница, между прочим. У нее был высокий талант – так объяснять, будто детектив пересказывает, мы только-только начальную школу

прошли, даже не подозревали, что всякие там уравнения – это прикольно. Вот она, крыса Лариса, сумела нас заинтересовать. Мы жилы на ее уроках рвали. Скорее бы алгебра с геометрией, вот о чем мечтали, все из-за нее. Вот только… корыстная была, хуже Плюшкина. За подарки могла накинуть оценку распоследней бездари. А мне наоборот, резала, как могла, придиралась на ровном месте. Однажды я обнаружила откровенный подлог – в тетрадке у меня по безупречной контрольной «пятак», а в журнале «тройбас» стоял. Я случайно заметила – попросила «англичанка» отнести в соседнюю группу классный журнал, и дернул меня черт открыть – мать сказала, еще раз четверка по математике в четверти, отдам в детский дом, все равно толку с тебя: может пустая угроза, но что худо бы пришлось, оно вернее, чем угадать одно из одного. Я пошла разбираться. Тут же. Не в соседнюю группу, а в ее класс. Ну и получила. По башке, в фигуральном смысле. Докладную директору, за то, что без разрешения лазила и мало ли что там натворила, в этом журнале. Терять мне было нечего. Я все выложила матери. На свой безумный страх и риск. Вариантов было два – или моральное полное уничтожение, мать терпеть не могла все эти школьные дела, даже на собрания родительские не ходила, посылала очередника-отца, – или плюнет и скажет: ладно, пусть подавятся, сволочи. Но вышло все по третьему, совершенно иначе. Я разбудила ураган. Баллов этак в сто. Мать орала, я сроду не слышала, чтоб она так орала. С вечера до утра, без передыха. Не на меня. О том, что оценки, это вам не шутка, это государственное удостоверение ребенку, и подделка его – тяжкое преступление. Почему я, дурища растреклятая, безмозглая, сразу ей не рассказала? Наутро мать ворвалась в школу. Именно, именно. Ворвалась. Как цунами в безмятежную японскую деревню. С такими же последствиями. Дети и учителя в тот день услышали и узнали много нового. В смысле слов, которые обычно употребляют промеж себя буровики, когда натыкаются в мягком грунте на базальтовую плиту. Очень художественно. Объяснив директору суть своего глубокого душевного возмущения – директриса, хоть по имени она и Сталина Александровна, только жалко улыбалась и ежилась, мать орала на нее в коридоре прямо во время утренней линейки, – моя благоверная родительница заявила, что немедленно берет с собой этот злосчастный журнал и едет с ним в гороно. За ней бежали до самой учительской, отобрать журнал даже в голову никому не приходило, мать бы, наверное, школу разнесла, она была ко всему женщина не только боевая, но и крупная, даже наш физрук Иван Кириллович, бывший штангист, не сладил бы с ее габаритом. Умолили. Обещали. Оценку исправили на глазах.

Мать поверила. Кивнула небрежно свысока и ушла. Королевы так не ходят! То-то. Я увидела – идеальный мой мир пока что устоял. Я еще не знала, что это плохо. А математичка начала тихо сживать меня со свету. Подколочки, насмешечки, травля при помощи мелких подхалимов, такие всегда есть в любом классе, но я плевать хотела – главное, оценки, они теперь были по заслугам. Во как! Хотя в мою сторону косились.

Но ничего, я училась, я старалась изо всех сил, для своего идеального мира, своего и маминого, даже завела двух близких друзей, в кои-то веки, одна была ничего себе, Ирочка, тихая, очень музыкальная девочка, другой, Темка, прямо хорош. До этого со мной дружили как бы до кучи, но вот у меня объявились мои личные, настоящие друзья. Как-то стало чудесней жить. Я смеялась тогда часто, все казалось мне поправимым, ведь это был мой идеальный мир. А время – тем временем, – упорно шло вперед. Пока однажды не остановилось. И все кончилось. Мне тогда так казалось. Что все хорошее вдруг кончилось. А просто началась другая жизнь. Просто такая у людей жизнь. Обычно она такая. Вот и всё. Я этого тогда не знала тоже…

«Исправленному верить»

Просто такая у людей жизнь. Незамысловатые, эхом отозвавшиеся слова поразили его. Леонтий задумался накрепко, не только позабыв о параноидальном страхе «открытой двери», но и напрочь о работающем лэптопе, батарейка сдохла нафиг, экран потух, а он все сидел и сидел, как болванчик, обложенный подушками, слегка покачивая больной головой, оторопелый и переваривающий. Такая жизнь. Не то ли сам он повторял изо дня в день лет этак последних…, ну скажем, двадцать. Повторял и повторял себе и про себя, никогда вслух, ни к чему окружающим знать сокровенный его секрет, его открытие, оно принадлежало исключительно его душе, и никому больше. А тут вот. То же самое сказали ему, сказали за него, пусть не так, пусть в каком-то странном, бравурном смысле, без горечи сказали, что поразительно. Обыденно и бесстрашно сказали, и даже стали с этим жить. Не переносить и претерпевать. А жить, словно бы по закону. Закон гласил: просто такая у людей жизнь. Другой нету. И вовсе не в продолжение темы – смирись, братец. Отнюдь нет. Такая жизнь – это ведь хорошо, при ней лишь и есть человек, как человек, наверное, он, Леонтий, все верно понял. И тут-то ему стало страшно на самом деле, не мифического взлома и проникновения злоумышленников, ему стало страшно – как некогда в детстве, не однажды, приходила мысль, что вот он, Леонтий Гусицын, непременно умрет. Не смерть страшила его особенной стынущей глубиной, что смерть! Если геройская, может, он и сам согласен! Неизбежность ее – хоть плачь, хоть умоляй, тоже такая жизнь, она кончается всегда. От этого «всегда» именно и было плохо, до невыносимости, выход существовал один – не думать, заставить себя и не думать, что здесь выбора не дано. Теперь было похоже. Просто такая у людей жизнь. И хоть обвыбирайся. Ладно, когда так считал он один, куропатка хлопотливая, кузнечик на острие травинки, но сказал кто-то другой. По-видимому, много сильней его. То же самое и слово в слово. Значит, правда. Значит, так все и есть. Хоть стой, хоть падай, хоть выйди, и снова зайди. Хоть задом наперед.

Он уже знал, что совершил ошибку. Не то, чтобы роковую, однако не стоило в его разобранном состоянии, как психическом, так и физическом, затевать столь серьезное дело, но может быть, он слишком долго ждал этого письма, так долго, что и сам позабыл о своем ожидании, все же прочтение вышло несвоевременным. Не из-за страха, что страх? Все проходит, и это пройдет, останется голая мысль и правда, можно не думать,

можно смириться. Тревожило его лишь то, что неожиданно для него осталось в осадке ощущений. Имя этому чувству было – чужеродность. Полная, ни в каком месте не совпадающая чужеродность восприятия, будто бы он пообщался, пусть не лично, по переписке, с негуманоидом-инопланетянином, и тот поведал Леонтию все прелести поедания изысканно приготовленного полевого шпата в соусе из серной кислоты. У Леонтия ведь тоже имелся свой собственный, отчасти врожденный идеальный мир – он думал теперь, что если и он исключение из неизвестного ему правила, быть может, хоть это-то свойство есть нечто общее между ним и пока еще неясной до конца Сциллой. Правда, мир его, идеальный только для одного Леонтия, не имел ничего общего с какой-либо глобальной идеей добра и справедливости, или недобра и несправедливости, все было в его случае значительно проще – так казалось. И как следствие, то, что выпадало за рамки его представления об этом идеале, воспринималось им будто аномальный казус, патология, смертельная болезнь, разъедающая бытие. Его перевернуло, вывернуло, возмутило, что? Да вот хотя бы – упоминание в долгожданном письме, без сомнений биографическом, пьянок-гулянок безответственной матери, он тоже готов был вздыхать с пресловутой соседкой, тетей Олей – несчастное житие, несчастный ребенок, и дальше сакраментальное «по мужикам!». Он мог представить в абстракции – да, некоторые бывают вполне довольны, когда такое у них житие. Представить, но не переложить на себя, не дай бог! Вот что бы он честно воскликнул, спроси Леонтия в данный момент кто-нибудь посторонний. Он думал не так, и представлял не так. Он вырос и воспитался – не так.

В его природном мире, данном Леонтию с рождения, присутствовали если не врожденные, то с младенчества привитые раз и навсегда представления о порядочной, интеллигентной семье – заметьте, единственно возможной для осознанного состояния счастья. Он был уверен, еще раньше, чем начал свободно соображать о себе самом, что… Что в каждой семье есть мама и папа, бабушки и дедушки, братья и сестры, со строгой иерархией отношений, и иерархия та безусловна, старшие защищают и балуют младших, младшие за это любят старших и слушаются их без возражений. А если некий старший нарушит свое обязательство холить, лелеять, кормить и охранять, то долой его поганой метлой! Как бы ни сочувствовал Леонтий своему кровному отцу, как бы ни понимал его «страдающую душу» – все же это была, безусловно, страдающая душа. Никому подавно в голову, даже Гусицыну-старшему, не приходило, будто бы бытие

на дне людском классно и прикольно. Да и слов таких не знали. Мама изгнала отца, потому что, так было нужно, потому что никому не дано нарушать семейных святых обязательств – Леонтий жалел, старался не осуждать, именно старался, и при всем при том считал: с Гусицыным-старшим поступили по справедливости. Как он ее понимал с рождения. А с ним самим – нет. Потому что, по отношению-то к Калерии! Он ни от чего не отказывался, только видеть ее больше не мог, и все. К тому же разница между его отцом и собственно Леонтием ого-го! Особенно в материальном смысле. Просто Калерия по свойству своего железобетонного характера не видит очевидных различий, и вообще придает значение вещам, у которых и значения-то нет. Задержал алименты всего-то на неделю-другую, зато, сколько он отдавал сверх, не считая, когда был при деньгах, и дочку Леночку обожал, и… Главное-то, что между отцом его и матерью, между отчимом и сестрой, между ним самим и Калерий все происходило, как бы это сказать? Цивилизованно. Вот как. С политесами, с поклонами, даже с театральными, бутафорскими ссорами, которые словно бы только выдавали за настоящие. Манерно, отменно воспитано, единственно возможно. Какие там гулянки! Дамы его семейного дома второй бокал шампанского вина стеснялись просить, еще подумают, что… в общем, плохое подумают. Женщине надлежит, и женщине нельзя – то есть можно, если потихоньку и никто никогда не узнает, но все равно, это плохо, и хоть расстреляй, ни одна – ни мать, ни сестра, ни бывшая жена, не скажут, что это хорошо. А уж признаваться без обиняков, в письме, все равно, что для визита к гинекологу брать с собой для компании друзей и соседей, чтобы не скучать. Но то-то и оно, Сцилла ни в чем не признавалась, и не думала даже, она не выставляла себя на мирской суд, она рассказывала, как о походе в кино, нормально – нормально для нее. Что-то будет дальше? Леонтий понимал, это только начало. Не исповеди, какое там!.. нет – доверия, скорее так.

Весь его круг, общения и обитания, считал за норму то же, что и он, Леонтий. Не существовал по этим нормам, нарушая сплошь и рядом, как библейские заповеди, но признавал, как символ веры – никто из ныне живущих христиан не видел Спасителя воочию, тем не менее, почитал его сыном божьим, и… короче тем, кем обычно принято его почитать. Подобно и здесь. Приятели Леонтия, бывшие ему по возрасту ровней, тот же Васятников, например, признавали как само собой разумеющееся – семья есть очаг, женщина есть его жрица, дети есть надежда родителей, родители есть опора детей, любовь есть самопожертвование, чужих нельзя оделять наравне со своими

родными, своих нельзя обделять в пользу посторонних, хоть бы и государства, домашнее воспитание важнее школьного, происхождение решает многое, враг не пройдет, а если и пройдет, мы фыркнем и сделаем вид, что он, враг, не существует.

Ханжество? Может быть. Но не мог совсем Леонтий представить свою маленькую Леночку, деточку свою, бегающей сопливой без присмотра по пыльному, замусоренному двору, полуголодной, полураздетой, обижаемой всеми, кому не лень – и сказать, дескать, нормально, а что? Так должно быть. Именно для Леночки так не должно быть никогда, и для него, Леонтия ТАК никогда не было. Воображение здесь не причем. Понимание чужой ситуации тоже. Не мог Леонтий и все. Это он перед Калерией выпендривался, но случись с Леночкой на самом деле малая беда, намек на беду, да он бы… впрочем, он ясно представлял, на что пошел бы – сказать на всё, значит, и ничего толком не объяснить. Он бы на большую дорогу подался, случись нужда, ради дочечки, ради кровиночки, грабил бы и убивал – себя бы возненавидел, каялся с утра до ночи и с ночи до утра, но грабил бы и убивал, потом бы в прорубь или в монастырь, это было бы уже не важно. И даже если не край, не смертельная болезнь, а так – остался бы он у дочери один, и никого больше, он бы забыл себя, выслужился, вытужился бы в крутые чиновники, или в эти распроклятые топ-менеджеры, жоп-менеджеры, как он их называл, на брюхе бы ползал, лишь бы хорошая школа, лишь бы в тепле и достатке, чтоб от пуза, костьми бы лег. Оттого не ложился, что нужды не было. Калерия сама этот самый менеджер и есть, управляющий или вице-президент (вроде того, Леонтий не знал точно, власть у нее была и немалая) солидной аптечной сети «Чумка» – шутка, конечно, хотя по существу верно. Но в принципе так бы и было – Леонтий знал, и достаточно, без доказательств. Как Родину защищать: не спрашиваешь, плохо или хорошо, идешь и всё. Потому, как же можно не пойти? А в остальное время, когда граница на замке, не грех и дурака повалять. Многие герои, надо думать, из таких-то дураков вышли.

Да и что касается собственно Родины, он не знал, как то помыслить. Не в категориях правды или кривды, истины или лжи, Леонтий действительно не знал. Потому ведь, тоже не укладывалось в его травмированном мозгу, как это – стучать в КГБ правое дело на благо человечества? В его среде, в его кругу особенно, могли и морду подправить, интеллигентно, но с брызганьем слюнями и пеной у рта: мой прадед, дед, отец, двоюродный дядя, по пятьдесят восьмой, или кого статуса гражданского лишили, или с работы вон, а ты – благо? Подхалим, подмикитчик, сексот, в одном поле какать не сядем, уж лучше

голым задом в крапиве, чем с тобой! Благо! Ну, ты сказанул! Однако выходило, вот они люди, по крайне мере, один человек, который наперекор всем течениям, наклав на всякий обновленный российский стереотип, говорит – да, благо, – и плевать ему откуда-нибудь с Шуховской или Останкинской башни, что в форме строгой отповеди ответят ему… кто? Диссиденты, интеллигенты, обыватели, прихлебатели? Да наср… ь! понятно было из контекста письма – вот этой самой Сцилле наср…ь. Может, наивернейшая позиция и есть? Это же ее мать, все равно, что родина. Не мы ли орали – бедный Павлик Морозов, или – Павлик Морозов, выблядок и генетический урод. Исподтишка (и ныне так, не только при СССР) – ты откажись, ты скажи, будто мать твоя дрянь – еще хуже это, чем на единокровного отца с доносом. Он-то слыхал: о сынишке одного в забвении усопшего академика, народного выскочки, поучавшего согласно диамату яровую пшеницу плодоносить зимой, так тот сынишка! даже на могилку к родному бате ни ногой, чужие люди присматривали из милости, – только губы презрительно дул, дескать, стыдился фамилии. Таких детишек топором, топором! Ага, а ты бы смог, к примеру, Леночку? Я бы не смог – честно признался себе Леонтий, – я бы никого не смог. Той жалкой крохи смелости, на черный день припасенной, не хватило – а ее и не хватало никогда, – вступиться за упавшего на дно Гусицына-старшего, когда в сердцах, бывало, кляли его душу, или просто говорили дурно, хотя тоже ведь помнил о нем: и как в лошадку играли, и как в парк Горького гулять водил. Так ведь не вступился. Но все равно. Он однажды словно бы составил себе защитительную речь, и запомнил ее, оттого что повторял часто, вот сгодилась как раз к нынешнему случаю. Звучала она примерно следующим образом:

«Я есть Леонтий Гусицын. Я есть. Такой, как есть. Я человек слабый. Может быть, я предам завтра. Я знаю о себе, что слаб. От меня людям пользы мало. Вот только от вас, всех и все огульно осуждающих, ради тщеславного удовольствия, людям пользы ровно никакой. Поэтому, шли бы вы…!»

Но это были только слова. Никто никуда не шел. Хотя, случалось, и посылал. Наверное, оттого, что Леонтий оставался человеком слабым, по его собственному признанию, слова его не имели заклинательной силы. Сцилла была другая. Совсем другая. Ох! Повезло ему? Или наоборот. В ларце селезень, в селезне яйцо, в яйце… и так далее, до погибели. Это только в сказке можно переломить иглу, и ничегошеньки взломщику не будет. В жизни за подобное платят иначе. Тоже жизнями. А кощей, он может, и не враг вовсе. Леонтий по-прежнему не знал, что думать.

Не знал он еще недели две. Дела его неожиданно пошли хуже, то ли возникло осложнение после травмы телесной, то ли переволновался он от душевной турбулентности, но головокружения стали невыносимы, его хотели даже в больницу – Калерия и та, перепугалась, навезла каких-то немыслимых, отвратительных лекарств, хотя первая всегда гремела: не занимайтесь самолечением, но и вправду испугалась, а со страха чего не сделаешь? Мама его, Ариадна Юрьевна, слава целителю Чумаку, была предубеждена против больниц, оттого история окончилась без драм, всего лишь призванием вновь кандидата-нейрофизиолога Семена Абрамовича Гингольда, который отмел напрочь привезенное прежде Калерией, велел пить гомеопатические антистрессовые капли, принимать расслабляющие ванны и непременно свозить страдальца на томографическое исследование головы – последнее и показало, что ничего страшного нет. После чего Семен Абрамович провозгласил, дескать, поставит своего пациента на ноги за какие-нибудь десять дней, пусть только не мешают. Не ходят зря, не тревожат и без того расстроенного нервнобольного. Допустил лишь одного Петьку Мученика, да и как было его прогнать, если сосед, и готов дежурить безвозмездно. Зато Ариадне Юрьевне наказал строго-настрого: материнская ласка должна быть по возможности безмолвной, если же требование это неисполнимо – не более, как на два часа в день законное время посещений. Режим Семена Абрамовича скоро принес свои сладкие плоды, что твой анчар беглому рабу, – родные, включая Калерию, платили кандидату вскладчину, – Леонтий к концу второй недели почувствовал себя если не вполне здоровым и готовым к труду и обороне, то уже в том состоянии, когда у окрепшего духом, совершеннолетнего человека появляются блудливые мысли – а недурно бы обмыть с друзьями переставшее считаться печальным событие.

Обмыть – не обмыть, однако подобно розочками украшенному куску праздничного торта был подан ему Костя Собакин, нейрофизиологический кандидат разрешил, Петька пропустил, как приказано. Не то, чтобы Костя все это время был далеко, его присутствие ощущалось незримо, он был как истина – где-то рядом, и проявлялся в виде продуктовых посылочек: жена его, Надя, пекла на долю Леонтия посыпанный сахарной пудрой «хворост», бисквитные пирожные с вишневым джемом – сладкое в основном, Костя разумно полагал, что друг его не голодает. Это были осязаемые знаки внимания: ниточки от души одного к сердцу другого, хотя преувеличением вышло бы объявить Костю Собакина таким уж закадычным другом Леонтию. В том смысле,

что он не был его забубенным другом. То есть, не участвовал в холостяцких эскападах, в ночных посиделках, в разговорах на «ты» – Костя оставался человеком по преимуществу семейным и домашним положением своим дорожившим. Ему далеко не все осмеливался в откровениях рассказать Леонтий, словно бы Костя олицетворял стоявшего на страже неусыпного цензора, который зрит в корень – подобающе или не подобающе деяние? Будто бы и стеснялся своего друга – вы спросите, какой же тогда это друг? Может, наилучший, кто знает? Потому как, слишком много вокруг нас доброжелателей, хоть и неумышленно, но все же, нет-нет, да и подтолкнут нас к пропасти, именно откровенностью своего притворного одобрения, тогда должен быть и кто-то, удерживающий нас от ненамеренного падения возможностью искреннего порицания. При всей своей пограничной совестливости, между тем, Костя Собакин отнюдь не слыл занудой, напротив, некоторые выражения его и меткие подколочки надолго входили в совместный обиход близких к нему людей, и расходились потом далее, захватывая форпосты популярности даже в интернете. Пусть Собакин не относился прямо к журналистской шатии – он служил в некоем непроизносимом ведомстве военным переводчиком, и не только с английского, но с довольно экзотических языков, с исландского, например, – но сама шатия почитала Костю за своего. Не единственно шуточек ради, однако, и с выгодой для себя. Сколько наспех писанных «на коленке» статей было выправлено и выверено им, совершенно задаром, сколько консультаций «богом прошу и умоляю!» по вопросам – а каким угодно! – того и не счесть. Костю Собакина любили. Корыстно – не корыстно, любовь есть любовь, заслужена она или дана просто так. Да и как было его не любить, это же лингвистический кладезь мудрости! – обозвал Костю один сильно докучливый сатирический поэт: тому помогал и с рифмой, словарный запас-то на семи языках! Чтобы не голословно утверждать о его талантах, вот вам пример. На вопрос докучливой репортерши-сумочницы – есть такие, обвешанные с ног до головы рюкзачками, ранцами, планшетами, цифровыми фотоаппаратами, с тучей перепутанных блокнотов и блокнотиков, все без толку и без пользы, – так вот, на кокетливый вопрос этой сумочницы – Ах, Костя! Вы, наверное, в таких (почему не в этаких?) разных странах работали, а в каком самом необычном месте вы побывали? … В КОМЕ! – ответствовал без раздумий Костя, и как ни в чем не бывало, прошествовал себе мимо. Бедная сумочница аж розовый смартфончик свой выронила, пуговичными глазенками хлоп-хлоп, мужичье кругом ржет. Зато фразочка разошлась, еще как.

В общем, Костя Собакин был допущен и пришел. Для приличия потрепался на кухне с Мучеником, по обрывкам доносившихся восклицаний: о непроизносимом значке «алеф» на конце древнееврейских письменных слов, по правилу тивериадских масоретов, как же – для Петьки подарок, надо ли говорить, что он тоже любил, если не боготворил Собакина, потом Петька тактично удалился: по его уверению, делать «оцифровку», работа срочная. И Костя остался с другом своим Леонтием наедине. Почему это было важно? Для Леонтия даже очень. Он не мог больше молчать. И бездействовать тоже. Вероятно, думал он, оттого и расхворался, в реальности, от нервов. Ратуйте, православные, что же это такое!? Что же это такое с ним произошло? Размышлял он всё о неведомой руке с трезубцем Нептуна и о заманчивой русалке из квартиры Тер-Геворкянов.

Почему не о Сцилле? Разве не о ней и не о письме были все его мысли? А вот и нет. Личное оно и есть личное, переживалось под спудом, не вынес еще Леонтий окончательного суждения, стало быть, и говорить не о чем. Письмо – оно тайна душевная, вот произошедший казус на лестничной клетке, если так можно назвать едва не случившееся смертоубийство, это дело другое. Совет бы Леонтию не помешал. Хотя не зря ли он выбрал именно Костю? На миг малый ощутил себя даже подлецом. Отчего? Да оттого. Назначил Леонтий себе в исповедники, а может, что и в соучастники, человека несвободного, пусть имеющего отношение к военному ведомству и сильно преданного друзьям. Двое детей, девочек, семи и трех лет, вот так, с бухты-барахты, впутывать их отца не пойми во что. Русалки какие-то и звездные пришельцы, что если вообще американские шпионы? Хуже ничего иного на ум не пришло сей час Леонтию. Разве что арабские террористы. Но на них было не похоже. Будто бы Леонтий видал их пачками! Шпионов, впрочем, тоже. Вообще Леонтий не слишком отличался наблюдательностью, даром, что полагал себя хватким журналистом, изобличитель заокеанских козней из него вышел бы такой же, как из многомудрого Петьки-Мученика разухабистый жиголо, а из Ваньки Коземаслова, к примеру, концертирующий солист-балалаечник. Тем более, надо было рассказать, кому-нибудь, и срочно. Зачем надо? Леонтия жгло. Может, он и поправлялся с трудом, от гнетущих мыслей, даже письмо от Сциллы, и то не помогло. Хотя, чему там было помогать? Только разбередило его еще больше. А с Костей он стал бы спокоен. Если бы отважился на откровенность. Будто бы в скромном переводчике Собакине для него отныне воплотилось само вселенское равновесие. Наверное, тут все дело в Костиной

семье, – разрешил задачку Леонтий. У него самого такой не сложилось, возможно, он и складывать не умел. А вот Костя Собакин сумел и сложил. И как! Парадокс, одним словом.

Костя Собакин не только на язык был остер, не единственно образован, но еще весьма и весьма хорош собой. Леонтий бы позавидовал ему, если бы… Если бы на его памяти Костя какой вшивый разочек красотой своей щегольнул или прихвастнул, или на капельку воспользовался. Чистое, светлое лицо его вызывало в памяти полузабытое понятие «отрок», хотя Костя был уже не первой молодости. Такие правильные, тонкие черты пошли бы разве юной девице, призванной в кинематографе играть исключительно Аленушек и царевен-несмеян, «нежгучий» брюнет, скорее чуть рыжеватый, на фоне ослепительной белокожести, Костя запоминался, особенно оттого, что был глазаст: серо-стальные, с пышными ресницами, пристально глядящие, не сурово, однако вопрошающе, словно бы, без малого пафоса, душа его и в действительности взирала ликующе через оконца на мир божий изнутри. Вышел Костя и фигурой, не низок, не высок, в меру, строен и сухощав, бабья мечта, да и только. Потому, услышав о присутствии жены в Костиной жизни, да еще верной и любимой подруги, всякий человек подумал бы – не иначе, как она, первейшая на всю Москву, писаная раскрасавица. Такому, разве не любую? Саму королевну или миллионершу с «рублевки», стараниями хирургов превращенную из лягушки в Мэрилин Монро. И сильнее ошибиться бы не смог. Надя Собакина была вовсе не красавица. Очень круглолицая, курносая, расцветки, что называется мышиной, пепельно-серые волосы, закрученные в строгий жгут на затылке, прозрачные голубоватые глаза, телом – щедро полная сибирячка, совершенно антистоличный тип, вдобавок карманный размер – мужу своему едва ли по плечо. В простом обиходе близкие к дому Собакиных называли ее ласково и снисходительно Надюша-колобок, она не обижалась. Было бы на что. И профессия у нее была странная, для женщины, во всяком случае, не то, чтобы неподходящая, скорее редко встречающаяся. Надя Собакина служила модельным художником в одном довольно престижном ювелирном доме, назовем его, к примеру, «Маклаковский самодел» – тоже конечно в шутку, чтобы не ворчал никто на скрытую рекламу. Сначала рисунок, потом объемное воспроизведение в разноцветном акриле и дальше в руки золотых дел мастеров. Надины модели имели успех на выставках, брали и призы, работодатели ее ценили, платили отменно, особенно за эксклюзивные штучные работы. Но дело это было тонкое, кропотливое, а еще двое детей, муж, не блещущая здоровьем свекровь, Надюша-колобок радостно катилась от

одного к другому, с людьми ей было хорошо, со всякими: тяжелыми и легкими, заковыристыми и простыми, заумными и с неба не хватающими даже тумана. И кулинарка знатная – Леонтий любил поесть при случае, порой нарочно набивался к Собакиным в гости, Надя готовила по Похлебкину, часто кашу из топора, не потому, что не хватало бюджетных средств, а выходило ей интересно, как из самых обыденных продуктов возникает неописуемая вкуснятина. Леонтий был уверен – Костя Собакин жену выбрал себе правильно. Ну, или она его. Потому что, оба они парой являли собой ту самую крепость, которую зазнавшийся англичанин хвалит как свой дом. На крепость, как раз, и можно было опереться, особенно если фундаментом ей служил некий высший рассудительный разум, куда прочней обыденного здравого смысла. Рассказать все Косте казалось естественным и само собой – к тому же, в отличие от Петьки-Мученика, военный переводчик Собакин не предавался безудержным и бестолковым фантазиям, а уж измышления Леонтия о террористах и шпионах, наверное, отверг бы в пять секунд. Даже если бы и не отверг – тогда уж Леонтий с незапятнанной совестью поспешил бы по известному адресу на Лубянской площади, сдаваться – не сдаваться, однако, поставить в известность, что в таком-то доме, в квартире за номером XXX, завелась нечистая, в смысле намерений, пришлая сила. Завелась и строит нынче козни. В общем, все зависело от Костиного решения. Опять же, человек он был около-, или лучше сказать, полувоенный, что несомненно шло в зачет.

Костя его выслушал. Не перебил ни разу. И точно так же ни разу не хмыкнул и не кивнул. А когда Леонтий закончил свою немного отдающую горячечным абсурдом повесть, минуту молчал, и только потом:

– Дело дрянь, – вот что сказал.

– Сам знаю, – так же коротко отозвался Леонтий. – Дальше что? – но тотчас перебил логичный свой вопрос другим вопросиком, как же! Ничто человеческое не чуждо: – А почему ты так думаешь?

Костя само собой понял, что отвечать требуется на вторую часть, она насущней:

– Видишь ли, друже, по голове просто так не бьют. В драке там, или с преступным намерением, если попал случайно под руку, скажем, грабителю. Или самого грабят, в подъезде, для примера. Тебя, скорее всего, саданули тоже по причине. Навскидку – ты мог увидеть то, на что глядеть постороннему не полагалось…

– Наркоторговцы! – опять перебил Леонтий и привстал

рывком на кровати – осенившая его догадка казалась из разряда гениальных.

– Вряд ли. Вернее, точно нет, – остудил его пыл Собакин. – Дверь была, ты говоришь, открыта настежь, как в анекдоте: заходи, кто хочет. Наркодилеры, напротив, должны тише воды ниже травы, это тебе не самогон, взяткой от участкового не отбояришься. Это срок, и надолго. Тут если бьют, то насмерть. Упал с лестницы, сломал шейный позвонок, все шито-крыто. И свою торговую точку свернули бы в момент, ищи-свищи. Но Петр твою дамочку встретил давеча в лифте, поздоровался, она ответила. Точно знаю, что твою – этажом выше ее кнопка, он заметил, когда выходил к себе, и уж как он ее расписывал, по свежему следу, о шубе шиншилловой тоже, между прочим. Петр ничего не знает, с чего бы ему врать? Хотя, ты говоришь, запашок в квартире стоял, будьте-нате. Что-то там варилось, но точно не наркотики. Возможно, разлили, бытовой химикат какой-нибудь.

– Яд! Или секретный проявитель! Это шпионы! Верно тебе говорю, – обратился с пеной у рта и с жаром во лбу к запасной, на самый крайний случай уготовленной версии, Леонтий.

– Ага, или ракетный ускоритель! Пролили. Тогда весь дом бы перетравился. Но, насколько я в курсе, никто не заболел, даже ты. Что же касается профессионального шпионажа…, – вот тут Костя осекся, задумался, глядя на Леонтия, будто прикидывал про себя, можно или нельзя. Видно, решил, все же можно: – Что касается шпионажа. Так это не делается. Слишком много таинственного и слишком много вокруг возни. Шпион, как правило, существо незаметное, подколодное. Когда он действительно шпион, а не «прикрышка» другой операции. Если спецслужбы о нем знают, то твой обличительный порыв им ни к чему – а знают они процентах в восьмидесяти случаев, особенно если «засланец» из посольского дипкорпуса. Остальные двадцать – уж коли наверху не владеют информацией о подобном засекреченном агенте, то ты и подавно бы ни ухом, ни рылом, как мимо пустого места. Так, серенький человечек, может, слесарь из домового комитета. Какие там дамочки в шиншиллах! Только разве в «бондиане» бывает.

– А вдруг вербовать хотели меня? В Украине вон что творится. Опять же, Крым. Приманили, пристукнули, потом сами же выручили – мол, ты нам обязанный. И в агитаторы за здравие блока НАТО, – стал рассуждать словно бы трезво Леонтий, не догадываясь нимало даже, что именно эти его последние спокойные рассуждения выходили самыми безумными из всего им произнесенного.

Костя замялся, закраснелся, плечи его задергались, весь он заходил ходуном, будто бы слепая лошадь, отгоняющая от себя

рой злобных оводов, потом вздохнул, точно из обморока вынырнул:

– Ты только не обижайся. – Куда там, Леонтий уж понял, что обидеться наверняка придется, если не всерьез, то ради поддержания реноме. Костя повторился: – Ты только не обижайся, – стало быть, сказать ему предстояло нечто, неприятное до «большезнатьсянехочу-истого» предела: – Вербовать тебя нет смысла. Не нужно это. Никому. Ни коричневым, ни оранжевым, ни нашим, ни чужим. Тут как если бы кокер-спаниеля решили выдавать на псовой охоте за гончую. Или за борзую. Подкупить? Запугать? Взять «за идею»? Ты ведь человек гнущийся, недорожащийся, значит, заранее непредсказуемый. Как здесь предугадать или довериться, чтобы до конца? А иначе в шпионском ремесле не бывает.

Переводи так: слабый и ненадежный, скурвится в любую сторону в пять сек., – подумалось Леонтию. Обида и кровная, была нанесена, а он – вот не обиделся нисколько. Что за чудеса! – Почему же чудеса? Как раз нормально, ты сам о себе знаешь. Не то, чтобы на правду не обижаются, по крайней мере, порядочные люди, а духу тебе не хватит, пока за живое не заденут: тут уж какое живое, лишь бы история эта оставила тебя в покое, больше ничего не надо. Затем и рассказ.

– Тем более, государственных или коммерческих секретов за тобой нет. И воображения нет – это по поводу агитаторского поприща, тебе на нем лавров не сыскать. Что видишь, о том поешь. Видеть они и сами могут. А уж петь! Ты только не обижайся, – правда была горька, но и Костя был прав, Леонтий обижаться совсем раздумал, ему полегчало, отчего-то стезя шпиона, хоть и увлекательная (судя по боевикам), ничуть и ничем его не прельщала.

– Если не тайные агенты, то кто? Костя, ты меня не щади. Теперь уж чего? Ты говори, как сам думаешь.

– Не знаю, друже. Ни полфиги не понимаю. Сижу, прикидываю, как и что. Но одно скажу – хоть бы и полдня так просижу, все равно. Не знаю. И ничего не придумаю. Не криминал это. И не шпионаж. Черт его знает, может, впрямь русалка.

– Спасибо на добром слове. Утешил, – угрюмо отозвался Леонтий. Но это для виду лишь, потому если и Собакин признает русалку или ее возможность, то, что же остается ему? Жаль, никаких русалок не бывает. А объяснение… – Найдется какое ни на есть, объяснение, зараза. Простое, глупое, скучное. Всегда так случается. Жизнь такая, – это звучало уже как заклинание, но Леонтий уловить не смог.

– Найдется, да. Но на всякий случай. В милицию

бессмысленно, в частное агентство – только на деньги разведут, да еще посмеются, – рассуждал Костя как бы наедине с собой, – вот, что. Попрошу я об одолжении. Одного товарища. То есть, товарищ он по должности, а не мой товарищ. Он в погонах, военный. Я ему услугу должен. Не откажет.

– Так ведь ты ему! – указал на неправильность рассуждения Леонтий.

– Ну, да. Где одна, там и вторая. У нас ведь – чем больше кого обяжешь, тем больше потом спросишь. Но этот товарищ знает меру. Неплохой дядька. Хотя какой дядька, парень! Младше нас с тобой. Зато более современный. Может, в этой твоей ловушке-квартире подпольный бизнес компьютерных игрушек, чтоб налоги не платить, или чтоб конкуренты не сперли ноу-хау, а нам и в голову похожий вариант не пришел, отстали все же от передовой, мы давно с тобой интендантские тылы «нуова ната» – новонарождающейся интеллигенции. С другой стороны, если действительно «нуова ната», тогда понятно, что только пристукнули, и после даже засовестились. И со звонком в больнице тоже проясняется – когда ты коммуникационный асс, что тебе стоит! «Хакнуть» любую систему, не вопрос.

– Вот-вот, – воодушевился Леонтий, – отстали мы с тобой. Мне даже в задние мысли не явилось озарение. А ведь у меня свой начинающий младохакер под боком, сосед, можно сказать, почти родной, одной тут…, ну в общем, старший сын. Его тоже можно спросить, подросток еще, но сечёт! Дай бог нам того же.

– Погоди. Ребенка не стоит впутывать. Пока, по крайней мере, – остановил его летящие благородно-корыстные намерения Костя. – Сначала переговори с товарищем, может, я что упустил. Дело все же темное.

На этом задушевный разговор пришлось прекратить. В дверь стал настойчиво ломиться Коземаслов, с подвываниями и плаксивыми требованиями. Раз уж больному телу друга сделалось существенно лучше – а он знает, вот только что сам от Петьки, тот его погнал в шею, дескать, занят: врет, вернее всего. Так вот – если больному телу легче, то он бы принял возвратно матрас, тот самый, надувной ортопедический, к нему внезапно тетя из Сестрорецка, веселая вдова, у нее дом, картины, старинное серебро, наследство, одним словом, потому нужен матрас, там застарелый спондилез, а он внимательный племянник. Благодарить не стоит, хотя и следовало бы. Но это после, после, после полного, так сказать, выздоровления. Спустя четверть часа Ванька, подняв пылевой вихрь, в буквальном и переносном, спешно убрался вместе с матрасом, но умудрился в процессе изъятия предмета настолько запудрить мозги, что и

Собакин засобирался, а Леонтий не возражал, от Коземаслова душная аура не выветрится еще полдня, какие уж тут откровения! Впрочем, напоследок Костя подчеркнул отдельно – он все помнит и все исполнит. По уговору – ну, и поправляйся, друже, скорее, в самом-то деле.

Русский ум – пытливый

А человек от Кости действительно пришел. Объявился через неделю без предварительного уведомления – Леонтий уже приступил к многочисленным работам и подработкам, втянулся в трудовые будни, так что на время о собственной своей же просьбе «прикрыть задницу» он позабыл. Слишком много скопилось беготни, неразрешенных заморочек, спешно пришлось выкупать Ящера, на то ушли почти все полученные «за» и взятые вперед гонорары – хорошо еще, Леонтию везде сочувствовали, раны его были заслужены, то бишь получены при форс-мажорных обстоятельствах, а не напиты или пропиты в клубных притонах. К тому же выручала репутация: кровь из носу, бессонная ночь, зверское похмелье, но словесный и письменный уголь Леонтий всегда выдавал «на гора» вовремя. Сучливый «Граммофон», и тот не зажал законную зарплату, хотя мог – все это время на подмене старался горделивый Звездинский, не за деньги, не его вариант, но принимая такую особу у микрофона, надо понимать, что положение обязывает: машину подать, причем в оба конца, поднести дорогую бутылку в дружественный дар, да мало ли что, вот и набегает изрядно. Леонтий, конечно, Звездинского благодарил лично, в ответ вместо «не за что!» получил ожидаемое кошачье фырканье – какого нераскаявшегося каторжника! – любимое «звездинское» выражение, – в общем, встань с колен, не ползай, я сделал это из космических побуждений, не ради твоей особы. И ничуть Звездинский не прилгал, он вовсе не терпел ничьей благодарности: очень просто, своеобразный его взгляд на самого себя повелевал философствующему Гулливеру действовать лишь во вселенском масштабе абстрактного, улучшающего мироздание добра, обыкновенное же, человеческое «спасибо» лишь принижало его невыполнимую миссию. Но и у Леонтия были принципы, потребно его визави – не потребно, однако один настоящий джентльмен должен сказать другому «сенькаберимяч» в любом случае, если задолжал или чем круто обязан.

Так вот, человек тот пришел. Леонтий именно в обозначенный момент вылезал на свет божий из нутра излеченного «Ящера», как и в мечтах своих – у парадного подъезда, возможно ближе к заветному припаркованному синему джипу соседки:

– Ты будешь Гусаков? – услышал он над собой почти у грани хамское обращение, от неожиданности застыл на полдороге, что называется, одной ногой (да нет же, не в могиле, на улице!) там,

другой здесь: поза раскорячившегося в воротах дворового голкипера.

– Гусицын моя фамилия, – вылез, наконец, наружу, хлопнул нежно дверцей, Ящер не выносил грубого обхождения, все там едва держалось на честно-ругательных словах.

– Ну да, ну да! – прогудел незнакомец ему прямо в ухо, и на Леонтия дохнуло таким тайфунообразным водочным вихрем, что закружилась голова. Нет, не похмельным перегаром, именно здоровым, жизнерадостным атмосферным фронтом сорокаградусного чистейшего напитка, принятого не ранее, как с полчаса назад.

Леонтий невольно тоже вдохнул полной грудью, и только после взглянул на повелителя винокуренных эоловых ветров. Пред ним предстал во всей красе краснорожий, курносый парень, что называется, косая сажень в плечах, на которых, между прочим, красовались майорские погоны, э-э-э-э… может, памятник Жукову и знает какого рода войск, Леонтий напрочь в подобных вещах не разбирался. Он и про майора-то догадался: на тяжелой меховой куртке зеленовато-серебристые узенькие прямоугольнички с одной приличных средних размеров звездочкой. Не генерал же! А так – майор.

– Ломоть-Кричевский, – сказал вдруг детина и протянул вполне дружелюбно лопатообразную руку. Левую. Оттого, что в правой он цепко держал увесистую черную папку из блестящего кожзаменителя, и зачем-то убрал ее за спину, будто опасался, что не дай бог, тщедушный Леонтий может позариться на его богатырское имущество.

– Ломоть чего? – то ли испугался, то ли недопонял Леонтий, он и сам не знал, какого чувства было больше вложено в его ответ.

– Ломоть-Кричевский, звать меня – Ломоть-Кричевский, Сергей Сергеевич, можно просто Серега, или товарищ майор, это как захочешь, – пояснил приставучий военный, на последних словах он отозвал приветственно выдвинутую лапищу и неожиданно щелкнул сложенными пальцами по звездочке на правом погоне. Звук получился, натурально ружейный выстрел. Леонтий вздрогнул. – Да ты не бойся. Я от Константина Михалыча. Ты же Гусаков?

– Гусицын, очень приятно, – с облегчением! Леонтий слегка поклонился. Вышло глупо.

– Ну вот, а я Ломоть-Кричевский, путаная фамилия, произносить трудно, оттого и очередное не дают.

– Что не дают? – Леонтий вообще уже не разумел, о каких предметах пошел разговор.

– Звание очередное. Не дают. Это ж пока выговоришь! В армии все должно быть четко и ясно, – детина вздохнул, отчего Леонтий почувствовал себя бодрее грамм, этак, на пятьдесят.

– Ага, ну да, как же! – разразившись чередой междометий, он будто бы обрел в себе уверенность. – Так вы по делу? От Константина Михалыча? От Кости? Я и не рассчитывал…в смысле, не надеялся. Что всерьез.

– Всерьез. Сигнал твой принят. Стало быть, пошли, – внушительный майор Сергей Сергеевич развернулся резво на сумму двух прямых углов словно бы по неслышной команде «кругом!», если бы не в помеху густо-пенная, сливочно-кремовая снежная каша, наверняка бы и каблуками прищелкнул.

– Куд… куда? – заикнулся Леонтий, ничуть не двинувшись следом с места.

– Как куда? Туда. На кого жалоба, – бравый майор развернулся обратно в милостивые пол-оборота, извлек на свет заветную папочку. Распахнул. Перелистнул. Прочел. – Тер-Геворкян, Орест Самвелович, сорок восьмого года рождения, проживает…

– Да, да, я знаю, не в том ведь…, а как же, так и сразу. Взяли и пошли, – прервал Леонтий чтение установочных данных, не то происходящее начинало уже напоминать опереточно-полицейскую операцию. – Вы послушайте сперва, что произошло и каким образом.

– В общих чертах я в курсе, а частности не существенны, – кососаженный Сергей Сергеевич, похоже, начинал терять терпение. По крайней мере, сильно запыхтел грозно вздернутым носом. – Мне с тобой не романы писать. Нужно ведь подняться, зайти, представиться, как положено. Задать наводящие вопросы. Я, понятно, не следователь, у меня другая работа. Но разобраться по сути полномочия имеются – дело не хитрое… Да ты не бойся, – вдруг по-доброму улыбнулся майор. – Бить тебя больше не посмеют, никто. Это торжественно обещаю. Я же рядом. Хоть и без табельного оружия, все равно меня голыми руками не возьмешь… по правде говоря, и вооруженными тоже не возьмешь, если только свыше трех нападающих.

– Спасибо, – машинально ответил ему Леонтий, на всякое доброе обращение отвечал он «спасибо», такое уж воспитание, на недоброе иногда тоже, но в язвительном модусе, – честно, я благодарен очень. Просто мне неловко. Точно мы с вами набиваемся к чужим людям, без приглашения. Знаете, говорят: всюду, как дома, ощущают себя короли, воры и проститутки. Мы с вами ни то, ни другое, ни третье. Может, заранее стоило предупредить, что, дескать, зайдем в удобное для вас время…

– Послушай, Гусаков! Тебе по башке дали? Дали! Тупым предметом, сотрясение второй степени тяжести. Чего ты выкобениваешься? В удобное время! В удобное время в тюрьме ужин с макаронами, как говорил Василий Алибабаевич! А ну, пошли! У меня тоже время, это самое, казенное, – Сергей Сергеевич опять исполнил четкий поворот «круго-ом!»

Леонтию пришлось подчиниться насилию. Пусть морально-словесному, но все же. Одна была надежда – в квартире Тер-Геворкянов, сделавшейся на некоторое время ненавистным орудием нравственной пытки, никого нет. Ни слуху, ни духу. Так что, постучат они с майором Сергеем Сергеевичем, потренькают в звонок, может, саданут с досады раз-другой ботинком в бронированный металл, на том их самопальные маски-шоу и закончатся. Да если и есть кто за семью квартирными печатями: с чего это непроизносимый Ломоть-Кричевский взял, будто его пустят тотчас и вообще вступят в переговоры? Кто он, продюсер с «Метро-Голдвин-Майер» – принес повестку для вашей девочки на главную роль, или доставка из бутика «Кристиан Диор»? Леонтий на месте шиншилловой дивы такому Сергею Сергеевичу нипочем бы не открыл. Не то, что дверь, даже глазок.

Так все и вышло. Почти. С одним существенным исключением. В дверь они позвонили – точнее позвонил майор, Леонтий скромно и невидимо приткнулся за его мощной спиной. Два раза, между прочим, звонил. И терпеливо. Потом Ломоть-Кричевский стучал. Нет, не ботинком, не понадобилось. Здоровенным кулачищем, так, что загудело на всю лестничную клетку. Бу-бух! Бу-бух! Будто гранатами кидался. Понятно, без ответа. Леонтий уже воздуху набрал для: «вот видите, я предупреждал, лучше в другой раз», но сказать не успел.

– Что же, попробуем иначе, – выдохнул на простор последние водочные запасы майор Сергей Сергеевич, и достал, совершенно неожиданно, из плотно застегнутого на клапан кармана, связку из пяти-шести тоненьких ключей, напоминавших разнообразные кактусовые колючки. (Отмычки, надо думать, – смекнул Леонтий, и ужаснулся) – попробуем, – майор решительно загремел своим собранием для начинающего домушника.

– Может, не стоит? – прошептал, если не пролепетал Леонтий, хотя и хотелось ему совсем другого, к примеру, заорать: Не смейте! Что вы делаете!.. И так далее.

– Государственная необходимость, – нравоучительно произнес Ломоть-Кричевский. – Тут уж, братишка, цель оправдывает средства. Терпи, – неизвестно к чему добавил он. Видно уловил внутреннее состояние своего спутника. – Терпи. Так надо.

– Ну, надо так надо, – мгновенно сдулся и смирился Леонтий. После подумал: может, действительно так надо? Не он ли сам мечтал о шпионских приключениях? Вот они, ешь их полной ложкой. И радуйся. Хотя, кто знает? Вдруг не солгал, вдруг государственная необходимость и есть. Не ему, Леонтию, решать. На нем узоров… тьфу ты! на нем погонов нету!

Дверь открылась. Не без усилий. Предприимчивому, государственно необходимому майору пришлось-таки попыхтеть. Изрядно. Теперь оставалось только войти.

– Я первым пойду. Ты – в двух шагах позади. Не отставать и на пятки не наступать – короче, держи обозначенную дистанцию. По команде. Команда будет: «за мной»! – это она и есть, – майор без намека на стеснительное колебание переступил высокий бронированный порог.

– Все же там люди гражданские, могут испугаться, – на всякий случай упредил его Леонтий: было бы жестоко стращать шиншилловую фею внезапным военным маневром, вдруг лично она ни в чем не виновата?

– Если бы гражданские не были такими тупыми, они ходили бы строем, – подал в ответ майор Сергей Сергеевич наповал убойную реплику, после чего у Леонтия едва не сдохла от понятийного шока большая часть нервных клеток. – Заяц трепаться не любит! Вперед! За мной! – он не воздел руку на отлете с зажатым в ней командирским пистолетом, но все равно, Леонтий ясно представил себе этот известный, многократно тиражированный кинокадр, и поднялся в решительную атаку из окопа, хорошо еще не закричал: За Родину! За Сталина! а в какой-то краткий миг очень хотелось.

В квартире по-прежнему пахло. Тем самым. Ядовитым. Знакомым. Едва запах был подсознательно опознан, как тут же все существо Леонтия, вздрогнувшее и вздыбившееся, стянул ледяной коркой ползучий ужас. Он ощутил свое, ничем не прикрытое сзади, темечко, беспомощное и покорное, будто бы удар вот-вот будет нанесен, неотвратимо, стоит лишь попытаться оглянуться – так не оглядывайся, не оглядывайся, это всего лишь воспоминание, утешал он себя. Но успокоил его, однако, неприязненно-сварливый голос Ломоть-Кричевского: – Ну, и смердит! Еще ведь люди интеллигентные. Эх, на один только денечек, да в наш второй взвод, когда я дневальным. Было времечко, я тебе скажу! Давно, а будто вчера! – майор запыхтел где-то в темном коридорном далёко, тогда-то Леонтий понял, что приотстал.

– Вы в каком полку служили? – спросил, догоняя, и только потом уже сообразил, что именно он сморозил. Благодарение

всем небесам и преисподним, майор не был поклонником великого «гэг-мейкера» Остапа Бендера:

– Я рязанское десантное заканчивал. У нас был курс, а не полк. Курсант я был, понятно? Меня после отобрали за заслуги, – тем временем оба они вышли в заставленную плотно старинной мебелью, сумрачную гостиную.

– А-а-а! – протяжно и согласно отозвался Леонтий, не стоило и спрашивать, куда отобрали и за что. Ну их, этих военных, с их загадочными делами, влипнешь еще ненароком! Наконец-то смог здраво рассудить Леонтий, если не брать в расчет, конечно, то обстоятельство, что стояли они посреди совершенно чужой квартиры, и все их действия вполне квалифицировались согласно УК как взлом с проникновением. А так – ничего, способность соображать непредвзято вроде бы вернулась на свое место.

Они синхронно-зеркально огляделись. Майор повернул свою «рязанскую» мордуленцию сначала справа налево, потом слева направо, Леонтий сделал в точности наоборот. На его взгляд, как будто ничего не изменилось. Со дня последнего приезда Жанны Ашотовны – книжно-журнальный, выцветший хлам был в целости на своих местах, обмотанная тряпками хрустальная люстра, мебель и ковер прикрыты древними, как папирусные манускрипты, «правыми» газетами, кажется, попадались местами даже номера идейно-выдержанных «Известий» времен «меченого Мишки». И никаких человеческих следов, то есть – абсолютно, в смысле: квартира представлялась и была на самом деле абсолютно нежилой. Ни там тебе брошенной второпях массажной щетки-расчески, ни забытой помады, ни початого флакончика духов, чего уж – русским духом вообще не пахло, да и вообще никаким духом, ни эфиопским, ни эскимосским, одной только гадостной дрянью того самого, травленого укропа. Но возвращаясь из поворота налево в исходное положение, Леонтий заметил все же кое-что, чего в гостиной быть не должно, и никогда не было раньше. В углу, приткнувшись в тесноте у многие лета не мытого окна, стояло нечто. С виду напоминавшее задрапированную мешковиной циклевочную машину, какие встречаются в средней руки гостиницах класса «Турист», или богатых ведомственных домах культуры с непременными, парадными паркетными полами.

Нелепо и ужасно вытаращив глаза, Леонтий многозначительно кивнул в сторону полотерного устройства, почему он не решился донести о своей находке вслух, крапивный бес его ведает. Майор тоже не произнес в ответ ни полслова, будто и на него нашел «немотный» стих. Однако, будучи человеком военным и не из пугливых, отважно шагнул к

загадочному предмету и в одно движение, махом, сорвал с него зашуршавший жалобно покров, оказавшийся вовсе не мешковиной, а… ой! Серо-грязный машинный чехол, едва коснувшись пола, растекся мгновенно по рассыпанным вокруг, скомканным в беспорядке газетам, затем как-то рывком скукожился в крошечный детский мячик, сделался пурпурно-бархатным и словно бы замер в ожидании – мол, ну как вам, фокусик-то, ничего себе?

– Эт-так, …еть… через забор! – и впрямь куда как забористо ругнулся Ломоть-Кричевский, споро нагнулся за нагло алевшим мячиком: какой смелый, какой отважный человечище, еще успел подумать о нем Леонтий, и что сам бы он на подобное никогда не решился.

Однако отважный майор получил шиш – мог бы и не нагибаться. Коварный мячик вовсе и не думал даваться в храбрую майорскую руку, отпрыгнул в сторону и снова нахально замер, слегка посверкивая одним боком – будто забавлялся морзянкой.

– Да ну его! – озлился вдруг майор, и чуть было не плюнул в сторону коварной штуки, да видно одумался: не в офицерских, наверное, принципах плевать на пол в жилом помещении. После чего, нарочно бодро шагнул к полотерной машине. Леонтий за ним.

Но это оказалась, что и понятно, никакая не полотерная и не циклевочная машина, а несусветная несуразица. Потому что она была сплошная… ну, или почти что. Здоровенная желтая дура – не хватало только черного клейма к примеру «блек-энд-деккер», – и ни тебе выключателя, ладно, пусть не сенсорного, пусть бы ручка-рубильник, ни тебе худо-бедно шкалы для самой грубой настройки режимов работы, даже шнура обыкновенного и того не было – как же ее запускать? Монолит – с одной единственной круглой дыркой, размером разве что с большой палец средней мужской особи. Отверстие зияло точно посередине желтеющей в мутном оконном свете машинной тушки, а может и не машинной, может, пустая коробка из-под чего-то нужного – успел продумать альтернативу Леонтий, как уже….

Ну, вы догадываетесь, что собственно произошло после «как уже…», продолжение напрашивается само собой. А почему? Читай заглавие – потому что, русский ум пытливый. Наверное, не только русский. Наверное, и польский, и молдавский, и китайский, и какой-нибудь марсианско-верхне-междуреченский. Вот только пытать можно по-разному. Тут уж, как говорится, что русскому на ать-два чихнуть, да высернуть, то немцу острый геморрой. Можно испытать сомнительный предмет другим иным предметом, кирпичом, например, так бы поступил, скажем,

незатейливый скандинав, можно послать вместо себя высокооплачиваемого слугу и гордо наблюдать результат на безопасном расстоянии, так бы рассудил нефтезаливной арабский шейх, или собрать брифинг, составить бизнес-план, получить под него сперва кредит, потом офисный штат, а потом уже – в будущем году, если дивиденд обещается хороший, тогда… и так далее – это американская модель. Русский же вариант – да, да, все верно, молодцы, догадались, поделили два на полтора, пятиалтынный на ум пошел! – осуществил, не мешкая, на практике бывший рязанский десантник и нынешний майор ХХХ управления чем-то там военным и секретным Ломоть-Кричевский Сергей Сергеевич. Он сунул указательный правый палец в дырку. Предварительно и предусмотрительно переложив заветную свою папку теперь уже в левую руку. Отчего так? А он был правша. Все просто.

Не успел Леонтий додумать мысль, как уже… На этом, будто бы мы остановились. Теперь далее.

Как уже майор Серега, (после своего опрометчивого поступка он, думается, утратил гордое право на полноценное имя-отчество) сунул палец… туда, куда его единственно возможно было засунуть. Повезло еще, что дыра оказалась мала, не то сунул бы другое что-нибудь! (дурную башку, имеется в виду, а вы о чем вообразили? Фи!)

И что? И ничего. То бишь, ничего особенного не произошло, ну типа там: палец оторвало, или коварный укол нервнопаралитического вещества, или тяпнуло – не пускает назад. А только машина гнусно взвыла, будто ухающему филину дали пинка под гузно и вот он летит и злобно-визгливо ругается – представили? Точно так же, только намного гнусней.

– Ой! – по-детски испуганно вскрикнул майор, хорошо хоть, не добавил «мамочки!», все же из десантников.

Палец-то он отдернул, на всякий случай, без помех, целым и невредимым, однако машина продолжала выть. Нудно и протяжно, и как ее теперь, балду, выключить?

– Как ее, балду, выключить? – растеряно спросил майор Серега, с неподкупным чистосердечием заглядывая Леонтию в лицо – даже пригнулся немного.

Ага, знай наших! Злорадно подумал Гусицын: как стрясется чего, не укладывающееся в обыденное понимание природы вещей, так сразу – интеллигент уже не хилый недокормыш, а родной брат и друг. Будь ты хоть трижды десантник и дважды засекреченный агент. Только… ответа не было и у Леонтия:

– Почем я знаю, – в тон майору точно так же растеряно огрызнулся, – нечего было лазить! Чуть что, сразу руки совать.

Вот, досовались. Подождем немного, может, сама перестанет. Завод кончится, или таймер внутри сработает, или батарейка сядет.

– А если взорвется? – для Ломоть-Кричевского это было все равно, что признание в полной потере контроля над текущей ситуацией.

– Вы МЕНЯ об этом спрашиваете? – Леонтий нарочно равнодушно передернул плечами. Ему вдруг стало весело: хотя, чего, спрашивается, веселиться. Но, однако: майор расписался только что в собственной беспомощности, а он, Леонтий, ничего, спокойно держался на плаву. – Да не взорвется. Зачем это? Разве вредное излучение какое, потому – лучше нам отойти в сторонку.

В самом деле, не из машины, продолжавшей препротивно с подвыванием гудеть, но из лежавшего в уютном газетном гнезде пурпурного мячика стали вырываться неравномерные пучки синюшного света, будто кто намеренно решил дезинфицировать помещение ультрафиолетом. Озаренная мертвенными бликами гостиная словно бы задрожала всеми углами и прямыми линиями, скривилась набок, запульсировала в стробоскопе, все сильней и сильней, Леонтия резануло по векам – ослепленный, он едва успел зажмуриться, и тут же мерцающие лучи пропали. Машина продолжала выть – теперь уже едва слышно, точно басистый комар, а в воздухе сильно мерзко запахло. Тем самым. Ядовитым. Только раз во сто мощней.

– Кх! Тьфу! Кху! Да открой ты окно! – донесся до Леонтия ревущий кашель майора Сереги.

– Сам открывай! Кфтью-кху-кху! Ишак! Кто тебя просил-кху! – плюнув на вежливое «вы», ругался в ответ Леонтий, дышать было нечем. Оба они рвали на себя оконные рамы, толку выходило голый ноль: – Быстро, на кухню, под вытяжку! Кху-кху! Ох, бля! – Леонтий хватил лишку отравленного воздуха, его резануло под дых, затем стошнило. Он упал ничком на запачканные им газеты, содрогаясь от желудочных спазмов, бежать уже не было смысла – Леонтий решил, что окончательно помирает от удушья.

Но надрывно кашлявший Ломоть-Кричевский не пришел своему подопечному на помощь. Вовсе не от трусости тела или черствости души.

– Гляди! Гляди! Там! Ах ты, гад! Вот кто нас травил! Гусаков, держись! Держись родной! – это майор Серега кричал сквозь лающий кашель уже на бегу, он рванулся за мохнатой тенью, напоминавшей чем-то голого человека, не стриженного и не бритого крат во сто более любого хиппи, однако слишком уж низкорослого для гомо сапиенса.

Крик этот придал Леонтию бодрости, он сумел поднять

обессиленную голову, попытался даже сесть, ему удалось, попробовал и соображать – получилось тоже. Если вонь несусветная шла из машины, а причиной этой вони послужил майорский палец – все просто: нужно совершить подобное же действие. Грубо говоря – нажать ту же кнопку, которая одновременно есть запуск и отмена приказа. Другой-то все равно нет. Леонтий встал на четвереньки. Сейчас, сейчас, держись и ты, Серега! Военный отважный корреспондент спешит на помощь. Надо попроситься в «Красную Звезду»! А где теперь «Красная звезда»? Нет, его не примут. Он не умеет метать гранату! Мысли летели кубарем, но Леонтий дополз, уже приготовил палец, а что делать? В первый раз подействовало. Хуже ведь однозначно не будет.

– Ты только погляди-кх! Ты погляди, чего я поймал-тьфу-кху! – майор едва дышал, но голос его звучал торжествующе-наградно. А в руке его, на весу в правой мощной длани – папку из левой он так и не выпустил, – порывисто трепыхался… какой-то обезьян. Точно – голый и выборочными местами очень мохнатый. Вроде человек, а вроде … ну вылитый питекантроп… если верить картинке учебника антропологии. Леонтий не то, чтобы пристально изучал вопрос, но кое-что почитывал в свое время.

– Сейчас, кхрр, сейчас, хррр-кх! Я сейчас, Серега! – Леонтий отчаянно и безоглядно сунул указательный палец в машинное отверстие. Холодное. Бр-рр. Комариный вой немедленно прекратился, и сам он неожиданно повис в воздухе – так, будто кто дернул его за обе ноги, намереваясь подвесить к потолку – что за погань? Эй!

Ответа Леонтий не получил. Он позвал еще и еще раз, но звуки тонули будто в воздушном мешке, какой бывает, к примеру, в наглухо пригнанном противогазе – Леонтий пробовал однажды, вышло такое же му-у-у, растворявшее в себе все остальные смысловые ноты. Прошла, наверное, минута. А может, час. Ему стало страшно. До чертиков. До отмирания конечностей. До сердечного паралича. До «паникеров расстреливать на месте». Очень захотелось в туалет. Не по-маленькому. Как раз наоборот… Только не это! Нет, только не это! Помирать, так с музыкой… то есть, в чистых подштанниках. Чувство собственного достоинства и острое нежелание потенциально осрамиться в глазах… хоть бы и соседской мамы мальчика Аркадия, спасло его сжавшийся кишечник от позорного извержения. И тут он упал. С высоты – не с высоты, но метра два было, пребольно плюхнулся на всю ж…, иначе говоря, упал на самое мягкое место мужественного мужского тела.

– Серега! О-ох! Серега-а! Как я кости не переломал! Ты

удивишься, но… – чему должен был удивиться Серега, ушибленный самозваный военный корреспондент не договорил. Потому что огляделся и увидел.

Леонтий находился вовсе не в знакомой гостиной Тер-Геворкянов, а где-то в лесу, что ли? Или на болоте? Или в тайге? Было зверски холодно, и под тем самым местом ощутимо мокро, сверху пробивалось сквозь верхушки невероятно корявых, лысых деревьев зимнее, румяное солнце, кричала жалобно одинокая птица, и вот еще – ничем не пахло. Ничем противным и ядовитым, имеется в виду. Он сидел и нюхал. Раз, другой – долго. Обыкновенный холодный воздух, щиплющий ноздри и щеки: где-то в кармане дубленки должна быть адидасовская вязаная шапка, в правом или в левом? Уши мерзнут. Руки мерзнут. Перчаток нет. Еды тоже нет. Есть косяк с анашой в патроне из беломорины, Петька Мученик притащил с какой-то вечерухи и от щедрот угостил. Еще есть деньги и одноразовая зажигалка, сгодятся, чтобы развести костер. Кредитки не сгодятся ни на что. Даже, чтобы подтереться. Интересно, тут, в лесу, лопухи есть? Хотя, какие зимой лопухи. Одни елки, наверное. И палки. Наломать дров. Леонтий вздохнул. Выдохнул. И закричал. Во все обожженное горло. Истошно, оглушительно, беспомощно. Единственным открытым слогом: Ма-а-а-а-а-а-а! Ма-а-а-а-а-а!

Почем в лесу шишки?

Иногда человек в состоянии приобретенного по обстоятельствам нервного шока бывает на удивление спокоен. Иногда нет. Все зависит от силы и глубины поражения. От силы – это понятно, насколько внезапно, ужасно или сверхъестественно свершившееся событие, настолько же обладает мощностью полученное от него впечатление. Как если бы вы угодили, совершенно неожиданно и в совершенно безобидном месте, в свидетели террористической диверсии – вас, к счастью, лишь краешком задело, оглушило слегка, но вы видели: на ваших глазах разлетелись в кровавые клочья невинные человеческие тела, кругом гарь и огонь, крики боли и детский плач, ничего-ничего подобного никогда не случалось с вами раньше, вы вообще рядовой усредненный обыватель, как жить дальше? Как переварить, не спятить, не записаться в черносотенцы, не шарахаться в ясный полдень от собственной тени? Но это все о поражении очевидном, при котором сила его соответствует вполне его глубине. Соответствует по достоверности, а это немаловажно. Глубина же впечатления – есть действительное мерило его истинности. Если пояснить, то это так: к примеру, тоже прямо на ваших глаза, в некоем храме левитирует в крестообразной позе святой, ну или выдающий себя за такового, богочеловек. Высоко, прямо под куполом он парит над затаившей дыхание публикой, над задранными в изумлении головами, над тихой гипнотической музыкой, над преодоленным мирским и досужим. При полном допущении достоверности происходящего события, вариантов нет – любой свидетель получит нервный шок, может не слишком великой зрительной силы – разве «ух, ты! и впрямь полетел!», однако, небывалой глубины, то есть до переворота всех жизнеобразующих основ, до остова бытия, до подножия веры – рухнет на колени и примет чудо вместе с царствием небесным. Это в идеале. На деле же – никто никуда падать не станет. И ни в какое царствие небесное не уверует. А все почему? Потому. Что не верит до конца. Или не верит вообще. Что святой тот и впрямь летает сам по себе. Оттого зритель смотрит больше с любопытством, как на интересный трюк, и с не вполне чистым ожиданием – упадет, не упадет. А если упадет, что будет дальше? Разобьется или так, незначительные повреждения. Лучше первое, оно захватывающе, особенно если никогда не доводилось видеть раньше, как это выглядит – разбившийся о каменный пол мертвый человек. Поэтому глубина полученного шока не всегда соответствует силе его мгновенного воздействия.

Мощная страховка укоренившихся в сознании, привычных представлений заставит выбирать из всех возможных объяснений события, самое что ни на есть обыденное.

Так случилось и с Леонтием. Шок, полученный им при беглом обзоре окрестностей падения, по силе был страшен. Надо думать! То вы в цивилизованной, пусть и очень дурно пахнущей гостиной знакомого дома, а то – оп-ля, раз-два, и посреди какой-то дремучей лесной чащи, бог знает где. Оттого Леонтий и закричал, родное, извечное, протяжное, успокоительное – Ма-а-ма-а! кричал он мощно. Потом кричать перестал, во-первых, горло совсем разболелось, от ядовитых испарений, от холодного воздуха, и просто от напряжения. Во-вторых, сработал тот самый фактор глубины: не верю! Ну не верю! Или подвох. Или галлюцинация. Для начала он пребольно ущипнул себя за мокрую щеку, потом зачерпнул голой рукой жесткий снег – порезался, это был даже не снег, снежный наст, у кромки, сломанной при падении, острый, как нож профессионального мясника. Увидел собственную кровь, размазанную на белом до розоватого растворения, и уже не сомневался – никакая это не галлюцинация. Что он, грибов в свое время не пробовал, что ли? И не только грибов, баловался еще кое-чем, так, за компанию, но скоро и разумно бросил. Однако запомнил, каково это. Так вот, теперь было совершенно не похоже. Ни резкости красок, ни особенной остроты восприятия. Лес был как лес, только гораздо более безобразный и корявый, чем, скажем, в том же Завидово. Кривой, косорылый, буреломный, будто навечно позаброшенный гамадриадами, без заботы и присмотра. Где же это он очутился? Песьи мухи его возьми! А?

А все предельно элементарно. Ответил сам себе Леонтий. Конечно, он в лесу. И конечно, это чья-то злая шутка. Как же иначе? Накачали клофелином, или снотворным, что в принципе одно и то же. Тем укропно-ядовитым. Ему уже в квартире стали мерещиться питекантропы и мохнатые тени. Потом он вырубился, а его в охапку, и завезли невесть куда. И кинули. Спасибо, что не раздели: дубленка на месте, и ботиночки, хлипкие, полные снежной крошки, но на месте тоже. Даже смартфон «самсунгэлэкси» и тот в заднем кармане штанов. Звони, не хочу. Вот только время – Леонтий посмотрел на часы, – четверть третьего, всегда ведь он к двум на обед старался, если позволял график, из-за фантастической мамы мальчика Аркаши, именно в этот заветный час возвращавшейся с ежедневной тренировки по пилатесу и порой приглашавшей его невинно по-соседски выпить кофе или зеленого чаю. Приглашали редко, но старался Леонтий всегда, Костя Собакин об этом знал и давно, наверное, потому

инструктировал майора Серегу. Иначе чего бы он, прямо так, без звонка, а может, свои резоны, или отследить Леонтия по тому же телефону через спутник не почел за труд, хотя – оно надо? Ну ладно, пришел и пришел. Было без четверти два. Тогда. Теперь, стало быть, четверть третьего. А этого не может быть. Что же его, по воздуху или по волшебству в считанные минуты перенесли в тьмутаракань, да пусть бы и в ближнее Подмосковье, где такое видано? Ага, раз не видано, значит, ничего загадочного и нет. Часы, механические – между прочим, настоящий «роллекс-ойстерс», хоть и куплен сильно бэ-у, – перевели ради хохмы, а телефон перенастроили, экие поганцы. Солнце. Солнце тоже перезапустили. Фигня полная. Солнце стояло довольно высоко. Думай, думай! Ты, Леонтий, не астроном, не следопыт и не бойскаут, чтобы время по солнцу определять. С северной стороны всегда на дереве мох, ага! Тут твои книжные знания о походах и спортивном ориентировании в лесу дремучем себя исчерпывают. Леонтий успокоился совсем. Солнце очень даже может быть там, где ему положено. Тут уж сомнений и двух мнений нет – чистый розыгрыш, филигранный, руки оборвать за такие дела, и ноги тоже, и то, что между ног, если имеется. Надо позвонить. Хоть бы тому же Собакину. Как отсюда выбираться? И где он вообще? Пусть ищет со своим Серегой по джи-пи-эс, если этот самый Серега не ржет над ним в ближайшем дупле. Уроды! Конченные! Ну, погодите! Леонтий остервенело тыкал замерзшим пальцем в нужные строчки телефонной книжки, еще и еще – мартышкин труд. Поля не было. Заряд в мобильнике был, а поля не было, ни полстолько, ни четвертьстолько, ни единой черточки, и не высвечивал экран заветных буковок, обнадеживающих МТС RUS. Полная херня! Последнее Леонтий произнес вслух, и уж поверьте, для него это вышло свирепое ругательство.

Чтобы позвонить, надо залезть на елку. Или – на любое иное дерево. Он в кино видел. Правда, там мужик лазал на отчаянно высокую сосну, да еще в придачу стоявшую на горе, да еще у него, придурка запасливого, в кармане имелась латунная проволока. А у Леонтия даже елки порядочной и той нет – вокруг одни уродливые корявки метра в два, от вершины до подножия, сучковатые, страшно подумать: как на такую лезть, в щегольских туфельках и в светло бежевой дубленке с нежным замшевым верхом, жалко. И потом, зачем? Разве ему эти ничтожные два метра помогут? Нечего мечтать. Ни на какую сосну, то бишь елку, он не полезет. Не павиан. Ищите дурака. Что делать?

Идти прямо. Куда-нибудь, да придет. В садово-дачный кооператив, в элитный поселок с доберманами, на совхозную лесопилку, или к профсоюзному санаторно-парковому хозяйству,

это же Подмосковье, тут плюнуть некуда – обязательно попадешь в железный остов ЛЭП, в помойную кучу утилизированного хлама, в разливанное мазутное море, цивилизация, бля. Снова ругнулся в сердцах Леонтий. Короче, раздобудет адрес и телефон, выберется отсюда к фене-ядрене, а уж после выскажет Собакину все, что он думает о поступке лучшего друга, равно как и о чувстве юмора у последнего. Ага! Вот только, где это прямо? «Блудить» кругами бы не хотелось. Мох на деревьях растет с северной стороны. Привязался этот мох! Да и моха никакого на обозримом елочном пространстве нет. Одна наледь, причем со всех боков. Зато есть часовая и минутная стрелки, засечь угол между, и все время делать поправку – всплыло в памяти нечто туманное из пионерско-вожатого прошлого. На крайний случай сгодится – ему же не строго на юг или восток, а просто прямо надо. Это же Подмосковье. И чего он заладил, Подмосковье, Подмосковье! Осадил себя Леонтий. С какого перепугу он взял? Потому что, если не Подмосковье… тогда! Нет, лучше пусть будет Подмосковье. Он отчего-то припомнил уместный сей час эпизод из засмотренного до CD-шного скрипа данелиевского фильма «Кин-дза-дза!», – будем считать, что мы в Каракумах, тогда Ашхабад там! Кажется, подобно рассуждал лихой прораб дядя Вова. Правда, ошибался он, мягко говоря, кардинально. Так ведь то фильм, а здесь жизнь! Утешил себя Леонтий. В общем, держа направление прямо, он придет к… придет к… допустим, к Истринскому водохранилищу. Вот и ладно.

Направление «прямо» держать оказалось непросто. Как и любое направление вообще. Леонтий мало того, что ни единого раза не хаживал по девственному зимнему лесу, так тем более не помыслил бы совершать таковой марш бросок в тоненьких ботиночках и глаженных гаерских брючках, зауженных книзу. Во-первых, хотя бы выбраться на самый верх ледяного наста оказалось делом почти непосильным. Некоторое время Леонтий изображал из себя ледокол «Красин», спешащий на выручку экспедиции Нобиле, задаром безнадежно погубил дубленку, пропитался до самых тощих бедер мерзкой подмокшей снежной кашей, осилив в общей сложности шагов, этак, пять. Кое-как, ухватившись за ближайшее дерево, словно за гигантскую спасительную соломину, ему удалось после дюжины попыток неуверенно стать на ноги, поверх бугристой и скрипящей, скользкой обледенелой кожуры, непрочным слоем покрывавшей почти что метровый осадочный слой. Теперь нужно было отпустить ветку и самостоятельно идти дальше. Но как-то вдруг расхотелось – может, лучше остановиться на достигнутом, и покричать а-у-у? Леонтий покричал. Ему ответила все та же

одинокая птица. Больше не последовало ничего. Тишина вокруг была в чистейшем природном своем виде лесной. Не пригородной, с отдаленным ревом моторов, не деревенской, где возможно мычала бы корова и лязгала колодезная цепь, даже не утешительно заповедной – а дикой, именно дикой, первобытной, безжалостной и наводящей подлинный ужас. Сколько он простоял так – держась за колючую сухую ветку, десять минут или десять мгновений, ему казалось, что уж навечно прирос к заколдованному месту, но ведь надо было идти. Леонтий все же сообразил. Отломил эту самую ветку, потом еще одну, чуть ли не ползком продрался до разлапистой низкорослой елочки, наполовину гнилой, и, слава богу, что гнилой – трухлявые нижние лапы отошли легко, бурые колючки сыпались тучей, но кое-что осталось – он соорудил нечто вроде снегоступов, эх, еще бы связать! Вязать ветки, однако было нечем. Пришлось прикрутить содранной волнистой лентой древесной коры – маникюр он погубил напрочь, пальцы и ладони ссадил в кровь, в мясо, но ничего, на таком холоде никакая зараза не пройдет! Надо идти. Да, да, если сядет солнце… Леонтий едва на секунду вообразил себе ночной лесной кошмар, как тут же видение прибавило ему сил. Елочные лапы помогли, идти не то, чтобы стало легко, об этом не могло быть и речи, но, по крайней мере, идти стало мало-мальски возможно, а это уже кое-что.

Так он ковылял с полчаса. На примотанных елочных лапах, опираясь на две палки-ветки, отдаленно в принципе использования напоминавшие лыжные. Сначала пробовал считать шаги, потом просто начал громко произносить вслух – раз-миссисипи-два-миссисипи-итакдалее, – успокаивало. Окаянный лес – экая дрянь, – нипочем не желал даже и не заканчиваться, но хотя бы редеть. Кругом стояли нагло все те же елки, меж них торчали те же палки, то бишь, остатки каких-то кустов, унылая одинокая птица была та же самая, по крайней мере, кричала, в той же тональности и так же пронзительно. Но Леонтий точно не шел по кругу – елки вдруг полого устремились вниз, так что сделались видны будто бы порывистыми волнами их коротенькие макушки, – наверное, с вершины холма, холмика, или всего лишь кочки, – однако Леонтию пришла в голову, как ему невесть с чего показалось, блистательная, прегениальнейшая идея. Именно: воспользоваться своим мужественным мягким местом, как средством передвижения с горы. Несколько лапчатых веток для надежности вместо саночек и ура-вперед! Подумано-сделано, это было действительным облегчением, поскольку сил пробираться сквозь практически непроходимую лесную природу у Леонтия уже почти не оставалось. Вернее, это было БЫ действительным

облегчением, если бы было так, как Леонтий представлял свою затею себе. Если бы! Никогда не пробовали, пардон, на заднице проехаться по заснеженному лесу с горки вниз? Не пробовали? И не надо. Упаси Господь. Потому что ехал, – если можно так выразиться, – Леонтий, обдирая седалище и загребая ногами снежную жесткую взвесь, только до первого столба, иначе, до первого препятствия – перекрученного, вывороченного, вымороченного обломка бревна, может быть и елки, не важно, лежавшего аккурат поперек его дороги. Ушибся он пребольно, не говоря уже о том, что перевернулся кувырком, подмяв плечо, и дальше летел кубарем, стремительно и слепо, стараясь единственно сберечь голову, кое-как, на лету укутав в отворот дубленки и обхватив темечко руками, бим-бом-бурашка, бом-бом! Потому как встреченное им бревно, гнилое и разлетевшееся следом в труху, оказалось отнюдь не единственным, и вообще деревьев на пути стояло множество. Боль была ослепительная, Леонтий уже точно знал, что переломал себе все на свете, что он безнадежный калека, которому выйдет только ползти ползком на манер Мересьева, но вот в герои-летчики он никак не годился, нет, и вообще, что же это такое? Что же это такое делается, господа хорошие, с честными и мирными людьми! Сатана бы побрал этого майора Серегу! Или желтая машина, или шиншилловая баба! Все равно, только бы оставили меня в покое! Чтоо я ваам сдеела-а-ал??!

Полет и беспомощное верчение вокруг продольной оси внезапно кончились. Леонтий долетел-таки до самого низу и там растянулся в рост, раскровенил еще ко всем прелестям жизни верхнюю губу и обжег щеку о наждачно-лютый ледяной покров. Холод от земли шел адский, интересно, зачем в аду топить, безумной бешеной мыслью промелькнуло в его мозгу, куда эффективнее этак-то грешников, мордой да в сугробы – сугроб от слова «гроб», вот уж действительно. Но он споро вскочил на ноги, сам не понимая как, лишь бы избавиться от убийственного хлада, тогда только осознал, что стоит на более-менее твердой земле, и что вообще стоит, сам, и что не разбит вдребезги, и вообще не убит, не ранен, ничегошеньки у него не сломано, хотя расшибся он сильно. От стиляжьих брючек – голые лохмотья, сквозь блинообразную дыру на колене просвечивает кроваво-синяя набухшая квашня, но кости-то целы, а мясо заживет, надо протереть снежком – ой, нет, дурень вялый! ЫЫЫ! Лучше не надо, пусть будет, как есть. Добраться до ближайшего травмопункта, где лечат те, кому положено и кто умеет.

Он вроде бы вышел к какой-то прогалине, или к проплешине в бесконечном лесном снегу, и не вышел – выкатился, елки

выплюнули его на опушку, как чужеродную гадость. И правильно, и хорошо, на полянке оно сподручней. Сейчас отдышаться, и на соседний холм. А что делать? Кругом одни холмы и елки. Зато он учен опытом, больше на попе ни-ни, соорудить себе новые снегоступы, полчаса блужданий не прошли же даром? Как раз в подножии соседнего холма виднеется отверстие. Землянка или зимовье? А может и пещера. Сталактитовая. Сталагмитовая. Сокровища Али-бабы. Клад Полуботков. Какая пещера? Спятил совсем. Но если и вправду землянка, то хорошо. Может, не землянка вовсе, а старый сарай. Приткнулся тут, заброшенный, дверь настежь или нет ее совсем. А внутри – лопаты, грабли, железные всяческие чудеса, это, по меньшей мере, спасение. Будто колодезная вода в пресловутых Каракумах. Сперва нужно было посмотреть. Чтобы убедиться. Все равно, как ни смотри, присутствовало в облике этой земной дыры нечто… нечто рукотворное. Вытоптанная черная площадка вокруг и густо набросанные острые обломки то ли пней, то ли осколки древесных стволов, словно некий леший аккуратно щипал щепу, в общем, природе не сотворить такое, да и отверстие, наверное, входное, без нависших корней, без натуральной кособокости, неестественно правильное, хотя, как и все в этом лесу, безнадежно корявое. Точно, что землянка. Блеснул косой луч солнца, Леонтий сделал еще один шаг прямо, в землянке мелькнула какая-то тень. Неужели, обитаема? Пьянчужка бомжик, нелегальный эмигрант, беглый зэк, все равно, это ведь люди. А где люди, там тепло, там чай, там запасные штаны, хоть какие, там главное, в его случае, – информация о местоположении. Если запредельно повезет, то и телефон, полцарства за телефон! В обмен на кредитки, на наличные, на швейцарские престижные часы. Для хороших людей ничего не жалко, лишь бы они были, лишь бы они нашлись, эти самые люди – все ж таки не звери, не съедят.

– Лю-юди! Лю-ю-ди! – возопил, что было мочи – а ее вдруг оказалось много, – Леонтий. И побежал, неловко, спотыкаясь, заплетая ногами на каждом шагу. Но именно из «крайних» сил побежал к чудотворной землянке.

Вам когда-нибудь приходилось, уважаемый читатель, нестись в буквальном смысле сломя голову, на велосипеде по совершенно пустой окраинной улице, может даже счастливо горланя во все легкие модную песню, допустим «яблони на снегу», и так до ближайшего абсолютно свободного нерегулируемого перекрестка? Наверняка, хоть раз в жизни, а доводилось. С тем лишь допущением, что на свободный нерегулируемый перекресток вдруг из-за угла вырулил бы многотонный грузовик

на безнадежно полном ходу – тормозной путь метров этак сто, да еще успеть сообразить о придурке на велике. Вот это вам доводилось вряд ли, иначе бы автор сейчас обращался к кому-нибудь другому, физически живому, естественно. Но представить-то возможно, так сказать, всю печальную суть ситуации. При оптимальной удаче вы навернетесь с велосипеда, набок, через покореженную раму, через сломанную руку, где-то возле гигантских колес, возблагодарив силы небесные, что удалось – не затормозить, конечно, но хотя бы уцелеть. Все равно ощущение – будто бы вы долбанулись внезапно о глухую стену и сами оглохли на миг, даже и неслыханный доселе мат, мат-шедевр, из уст перепуганного водителя – «чуть не обхезался, мать твою перемать, ах ты…!!!», как-то слабо приводит вас в чувство. Разве если разгневанный дальнобойщик сообразит врезать вам по уху, тогда да, чувства вернутся быстро. И вы поймете главное – ничего еще не кончилось, все очень скверно, самое плохое хоть и не произошло, но худшее весьма вероятно впереди. Потому что – сам виноват, надо было смотреть, а потом уже ехать. Петь вам, во все горло или как еще, совершенно расхочется, оно и понятно.

Леонтий бежал – если позволено так сильно выразиться, – навстречу с песней на устах: иначе – как заклинило на дурацком «люди, люди!», а на него уже надвигалось нечто. Из землянки, правда, без песни, без крика, но с каким-то утробным, неприятным урчанием. Многоголосым. То есть, зэко-бомжей в землянке было не один, и даже не двое. Многоголосье нарастало – Леонтий почти уже подбежал к вытоптанной проплешине, когда урчащие беглые псевдоэмигранты, наконец, вывалились наружу неорганизованной толпой – их было шестеро или семеро, он не считал, не до того было. И своё «люди-люди!» кричать как-то сразу перестал, и бежать, впрочем, тоже. Именно, будто бы Леонтий налетел на глухую стену, во весь опор, во всю дурь, со всей прыти. Закачался, по инерции проскользнул на полусогнутых еще пару шагов, завалился на бок, тотчас поднялся, неловко взмахивая руками, и тотчас же взмок от ужаса, хотя совсем к тому времени замерз, но – было от чего. Потому что навстречу из допотопной землянки к нему высыпали отнюдь не люди, нет. Лохматые, полуголые существа, в обрывках каких-то грязных шкур, очень вонючие, и очень нечеловеческие, хотя и похожие на… – на того самого обезьяна, коего изловил в квартире Тер-Геворкянов майор Серега, гепатит В ему в печенку! Существа эти посмотрели на Леонтия, желтые их, круглые глазища злобно засверкали из-под горбатых, косматых бровей, потом один, самый крупный обезьян ощерил безобразно торчащие черные клыки, будто нарочно созданные для рекламы «кариозные монстры

атакуют», и что-то рявкнул, на удивление относительно членораздельное. Типа «ба-ры, гу-ра». Видимо, его гортанная проторечь имела какой-то смысл для остальных. Ибо мохнатая толпа без промедления похватала разложенные тут и там древесные обломки, в их кряжистых когтистых лапах оказавшиеся – хм-хм!! обыкновенными копьями, с остро заточенными по всем каменновековым правилам кремниевыми наконечниками. Ага, вот как они выглядят на самом деле! Какие неказистые! – некстати и невольно подумал Леонтий, – интересно, что у них за топоры: каменные, каменные, куда там, наверняка тоже деревянные, а уж к ним прилажен жалкий кусочек от гальки речной – мустьерская культура, леваллуазское отсечение, из какой это оперы вдруг всплыло? Ага, из Маркова! Что-то про неандертальцев. Для размышлений было самое время, в кавычках, – как раз потому, что вонючая мохнатая стая, экипировавшись дрекольями, ринулась довольно бодро и дружно в сторону Леонтия. Набираться впечатлений стало некогда, нужно было бежать. Что Леонтий и предпринял немедленно. Резво поскакав в сторону деревьев и леса. С тем же, ставшим за истекшие полчаса уже привычным криком «ой, мамочки-мама!», сливавшимся и пропадавшим в коллективном вопле «ба-ры-гу-ра!». Видимо, в переводе означавшим: хватай его, хлопцы, и будет вам ужин! Леонтий как-то ни на малую толику теперь не сомневался, что его действительно могут съесть. Спросить же у земляных обитателей телефон ему, слава-те-господи, не припала блажь.

Откуда что взялось. Еще пару минут назад Леонтий едва передвигался, охая и кряхтя, словно чудом выжившая старуха с клюкой на остатках древнерусского посадского пепелища. А тут развил впечатляющую прыть. Будто и не было похода и кувырковообразного полета через елки-палки-сугробы, но его накрыла самая настоящая адреналиновая бодрость, второе дыхание пловца-марафонца на открытой воде. Он еле успевал соображать на бегу и кое-как оценивать свои возможности, равно как отсутствие таковых. Убежать по снежному насту от этих… скажем, питекантропствующих обезьян наверняка вышло бы делом безнадежным. Хотя потрясавшие копьями преследователи и сами спотыкались на каждом шагу, с визжаниями и ругательными рычаниями – тоже не слишком удачливы в передвижениях: с облегчением отметил машинально Леонтий, – однако они были местными обитателями. Что давало повод предположить – опыта оперативного перемещения по зимнему лесу мохнатые человекообразные имеют поболе его собственного. Догонят, как в глаз дать с ноги – догонят! И съедят! Единственно

в панике смог сообразить Леонтий. И принял решение – до елок он все одно уже добежал. Выбрать самую высокую, ровную и крепкую. Ну и … адреналин в крови зашкаливает, как-нибудь, жить захочешь, на Пик Коммунизма влезешь без страховки. Он и влез. Вот хоть убей кто потом, хоть пытай пентоталом натрия, хоть помани миллионом в конвертируемой валюте! Все равно, Леонтий не сказал бы как! Как он влез на эту самую, прямую, относительно разумеется, высокую ель. Он тогда тоже не сразу понял – что с ним такое произошло. А когда понял, заново ужаснулся. Он сидел на елке, в чрезвычайно опасной близости к хлипкой ее макушке – каковая и раскачивалась, угрожающе поскрипывая, будто свихнувшийся метроном. Сидеть-то он, сидел. И, похоже – те самые питекантропы, или австралопитеки, поди разбери! равно как их предводитель-обезьян, лезть следом за ним не спешили. Лесные тутошние духи ведают почему. Может, ноги, то бишь, лапы кривоваты, может, боятся высоты, а может, здешний кодекс гостеприимства не позволяет – коли залез, стало быть, сиди.

Зато опять нестройно возопив «ба-ры-гу-ра», вся свора принялась кидаться в Леонтия обледенелыми снежками, по твердости и разрушительной силе не уступавшими булыжникам пролетариата. Некоторые долетали – еще пара-другая таких попаданий, и он подбитым дятлом ухнет с елки: Леонтий шмыгнул носом, ему хотелось заплакать, не столько даже со страху, перед предстоящим будущим и хреновым настоящим, сколько от элементарной боли – один снежок сильно разбил ему лодыжку, второй пометче – съездил по уху, отчего слетела адидасовская шапка, куда-то вниз, на соседнюю ветку, не искать же. Но тут как раз швыряния прекратились. Тоже кикимора болотная знает отчего. Двое мохнатых остались внизу, довольно мирно перехрюкиваясь друг с дружкой – остались в карауле, не иначе, остальные прочие по приказу вожака «ры-ыры-гры-ы!» подались куда-то по делу. Интересно, по какому? Подумал Леонтий и тут же вынес себе строгий выговор: оно тебе надо? Тебе что легче станет, если ты узнаешь, дескать, пошли они за рожном или еще какой дрянью? Ты лучше соображай: кто это такие вообще? Совсем животные или подобны человекам? И ежели животные, то где же бисов черт дрессировщик? И что они делают в подмосковном лесу? И можно ли договориться? Пообещав, к примеру, грузовик тушенки, в качестве гуманитарной помощи голодающим. Договориться, наверное, вряд ли. Леонтий окликнул своих сторожей пару раз с опорной вершины, вежливо и витиевато: эй, господа хорошие, кто здесь главный? В ответ услышал ощеренное гр-р-р, и больше ничего,

даже воинственное «ба-ры-гу-ра» не прозвучало. Прямо остров доктора Моро, не больше – не меньше! Стало быть, переговоры бесполезны. Стало быть, остается размышление на тему: откуда эти человекообразные обезьяны взялись? На ум пришло единственное заветное: секретный правительственный эксперимент, – зациклило и ни с места. А что? Сам напросился, как клинический, даже климактерический идиот. Зачем он к Собакину полез? Хотя, Костя, скорее всего не в курсе, оттого и не предупредил, что, мол, к тебе сейчас идет человек. Это все майор Серега, каверзный Ломоть-Кричевский, со своими гарантиями, холерные вибрионы ему в кишки, чтоб его аккаунт навек был проклят в фейсбуке! Вот теперь сиди на елке, жди. Чего жди? А ничего хорошего! Ну-ка, ну-ка, постойте-ка! Если эксперимент, в самом деле! Если эксперимент, значит, за ними следят, прямо сей момент, с мониторов или в полевую телескопическую трубу, как он на этой елке корячится. Беспомощный, одинокий, и елка тоже гнусная, хоть бы шишки на ней росли, что ли? Было бы, чем кидаться в ответ. Глупо, конечно, но лучше, чем ничего. У-у-у, гады! Нет, нет, не гады, вполне достойные люди, ученые экспериментаторы, и сам он сидит тут ради общего блага и дружбы народов, может, в реальности клонировали семейку питекантропов, почему нет? потом подсадили к ним белого человека, то есть, пардон, современного, это не расизм, оговорился. Хотя, к какой расе принадлежали питекантропы? Нет, тогда, кажется, человечество на расы еще не было разделено, были хомо эректусы и все. Но вот эти, эти точно – к дегенеративной индоевропейской, потому что, такие же козлы, как те биолухи, что позволили загнать его на эту мерзкую ель даже без шишек. И что теперь, кричать: «Помогите! Я никому не скажу!»? Черт подушный, о чем он думает, а? Белиберда всяческая лезет в голову – Леонтий, неожиданно даже для самого себя, истошно вдруг взвыл, снизу грозно заурчали, и вроде бы застучали копьями, этого не хватало! Тихо, тихо, я мирный! Сижу себе и сижу, все в порядочке. Еще чуть-чуть просижу, околею, и сам аккуратненько свалюсь вниз, как раз к обеду. Или к ужину. Получу законное копье в брюхо, и отмучаюсь. Или секретные экспериментаторы придут на помощь, как Чук и Гек, как Чип и Дейл, как Железный Дровосек и Соломенное Чучело. Скотины бессердечные!

Тем временем вернулись остальные лохматые человекообразные. Да не одни: с бабами, с детишками и с идолищем поганым. Бабы – было громко сказано, хотя самому Леонтию грубоватое это слово показалось комплиментом, нечесаные коровищи с отвисшими молочными бурдюками – с

присосавшимися намертво младенцами, прочие мелкие детеныши цеплялись за их спутанные длиннющие патлы, полные мусора: мелкие косточки, птичьи перья, сушеные беличьи лапки – вместо украшений, целое гнездо, наверняка полное блох и нательных вшей. И лица, лица! Нет, морды! Совсем не женские: выступающие бульдожьи челюсти, синюшные, будто резиновые губы, надбровные дуги завесой– мечта теоретика Ломброзо, – словно козырьки, что не видно глаз, хотя зачем и смотреть, вряд ли в них светятся доброта и нежность к незваному заблудшему гостю. Косматые эти, клыкастые бабы наводили на Леонтия ужас почище предводителя-обезьяна, грозно вопившего «ба-ры-гу-ра». Не то даже, что обезьяньи женщины выглядели крайне дикими и, понятно, до отвращения неухоженными – эксперимент, секретный и правительственный едва ли включал в себя регулярные посещения спа-салонов, – нет, не это было главным. Что особенно холодило Леонтию мысль и душу – именно их безусловная обезьяноподобность. Не инакорасовость, а полное отсутствие этой самой расовой принадлежности. Он даже подумал мимоходом: вот сюда бы, да какого-нибудь досужего скинхеда, да на эту елку, нациста там или угнетателя-плантатора, живо бы породнился с малайцем и с ангольским негром. Потому – свои родные, нормальные люди, все равно какого цвета, но понятно, что люди, остальное все – корыстная высокопарная подлость, которой не обманешь, потому что вот тут бы, в лесу, никакая расовая теория не прошла бы проверку на прочность. Потому – снять сей час Леонтия с елки мог лишь иной другой человек, более никто, и без разницы, белый он, зеленый или коричневый, но человек разумный. Тем более разумные женщины всегда добры, вообще женщины добры, потому что понимают язык добра, хоть бы это был всего-навсего язык жестов. К бабищам внизу бесполезно выходило взывать – как раз это холодило Леонтия, как раз это душило его страшнее всего. Он достоверно узнал теперь, от одного только взгляда на этих длинногривых и длинношерстных щерящихся самок, что внизу – не люди. Может, и питекантропы, может – австралопитеки, но верно единственное – это еще не люди. А значит, взаимопонимание искать бесполезно. Ощущение было чудовищное – будто бы он сидел на своей шаткой елке в окружении зверей. Волков там, или …, кто еще охотится стаей? Леонтий припомнить не смог, да и какая, «хренлучшаяприправа»! разница? А? Где только их подлый дрессировщик шляется? Вот слезет он вниз, если слезет, доберется, ох, как он доберется! Харю начистит, рожу разобьет, пусть бы габариты у этого олуха, как у обоих Кличко, стань те по прихоти сиамскими близнецами, но хуже, чем ныне! Нет, хуже однозначно не будет. Да!

Как раз в этот момент хуже и стало. Двое самых старых, облезлых и замшело сизых обезьян-австралопитеков, устаканили-таки на снегу свое идолище. Метра полтора высотой, вряд ли больше, хотя с вершины Леонтию определить было на глазок затруднительно. Все равно идолище выглядело поганым. Конусообразный кусок полена, на нем красной краской – уж не кровью ли предшественника, застрявшего на елке? – намалеван грубейше рот «до ушей», два круглых глаза с точкой посередине, несколько пониже атрибут, напоминающий фаллос – творчество народов мира, одним словом, но кошмарное. Потом эти двое облезлых – жрецы, не жрецы, вроде шаманы? – завыли. Протяжно, будто бродячие псы на луну. Прочие питекантропы, без различия пола и возраста, повалились тотчас мордами вниз, прямо в снег, благо у поляны тот был редкий, и давай вовсю отбивать поклоны, так что, вдруг кто и башку разобьет, злорадно подумал Леонтий. И неожиданно засомневался – ну, как если разумные? Все же горланят свое «ба-ры-гу-ра», и вот обломку старого пня с красными глазюками поклоняются, может, сектанты – одичали тут, в лесах под Москвой, еще с войны, партизаны, наверное. Леонтий озлился внезапно на всю ту чушь, что лезла ему в голову. Гады! Гады! Завопил он в ответ, безадресно, не к обезьянам же! И зря. Потому что два старых питекантропа бросили выть и проорали вторую часть кричалки «гу-ра!», потом еще раз и еще. Обезьянья толпа внизу словно бы очнулась от транса и как-то спешно засуетилась. Чего это они? Может, теперь уйдут? С некоторой надеждой наблюдал за ними Леонтий. Ох, пусть бы лес, пусть бы елки, пусть даже не Подмосковье! Только бы подальше от этих. Человекообразных. И был он прав. Потому как, обезьянья суета завершилась весьма просто – под деревом возник небольшой костерок из хвороста. Почему именно это был костерок – Леонтий догадался довольно скоро: один из замшелых обезьяньих старцев извлек из-под плешивой, пятнистой шкуры, прикрывавшей трясущееся дряхлое его тельце, какой-то увесистый предмет. Что это такое – Леонтий не замедлил узнать. Когда снопом полетели искры, и вспыхнул в обезьяньей лапе коротким оранжевым заревом клок то ли пакли, то ли шерсти, то ли древесной коры. Огниво, то было огниво! У них, что же, есть огонь?! Какой разэтакий, безответственный м…ль, в смысле пудель, доверил огнеопасный инструмент скудоумному лабораторному существу – вот тебе бабушка, мартышка и очки! Совсем у них там, дерьмо ударило в голову, у этих экспериментаторов. Ладно, выдали своим «питекам» чурку с намалеванными глазюками – для обучения навыку поклонения и послушания. Но огниво-то зачем? Гансы-Христианы-Андерсены

паршивые! Батюшки родные, и мамочки! Еще раз. И еще раз. Заорал Леонтий. И ведь подожгут, как сверху обоссать! Подожгут! А это идея! Снова показавшаяся Леонтию гениальной. Тем более, от холода ему хотелось уже давно. Но как-то неудобно было – эти внизу, вдруг соображают? Теперь стало все равно. Ну, погодите у меня. Недолго. Сказано – сделано. Брюки даже расстегивать не пришлось особенно – и так дыра на дыре, дубленку бы, дубленку не изгадить! А-а-а, ну и гуманоиды с ней! Леонтий в отчаянии обреченного сплюнул. И прямо на головы, на морды, на космы, сколько было – все до капли. Излил из себя. С криками и бранью. Сволочи, матери божьи вам в рыло, и дулю в нос, на! Получи! Что орал, сам толком не понимал. Ересь – единственно можно сказать. Внизу, однако, обезьяны-питекантропы очень обиделись. Не на порушенную чистоплотность, но основной поток струи пришелся, к несчастью, на поганого идола. Короче – в Леонтия массово полетели копья. Хорошо – долетело только одно и только плашмя задело. Но этого хватило – Леонтий не удержался на своей елке, лишнее неверное движение, и прогнившая, трухлявая верхушка подломилась. Он с треском гробанулся вниз. Правда, со всеми остановками в пути. Их было шесть или семь довольно жестких веток. Так что, летел он, в общей сложности, секунд пятнадцать.

Довольно времени, чтобы распрощаться с жизнью и еще разок вспомнить маму. А также Леночку, Калерию, Петьку Мученика, верного друга Костю, соседского мальчика Аркашу, и даже выморочного Ваньку Коземаслова. Однако Леонтий ничего такого не вспоминал, и про маму не закричал тоже. И все его сознательное существование на бренной земле не пронеслось вмиг перед внутренним духовным взором. Отчего? Оттого, что в безутешном падении своем, приложившись и без того допрежь ушибленной башкой о первую же встреченную ветку, Леонтий словно бы прозрел. Нет, не в библейско-евангельском смысле. Никакая благая весть не прозвучала, и архангел не протрубил. Но очевидная ясность, замеченная еще прежде, однако отклоненная здравым рассудком, ему именно теперь, в болезненном полете сквозь елочные дебри, сама собой отворилась.

Все было не так. Именно, именно. Вообще все было не так. И елки, и палки, и снег, и пещера, и питекантропы, и даже поганый идол. Не хватало чего-то. Все время не хватало чего-то. Не в том значении: будто бы кругом стояли плохо прилаженные киношные декорации, и не в том, что питекантропы выглядели ряжеными. Достоверность присутствовала и была в полном порядке, без сомнения. Уж постановочные трюки Леонтий бы разглядел. Не в этом дело: не таким ощущался мир вокруг. С самого начала, а не

только теперь, когда Леонтий летел вверх тормашкам с елки и позволил себе, наконец, осознать эту «нетаковость». Не может быть, не бывает в естественной природе столько гнили, грязи, унылости и корявости. Пусть австралопитеки, пусть человекообразные. Но они – промежуток и этап в развитии. Не противный, отвратный, убогий, но закономерный, логичный, порядковый, потому прекрасный – мощь горной гориллы, занятная понятливость шимпанзе, почти сознательные гримасы рыжего орангутанга, все эти звери могли быть порой страшны, порой неопрятны и плохо приручаемы, но никогда до тошноты отвратительны. Как раз вследствие своей победной силы. Пусть даже через естественный отбор, мутацию и тяжкую эволюцию видов. Пусть – через тернии к звездам. Но здесь, казалось, остались одни только тернии. Кривые, кособокие, вызывающие непреодолимую брезгливость. Нечто пропащее, вечно гибнущее, и все никак не могущее самоуничтожиться до конца, еле-еле держащееся на плаву, растущее и бредущее кое-как в никуда и куда попало, ни к чему не стремящееся, словно бы перебивающееся с хлеба на квас – точнее с палки на елку. Будто лишенное буйной животной потенции – совершенствования и преодоления любой ценой. Вот и копья. Они даже вверх летели неудачливо, вяло, и хозяева их, толком не умеющие ходить по родному лесу, и снежки – покидали да бросили, и огонь – если есть огонь, то почему же пещера стояла темная, ни малейшего запаха костра? Какой великий замысел в том, чтобы сидеть в холодной сырой землянке, в придачу с маленькими детенышами? Дров кругом – зашибись, колоть не надо, пилить не надо, бери, ломай, не хочу! Никто, по-видимому, из здешних не хотел. Вот все это вместе и было не так. Вот об этом невольно думал Леонтий те пару десятков секунд, что летел со своей предательской елки вниз. Прямо в лапы человекообразных обезьян.

Он шмякнулся на спину. Дубленка смягчила удар, да и наваленный грудой хворост тоже. Если позвоночник не поврежден, то он сможет встать на ноги. А собственно, зачем вставать? Над ним уже маячили клыкастые рожи, бестолковые, будто сбившиеся в кучу бакены-поплавки на реке. Рычали, хрюкали, вроде и ссорились. Шаманы и вождь, наверное, решали, как его Леонтия, эффективней съесть. Зачем подниматься-то? Чтобы уж наверняка быть насаженным на копья, точно на шашлычный шампур? Не-ет, лучше он тихо полежит, довольно, набегался за день. Холодно, мокро, скоро он и в самом деле околеет, и пусть, надоело все. Леонтий замерзал, оттого: сделался ко всему происходящему равнодушен. Мир вокруг не таков, ну и

пошел он в… а-а-а, без разницы куда! Ему, кажется, связали ноги, веревкой из плетеной коры, режущей и без того израненную кожу на щиколотках. Он попытался брыкнуться. И тотчас схлопотал удар. Копьем по лбу. И провалился во тьму. И хорошо. Так оно проще. Для обезьян и для него. Внутри Леонтия плыл звук и начинался сон. Будто бы качалась белая снежная колыбель, будто бы набегали пенные молочные волны, легкая качка не мешала, напротив, успокаивала – смерть, это совсем не страшно, это никак, а разве можно бояться ничего? Нет, нельзя. Бояться можно лишь чего-то. Баю-бай. Качай-качай. Волна за волной. Скоро меня не будет, и страшное исчезнет тоже. Без следа. Без следа-а-а. А-ах!

Очнулся он уже в земляной пещере. Сколько времени спустя? Сквозь ничем не прикрытый проем пробивался тусклый сумеречный свет. Значит, близко вечер. Какого дня? Да этого же, этого! Как он определил? Очень легко. Руки связаны, плотно и болезненно, будто он собрался выпускать голубя мира, стиснутые кисти распухли, но вот поднять и поднести обе ладони к лицу вполне можно. Он лежит на боку, в дальнем углу, никто не заметит, если вообще кому есть дело. Так вот. Как современный, не юродствующий в православии мужчина – то есть, не таскающий на подбородке заросли мочала, – может вполне достоверно определить, кой ныне день с утра? А по щетине, по ней родной. Щетина была полудневной. Почти отсутствующей, едва заметной, сегодняшней. Значит, и день сегодняшний. Он же не Карл Маркс и не сладковдумчивый композитор-певец Гребенщиков. У него на лице все темпы роста растительности, так сказать, налицо – эх, каламбур, записать бы!

Ну и вонь! Как шибает, чистый протухший аммиак! Гадят они тут же, что ли? Этого даже дикие звери не делают. Даже тигр не срет, пардон, там, где ест. В гамбургском зоопарке видел однажды – чистоплюйское животное, отойдет в песочек, да еще чтоб убрано было, иначе служке от него придется солоно. А здесь… Вонь. И холод. Хотя его – надо же – укрыли (скорее забросали сверху) ворохом смердящих шкур. Вонь и от них тоже. Но и кроме: какая-то экскрементная, обморочная, неужто хоть одно живое существо захочет обитать в такой? И опять – то же самое ощущение. Нездоровая это вонь – что значит? А то. В раздевалке мужской баскетбольной команды подавно пахнет не фиалками, зато нет ощущения смертной безнадежности: заткни нос, коли не нравиться, спортивные потные парни, за два метра, ну, помоются сейчас и все будет о-кей. Совсем иной коленкор – вот, хотя бы взять провинциальный бюджетный дом для престарелых годов этак, начала девяностых, мрак и ужас,

неубранные утки под кроватями, смрад больной, стремительно дряхлеющей плоти, тяжелая дезинфекция, наводящая мысль о городском морге – и вскрывать не станут, зачем, диагноз ясен, древняя старость, не совместимая с жизнью. Здесь то же самое, не от полного пренебрежения гигиеной, а как бы от бессилия существования. Как если бы не живут в этой пещере, но вымирают, или выживают, но еле-еле, без энтузиазма, так сказать. Равнодушные твари. Однако его, полудохлого от холода, накрыли шкурами… может, не такие уж и дикие. Может, погорячился. Если только Леонтия не готовили к ритуальному поеданию, так сказать, в свеже-готовом виде. Но отчего-то было непохоже.

Вдруг он ощутил. Прикосновение: неловкое, цепляющее, но и будто бы робкое. Леонтий от неожиданности вздрогнул – всем телом, как бывает во сне, когда резко и от испуга случается пробуждение. Он и очнулся, от мыслей. Затаился, выжидая. Скоро возня в его волосах стала настойчивей, несмелые касания перешли в хлопотливое перебирание прядей, над головой раздалось усидчивое легкое сопение, будто кто вошел во вкус привычной и приятной работы. Леонтий осторожно и медленно выгнул шею – чтобы не спугнуть, животных пугают резкие движения – над собой, в рассеянном мраке землянки, ставшем уже прозрачным для зрительного проникновения, разглядел он два блестящих сосредоточенных глаза, а еще спустя немного времени, пока присмотрелся, и целиком обезьянью мордочку девчонки не девчонки, но совсем молоденькой дикарки женского пола. Девчонка сидела, согнувшись на корточках в изголовье его импровизированной постели из шкур, и видимо по обыкновению искала у него в голове – может быть вшей, может, еще каких насекомых, нежно даже искала, заботливо. Тут только Леонтий ощутил, как болит у него затылок, ломит ушибленные реберные кости, сверлит виски, и на ладьях-лодочках коварно подкатывает к горлу тошнота, вообще – ему же было сказано кандидатом «от медицинских наук» Гингольдом: не вертеться на каруселях! А что вышло – опять саданулся башкой и опять тем же местом. Но от гладивших его настырных лапок становилось несколько легче, и Леонтий решил не мешать. Съедят, так съедят, напоследок хоть капелька приятных ощущений. Милая маленькая питекантропша, может, попросить, и она развяжет руки? Хотя, зачем? Древесная хлипкая кора и так уже распустилась, связан-то Леонтий теперь более для вида, пусть так и остается, мало ли, нарочная симуляция пригодится вдруг? Чеши, чеши, обезьянка. Спасибо на добром слове, которого ты все равно не поймешь. Светленькие они здесь все какие-то – мысли Леонтия умиротворенно скакнули опять в совершенно постороннюю даль. А ведь в учебниках

антропологии сказано – первые человеки проистекли из Африки, хотя в тех учебниках много сказано чего другого, не имеющего, как оказалось, ни грана общего с реальностью, по крайней мере, вот с этой. С которой столкнулся Леонтий. По учебнику сначала в диком состоянии полагается быть промискуитету и матриархату, а здесь мы наблюдаем что? Мы наблюдаем – назидательно и академично перебирал в памяти Леонтий – как раз обратную картину. Жрецы явно мужского рода старцы, а не полнокровные плодоносящие жрицы, и поганый идол никакая не животворящая великая мать, по описанию палеолитическая Венера с могучими бедрами и необъятной толщины беременным животом – напротив, плохо обкорнанное бревно с фаллосом, если, конечно, местные его сами делали, хоть бы и пальцем, а не «сверху спущено», так сказать. И промискуитета никакого нет – он обратил внимание, как они пришли, довольно слаженным племенем-стадом. Одна или две женщины, ну ладно, самки, строго и дружно держались со всем выводком за своим самцом. И внутри жилища, в отрытой землянке (украдкой он присмотрелся), сопревшие кучи мхов набросаны не как попало, а будто бы отдельные лежанки для отдельных семейств, о чувстве стыдливости, наверное, смешно и речь заводить, но в остальном – нет, совсем не по канону. Эпоха ископаемого верхнего палеолита, ей положено быть, здесь же – еще проточеловек, почти обезьяна, он не может, никак не может жить сознательно организованным племенем и тем более иметь огонь, и тем более – нечто вроде семейного деления, и тем более – при этом гадить прямо в жилом помещении. Но кто его знает, вдруг по условиям сверхсекретного – генетического клонирования или мутационного облучения? – супермасштабного мирового эксперимента так оно и нужно? Маленькая обезьянка все продолжала вычесывать несуществующих вшей, тихонько при этом урча: и подобного быть не может тоже – напевая «хры-хры, а хря-хря», очень даже ритмично напевая. А ведь это уже, ах бледная поганка его раздери! Это уже искусство. Зачаточное, утробное, еще не рожденное, но искусство. Не привнесенное со стороны, уж точно. Леонтий задержал дыхание, нарочно с силой выдохнул, чтобы прийти в себя. Ошеломительно! Совершенно было ошеломительно! Как если бы, допустим на мгновение, вдруг запел домашний пес. Овчарка, например. Пускай сумасшедшим гавкающим воем, без содержания и причины, на манер душевнобольного в стадии бреда или белогорячечного алкаша, но сам факт – связно по нотам! Соблюдая все правила «сольфеджио». Обезьянка именно так и напевала. Значит, определенно была уже не обезьянкой. А кем? Леонтий прикинул в уме.

Обратная эволюция? Нарочно вызванная видовая деградация, посмотреть, что получиться? Светленькие-то они светленькие, а должно быть черненьким. Значит, здешние, подмосковные. Были бы нездешние, исконные, сыновья и дочки Люси, обезьянка была бы чернокожей, негритяночкой, как и положено по… тьфу ты! по учебнику, Харитонова-Ожиговой, хотя бы. Нет, не чернокожей, и негритяночкой тоже нельзя. Надо говорить – африканочкой. Или нет, чем-то с приставкой «афро». А носорог задери! Надоело! Леонтию теперь-то чего было терять? Перед кем выпендриваться? Уже так заморочили, что и перед собой выдрючивается, когда и не слышит никто. Политкорректность! В жопу ее! И сколько грубых слов, которых мама не велела, за один только день употребил. Все в жопу! Повторил про себя Леонтий и получил удовольствие. Правда – она в том, что всякая политкорректность есть мура на постном масле. Торговая операция, где должник задешево откупается от заемщика, и от процентов в том числе. Как? Следите за рукой. То есть, за мозговыми операциями некоего расхрабрившегося наедине с собой Л. Годо «меткое перо». Потому что, если нет негров, краснокожих, бледнолицых – нет и проблемы. Стереть и сделать вид, что никогда не было. Нет слова, нет и дела. И никто никому ничего не должен. И рабства словно бы не было, и геноцида, и резерваций, и гетто. Главное, запретить слово. Всем спокойней. Пока не вылезет новая зараза. До нового холокоста. А вылезет обязательно, потому что, никто не умеет с ней бороться. Именно при помощи осознания и переозначения будто бы ругательных слов. Чтобы «негр» и «краснокожий» стали звучать – не похожий на других, особенный, имеющий то, чего нет у прочих, и готовый этим богатством делиться. И помнящий, как это было, когда слово имело статус оскорбительный, и почему оно его имело. Детям и внукам помнить и передать по наследству. То же с равноправием и различием полов – замолчать, заболтать, вроде не было никогда общественной несправедливости более сильного по отношению к более слабому и зависимому: курица не птица… Негр есть негр, женщина есть женщина, китаец есть китаец, индеец есть индеец, еврей есть еврей – пусть звучат гордо, вместо того чтобы сгинуть насовсем. Вот где справедливость. И пусть они решают сами – что они хотят запрещать, а что нет. За жида пархатого, за черножопого, желтопузого или косоглазого – бить в рыло. Это можно. Так ведь, ежели кого средь бела дня обзовут м…м, тоже можно врезать, не стерпеть, нормально. Ругательство – это одно, а слово, столетиями твой род определявшее, это другое. Отринуть его, все равно, что сказать – я позабуду свою мать, потому что она блондинка и у нее голубые глаза, а все блондинки дуры. Но

главное: никогда нельзя позволять замалчивать долги, записанные кровью, лишь потому только, что должник коварно льстит вашему самолюбию. Это и есть настоящий грех, который потом отольется.

Он расхрабрился и развоевался, наедине с собой. Но ненадолго. Потому что заботливая маленькая питекантропша вдруг так же неожиданно бросила вычесывать его голову, и отползла на карачках куда-то во тьму. Может, ее позвали, может, самой надоело, может, настало время другого занятия. А жаль. Все это время Леонтию было не так одиноко, не так страшно и люто, получалось даже не думать о совсем плохом. Но вот – это плохое опять настало, да и как могло оно не настать? Положение его ничуть не изменилось, никакой экспериментатор-дрессировщик на помощь не явился, а и существовал ли таковой вообще? На Леонтия нахлынуло. Самое настоящее отчаяние, с явной примесью неконтролируемой паники. Что дальше-то будет? Сколько ему здесь лежать – и не лежать, валяться, пленному и связанному. Пока сиротское это, полудохлое обезьянье племя ведет себя мирно. Надолго ли? И вообще. Если надолго, он не хочет, ни капельки не желает здесь жить. Ни по секретной программе, ни по чьей-либо злой воле, ни каким иным причинным образом. Он привык жить в джунглях городских, цивилизованных, пусть его даже изберут питекантропьим королем, дудки! Много ли дней он тут протянет? В холоде и голоде, в грязи и мерзости. Ох, любой ценой, за всякий огромный выкуп, лишь бы обратно! Он будет кричать. Вот прямо сейчас он будет кричать. И пускай убивают! Лучше копьем в бок, лучше пойти на вяленное мясо, чем… Не верю! Нет, не верю, что это со мной…, что это на самом деле… не хочу я этого знать… и не буду, досчитаю до ста, ну до тысячи, в крайнем случае, и все кончится…, придет дрессировщик, такая сука!.. – Леонтий заплакал. Черт-те как давно с ним не случалось ничего похожего. Со школы, наверное. Когда его бросила Лидочка Ситечкина, еще обозвала предателем и дураком – он совсем-совсем случайно пролил в столовой горячий какао на ее девчоночий альбом с портретами поп-звезд из лицензионных журналов, тогда ведь и «Космополитен» был дорогостоящей редкостью! Сейчас бы те слезы и те к ним обстоятельства! Он бы поменялся, не глядя! Все равно. Все равно, не будет он так жить. С обезьянами этими. Леонтий всхлипнул особенно громко. Где-то недалеко от него раздался недовольный рык. Ну и подавитесь! Подавитесь вы мной. Хоть бы льдинку пососать, во рту пересохло. А-а, ничего! Сойдет. Леонтий зажмурился с натугой – ему казалось, с закрытыми глазами кричать будет сподручней. Да и помирать

после не так больно и страшно – если не смотреть смерти в глаза, не видеть непосредственно своих мучителей-обезьян. Набрал насколько возможно воздуха в немедленно рванувшую огненной резью грудь, и… закричать он так и не успел. Синяя, немыслимой яркости вспышка света взорвала, как ему показалось, стиснутые крепко веки, и сами глазные яблоки будто бы лопнули от натуги сдержать лучевой яростный поток. Леонтий ослеп. И почему-то оглох. Свето-шумовая граната – всплыло некстати из недр второстепенной памяти, неужто, майор Серега поимел совесть? Неужто? Дай ему бог! Козлищу погононосному!

– Сколько возможно вас искать? Разве было бы затруднительно оставаться на одном месте? – услышал над собой звенящий железом голос из музыкальной шкатулки.

Леонтий открыл глаза – не ожидая в ослеплении увидеть хоть что-нибудь. Но увидел, к собственному изумлению, все. И убогую землянку. И группу обезьян в ней – сбившихся в кучку, напуганных до полусмерти, словно бы опутанных сеткой из голубого, жестокого света:

– Не стоит беспокойства. Им сейчас вреда не будет. Мы выйдем, ловушка Ёрмуна рассеется через пятьдесят секунд, – и прямо перед собой он увидел шиншилловую даму, ту самую, да-да! только облаченную на сей раз в ярко-желтый лыжный костюм неправдоподобно обтягивающего кроя. Разумеется, кого ж он мог увидеть еще! – будто ее только одну ждал: в изящной ручке пистолет-не-пистолет, но нечто, его напоминающее, прозрачное и зловещее, словно бы наполненное жемчужной водой с молниевыми всполохами. Оружие, никак иначе, определил Леонтий, и успокоился. Чтобы ни происходило дальше, а он определенно спасен, плевать на обезьян.

– Потом будет трудно. Очень нестабильная параллель. Может погибнуть. Вы натворили это дело, вам придется помогать.

– Я натворил? – Леонтий не то, чтобы желал в этот спасительный момент ругаться и выяснять «кто виноват?» со своей избавительницей, он только не понял ни бельмеса: – Но это же ваш эксперимент, я не просился. И вообще бить по голове некультурно. И к обезьянам – подселять вот так, без предупреждения, мирного человека.

– Какой эксперимент? – удивилась неподдельно спасительница. – Идемте скорее отсюда. Я не имею права держать их дольше в блокаде. Объяснимся в вашей реальности.

– В моей реальности? Вы кто? Собственно, – Леонтий уже несколько пришел в себя, где-то на стадии превентивно-агрессивного выяснения «а ты кто такой?», однако пошел за соседкой-феей весьма охотно, еще бы!

– Собственно я Пальмира. Идемте же! Идемте срочно отсюда! – фея тянула Леонтия за разодранный рукав прочь из землянки к выходу.

– Приятно познакомиться, – в данных обстоятельствах как-то ни к селу, ни к городскому устроению обескуражено ответил ей Леонтий – нервный воинственный запал его притух, так и не возгоревшись. Он споткнулся на бегу и не отверг протянутую к нему дружественную женскую руку: – благодарю покорно. Вы меня спасли! Не знаю, за что вы меня раньше наказали, но спасли! Я ныне должник ваш!

– Идемте! Вы говорите все время и много. Невыносимо, – красавица выволокла его наружу и, наконец, убрала свой «не-пистолет». – Здесь недалеко, потерпите.

Славны бубны за горами

Был уже рабочий полдень, когда Леонтий открыл глаза, будто «дежавю» – он вновь на больничной койке: пробудился от целебного, полунаркотического сна, фея-спасительница напоила вчера какой-то безвкусной тягучей простоквашей, велела отлежаться хотя бы до следующего вечера, и гарантировано все в ажуре! Пройдет ушибленное темечко, разбитая, накрепко перевязанная коленка тоже пройдет, ну, может синяк и останется, так это сущие пустяки. Хорошо жить на свете. И вообще жить хорошо. Майор Серега вернее верного тоже так думает, и скорее всего, давно уже вернулся домой, или в казарму, где его настоящий дом, кто знает? Человек-то военный, обязанный, хотя в целом славный.

Но лучше всего вот так нежиться в кровати. Одному. За окном кружат запоздалые мартовские снежинки – кружат и тают, мокрый снег называется. Раньше бы – фу, гадость, непременно так и сказал, а теперь! Теперь хорошо. На улице слякоть и промозглая гложущая сырость. Но сам-то ты в тепле, в каменном прочном доме, и батарея центрального отопления, и газ на кухне, еще ванна, в любое время полная теплой воды и сладкого лопающегося пенного попкорна, белоснежного, розового, да любого – все к твоим услугам. В холодильнике пиво – пей не хочу, в чайнике кипяток, в банке заварка, немного хозяйственной смекалки – то бишь интернета под рукой, всегда пожалуйста, заказ на хлеб насущный из любого качественного супермаркета или ресторана, прямо к порогу, кушайте на здоровье! И главное, никаких обезьян! И корявых елок тоже. Захочешь, не найдешь. Разве в зоопарке. И то, навряд ли. Там флора и фауна обычные, человеческие. В смысле, здешние.

Он пока не размышлял подробно о произошедшем, равно как и о том, что последовало далее. Не хватало сил души. Очень уж устал, то ли слишком туго ему пришлось, то ли слишком велика и приятна была ему нынче нега цивилизованного, благоустроенного московского быта, не сейчас – запрещал себе Леонтий натужные мысленные переваривания и пережевывания всего минувшего вчерашнего дня. Успеется. Все успеется. К тому же доктор, в лице несколько рассерженной и резковатой в эпитетах Пальмиры, прописал ему полный покой и отдых до вечера. Надо полагать, прибавил он дамочке работы, и не ей одной, этому ее напарнику, Филону, как его? – ага, Медиотирренскому, еще проговори поди, скороговоркой! – ему тоже не баклуши бить. Ну и что, филон он и есть филон. Труд,

между прочим, сделал из обезьяны человека. Вот опять! Опять привязались клятые те обезьяны. И не обезьяны они вовсе. Разумные жалкие существа. Обыкновенные. Для своего места, конечно. Он бы им послал гуманитарную помощь, если бы этот самый Филон вчера так не разорялся. В общем, досталось Леонтию, послушать и устыдиться. И за палец, сунутый в машину, будто он первый начал! и за нелепо-разрушительный поход по елочному лесу, и за несчастных полудохлых питекантропов особенно. Если перевести с интеллектуально-язвительной пурги, которую нес этот Медиотирренский Филон, выходило – руки свои, тем более отдельно взятые пальцы, надо держать на привязи, а не совать, куда попало и куда никто не просил, но если зудит – сунь себе в з…цу, там самое подходящее применение, любопытство, здоровое и нездоровое, туда же! С Филоном ему еще предстоит, как поправится немного, так и предстоит. Сказано – послезавтра будьте любезны, только нормально позвоните в дверь, часиков около восьми, заранее не надо, как вы уже поняли вашим скорбным умишком, ни я, ни Пальмира на здешней базе постоянно не живем. Нам тоже к восьми еще добраться надо. Дверь тем более не ломать. И пожалуйста, ничего никуда не совать! Голос у Филона тогда подсел и сделался несколько трагичным, а уж выражение лица, капризного и будто бы ко всему свысока неприязненного, и вовсе скислилось в лимонную гримаску умоляющего страдательного непрощения. Не будь именно в тот момент Леонтию так плохо, и не поддержи его, побитого и покореженного в приключении, под локоток чудесная и похоже, снисходительная уже фея, он бы ответил. Не менее высокопарно и не менее язвительно. Что посылать нежных дам в еловый лес на передовую как-то не очень мужественно и нравственно чистоплотно, когда некоторые филоны в это самое время отсиживаются в теплых квартирках, будто тыловые крысы. Конечно, Пальмире, в отличие от него, Леонтия, никакая беда у питекантропов не грозила, для нее это была действительно всего-навсего хлопотная, лишняя прогулка, жалко только потерянного зря времени. А может и не зря, – она определенно намекнула своему напарнику, чтобы поутих и подобрел, Леонтий им еще ого-го как может пригодиться. Вот разве сам Леонтий, хотел ли он пригодиться филону и фее, в чем вопрос!

Ныне же он хотел одного – лежать-валяться, расслабленно и впервые за эти недели «неиспуганно»! Свободно покоиться, не опасаясь карательного звонка в дверь, или засады в ванной за занавеской, или замкнутой поездки с чужаком в лифте, будто он красна-девица, страшащаяся насильника. Все это ушло. Потому что, теперь Леонтий знал: нечего ему бояться и некого. Кроме

разве только себя. Пальмира сразу сказала, как обрезала – неволить его не станут, «сам натворил, сам и отвечай» – это с досады шутка, не более. Филон, тот и вовсе заартачился, что твой Федул, губы надул, зачем он нам сдался? Пальцы совать? Хотя битый час Леонтий ему после втолковывал – не он первый. А что было делать? – Ждать и не лезть. – Ага! Умный какой! Когда воняет! – Тогда вообще не лазить, где не просят. – А по голове кто бил? – По голове это Пальмира. – Очень красиво на женщину сваливать! – Никто не сваливает. Моя коллега поступила верно, в той ситуации. – Ага! Сейчас я тебе задам, верно! Не хочешь, кирпичиной по голове? Урод потусторонний!

Едва они не подрались. Пальмира разняла. Сказала, если Леонтий поступит к ним в добровольцы, помощь его будет оценена. Можно и в денежном смысле. Леонтий оскорбился, ответил резко, что он безвозмездно, слава богу, не голодает. Пусть только объяснят, что к чему. Вот тогда Филон и велел подумать – как следует подумать, билет в одну сторону, не в отношении риска, хотя и он не исключен, но это – как узнать для средневекового книжника, что земля бесспорно круглая, а про кита и черепах все врут. Готов ли он, Леонтий, к познавательному повороту в судьбе?

По правде говоря, переворот тот не тогда свершился, ранее немного. Это они хватили! По сути «время зеро», критическая точка, новый отсчет для его самосознания случился в миг… случился в миг… э-э-э, когда, собственно, таковой случился? Ну, точно! Когда он и Пальмира выбежали из земляной пещеры на чистый простор, то есть, на утоптанную проплешину с как попало нашвырянными друг на дружку дрекольями-копьями. И вот оттуда, с той проплешины, на ковре-самолете… стоп-стоп-стоп. На каком еще ковре? Это он, Леонтий заврался. Разыгралось воображение, которого нет – по утверждению Кости Собакина. Ладно, пусть не воображение, пусть рутинная привычка к литературной обработке всякой небытовой мысли. А дело было так.

На полянке, отдышавшись, оба, и фея, и Леонтий: попахивало в пещерке будьте-нате, это он и сейчас бы подтвердил без преувеличения – омерзительно… В общем, когда они отдышались, фея развернула точно такой же, как и ранее виденный, или может, тот же самый, пурпурный пульсирующий мячик в изрядных размеров покрывало: взмахнула им, словно оперная дива-испанка веером, Леонтия накрыло, как если бы небольших размеров шатром – щекочущее ласковое ощущение, скользящее, прохладное, потом он опять повис в пространстве, ему почудилось – его дернули за обе подошвы вверх, он не

испугался, впечатление было уже знакомым, и длилось в отличие от первого, едва ли единый миг, оп-ля! И все, Леонтий вновь оказался в квартире Тер-Геворкянов. В пыльной, покрытой жухлыми газетами профессорской гостиной, с тем же остаточным укропным запахом, возле желтой полотерной машины, возле дубового, в чехле, готического кресла с высокой спинкой, кое сам знаменитый ученый терпеть не мог (жесткое и седалищно-коварное), зато жена его трепетно берегла: осталось от бабки, пережило две войны и революцию, переживет и мужнино недовольство. Вот в этом самом кресле, с бессильно свесившейся на бок забубенной головушкой, полулежал бравый майор Серега Ломоть-Кричевский, точнее – будто тяжеленный куль, допустим, с мукой, был он кое-как пристроен и примотан для надежности к подлокотникам электрическим проводом, что ли? На то похоже. Леонтий не успел ни удивиться, ни разгневаться.

– Мы с вами пройдем. В другую комнату. Не беспокойтесь, не стоит, ваш сотоварищ только спит, – Пальмира жестом, довольно вежливым, указала ему направление в сторону кухни. – Мой коллега ждет нас там.

– Вас, может, и ждет, – радость от чудотворного спасения начала уже проходить, и Леонтия стало брать зло. – Вопрос, ждет ли он меня. И кто вы и ваш коллега? ЦРУ? АНБ? МИ-6?…? – набор известных Леонтию иностранных агентурных аббревиатур на этом исчерпал себя.

– Нет. У нас совсем иное название. Оно ничего вам не откроет. Прошу со мной, – опять тот же вежливый жест, но более нетерпеливый, словно упрямство Леонтия стало фею несколько доставать, – нам необходимо обсудить.

– Да уж. Это мягко сказано, – Леонтий захромал следом в сторону кухни. Разбитая коленка вновь напомнила о себе и, кажется, в отместку за данную передышку, разболелась адски, обмороженную кожу лица начало драть, будто наждаком, в придачу каждое свое ребро он словно бы чувствовал в отдельности, и отнюдь не приятным образом.

И все равно. Это было не главное. Думал он. Пока он шел. Уже после переворота в сознании. И АНБ и тем более затертое до стереотипных дыр ЦРУ уж конечно было тут не причем. Не могло оно быть причем, не из-за питекантропов, нет, не из-за голубой сети, накрывшей их напуганную стаю, но из-за маленького, в ладонь, пурпурного мяча, чуть больше настольно-теннисного, волшебным образом вернувшего Леонтия домой. Он уже не искал разумных, логичных объяснений в повседневном бытии. Он знал только, что объяснение есть, разумное, логичное, однако не имеющее к повседневному бытию ни малейшего отношения. Ему

было страшно. Как никогда в жизни. Очень холодно и очень одиноко. Никто не собирался причинять ему вреда – это Леонтий понял. Тем более, снова бить по голове, или иным образом калечить и убивать. Ему не было нужды отныне запирать дверь, на цепочку и на собачку. Он мог, подобно булгаковским героям, даже попросить для себя бронированную камеру – это никак бы ему не помогло. Он боялся потому…, потому что он не знал, чего он боялся. Не людей, новых и еще не встреченных, и не их речей. Но того, что есть. И того, КАК оно есть. Он бы повернул назад, извинился – мол, ваши дела, не мои проблемы. И ушел. Если бы только его уход хоть что-нибудь смог бы изменить. Хоть что-нибудь. Хоть малую толику. Но все изменилось уже прежде. Оттого уходить не было никакого смысла. Да и майора Серегу не хотелось ему покидать в одиночестве. Мало ли что. Это не по-товарищески. Простое такое утверждение главным образом его и удержало в квартире Тер-Геворкянов. Он слабый человек, но не всегда же он трус. Обоссал с елки целую ватагу питекантропов, а потом он летел с хрустом вниз, на копья, он тогда уже был готов умереть, по сути, он тогда и умер. Чего же ЭТИХ бояться? Нет, Серегу оставлять нельзя, не он ли сам, Леонтий, желал кричать «За родину! За Сталина!»? Назвался груздем, терпи! Он похромал на кухню.

Там сидел еще один человек. Очень чинно сидел. Неприязненно. Именно, именно! Леонтий тоже бы удивился, скажи ему кто, что можно сидеть на обычном кухонном стуле «неприязненно». А вот и можно! Будто бы табурет жал незваному гостю седалище, а плиточный холодный пол натирал ноги. Будто бы принц, случайно забредший в гости к нищему и не имеющий понятия, как ему добром выбраться – вот и куксится, кривится, брезгливо и едва сдерживая тошноту. Леонтию сделалось от одного его вида совсем не по себе.

– Не бойтесь. Нечего бояться, вы справитесь, – тогда сказала ему Пальмира, и он ей поверил. Сразу. И сразу успокоился. Почему? Потому. Что поняла – он именно боится, и еще – чего он боится. – Вы не сойдете с ума, и сейчас тоже в своем уме. Физическое явление, вам не известное. Отсюда его наблюдать непосредственно нельзя.

– Откуда отсюда? – кажется, так он спросил. Или: – А откуда можно? – или – Какое еще явление? – не важно. Главным был ответ.

– Из вашей параллели нельзя перемещаться напрямую. Эффект Ариовиста наблюдаем только в главном стволе. Вы не можете им воспользоваться, – ее слова он запомнил и про эффект тоже, потому что нищий принц на стуле нарочно повторил для

него несколько раз: «Эффект Ариовиста, а-ри-о-вис-та?». Потом представился, дескать он Филон Медиотирренский, тоже повторил по буквам. Наверное, думал – Леонтий совсем исторически темный и лингвистически малограмотный человек. Почему так думал? – это Леонтий понял несколько позже, были причины.

– Да-да, параллельные миры не шутка и не выдумка, они есть, вы оба, если коротко, переместились оттуда, вам можно, а нам нельзя, потому что нет эффекта Ариовиста, уж не знаю, кто он такой. Насколько я себе представляю параллели не все одинаковые, в одной человекообразные питекантропы, в другой, к примеру, динозавры, а в третьей мы, но без всякого эффекта? Так? – Леонтий попытался улыбнуться. А что? Ничего, все нормально. Сто раз читал у разнообразных фантастов-энтузиастов, плюс экранизации в голливудских поделках, да и о парадоксе Шредингера слыхал, на элементарном уровне восприятия, ясное дело, формулы ученых гигантов суть море не проплываемое. Чему удивляться? Вот, явились пришельцы из другой реальности, все в порядке. Повезло еще, что мирные, не с ядерными бомбами и с шашками наголо. Культурные и цивилизованные люди. Высокоразвитые. Хорошо заметно, что, по крайней мере, Филону Табуреточному на здешнее бытие плевать, не надо ему ни редкоземельных ресурсов, ни дешевой рабсилы, ни даже повыпендриваться, дескать, какой я продвинутый, ему бы только – убраться восвояси поскорее. – В общем, приветствую вас, братья по разуму. Я все верно разумею?

– Почти.

– Даже приблизительно нет.

– Для первого раза достаточно.

– Низкая логичность.

– Ты предвзят.

– Я вижу трудности вперед.

– Ребята, ребята! Ау! Я здесь! – остановил перепалку Леонтий. – Существо проблемы гораздо сложней и требует иного уровня взаимопонимания. Теперь правильно?

– Да. Да. Вы очень хорошо размышляете.

– Посредственно. Но годится. Пока.

Будто злой и добрый полицейские. Понятно, что Пальмира, как и положено фее, стояла на стороне добра. То есть предполагала в Леонтии ряд скрытых достоинств. Медиотирренский Филон получался куда менее оптимистичным на его счет. Но и тому, похоже, деваться было особо некуда. Вопрос, зачем им вообще сдался Леонтий? Хотя… университетское образование, пусть и журналистика, зато

любопытство ко всем смежным областям – даже пытался однажды вникнуть, как устроен этот самый, дурацкий, адронный коллайдер, не понял ни полфига! кроме как на пальцах: что-то куда-то влетает, потом вылетает, оставляет след, физики смотрят на все это дело, и говорят, что летело, куда летело и с какой целью. Большего от гуманитария Леонтия требовать было бы глупо. Однако он абориген, иначе местный житель, туземец с интеллигентными мозгами, знающий здешние реалии, уже неплохо. Три языка, кстати, включая английский. И не испугался, в конечном счете, так уж через меру. Но что это он себя выхваливал? А то. Вдруг захотелось ему понравиться. И фее, и Филону. Чтобы не прогоняли. Если уж сказано А, почему не узнать о Б. Что это Б существует – без сомнений. Параллельные пришельцы, пока шла дискуссия на тему умственных способностей Леонтия, как-то странно переглядывались между собой, так порой поступают люди, блуждающие в чрезмерной близости от опасной темы, которую никак нельзя поднимать, хотя бы и временно. Любознательность не порок, тем более для человека пишущего, переводящего и ведущего эфир на радио, да и в телевизоре тоже порой… знаете ли, мелькает… не из последних. Короче, Леонтий, невзирая на присутствующие телесные травмы и пережитые душевные страдания решил понравиться обоим, чтоб не прогоняли совсем. Вроде, удалось. По крайней мере, его наскоро подлатали, и даже Медиотирренский Филон горделиво поучаствовал – советом. И еще бинтом. В смысле – диковинной повязкой на разбитое в месиво колено: синий тугой обод, очень холодный, обхватил вокруг ногу Леонтия, точно удав-констриктор, но моментально успокоилась рвущая горячечная боль, осталось лишь ощущение легкого зуда, лекарственно-едкого, однако вполне терпимого. Потом Пальмира напоила его той самой простоквашей, с хлопковой, белой пеной, вдруг поднявшейся воздушной шапкой из крохотной капсулы, в какие преуспевающие фармацевтические фирмы пакуют дорогие витаминные пищевые добавки. Леонтий попробовал с некоторой опаской, не ощутил никакого вкуса, ни лечебного, ни ядовитого, будто и впрямь глотал пузырящийся воздух, однако именно это безвкусное обстоятельство как-то совершенно успокоило его, простокваша была испита до дна, на одном дыхании. А эффект? Был он велик или нет, Леонтий не смог оценить. Он почувствовал себя … будто бы обыденно, в меру усталым, в меру разбитым пережитым испытанием, но… здоровым. Тело его не болело более, словно гигантский единый синяк, у него вообще конкретно не болело теперь ничего, еще бы прилечь и поспать, а так – неплохо. Даже битая голова прошла.

Оставалась, однако, проблема. Пальмира прямо сказала – надо решать, и решать только мирным переговором. У проблемы было имя – майор Серега. Пока что тихо-спокойно дрыхнувший в мефистофельском профессорском кресле, но в ближайшие четверть часа непременно должный очнуться. Не оглушать ведь его, право слово, вторично сетью Ёрмуна, – безопасно абсолютно, но чем долее свидетель будет удерживаться в состоянии беспамятства, тем критичнее сделается временной промежуток, и за ним неразрешимый вопрос без ответа: почему не откачали сразу, или почему не вызвали хотя бы «скоропомощную» бригаду.

– У нас уже сложена версия. Так, – уверенно начала Пальмира.

– От вашей стороны требуется только подтверждение. Словесное. Сокрушенное кивание головой, сопроводимое «да» и «нет», будет достаточно – перебил ее Филон, и как-то обидчиво поджал тонюсенькие, в ниточку губы. Отчего сделался похож на злобного лемура. По-русски он говорил не вполне правильно, прибегая к вольному морфологическому преобразованию. «Чухонец»! – обозвал его про себя Леонтий, непонятно к чему, в целом и в частности к финскому братскому народу он относился с симпатией. Ну и ладно, чухонец так чухонец, лампадный квас! Опять ни за что, ни про что обозвал он нового параллельного знакомца. Филон не нравился ему – потусторонний Пашка Дарвалдаев, король заносчивой пустоты, не иначе.

– Да, разумеется. Подтверждение чему? Хотелось бы услышать версию, – тем не менее, любезно ответил он.

И Леонтий услышал. Пальмира, родственница хозяйки, временно занимает квартиру и заодно опекает некоего младшего братца, предположительно умственно неполноценного и сбежавшего из сумасшедшего дома – стоп-стоп, дудки! (корректировал по ходу Леонтий) из дурдома не сбежишь, это раз, найдут у родственников в ближайшие часы, это два. Хорошо, не сбежавшего – взятого в опеку под подписку, как неопасного (снова Леонтий), это иногда разрешается, коек не хватает, вот и приходится. Итак: взятого в опекунство. Вовсе младший этот брат не обезьян, а вполне человек, только с генетическими отклонениями, вроде – вроде болезни Дауна (нашелся Леонтий). Да, отлично, и болезнь эта сопровождается характерной волосатостью плюс атавистическое строение лица – дальше, дальше, пока все в порядке (Леонтий согласно закивал). Вот он-то, этот братец и стукнул Леонтия по голове, испугался, не нарочно, он вообще тихий, только нервный порой, но не выдавать же больного человека! Сестрица решила скрыть его шалости. А зря. Младшенький, бандит эдакий! взял и пролил по всей

квартире химические удобрения – финские, например, лицензионные (на всякий случай уточнил Леонтий), – да, финские удобрения, очень токсичные. Его сестра купила несколько упаковок по дорогой цене и намеревалась везти на загородную ферму – на дачу, на дачу, (в сердцах правил Леонтий). Их, то бишь, удобрения, финские, с трудом удалось собрать в отстойник – желтая машина и есть вышеозначенный агрегат – а что она такое на самом деле? (не удержался Леонтий от вопроса), – об этом позднее, потому что долго. Итак, как раз сунув палец в отстойник, майор Серега нажал на чувствительную кнопку, отомкнул ларчик, и все вонючее сокровище вылилось опять наружу. Как-то так. Отчего произошло отравление галлюциногенного и снотворного характера.

Версия была нереальная, притянутая за уши, но подобное могло случиться. Могло. Вероятность, отличная от нуля. Не пересказывать ведь майору Сереге сомнительную балладу о путешествии самого Леонтия в параллельную питекантропью вселенную? Бедняга майор нипочем бы не поверил, решил бы, издеваются и хотят надуть, кончилось бы плохо. Человек военный, и прямой, как дуло у гаубицы. Ни к чему ему знать, филон и фея изначально были согласны, оттого и версия. Чтобы никак не травмировать чувствительную душу и без того пострадавшего товарища Ломоть-Кричевского. А так, вроде складно: убогих и юродивых на Руси завсегда жалели, тут все верно придумано.

– Что же братец? Вам придется предъявить…хм… существо? – напомнил им Леонтий.

– Аг-ры – его имя Аг-ры, – он сейчас в ванной. Тоже спит. Мы его немного приодели.

Пришлось Леонтию тащиться в ванную. В самом деле, внутри чугунного чудовища – голубки в изголовье, виньетки возле кранов, сколотая эмаль, ровесник Серебряного века, еще одно наследство дореволюционной бабушки, – крошечным свернутым комочком покоился на одеяле сладко спящий обезьян, облаченный в старенький спортивный шерстяной костюм, темно-синего цвета, с белой крупной буквой «Д» на левой стороне груди, сильно траченный молью и видимо некогда принадлежавший профессору Тер-Геворкяну. В тренировочной форме времен молодости вратаря Яшина патлатый неухоженный питекантроп смотрелся несколько жалко и болезненно – и впрямь убогонький, ну как не пожалеть такого?

– Вы после переправите его обратно? – на всякий случай поинтересовался Леонтий. Не хотелось ему в придачу брать на себя ответственность за насильственное заключение инородного

существа в человеческий сумасшедший дом, хотя, кто знает? Может, этому лохматому Аг-ры в больнице будет куда лучше, чем в корявом выморочном лесу. А может, и нет, родина есть родина, даже помойка. Тут уж, где родился там и… так далее. – Он вообще разумный? В смысле, отчасти?

– Почему отчасти? – взъерепенился вдруг «чухонец» Филон. Он тоже не преминул проследовать в ванную, и теперь – хотя демонстративно равным себе Леонтия отнюдь не считал, – явно был готов, в пику! признать в этом Аг-ры чуть ли не превосходящее его самого по интеллекту существо. – Аг-ры обладает наличным самосознанием своего существования, связной речью и прочими атрибутами гуманоида! Вашей параллели вообще свойственно невытравляемое высокомерие!!!.. (Это чья бы корова еще телилась! – взбрыкнул Леонтий).

Вовремя вмешалась фея. Иначе дело неминуемо вновь пошло бы в направлении стихийно возникающего выяснения «атыктотакой». Одного успокоила ласковым взглядом, другого оттащила за рукав. Леонтия – за рукав тащили как раз его, – так вот, Леонтия заверили, что Аг-ры непременно возвратят в родимый лес, к полуслепым совам и гнилым елкам, и разум его никак не будет затронут: насколько понял он недвусмысленные намеки Пальмиры, трогать там особенно нечего, как бы ни утверждал обратное «чухонец» Филон.

– А каким образом он вообще возник в квартире? Мы невольно обменялись с ним местами? – успокоившись, заинтересовался Леонтий.

В ответ опять пошли «филонские» подколки про то, как не надо лапать сверхчувствительное устройство, с которым не обучен общаться – он так и сказал «общаться», Леонтия это отчего-то насторожило. И далее про некие озорные пальцы и необдуманные действия.

– Я исключительно из вежливости спросил. Не очень, в общем, интересно, – в свою очередь обозлился Леонтий. – Давайте уже товарища моего будить. Четверть часа прошли давно.

Майор Ломоть-Кричевский, (его, разумеется, предварительно развязали перед пробуждением), отнесся к случившемуся… философски. К всеобщему, приятному удивлению. На предъявленного ему, в процессе оправдательных объяснений, младшенького паранормального братца временной хозяйки квартиры товарищ Серега смотрел с сочувственным снисхождением. Цокал языком, грозил пальцем. Даже изволил заметить: лучше бы вы его машинкой «под ноль» или хотя бы «полубокс», еще насекомые разведутся, прямо хиппи какой-то.

Филон, подыгрывая, сокрушенно разводил руками, он, как лечащий врач в этом вопросе бессилен, пациент может впасть в буйство, больница не плац, в наряд вне очереди умственного страдальца не отправишь – вот же зараза! С Серегой «чухонец» говорил чуть ли не заискивающе, а на Леонтия крысился, спрашивается, за что? Но скоро заискивать перестал, насупился, и вновь взгромоздился на табурет, дескать, разбирайтесь дальше сами. Леонтий вдруг догадался отчего. Проще колумбова яйца – майор оттого краем уха внимал разъяснениям и извинениям, что ухарский свой командирский глаз немедленно положил на «сестрицу» мирно дрыхнувшего в чугунной ванне Аг-ры, на дивную фею Пальмиру, все еще затянутую в желтый плотно облегающий тело комбинезон и весьма в оном соблазнительную. Соседская фея и впрямь была хороша, Леонтий это заметил еще в первое знакомство, искрометно столкнувшее их лбами, заметил, да, но не влюбился. И даже не думал. Хороша-то хороша, но… Во-первых, сердце его пока занято. Другой соседкой. Во-вторых, не в его вкусе. Тонких, нежных женщин он не любил, то есть, не влюблялся в них, мог оценить, как художественно высококлассное произведение искусства, но и только. Ему нравились высокие, крупные… ни-ни! ни в коем случае не толстые… лучше рыжие, но и русые блондинистые сойдут. А тут темноволосая, смуглая куколка, немного в стиле Гюльчатай, разве несколько субтильнее и стройнее, так что Леонтий остался равнодушен. Но вот майор Серега нет. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет – товарища нет, одни соперники. «Чухонец» Филон тоже, видимо, был согласен и был неравнодушен, ревность – здесь причина. Леонтия охватило даже своего рода весело-ехидное торжество. Так тебе и надо, паря! Сиди дальше на своем табурете, вдруг какие чудеса высидишь!

Майор Серега все ходил по пятам за Пальмирой, из коридора в кухню, потом обратно в ванную комнату. Кивал в такт ее словам, но, кажется, ни черта не слушал. Внезапно и шумно схватился за стриженную коротко голову – батюшки святы, его в управлении ждут! А он тут! Подхватил свою секретную папку. Стал откланиваться. Напрямую телефончик все же не решился спросить. Сунул визитную карточку с полными именем-отчеством-фамилией и званием сначала Леонтию, это для порядка, потом, зарумянившись, такую же – Пальмире, вроде за компанию, звоните в любое время, если что. Ну, там. Гвоздь забить, раковину починить, шкаф гардеробный передвинуть, даже братца усмирить, ежели опять в прохожих соседей станет кидаться кирпичом. Всегда, пожалуйста. И Леонтию на прощание – хорошо, что все счастливо утряслось, устроилось. Простите,

коли чего не так. Ушел. Слава богу.

Леонтий остался с пришельцами один. Пальмира что-то говорила ему, мол, пора отправляться по домам. Ей и Медиотирренскому Филону в свою параллель, дикому Аг-ры в холодную вонючку-пещерку, а Леонтию лучше как следует отлежаться в постели. «Чухонец» назначал ему день и час следующей встречи, косил рыло, дескать, пришло время гостю и честь знать, у них свои дела, неотложные. А Леонтий молчал. Не то, чтобы он устал до смерти и оттого впал в естественное равнодушное отупение, хотя, конечно, притомился порядком и не прочь был поспать часок-другой. Только, не в этом дело. Он словно бы нежданно увидал всю наличную ситуацию и себя в ней со стороны. Не со своей, но как бы вообще. Вот, встретились люди, человеки, можно сказать, из разных миров. Ладно, Аг-ры не в счет. И что? Испугались, удивились, восхитились, обнялись, разрыдались? Да ничего подобного. Кроме некоторого познавательного потрясения, что вполне объяснимо, Леонтий – он даже и не думал все это время. Не думал – перед ним пришельцы иных миров, чудесно это или ужасно? Как если бы… вот, к примеру. Однажды он катался в Андорре на горных лыжах. Точнее, не однажды, а в жизни в первый раз. Ну и натерпелся он страху! Перед тем как съехать вниз. Ни ободрения ловца-инструктора, ни подзадоривания приятелей, да что там приятелей! Подруг даже! Не могли унять ни дрожи в слабеющих коленках, ни тошноты, поднявшейся со дна пустого желудка. Как он отважился-то вниз? В пропасть. Со склона. Шею свернуть – как два пальца…но он покатился, чего вдруг? Сам не знал. Что называется, на автопилоте. Все быстрее и быстрее. Думал, кранты. Ничего, затормозил зигзагом, вырулил. Зато, когда съеха-ал! Весь парализовавший его страх сошел с него, слинял, как прошлогодняя кожа со змеи, ни чешуйки не осталось. Разве полудетская бравада – ай да я, молодец! Потом его от той горы было за уши не оттащить. Заделался заправским горнолыжником. О панической атаке на склоне впоследствии Леонтий вспоминал с некоторым стыдом. Нечто похожее происходило сейчас с ним. Правда, стыда не было. Как не стало и страха. Мысли его занимало: Пальмира красивая, приветливая, милая и, кажется, сочувственная, но не в его вкусе, а Филон, ее напарник, вообще чухонец и козел. То есть, отношения чисто личностные, будто на студенческой дискотеке, или на открытии нового средней руки ночного клуба – нравится, не нравится, за кем приударить, а кому фасад начистить. Да и пришельцы тоже – с места в карьер фея предложила ему денежное вознаграждение за услуги и моральный ущерб, обыденно и ни малейшей романтики, как то:

первый контакт иных цивилизаций, приветствую вас, жители Земли, клятва на крови хранить все в совершенной тайне. А тут – вознаграждение за услуги в любой валюте. Здрастье, пожалуйста! С него и обещания никто не взял – рот на замке, ни единой душе ни гу-гу, иначе превентивные меры… или еще что. Не-е-е, деньги-товар, так-то. Будто у него торговали козу, а он, Леонтий, стоял за ценой. Странно все-таки устроен человек. В фантазиях своих обнимет космического или параллельного пришельца как дорогого брата, или укокошит как страшного врага, а на деле вышло – в квартиру въехал новый сосед, так не подсунуть ли ему дохлого кота под дверь или, напротив, пойти одолжить тысчонку до получки? И ведь обиделся Леонтий не на то, что именно пришелец ему плату за услуги надумал в лапу совать, но как раз оттого, что при этом самом «чухонце» с его кривым носом и губами ниточками, фу-ты ну-ты, все произошло, а он гордый, он не позволит всяким там… потому благородно отказался. Теперь жалел. Деньги бы пригодились. Экая чушь ему лезет в голову? Первый контакт, в самом деле, первый, ни о каких иных, настоящих, не параноидально выдуманных, слыхом не слыхивал. А он, Леонтий, жалеет об упущенном приработке, изобретает, как бы в будущем насолить уже однозначно несимпатичному ему Филону, и что хорошо бы фею сосватать Петьке Мученику? Ну не балда ли? Не балда. Нормальный, обычный человек. Не Лев Ландау. Тот бы!.. а неизвестно, что бы он… может, то же самое. На бабу бы глаз положил, на «чухонца» бы взъелся, а лишние деньги еще никому не помешали. Может, и Ландау-то, про желтую машину только так, мимоходом спросил бы, мол, дойдет черед.

С тем тогда и ушел. Откланялся. Честь имею, манерно переломился в поясе – целую ручку, назло Филону, – у порога, адресуясь лично фее. Зачем? Глупость, глупость. И еще раз. Глупость. Пустые понты. Зато валяться в кровати теперь ой, как приятно! Понедельник начинается в субботу. А сегодня что? Четверг. Потому что вчера была как раз среда. Бред. Зато никуда не надо, в смысле выездной работы. Вот невыездной по горло! Тематический сайт «Любодур» (шутка, понятное дело) для начинающих и алчущих «паблов коэльев», то есть, для самопальных графоманов, его очередь отвечать рецензиями на выборочные рукописи – не рукописи, конечно, клавиатурные машинописи, где «писи» ключевое слово. Вел эту паранойю в очередь с «банановой детективщицей» Зоргиной, едва, кстати, удостоили, одно крупное издательство позволило ему наняться в напарники к знаменитой дамочке, за неплохой гонорар, между прочим, еще бы, такая реклама – графоманов, хоть Саяно-

Шушенскую плотину строй, столько развелось! А может, и всегда было. Ныне шла его неделя. Но… не сегодня. Не хотелось. Не моглось. А вот другого…! Леонтий потянулся, еще чуть-чуть, оп! Открыл лэптоп, напевая что-то вроде тра-ля-ля: грузись скорее, микрочипный злодей, древнючее ты железо! Затем вошел в почту. И как-то вдруг начал письмо. Оно сложилось. В голове, внезапно и отрывочно.

Послание в бутылке

«…и никогда я не думал так. До сего дня. Наверное, я все же человек стереотипов. Стереотипный человек. Я ведь совсем иное хотел Вам написать. Но не решался. Мне казалось, что послание мое выйдет грубым. Неприятным для Вас, а Вы ведь не виноваты. Я сам предложил обмен. Мыслями и жизнями даже. Наверное. Так что, не хорошо было бы с моей стороны прислать Вам письмо строгое и неприязненно-осуждающее. Что изменилось? Почему я пишу теперь? И пишу совершенно иначе, чем задумывал вначале. Не задумывал. Нет. Кем я полагал и чувствовал себя, когда только прочел Ваше ко мне ни с чем несравнимое изъявление доверия и дружелюбия.

Потому что, теперь я другой. Знаете ли, вчера я умер. Вот так. Почти по-настоящему. Но я-то был уверен, что насовсем, что сознание мое безвозвратно меркнет и это его состояние уже навсегда. Ничего дальше уже не будет. Ни для меня. Ни для кого…. Все же, может, я теперь не до конца другой, простите, соврал. Однако, не тот, что прежде. Еще два дня назад, еще – хотя бы двадцать часов назад. Не тот – отнюдь не в смысле, будто бы в мгновение ока я обернулся негодяем или напротив того, героем. Нет уж, кем родился…, Иванушке козленочком не стать, это разве в сказке, не наяву. Но думать и понимать о существующем мире и месте в нем можно по-разному. По-хорошему и по-плохому, а случается – снаружи, либо изнутри. Изнутри любая сфера – выпуклая и замкнутая, а снаружи – вогнутая и все лишь крошечный шарик, как раз один из… из многих, я имею в виду. В общем, я посмотрел на себя… ммм, не своими глазами я посмотрел. И на себя, и вокруг. Всякое бывает, знаете ли. Чего вовсе быть не может, но, тем не менее, оно есть, существует в реальности. Да и реальности… тоже не однозначные.

…все это я к чему. Будто бы за рубеж, за границы моей страны, положим, в Анголу, или в иракский Багдад, или в финляндский поселок Контиолахти, пишу о своем, пишу тому, кого не понимаю, и он, мой незримый корреспондент, тоже вряд ли меня поймет, но это не важно. Главное тут: знать – кто-то может быть не таким как ты, обязан даже быть не таким, и на самом деле не такой. Все равно, способен ты понять или нет. Прими на веру, что у каждого есть своя правда, потому что общую для всех истину знать нельзя, хотя бы потому, что для этого надо знать все. А знать все на свете не дано никому. Я думал поначалу, когда прочел в первый раз Ваше откровение – я читал его в общей сложности раз десять, наверное, – так вот, я думал, или я не в

своем уме или мир вокруг меня рехнулся окончательно. Потому что, если хотя бы один нормальный человек считает за норму то, что для других кажется неприемлемым злом, то или человек этот ненормален, или… а вот «или» для меня еще вчерашним утром быть не могло. Не существовало этого «или». Ведь я еще не умирал. Впрочем, я еще и не жил. Так мне теперь кажется.

…Ваша жизнь, по крайней мере, ее детское начало, ни в малой степени не похожа на мою. Выхолощенную, непререкаемо ограниченную, где красные волчьи флажки разнообразных долгов и обязательств провешены раз и навсегда. И я читал – читал Вас и удивлялся, как же можно без этих флажков? Анархия, беспредел, несчастье. Не верил ни на единую секунду, еще вчера не верил, будто без флажков этих счастье возможно. Возможен самообман, неподлинная свобода, но счастье? Теперь я знаю. У Вас тоже были свои флажки. Другого цвета и на другого зверя, на мифического йети, снежного человека, или на единорога, в общем, на существо, пытающееся жить в мире реальном по нереальным законам. Это прекрасно и это страшно. Не Вам, но мне. Впрочем, может, Вам тоже. Тоже страшно было так жить. Но иначе было нельзя. Ваши правила и Ваши долги, те, что обозначили, размежевали на боевые квадраты Ваши детские годы, как мне кажется сегодня, скорее всего, еще категоричней, еще строже, еще безжалостней, чем все известное мне на себе самом. Я спрашивал себя, в недавнем времени, как можно жить на свете – как можно жить, не обременяясь ничем, никем, и плюя сверху вниз на общепринятое. Ныне я знаю ответ: никак. Так жить нельзя. Правда, этот же ответ я давал вчера, и позавчера, и… так далее. Но теперь я даю его с единственной поправкой. Вы так и не жили. Я это тоже знаю. Я догадался. Я прозрел. Иногда человек может поставить себе более жестокий, добровольный предел, чем даже самое нетерпимое общество потребует от него. Только – предел этот может быть любым. Одни ограничения снимаются, вырываются с мясом и кровью, чтобы тут же воздвиглись другие, еще более безжалостные – безжалостные к себе самому и своим близким. Ваша мама жила так, и заставляла так жить Вас. Плохо это или хорошо? Я понимаю лишь – я задал здесь идиотский вопрос, потому что категории подобраны неверно. В долговых самоограничениях нет таких понятий: добро или зло. Потому что, как раз любой, произвольно выбранный для себя набор обязательных правил – он-то и задает изначально, что такое хорошо, и что такое плохо. И если планка слишком высоко поднята над головами других, как следствие, возникает непонимание. Когда уровень долга слишком низок, чего ж тут не понять? Это есть у каждого в душе: эх, как бы попроще и для себя

поудобней. Но чтобы насиловать собственную природу, загоняя ее в матрицу несуществующего совершенства? Нет, такое понять нельзя. Или очень трудно. Мы все, или многие из нас, или… ну хорошо, некоторые из нас, читали фантазийные, литературные биографии замечательных людей. Ленин, Рузвельт, Мао, Де Голль, Солженицын – но ни единый из нас, или мало кто из нас, на деле верил, что именно так они и жили. Скидка на выдумку, на идеальный образец, на приукрашенный «агитпроп», на воспитательный момент для юношества. А что если? Я думаю и полагаю теперь? Нет, конечно, они не жили так. Так, как о них рассказано и написано. Но они пытались. В реальности, в действительной каждодневности, у них были такие в точности флажки, как у Вашей мамы. На йети, снежного человека, и на сказочного единорога.

…а я есть обыватель. Не обольщайтесь, пожалуйста, на мой счет. Образование, воспитание, окружающая среда, единство и борьба противоположностей, чушь собачья. Необыкновенные люди вне всего. И всегда. В королевских покоях и в лавке мещанина. Франциск Ассизский был сыном купца, рыночного торговца, менялы, развращенного площадью. Принц Шакья-Муни он и был, одно слово, принцем. Толстой был графом, а Федор Михайлович – каторжником. Сотни графов и тысячи каторжников. Огромная тяжелая масса пролетариев и… только один Горький. Корсиканский головорез Бонапарт стал императором, а крестьянская девушка Жанна – спасительницей отечества и святой. Не стоит объяснять, отчего это произошло. Мне не стоит объяснять Вам, отчего это произошло. Потому что ответ Вы знаете не хуже меня…

…кстати сказать. У Вас в школе была Сталина Александровна, вы удивитесь параллели, но у меня! У меня, тоже в школе, служила завучем старших классов некая Ежова…, имя-отчество простите, запамятовал. Дрянь изрядная, соответственно фамилии. Хоть я вовсе не считаю, будто прозвание определяет сознание. Человек по фамилии Злобин может оказаться добрейшим на свете существом, напротив, знал я одного Боголюбова – мерзавец первостатейный, неврастеник и редкий шовинист. Так-то. Но к чему я всё это Вам рассказываю? Тоже касательно моего детства. Я выбрал – подсознательно эпизод, единственный, но как мне кажется, весьма меня определяющий. Судите уж сами. Обо мне, само собой, не об истории в целом. Одним словом, завуч Ежова была совсем никудышний учитель, не поверите – физики, нудила по писаным параграфам, вопросы ей не стоило задавать, все равно один ответ: дети, откройте страницу такую-то, там сказано. Все время она называла нас

«дети», поголовно, и в десятом, и в одиннадцатом, коломенская верста иной выпускник, а у нее пренебрежительное «дети». Страницу я открывал, видел фигу, получал когда «пару», когда «трояк», что поделаешь. Я и без того плохо воспринимал сию науку, а уж с Ежовой! Не подумайте, будто я был как-то особенно туп, между прочим, мне, как и Вам, свезло на учителя математики, в смысле преподнесения знаний. Математика из меня, понятно, не вышло, не те у меня мозги, но заинтересовать он мог – насколько мог, простите за тавтологию, школа моя была с языковым уклоном, в сторону испанского, но не важно, – я любил его уроки, смешной дядька, неудачник, каких мало, о которых итальянцы говорят в пословице: если бы он падал спиной назад, то все равно расшиб бы себе нос. Вечно в перекореженном, наждачного цвета пиджачишке, он стирал костюм в прачечной, что ли? или даже – дома в тазу? На лацкане значок «бауманки», наверное, единственная ценная вещь в его жизни, галстук он не носил, в перемену две водолазки, и кошелек у него был лягушкой, напоминавший еще вставную челюсть, хлоп-хлоп и пальца нет, битком набитый мелочью, будто менял ее нарочно, это при тогдашней инфляции, может, нравилось ему, как монета гремела, будто он был богат и слушал звон злата? Кто знает? Здорово он учил, на пальцах, что называется, только благодаря ему теперь по силам мне понимать отчасти своего соседа Аркадия. Чудный мальчик, знаете ли, такой вундеркинд… что-то я в сторону. Простите, великодушно. Относительно того, что математик учил нас на пальцах, скажу вам следующее – великий это дар. Воистину лишь тот, кто бытовыми словами может живописать обыкновеннейшему рядовому обывателю, хотя бы мне, уравнения тригонометрии – даже не просто живописать, но наглядно объяснить, что значат они в реальности и для каких именно повседневных расчетов применяются, – человек, могущий такое, в науке должен быть бог. Если повезет с характером, конечно. И еще – тут нужно быть упорным как смерть, в смысле, на выбранном поприще. Наш математик характера не имел, но разъяснять наглядно – в этом не было ему равных. Помню, как он говорил нам о циклоиде Паскаля, нарочно принес в класс резиновое колесико с прикрепленным на ободе мелком и показал, что, если катить его, равномерно и прямолинейно, вдоль любой оси с любой скоростью, на рисунке получаться непрерывные, нет, не круги, но цепь полукружий, будто сплошная гряда одинаковых холмов, – это и есть искомая циклоида. Мы разевали рты, крутили колесико так и эдак, по горизонтали, по вертикали, по диагонали, быстро-быстро, медленно-медленно, все равно выходила одна и та же кривая. Здорово получалось! Такой был у

нас учитель математики, а я даже имени его не вспомню, только мятый, горчичного цвета костюм, и на лацкане значок выпускника знаменитой «бауманки»…

…в общем, школьный завуч, Ежова. Она была из очень неприятной породы людей. Которые всегда и везде выискивают и находят, что естественно, слабейших. Не для издевательства, какого-нибудь изощренного – это тоже признак фантазии отвратительного рода и даже ума. Нет, все проще – для банального поддержания авторитета. Может, тут заключено самое мерзкое: ребенок или подросток ничего тебе не сделал, ты вообще никак не относишься к нему, как к личности, он не хулиган, не двоечник, даже симпатичен в целом. Но долг превыше всего – противно здесь про долг, но эти люди так говорят сами о себе, пусть будет долг. Вот и Ежова выбирала, расчетливо, дальновидно, воспитательно. Чтобы закрыть абстрактную черную дыру в своей голове, чтобы не заметили и не прознали – она, как и все подобные ей, считала, будто господь нарочно создал подковерную интригу и закулисную подлость, чтобы облегчить жизнь «сознательным» людям, то бишь, вручил карающий и пробивающий стены заржавленный лом в надежные руки. Однажды так она выбрала меня. Я тоже ничего не делал, абсолютно. Просто стоял. Не один, с компанией, все мы уже учились в девятом классе. Было нас, собравшихся в кружок, ребят этак, пять, может, шесть. Зачем стояли? А зачем стоят на переменках старшеклассники? Обсуждают девчонок и как теперь курить тайком в туалете, если май месяц и окна раскрыты настежь, враз засекут – за ушко и на солнышко, то есть на внеочередное заседание дисциплинарной секции учкома, еще и предкам настучат почем зря… Я стоял как раз спиной. Самый мелкий из всех, не сказать, чтобы коротышка, но габариты мои оставляли желать лучшего – я и сейчас субтильного телосложения, тут уж что есть, то есть. И вдруг слышу, откуда-то сзади: Гусицын! – и еще строже окрик: Гусицын! В чем дело, думаю! По голосу опознал – Ежова, но вроде я ничего не натворил. Хотя испугался. Даже невиновный человек испытывает невольный страх, когда на него кричит кто-то, имеющий над ним и его существованием некоторую власть. Не сказать, чтобы я начал скоренько про себя перечислять тайные прегрешения, нет. Я всего лишь вздрогнул внутренне, приготовившись к неведомым неприятностям. Когда тебя окликает завуч Ежова, ничего хорошего ждать не приходится. Вам, кстати, не кажется это диким? Что учащийся в школе НИКОГДА, я нарочно подчеркнул «никогда», не ждет ничего хорошего от учительствующего лица, призванного по идее тебя защищать и направлять? Ежова позвала

меня – точнее, сегодня я бы сказал, хамски визгливо окликнула, будто я ей мозоль отдавил, или кнопку подложил под толстую попу. Я обернулся. Чего ты смотришь, Гусицын? Подбери бумажку!!! Я опешил. Какую бумажку? Чего она орет? Возле батареи, в шагах пяти от меня валялся смятый клетчатый тетрадный лист – кто-то выбросил черновик, поленившись дойти до урны. Я причем? Но разъяренная морда, сейчас того гляди, полетит пена изо рта, глаза из орбит, точнее, из-под мутных очков. Жесткие ребра кое-как скомканного белого бумажного холмика – легче перышка, его и сдуло-то под батарею оттого, что кто-нибудь просто прошел рядом, незаметное воздушное движение, но! Для меня это был уже айсберг, плавучая громада, выросшая до почти «титанического» предела, ломкий, безжалостный свет отразился на его гранях, точно предупреждал: только подойди, только нагнись ко мне, и все, тебе конец! Но как я мог не подойти и не поклониться ему, в сущности-то, айсберг был ни в чем не виноват, он только лежал себе в воздушных водах тихо. Каким же он казался холодным!.. Короче, (долой лирику!) я подошел, как-то бочком, поднял эту клятую бумажку, Ежова наступала за мной по пятам, назидательно и неумолимо, пока я не отнес и не выбросил куда положено. Потом посмотрела на меня – сказать ей было нечего, авторитет ее безусловно сработал, чего зря орать? И она пошла себе гордо – куда шла. Мимо меня, будто мимо пустого места. А мне пришлось возвращаться в кружок, к одноклассникам. Что хуже всего – они загалдели как-то разом: вот жирная свинья, молодец, Ленька, нечего с такой говножопой дурой связываться, пусть подавится. Но все они говорили, словно через силу, потому что лгали мне. Потому что знали – Ежова нарочно выбрала того из нас, кто нипочем бы ей не ответил, но предпочел бы не связываться. Посмела бы она окрикнуть Севу Гельварга, черта с два, он был прОклятый, неприкасаемый еврей с массой родственников за границей, и сам собирался в Майами на ПМЖ с родителями в ближайшем обозримом будущем. Он бы ее отбрил, свысока, или просто отвернулся бы нарочно и пошел в другую сторону. Или Гошу Климчука, я с ним по сей день дружу немного, шут он гороховый, змеиный язык, смелый до очумелости, сто раз по жизни битый до смерти, и ничего, наверное, теперь не боящийся – владеет целым издательством, это он порой подкидывает мне работенку. Гошу у завуча Ежовой духу бы не хватило вот так позвать, еще нарвешься на сходу сочиненную матерную частушку, с такой на педсовет не выйдешь, повторить – в горле застрянет слово, которое не вырубить топором. Так что, Гошу нельзя. А меня – можно. Я был тихий. Нет, не то. Тихий я не был, я любил эскапады и

спонтанные глупые хулиганства (позднее, тем же летом с приятелями безбашенно лазали на баррикады у Белого дома, орали – долой путчистов! – мелкое дурачье), я только не любил и в какой-то степени не мог, не был способен с достоинством за поступки и проступки свои отвечать. Ежова это знала. Или чувствовала. Она выбрала меня для себя правильно. Помните? Такая жизнь. Но теперь я думаю вот что: я думаю это лишь теперь. Я думаю – это был в корне неверный выбор. Нельзя делать из слабого человека законченного труса единственно в угоду авторитету, любому авторитету, потому что нарушается самый смысл этого понятия – авторитет. Над кем? Над слабаками и подонками? Кому он нужен? Она была плохой учитель, и преподала мне плохой урок. Беда лишь в том, что я его воспринял, и надолго. И почти никогда не вякал, не лез, и не выделывался, будто мне больше всех надо – это говоря современным языком; не кусал руку дающую, не тявкал из подворотни, не держал кукиш в кармане – то же самое в литературной обработке. Но отныне я не хочу. Не знаю, как у меня получится, привычка вторая натура, а к пассивному подчинению и полезному прежде навыку улизнуть вовремя в свою нору я привык. Поживем, увидим. Может, ничего не удастся совершить путного. Но что-то, вдруг, да выйдет. Потому что, своей норы никакой уже нет. А есть… я не знаю, что есть. Нечто. Пока не определенное.

…если Вам интересно, меня зовут Леонтий, не в смысле – зовут и прихожу, простите за неуместное остроумие. Такое уж мое имя, многие сокращают его до Леньки, Ленчика, Лени, но мне больше нравится иноземное короткое Лео, не знаю почему. Точнее – вру, знаю. Будто я, в самом деле, иностранец, отрешенно глядящий на многие вещи со стороны, на Коземаслова, например, или на Васятникова – это мои знакомцы, как Вы уже поняли, не слишком располагающие к себе люди. Так вот, Ленька не может снисходительно смотреть на подобное говнецо, а загадочный нездешний Лео может. Но Вы обращайтесь ко мне в будущем, как хотите, хотя бы вообще никак не обращайтесь. Я не обижусь. Дорогая моя Сцилла…

…напоследок позволю себе анекдот. Работорговцы, захватив в плен негра, везут его на своем корабле вместе с прочим «живым товаром». И удивляются. Странный какой-то попался негр – не плачет, не сыплет проклятиями, наоборот улыбается и благодарит. Один надсмотрщик, не выдержав, спрашивает – эй, черномазый, чего ты все время лыбишься? Негр отвечает – а я есть ясновидящий. Я точно вижу, как через двести лет мои потомки здорово оторвутся на китайцах, вьетнамцах,

мексиканцах, сербах и украинцах за то, что вы, белые американцы, взяли нас в рабство. Вот чтоб это произошло, я плыву с вами. Благодарю и радостно улыбаюсь… работорговец не поверил и на всякий случай утопил чудесного негра в море… правильно сделал…»

Часть вторая. Делай с нами!

Не заводи рака за камень

Однажды одной маленькой девочке, ученице второго класса одной обыкновенной школы подарили на один день рождения один очень обыкновенный мобильный телефон. Такой вот, недорогой смартфончик, фирмы «самсунг». Девочка очень обрадовалась, у нее раньше не было собственного мобильного телефона, и ей так сильно хотелось его иметь! Она полюбила свой первый в жизни телефон, все время носила его с собой, выключала на уроках, включала на переменках, защищала от хулиганов-мальчишек, протирала салфеточкой экранчик, регулярно подзаряжала батарейку. В телефоне у нее было много разных игрушек, песенок и всяческих модных примочек, а еще она выпросила у родителей для любимого электронного дружочка нарядный лиловый чехольчик и подвеску-сердечко.

Как-то раз родители девочки должны были уехать на целые выходные из города, и они никак не могли взять девочку с собой. Не потому, что не хотели или решили поразвлечься в отсутствие ребенка, нет, они на самом деле не могли. Они поехали на дачный участок за сто километров, чтобы обсудить с бригадиром поселкового строительного подряда будущий усадебный домик, и заночевать им предстояло без удобств в своей небольшой машине, поэтому маленькую девочку с собой было взять никак нельзя. Зато они попросили старушку-соседку присмотреть за дочкой: чтобы не ходила голодная и не бегала до позднего вечера во дворе с ребятами, чтобы вовремя легла спать. А девочке строго-настрого велели все время не расставаться с телефоном, чтобы родители могли ей позвонить целых двадцать раз за день, и не волновались за нее. Девочка была послушной, она делала все, что говорила ей старушка соседка, и, конечно, даже не думала расставаться с любимым своим «самсунгом», тем более она очень скучала без папы с мамой.

Когда вечером соседка-старушка уложила девочку, наконец, в кроватку, и пошла домой, в свою собственную, соседнюю квартиру, девочка положила свой телефончик рядом на подушку, погладила его экранчик, пожелала ему «спокойной ночи». И стала потихоньку засыпать, рядом с «самсунгом» ей было совсем не страшно, ей казалось, что будто бы папа и мама неподалеку с ней, стоит только протянуть руку, вызвать их номер и сразу они ответят. Так оно и было на самом деле. Только никого девочка набирать не стала, ей не было в том нужды, ей хотелось спать. Она и уснула, глубоким здоровым сном. И вот, когда время на экранчике телефона показало полночь, он вдруг засветился весь зеленым

светом. Он светился все ярче и ярче, свет делался все более ядовитым и ядовитым, пока своим страшным мерцанием не разбудил маленькую девочку. Она проснулась и посмотрела с удивлением на свой «самсунг». Сначала она подумала, будто это папа с мамой хотят поговорить с ней, но никакого звонка не было, только экран сиял зловещим зеленым светом. Девочка попробовала погладить телефон ласково ладошкой, чтобы ее электронный дружок успокоился и потух – она очень боялась, что ее любимая игрушка сломалась, и больше никогда не будет с ней играть, никогда не станет посылать ее эсэмэски подружкам, никогда не соединит ее с папой и мамой, и вообще, она останется одна – потому что, новый смартфон ей уже не купят.

Но лишь только девочка провела пальчиками по ядовитому, светящемуся экрану, как на нем вдруг вспыхнул жуткий желто-зеленый глаз, за ним другой, потом третий, потом еще один, и еще, и еще. Девочка вскрикнула и впервые оттолкнула от себя свою любимую игрушку. А страшные кошачьи глаза уже выплывали из телефона наружу, они побежали во все стороны по простыне, по одеялу, по стенам, по потолку, их стало великое множество. Девочка испугалась, ей сделалось страшно-престрашно, она схватила опять свой телефон, чтобы позвонить маме и папе, или хотя бы старушке-соседке, она стала вызывать на экранчик один номер за другим, но ничего не получалось – «самсунг» лишь заливался зеленым ужасным светом и бежали во все стороны из него ужасные зеленые глаза. Девочка отбросила с жутким вскриком телефон, он упал, раскололся на две половины, но все равно светился зеленым светом, и бежали во все стороны зеленые глаза. Девочка зажмурилась, чтобы не видеть, она горько заплакала, и стала просить телефон – «не надо, пожалуйста, не надо, я буду хорошей, я расскажу о тройке по математике, я никогда больше не буду списывать примеры на умножение!». И тут тихий голос ей ответил тихой-тихой песней:

Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, пока мой ворон в клетке, так будет без конца! Посмотри! Посмотри! Птица прочь, упорхни! Нет спасенья! Не спасенья! Выкуп ждут привидения!.. Посмотри! Посмотри!

Песня звучала все громче и громче, девочка совсем не понимала от страха, что ей делать, она послушалась и перестала жмуриться. Она посмотрела на экран «самсунга», там и вправду сидел нарисованный черный ворон в железной клетке, девочка, заливаясь горькими слезами, стала просить его: «птичка, птичка, помоги мне!». Черный ворон мерзко закаркал, зашумел крыльями, потом вдруг клетка разлетелась на куски, ворон вылетел из экрана, и набросился на девочку, а зеленые глаза все бежали по

стенам и пели: «Нет спасенья! Нет спасенья!»

На следующее утро, когда приехали родители девочки, они нашли свою дочку мертвой в кроватке с выклеванными глазами, рядом с ней лежал разбитый смартфон. А за окном на ветке сидел черный ворон с одним зеленым пером в хвосте и мерзко каркал, будто смеялся.

– Это что за хрень? – Климчук держал за уголок распечатку страницы, недавно в панике принесенную ему секретаршей Василисой; держал на отлете, брезгливо, словно дохлую жабу за лапку. Он успел уже пробежать текст наскоро, привычно и всеохватно, как и подобает главному редактору – тире – хозяину (пусть не самого большого, но…) издательства. – Это ЧТО? Ленька, ты в уме? Мне твой «выпускающий» нажаловаться успел. В истерике. Я не поверил сначала, теперь сам вижу. Что это такое?

– Что заказывали, – непривычно хмуро и без улыбки отозвался Леонтий.

– Я заказывал! Да, я заказывал! Для сборника детских современных сказок. В стиле Диснея. О человеке-пауке или о Томе и Джерри. В глянце, с иллюстрациями 3-D! Ты, б…, слов нет! Это у меня-то. А слов нет. Я думал, как всегда, сопрешь чужое, перелицуешь, подлакируешь, добавишь русскую слезу, и чуки-пуки! Это что? Вот ЭТО что за дрянь? Мать моя, несчастная пенсионерка, что ее сын дожил до такого… опуса, мать его дери! В смысле, тебя, его отца!

– Там еще дальше есть. Следующая сказка. То бишь, другой опус. О черной руке-душителе. Из настольного ноутбука. Еще о говорящем черепе в игровой приставке. Еще в плане… – Климчук перебил его:

– Нет, этот человек положительно рехнулся! Ты рехнулся, Ленька, ты хоть о себе представляешь? Галлюцинациями не страдаешь, нет? Грибов не обнюхался, порошочку не обкурился? Травки не объелся, а?

– Современные сказки, нормально. Для кибер-эпохи в самый раз. Кстати сказать, уважаемый Игорь Петрович, именно перелицовка. Ты в пионерлагерях бывал? Бывал. По ночам «ужастики» травил? Травил и не раз. Когда девчонок зубной пастой не мазал. И про черную руку, и про зеленые глаза.

– Сразу я уже Игорь Петрович! Нервные все стали, чуть что, обидки держат, – Климчук положил страницу-жабу перед собой на стол. Глядел на творение начинающего Шарля Перро уже не столь брезгливо, как раньше. Будто бы с интересом глядел. – Не ожидал я, честно говоря. Чего угодно, но такого…

– Ты думал всегда, у Леньки кишка тонка. Еще со школы думал. В общем-то, правильно, – печально согласился Леонтий. – Зря, наверное, я все это затеял. Забыли и проехали. Но и сочинять для тебя сладкую воду на киселе я тоже не стану. Не из принципа, а… просто не хочу и все.

Леонтий поднялся с гостевого кресла, собираясь уходить. Сквозь стеклянные, прозрачные стены редакторского «руководящего» загончика просачивались беспрепятственно взгляды досужих зрителей – секретарши Василисы и еще каких-то служащих девчоночек, нарочно лениво сновавших у командного аквариума. Ждали скандала, любого, да не вышло – подумал Леонтий. Незачем, да и не для чего давать пищу разговорам.

– Погоди, ты прямо сразу вот так, – придержал его Климчук. – Помозговать надо. Идейка-то ничего себе. Хороша, прямо …ть…, скажем, идейка! Стишки тоже вполне отстойные, такие как раз пойдут. Но, понятно, что не в Диснеевский сборник. Ты вот что…

– Что? – принимая делано безразличный вид, но с потаенным от волнения дыханием, спросил Леонтий. Он снова опустился в гостевое кресло, на этот раз нарочито неохотно и самую чуточку развязано. С Гошкой так и надо. Иначе, за горло возьмет, на глоток воздуха урвать не успеешь.

– Понадобится таких историек, скажем… э-э-э, штук двадцать. На небольшой альманах с садомазохистскими картинками. Не для детишек. А то от твоих сказочек подростковая шизофрения юному читателю обеспечена. Но вот тем, кто постарше, н-да, в самый раз. Только вот что – девочке дай имя, Маша, Даша, Саша, все равно. Себе возьми псевдоним, чтоб без ненужных ассоциаций, у тебя – ориентация, у меня – репутация. Еще! Родителей-середнячков смени на умеренных олигархов, дачную поездку на отдых в Ницце, соседку-старушку на эксклюзивную няню, «самсунг» на крутое «vertu». Ностальгия, великое дело, но надо учитывать реалии настоящего времени. О богатых, которые тоже плачут, все читать любят. Тут хорошим бакшишем пахнет. А я тебе аванс подкину, – Климчук, подозрительно и украдкой, бросил быстрый, но всеохватный с ног до головы, торговый взгляд на Леонтия. Утешительного ничего не обнаружил, и потому предложил: – пятьдесят тысяч, чистыми, без вычетов. Рублей, естественно. И пять… пятнадцать процентов от прибыли с продаж. Срок тебе месяц. На все про все… Идет?

– Сам идиот, – отшутился Леонтий. Предложение было щедрым и, по чести признаться, неожиданным. Потому пришлось брать музыкальную паузу на раздумье. – Двадцать историй, скажешь тоже! За месяц!

– Так ведь три уже есть. Осталось всего ничего. А мы бы

запустились. У меня художники на сдельной! Понимать надо! Что тебе стоит? Еще семнадцать штук. О кикиморе из кофейной машины или… ну, не знаю.

– Не знаешь, так не говори. Полтора! Полтора месяца и ни днем меньше! – Леонтий мог исполнить просимую работу за два дня, но нужно было поддерживать реноме. За скорый и неупорный труд плата известно какая. Фиговая. – Пятнадцать процентов, оно конечно, неплохо. Только чур, никаких словесных договоренностей. Бумага, подпись, печать. За дурака не держи, не хуже твоего догадываюсь, что дело перспективное. Я ведь и к Халявскому могу отнести, он заплатит, хотя и меньше, зато у него контора надежней. И больше твоей раз в пять.

– Халявский жулик, каких мало. На бумаге экономит и на полиграфии. А у меня качество. У меня профессиональные иллюстраторы из Суриковского, это тебе не компьютерная графика, это чистое искусство, ребята призы берут. Глянец, суперобложка, тебе любой скажет – издательский дом «Кукарача» Игоря Климчука это марка!

– Мне-то что? Я не художник. Как насчет договора по форме? – осведомился небрежно Леонтий, словно бы тирада Гошки обращена была не к нему.

– Как-как!? Пи-пи-пись! Подпишем твой договор. Иди в юротдел, я сейчас позвоню, распоряжусь.

– Это серьезный разговор. Деловой, можно сказать. Ты, Игорь Петрович, гордость издательского бизнеса!

– Иди, сволочюга вымогательская. Иди по-хорошему… пока не передумал, – Гошкин хитрый глаз светился довольно и умиротворенно, рука сама собой, словно помимо воли, поглаживала свежую распечатку доморощенных псевдокибернетических страшилок.

А Леонтий шел себе по-хорошему в юротдел, шел и думал, что Гошка Климчук наверняка его сильно надул, ну уж ладно. На первый раз себе любимому простительно. Пятьдесят тысяч «налом», вдобавок сразу на руки, очень даже отличные деньги. Кто-то может и скажет – не скажет, так подумает, – тоже мне, сумма! Только этот кто-то слабо представляет себе реалии свободного художественного заработка. Чтобы на алименты хватало, на бытовые удовлетворительные нужды, да еще на распродажные «гуччи» и на оздоровление Ящера – одного места работы куда как недостаточно. И два недостаточно. И три. Вот и получалось, тут копейка, там копейка. На радио небольшой собственный эфирчик, в газетенке статейка, где предисловие черкнуть, где отозваться на событие, в одном месте подменить, в другом сбоку пристроиться, интернет-страничка, журнальная

колонка – потихоньку набегало. Из грошей складывался порой неплохой доходец, словно от многих скромных источников и родников наполнялась речка, жаль только – неточный, нефиксированный, негарантированный, одним словом, творческий. Потому, пятьдесят тысяч заработать в общем-то при масштабных связях и безусловной исполнительности Леонтию было где, но чтоб вот так, в одном месте и за один раз, без лишней беготни и завуалированного попрошайничества, это выходило случаем редкостным и не обыденно удачным. «Все изменится! Все теперь изменится! Дело пойдет!» – напевал Леонтий сам про себя и о себе, пока еще очень слабо представляя, что собственно изменится в его жизни, что именно пойдет и в какую сторону. Впрочем, это было неважно. А важно, что сегодня была пятница, и был соборный – то бишь, – сборный день. В смысле день, когда Леонтий пускался в путь за гонорарами, за новыми заказами, которые требовали личного присутствия, помимо телефонных переговоров. При этом вопреки его воле, возникали некоторые ассоциации с небезызвестным поэтом Ляпис-Трубецким, торговавшим ради хлеба насущного бесконечным Гаврилой, но Леонтий мужественно отгонял нелицеприятные видения, хотя настроение портилось. Конечно, за зипунами, к примеру, можно было не ходить, можно было на карточку, дебетную – кредитную кто бы ему выдал! Но Леонтий не любил этого, предпочитал в кассе из рук в руки, по безналичному переводу когда еще получишь, процесс этот долог и нуден, и деньги вроде как не настоящие, голые, сухие цифры и больше ничего.

Тем паче сегодня его самого запросили быть персонально в двух местах – раздраженно на переговоры или ругательно на ковер, это как посмотреть. У Климчука – понятно зачем, Леонтий предугадал наперед, что современные его сказочные персонажи, такие далекие от диснеевских мультяшных пупсиков, вызовут цепную реакцию, хорошо, если не взрывную – ему просто-напросто с Гошкой повезло. Однако теперь, минуя юротдел «Кукарачи» – приятные хлопоты, по чести говоря, – предстояло Леонтию еще одно личное посещение. Еще одной редакции, на сей раз уже газетной, по схожему поводу. Отвага «обновленного себя» выходила боком, но вдруг и в «российке» повезет. Гена-Валет имел репутацию человека безусловно вспыльчивого и запальчивого, зато не являлся главным редактором, и тем паче хозяином периодического издания с государственным уставным капиталом, что значительно упрощало дело – когда отвечаешь за деньги общественные, жесты как-то сами собой становятся шире, лишь бы укладывались в бюджетные рамки. У «российки» рамки

были ничего, подходящие. А Гена-Валет был редактором полемического интернет-портала «Карта бита» (что опять-таки шутка), далекого от международной внешней и межпартийной внутренней политики. Его «битая карта» полемизировала в основном в русле тем пафосно-бытовых – надобно ли сечь непослушное дите, и есть ли смысл в тибетской медицине, если луна находится на ущербе; популистика, бля, без нее даже программе «Время» не выдюжить – говаривал Гена и был прав. Потому Валет приглашал частенько Леонтия. За ним закрепилась слава как раз бытийствующего журнального жизнеописателя. Хотя Леонтию зачастую делалось обидно и порой хотелось. Писать о горячих точках, пылающих войной на картах мира, или высказывать свое мнение с трибун общественно-политических программ: быть или не быть пролетариям всех стран под эгидой БРИКСа? Но его даже откликнуться на присоединение – воссоединение, точнее сказать, – метрополии с крымской своей частью, и то не пригласили. И на собственном его понедельничном эфире не велели – не лезь и не принижай, тут вопрос и масштаб имперские, твое же дело грядущий чемпионат по пляжному волейболу – готовь сани летом! Или бери надел – умеренная социальная темка: нарочная неспособность старушек-пенсионерок справиться без посторонней помощи с электронными коммунальными платежами – куда смотрит персонал квартальных «сбербанков»! Даешь виртуальный ликбез для тех, кому за шестьдесят! Не тот профиль, и уровень моральной жесткости не тот, Леонтий это понимал о себе, но все равно, хотелось.

Валету он тоже отправил этакое, кое-что, необычное, чреватое, вот и получил персональный вызов. На ковер, не на ковер, но козью морду ему вполне могли устроить. Статья заказная, ожидаемая, плановая, его задачей было лишь – выразить чужую точку зрения, с приукрасами и выкрутасами, можно и с легкими шутками-прибаутками. Гена к подобным заказам относился ответственно, об авторской самостоятельности и слышать не желал, судил по опыту – возможно, справедливо. Излюбленным высказыванием Валета по всякому, в разной степени подходящему поводу было: «Я видел тьму журналистов, которых никто не покупал, но за всю жизнь НИ ОДНОГО, который бы не продавался!» Да как же это так? – будто бы изумленно вопрошал не раз Леонтий. А свобода слова, а репортерская честь и честность? Как же оголтелые либералы и полные интеллектуалы? Никак. Отвечал Валет. Та же дешевая водка, только паленная с ворованной этикеткой. Им тоже платят, но под иным соусом и другие кооперативные товарищества. А ты думал?

Честные разве лишь те непродажные, которые еще не раскупленные. В их свободной воле пока что выбор себе хозяина и то… это у самых талантливых. Все прочие – невольничий рынок в кино видал? Видал. Есть товар ходкий, а есть лежалый, в нагрузку. Зачем вообще спрашиваешь? На себя посмотри, и заодно на меня. Но Гена-Валет по поводу высказанной им изнаночной правды жизни отнюдь не переживал. У него была позитивная философская позиция. Ну, заказ, ну сверху, подумаешь! От нашего ведь, родного правительства, не от британского и не от американского, чего стыдиться? И некоторым, неназванным вслух деятелям культуры, особенно заслуженным, тоже вранье не к лицу – дескать, не было никакого пожелания от президента, исключительно своей сознательностью живем. А чего плохого? Чай, не Обама-то попросил, и не под дулом же пистолета! Заказ, он заказу рознь. В этом месте своей речи Гена всегда нарочито чихал – в подтверждение безусловной истинности своих слов. А и был в них смысл. Леонтий не протестовал, не было доводов, собственный его опыт – такая жизнь! – говорил больше в пользу мировоззрения Валета, хотя, конечно, каждый пишущий мысль должен стремиться к идеалу. Вопрос, к какому. Вопрос из вопросов.

Сыр-бор, похоже, выходил с Геной из-за невинной вроде бы статейки. И не статейки даже, отзыве на происшедшее безобразное событие. Отлупили ребенка, ученика. Его же сотоварищи – и выложили в интернет. История, каких немало в последние «обайфоненные» времена. Максимум, на что юные фашиствующие долболобы могли рассчитывать в соцсетях, так это на вялые скучающие протесты, обязательные по программе, с «доколе» и «кудакатитсямолодежь». Дальше – рассмотрение инцидента милицейским участковым, традиционный отказ в возбуждении уголовного дела, призывы к примирению и к покаянию, внушения и взыскания со стороны учительского состава. Но! В проверенный сценарий вмешалась мама избитого мальчишки. И радикально, надо сказать, вмешалась. Взяла мужнин охотничий дробовик, затем решительным шагом к дому заглавного обидчика – все происходило в частном секторе некоего пригорода, – да и выпустила целиком заряд, без предупреждения, без стенаний и рассусоливаний, прямехонько в брюхо хулигана-документалиста. Потом перезарядила, навела снова, прищурив глаз. И пока истекавший кровью дюжий десятиклассник валялся перед ней в пыли, пока бежали к нему в помощь близкие соседи и родные папа-с-мамой – с опаской и стараясь не задевать словесно полоумную бабу с заряженным ружьем, – сказала примерно следующее. Еще раз и огонь будет на

поражение, она шутить не станет, за своего сыночка порвет в клочки по закоулочкам, вообще сначала хотела облить сволоту кислотой, серной или азотной, но под рукой случилось то, что случилось, гаденышу повезло, это на первый раз, и пусть запомнит. Пусть все запомнят. С тем ушла. Гордо… Потом началось. Суд мамашу оправдал, опять с «доколе» и «кудакатитсямолодежь», во-первых, вдова заслуженного «МЧСника», одна растит ребенка, между прочим отличника и общественно активного учащегося, во-вторых, ее сыну, и без того некрепкого здоровья, в свою очередь нанесен телесный ущерб (сломанный нос и ушиб ребер), и ни тебе компенсаций, ни даже извинений. Говорят, папаша раненного долболоба еще подсмеивался, дескать, навалял наш рембо соседскому ботану. Досмеялся – сын теперь до конца дней своих инвалид, дробь в клочья разнесла качку селезенку. В-третьих, и самых важных, семейные разделы десятков печатных изданий, как местных, так и центральных, подняли такой зеленый шум, упирая на неконтролируемое состояние родительского аффекта, что у бедняги прокурора не оставалось иного выхода, как потребовать для преступницы всего-то двух лет с отсроченным отбыванием в колонии общего режима, иначе говоря, условно. Не дали ни одного, ни условно, никак. Только выплата материального возмещения долболобу в размере… по правде сказать, малосущественном. Хотя и тех денег родичи его в глаза не увидели, забыли и замяли, у сумасшедшей мамаши с дробовиком ни у кого не хватило духу ломаный грош потребовать.

И вот теперь генкиному порталу предстояло выступить с продуманной полемикой в защиту семейных ценностей, охраняемых государством, о бедных вдовах и матерях, вынужденных с оружием в руках защищать своих чад – и как итог: вновь призвать органы милиции к делу обуздания хулиганов, их учету и приведению в специальные детские комнаты для психологической обработки. Валет давно знал о разводе Леонтия, о политике Калерии в отношении его и дочери, знал и о трогательной любви к Леночке, потому борзописец Л. Годо показался ему самой подходящей кандидатурой для ведения темы. Нет, Леонтию вовсе не предлагалось призывать отцов и матерей к оружию, наоборот, нужно было косвенно осудить, но и указать строго: альтернатива-то где? А беспредел неправильно воспитанных долболобов вот он. Хотя и они тоже дети, а дети это святое. Что предлагать? Как что? Воспитательные программы и полезные занятия в бойскаутских организациях, лекции и экскурсии, обмен опытом за рубежом, личные примеры в воспитании юношества, главное, бережно-бережно, утирая

подросткам сопли и ни в коем случае не покушаясь на эти самые ценности, которые семейные.

Леонтий все так бы и написал. Еще пару недель назад. Не будируя широкую публику, но опять же, неустанно держа перед глазами и в уме Леночку, и что он, пожалуй, тоже бы взял дробовик, будь он хотя бы охотник-любитель. И озаглавил бы свой опус как-нибудь вопросительно-назидательно. «Семья СЕМЬ Я?» или все тем же бесконечным «Кто в ответе за Кудакатитсямолодежь?» Но вышло у него то, что вышло. Неувязочка возникла сразу же, как только бойкие его пальцы выбили на клавиатуре лэптопа следующую шапку: «Недоросли и Филантропы» – и подзаголовок: «Третья Российская Беда?» А дальше покатилось, поехало, само собой. Основная мысль запальчивой тирады состояла в том, что:

Ситуация с детишками и семейными ценностями ненормально утрирована. Иначе говоря – у людей здравый ум заходит за позитивный разум, когда обстоятельства жизни касаются их потомства. У соседей в разрешенное время гудит дрель за стеной, все равно, прекратить! чудовища поганые! МОЙ ребенок пугается, пропадите вы пропадом хоть в грязи, свое чадо, обернутое в вату, важнее – задерганное лаской, нервное, уже в раннем детстве морально убитое, в будущем психический инвалид. Или: упаси боже случайно толкнуть, задеть локтем, наступить на изнеженную ножку – а-а-а-а! малое создание в вопли и сопли, родитель с кулаками на негодяя обидчика, как же, порушили святыню – а святыня глядит хитрыми глазенками, потенциальная мразь и брехливая притворяшка. Короче – если рядом свой или что много хуже, чужой ребенок, все! Замрите и не дышите, а лучше сразу занять коленопреклоненную позу. До абсурда. Доходит иногда. Леонтий не поскупился на пример. Как невменяемая мамаша орала на лестничной площадке, когда выносили ногами вперед восьмидесятилетнего старика, из своего дома выносили, не было денег ни на какое ритуальное агентство, одинокая дочь, кассирша метрополитена, хоронила отца, скромно, по низшему разряду, а что делать? Так вот. Орала эта мамаша в голос – убирайте вашего мертвяка, мой сыночек – тоже уже будущий долболоб двенадцати лет, – боится покойников, у ребенка будет стресс, чтоб ваш старый черт второй раз сдох и ты, паразитка, с ним заодно! Хоть в помойку, не мое дело! А чтоб гроб на лестничной площадке не стоял! В окно кидай, нечего тут таскать! Прочие соседи принижено молчали. Что тут скажешь, дети дело святое. А нужно было – нужно было и мамашу, и мальчишку за шиворот, и носом! Носом! В гроб, в холеру, в печенку, в геенну огненную! Уважение к мертвым, тем более к

старикам – вот где святое по-настоящему!

Была еще одна мысль, попутная, но ничуть не менее спорная, чем первая:

Родители, они ведь горой не за всех детей. Раньше, в пионерско-комсомольские времена тоже дети были будущим, но как-то – общим будущим. Часто вообще происходило так. Запросто можно было взять соседского мальчишку на рыбалку или дочкиных подружек на прогулку в парк, на качели, в кафе-мороженое. Все дети наравне, свои-чужие, конечно, своего подсознательно все равно выделяешь, но тут же и говоришь себе – стоп! не хорошо так-то, не по совести, не советская это позиция, не наша, и нарочно тогда соседское дите ласкаешь больше чем свое, будто вину заглаживаешь. Тем более знаешь – твой сосед точно так же поступит, без вопросов. Ныне об упомянутых временах только помечтать. Такие орлицы, как мамаша с дробовиком скорее обыденность, чем исключение. Да и папаши долболобов, выхваляющие свое отродье за откровенно уголовные дела. Ведь качки, избившие слабого одноклассника, не с неба свалились, их тоже воспитали, и тоже под колпаком, просто колпак тот был иного рода и свойства – вседозволенность силы, вот какой. Так что – в истории той правых и виноватых нет, обе стороны хороши. Плохо только – что делаем мы культ из того, что культом быть никак не должно. Дети – это не икона, не идол на пьедестале, не семейная главная ценность. Это – сырой материал, с неразвитым сознанием и с изначально хищными звериными инстинктами, которые усмирять и усмирять, дрессировкой, укрощением, воспитанием, как хотите, так и назовите. А для начала – укротить тех самых родителей, которые считают, что только одни они и есть на белом свете со своим обожаемым чадом, все же прочие пусть хоть передохнут, им дела нет. Не укротим – ничего хорошего не вырастет. Одни эгоисты-психопаты, на голой земле. Еще и перегрызут друг друга, пример с пап и мам, они так привыкли.

И еще:

Дети никаким образом не должны знать, что ради них делается что-то. Приносятся кровавые жертвы и колдовством вызываются духи ценностей. И тем паче не должны знать, что им должны. Что они должны – пожалуйста, это – сколько угодно! Китайский вариант – полное почитание старших, и полное им послушание. Тоже, возможно, перегиб, но в куда лучшую сторону. По крайней мере, подонков не вырастим. И тем же престарелым родителям не придется маяться в богадельне или в подворотне ради милостыни. За крик на пустом месте – Как ты посмел тронуть мое чадо: Дунуть! Плюнуть! Открыть форточку!

Замечание сделать! (Своего роди, ему и указывай! орет, пачкает мороженым, швыряется камнями – ничего, потерпишь!) Или, о, ужас, не отдать добровольно тут же лучший кусок! – за все это надо судить. Не уголовным, разумеется, но товарищеским судом. Разобрать по косточкам и пронести по кочкам такую мамашу. И чтобы чадо поприсутствовало и послушало тоже, что взрослые умные люди говорят. И молчало бы при этом и поняло бы – что слово нужно еще заслужить, и вообще все нужно еще заслужить, и что оно, чадо, пока никто, оно еще ОНО.

Так-то. Такая вышла статья. Это не халтура, это беспредел – сказал ему Валет, грозно и в то же время с деланным отвращением потрясая распечаткой в воздухе: жест, ставший вдруг привычным для Леонтия за последние несколько часов. Будто бы он даже нравственно приспособился к ругани, хотя прежде только и делал, что старался избегать «конфликтных ситуаций».

Даже «кудакатится» прозвучало, правда, без «молодежь», зато с «доколе» – куда катится Леонтий в апогее праздника непослушания, и доколе редакторские пожелания будут для него пустой звук? И что ему, Гене, теперь делать у разбитого корыта, иначе, у «битой карты»? Коли он уже понадеялся, и перестраховываться не стал? А как же! Леонтий ведь имел репутацию! Прежде имел, но отныне из доверия вышел!

Леонтий слушал равнодушно, необыкновенно для себя самого, будто бы не он сидел на металлическом, холодном стуле пред гомеровски-огненосно грохочущим и желудочно-язвенно гримасничающим Геной-Валетом, а кто-то другой, ему незнакомый. Он же, Леонтий, наблюдал этого другого со стороны, и без интереса наблюдал, словно показывали ему документальное кино, к примеру, об историческом выпасе гусей в Тамбовской области… Гена как-то быстро утих.

– Ладно, – сказал он вдруг, устало и мирно, ни с того, ни с сего, без перехода, будто переключили светофор с зеленого, скажем, на синий, чего не бывает и быть не должно. – Ладно, – повторил обреченно еще раз. Но потом, словно в озарении, встрепенулся, жизнерадостно указал Леонтию: – придумай второй псевдоним. ЭТО после пойдет. После твоего письма.

– Какого письма? – не понял Леонтий, привстал со стула, так изумился.

– Какого-какого? Полемического. Которое должен. Вот прямо здесь, – Гена обвел широким, щедрым жестом свой редакторский закуток – кладовку в полсажени, без окон, зато с прозрачной дверью, будто предоставлял Леонтию к его услугам поле необозримое. – Садись за мой комп. Только я тебя запру. Чтоб

через час. Через полчаса. Как хочешь. Сумел Этакое намарать, сможешь и положенное. Пойдут друг за другом. Сначала заказное, после сей эпистолярный труд. Я там одну ерунду сниму, к собачьим чертям!

– Мне бы кофе, – все также равнодушно и без капли заинтересованности ответил Леонтий. – Запирать ни к чему, не сбегу. Я свои долги чту. И отдаю.

– Кофе, да. Кофе, это мысль. Только сам знаешь, у нас какое. Травить им хорошо, принесу, конечно, хоть полную бадью на коромысле. Но смотри – за полчаса…

– За сорок минут. На скорую руку хорошо не бывает. Надо накинуть минут десять на планчик, на обдумывание реплик, на как подать. Да это не затянется, ты меня знаешь, – поторговался для порядка Леонтий, хотя на сей раз была его вина.

– Знаю, знаю. Думал, что знаю. Ты вообще, того-этого… В следующий раз. Тоже так. Оба варианта под двумя псевдонимами, что я тебе велю, и что сам по теме думаешь. А еще лучше, не надо второго псевдонима. Не дай бог, разговоры пойдут. Без расшифровки подпишем – АНОНИМ, или ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ, делов-то! На полкило дерьма! Заплатим, как за двойную работу, понятно. Ты пиши, пиши, не отвлекайся. Время жмет. Я за кофе пока… – Гена договаривал из-за прикрытой двери: – Ну, ты даешь, однако! Не ожидал!

Уже выходя прочь из гостеприимной «российки», уже получив от Гены-Валета поощрительное словесное напутствие, – материальное было не за горами, – уже садясь в гордо блестящего Ящера, Леонтий сообразил. Весь сегодняшний его подвиг, пардон, гондона пользованного не стоил. Не только в отношении сказочек, сказочки так, мелкое хулиганство, проба вылупившейся в нем авторской наглости, но вот статья о недорослях и филантропах – это все краденое. Причем краденое в таком месте, о котором говорить нельзя, ибо оно не просто было потаенным, но сокровенно-откровенным, предназначенным только для него одного. Потому что, писал и думал он опять чужими словами, и повторял чужое. Человеческое кредо мертвой уже давно женщины и передавшей все о ней ее живой дочери, которую он знал пока только как Сциллу. Он украл чужое, и притом такое чужое, которое вообще трогать «не мог сметь». Хуже всего, что не просто выдал за свое, а сам поверил, что породил свое, и ему, в свою очередь, поверили, и похвалили, и изумились, и попросили еще. Но с другой стороны, может, так оно должно было быть? Может, его собственная судьба была такова, что ничего более великого не мог он свершить в своей жизни, как только служить звеном передаточным, будто бы рупором всем тем, кто по какой-то

причине не хотел или не умел говорить ясно и красиво от своего имени. Наверное, Сцилла нисколько и не обидится, если даже узнает, что Леонтий выразил приоткрывшуюся чуждую ему суть таким вот образом, будто бы они заговорили сами, Сцилла и ее мама. От него, от Леонтия, тоже ведь потребовалась определенного рода храбрость, и мудрость, и весь наличный талант. И может, есть у него, кроме очевидного, некоторое предназначение, помимо глашатая и литературного обработчика – ведь сегодня опять была пятница. И опять в восемь вечера, да. Его ждала еще одна встреча в небезызвестной квартире. Второе по счету свидание, деловое или заговорщицкое, однако не менее важное для него, чем для стороны другой – для «сквозьзубывещающего» Филона и для Пальмиры, с которой, наверное, он успел подружиться, не накоротке, но так, как был бы уж и «вхожий в дом».

Семь верст и все лесом

В выходные он поехал к Леночке. Именно «к», а не «за», изображая воскресно-субботнего папу. Калерия дочку на руки с ночевкой не выдавала. Только для парковой прогулки с возвратом на обед – не вздумай кормить на улице! У ребенка режим. И к себе не води – знаю я, что там делается, нечего девочке смотреть на непотребство. Никакого непотребства и в помине не было, тем более Леонтию в голову, даже при белой горячке, не пришло бы питать свое единственное обожаемое дитя в уличных фастфудах. Разве только отвезти к бабушке Рине – к Ариадне Юрьевне, к своей маме, Калерия этого не запрещала, с чего бы? Но привозил он Леночку в гости к родне нечасто, не потому что, боялся попреков, вздохов, взглядов с укоризной, напротив, вместе мама и отчим пыхтели, смеялись, суетились от радужного предвкушения общения с маленьким, умненьким, ухоженным «своим» ребенком, внучечкой, заечкой, малышечкой, – даже вечно блуждающая сестра Лиза, в короткие заезды на историческую родину, и та кудахтала курицей над забавной племяшкой, возилась с ней, точно с дорогой куклой, да и кукол, недорогих, но с душой, накупала тоже изрядно в подарок. Дело было не в скрытом порицании его существования отдельно от дочери – не сложилось, что поделаешь, зато какая крошечка, деточка, все прощается за одно это, – но мама и отчим сильно мешали общению. О «тет-а-тет» с дочерью можно было забыть, Леонтия как бы отодвигали на второй план или отодвигали вообще. Не получалось ни поиграть в «тайные» игры – дорассказать за папой старую-старую сказку, но с другим, смешным концом, типа «принцесса украла огниво у солдата и сбежала», ни от души крутить-вертеть ходкий руль у Ящера, изображая гонки по фантастическим лесам с кощеями и «бабками-ежками», папа рядом за штурмана, страшно кричит – смотри, по правому борту пень, налево и прямо, ага, болото, бултых! Ради этих моментов он, по сути, жил. Ради этого он шел на безусловное согласное унижение перед Калерией, два раза в месяц только и давала Леночку, а что будет, если объявится новый муж? Леонтию и думать о том не хотелось. О том, что дочку его, может быть, натаскают другого обзывать папой – с Калерии станется, она упертая, железобетонно-несгибаемая, в тех местах и в тех принципах, где как раз не надо.

Он уже отвозил Леночку по графику на обеденный перерыв в Денежный переулок, сам намеревался откушать неподалеку, на Садовом, в кафешке «Три басмача», там подавали неплохой плов.

Калерия его за стол не приглашала, дескать, бывшего – подчеркнуто, – мужа она кормить разносолами не обязана. Когда только кормила? Леонтий такого не помнил. А помнил безжалостно угнетенную украинскую и молдавскую прислугу, которой поручались как раз разносолы, но не хочет, как хочет, ему не было обидно, разве немного недоуменно. Куска хлеба ей было жалко, что ли? Ведь нет. Когда болел – и навещала, и лекарствами едва не затравила, не в жадности дело. Дело в принципе, окаянном и растреклятом. Бог с ней, с Калерией. Ему и наедине с поддельным узбекским пловом хорошо… Он уже отвозил Леночку, как вдруг позвонил в панике Суесловский – наверное, едва протрезвел, была вторая половина воскресного дня, пора бы уже. Только почему Леонтию? Суесловский звонил с еженедельного «уикэндного» перепоя исключительно в экстраординарных случаях. Тем не менее, заранее припарковавшись у обочины – не хватало еще, болтая по телефону рисковать на дороге Леночкой, и из-за кого? из-за какого-то Суесловского! – в общем, Леонтий ответил на вызов:

– Алло! – про себя раздраженно добавив в адрес Суесловского «съешь дерьма кило!», слишком не ко времени был тот звонок.

– Алло, алло! Лео, это ты?

Леонтия так и подмывало ответить: нет, говорит слон! Как раз с натуральным ослом. Но он пересилил себя:

– Я, да! Мне сейчас неудобно…, – но договорить не успел.

– Какое там неудобно! Ванька (речь с очевидностью шла о Коземаслове) валюту по обменникам скупает! Доллары и евро! Ты что-нибудь об этом знаешь? – понятно, речь шла не о самом поступке Коземаслова, но о побудивших его к действию причинах.

– Нет. От тебя в первый раз слышу. Но если Коземаслов, то это серьезно.

– Еще бы! Что-то будет. Вот помяни мое слово! Ну, я побегу, раз ты не в курсе. На всякий случай надо поторопиться. Пока! – Суесловский, не дожидаясь ответного прощания, отключился, можно сказать, беспардонно-невоспитанно.

Тем не менее, его можно было понять. Даже Леонтий встревожился. Коземаслов скупает инвалюту. Что значило это известие? Да все на свете. Значило: грядет нечто такое, отчего обменные курсы доллара и евро могут скакнуть, причем до «божечки мои!». Потому, у Ваньки был нюх. Или предчувствие. Или предвидение. Или одержимые духи Дж. П. Моргана и Первого Ротшильда, сговорившись за огненной сковородой, выбрали его в свои медиумы. Коземаслов чуял всегда. Он и сам был как банковский показатель или биржевой индекс, ему не требовалась никакая высшая аналитика, и даром – умные

пророческие статьи-обозрения в умных же финансовых журналах. Если бы Ванька бросился вдруг, без видимого повода затариваться по супермаркетам солью и спичками, Леонтий бы сказал – завтра, максимум послезавтра начнется война, великая или отечественная, не важно, но начнется обязательно. Хоть бы в объединенном мире стояла беспробудная дружелюбная тишина, все равно, войны не избежать. Почему? Ха! Ответ элементарен. Потому что Ванька Коземаслов уже набил закрома товарами первой необходимости. На все кровные! Так что, деваться некуда. Пока же Ванька приобретал валюту.

Леонтий в задумчивости невольно-неопределенно запустил руку в боковой карман. Зачем? Нащупал старый театральный билет и копеечную мелочь. Во внутреннем – еще кошелек-портмоне, надо там посмотреть. Сотню-другую, может пять, а если успеет с гонорарами, так и всю тысячу. Купить не мешкая. Для той же Леночки. И Калерии сказать – она встревожится наверняка, репутация Коземаслова ей известна, Калерия, как законченная бизнесвумен, к подобным предчувствиям относилась с благоговением. Тем более Ванькины закладки в завтрашний день ни разу еще не подкачали. Стопроцентное попадание, материальное воплощение теории идеальных типов по Веберу – тип идолопоклоннического священства «все что ни делается, то к худшему», будто бы для верного его нюха естественной погрешности-ошибки вовсе не существовало… и тут Леонтий одернул себя. Какая валюта? Какие Ваньки Коземасловы? Белены ли он объелся? Ведь завтрашний день для него случится совсем другой. Может уже, отныне и навек. Разве вот, Калерию предупредить. Деньги, подумаешь! Если он только захочет, если полслова…, только не хочет он, чистые намерения и руки, накладные расходы – это да, это – пожалуйста, а чтоб ему, как наемнику, фигушки, чухонец от него не дождется, хоть белый свет блином…, то есть клином сойдись на одной прифронтовой полосе. Правда, известие о Коземаслове и в новой жизни Леонтию могло косвенно выйти боком, ибо предвещало относительную экономическую нестабильность, и что много хуже, катавасии политические. Чего Леонтию теперь совершенно, в виду новейших обстоятельств, не хотелось бы. Ловить в мутной воде юркую рыбешку острогой – занятие малоперспективное. К тому же не понаслышке Леонтий представлял себе реалии войны информационной, которая, судя по Коземаслову, вот-вот наберет обороты. Тогда «просвечивать» интернет на заданную тему выйдет ему гораздо тяжелее, если тема вообще всплывет, ведь здесь могучую роль при поиске играет количество заинтересованных пользователей. Но Ванькин валютный поход

предостерегал – скоро, оч., оч. скоро интерес перенаправлен будет в одну сторону. А ведь у Леонтия первое задание. Как первый боевой вылет профессионального летчика.

К этому времени Леонтий уже дважды посетил конспиративную квартиру. Назначаемое ему время словно бы вошло в русло приемных административных часов, с восьми до половины десятого вечера. Филон и Пальмира прибывали исключительно для его удобства заранее, чтобы успела хоть немного выветрится и раствориться в абсорбентах кошмарная укропная вонь от работавшей «полотерной» машины – к сожалению, окончательно запах был неистребим, побочный эффект, почти безвредный, если пользоваться устройством как должно, но уж если вдохнуть – пробирающий до кишок! Наверное, чухонец и его параллельная фея давно привыкли, принюхались, а может, и вовсе по отношению к местному роду людскому являлись генетическими мутантами, только укропный аромат особенно их не доставал – так, будто бы ценитель-сыровар, преспокойненько обитающий в компании многолетних зрелых «рокфоров» и «камамберов», сортирно-носочная вонючесть коих есть признак качества. Но все же не запах беспокоил Леонтия. А… сложно даже сказать, что. Много всего. Не говоря о том, что не банально и не тривиально впутался он в дела потусторонние, неземные, согласно науке, пока существующие гипотетически. Но вот – существующие же! И не розыгрыш, не казенный секретный эксперимент, нет! Слишком долго и… слишком достоверно для миража. Он был в ТОЙ пещере, и летел кубарем с ТОЙ елки. И синяки с ушибами вылезли на нем настоящие, конечно, согласно Козьме Пруткову, в сомнительных случаях лучше не верить глазам своим, но до каких пределов? Логика, логика и еще раз логика – по Косте Собакину! А логика говорила, и приговор ее был однозначен – все происходившее и происходящее с Леонтием суть абсолютная реальность. На том он примирился с настоящим: пришлось, даже как-то спокойно, без нервических срывов, есть и есть. Хорошо, что позвали именно его, открылись, доверились, но запросто б им вышло отшить, как, для примера, того же майора Серегу, не пригодился, не прошел пробы, а ведь на его месте мог бы оказаться Леонтий. И никогда бы он не узнал… никогда бы он не узнал… чего именно? Ну, хотя бы того, что наяву существуют иные параллели той самой реальности, которая суть.

Тревожило его более другое. Чего-то они не договаривали. Филон Медиотирренский с Пальмирой. Вроде все складно – много параллелей и все разные, одни развитые, иные не очень, набор вероятностей, он читал об этом сто раз. До оскомины. Вот

только – современную, здешнюю, родную точку зрения, научную и около – это он им, а не они ему излагали. Параллельные пришельцы его лишь слушали. Внимательно. Пристально. Фея доброжелательно кивая. Чухонец пренебрежительно искривляя линейные губы. Все бы ладно. Терпимо. Но переглядки. Были, были! Так при малых детях мудрые родители глядят поверх кудрявых головенок, внимая рассуждениям о том, что ветер дует от того, что деревья качаются, и пока не решаются поправлять, дескать, рано еще толковать о воздушных атмосферных потоках, о формировании циклонов и их антиподов в областях высоких и низких давлений. После, когда-нибудь. Когда готовы будут воспринять. Так выслушивали в конечном итоге Леонтия. Он печенкой чувствовал – за переглядками скрывается нечто, такое, о чем не хотят говорить. Потому выбор, собственно, был прост. Либо рискнуть и довериться полностью безоглядно. Или сбежать и… возможно, донести. Он выбрал первое. Не с точки зрения разума, не с точки зрения доказательного убеждения – это он скорее навязался пришельцам, чем наоборот, не с точки зрения самой точки зрения в смысле философии мировоззрения. Нет, он захотел поверить и поверил. Его хотение, непреодолимое, необоримое желание решило все. Он знал теперь – подобно же дело обстояло вообще в любой массовой религии. Ты веришь лишь оттого, что сам этого возжелал, возжаждал, все прочее – малосущественный атрибут, если есть внутри тебя потребность, словно бы в еде или в воде, в глотке воздуха, в любви или в ненависти, здесь то же самое, ты веришь только потому, что хочешь верить. Леонтий как раз хотел. Пусть переглядываются. Но, чур! Пусть они будут на стороне правого дела, неизвестно какого, но правого, и Леонтий им помощник, здешний, избранный, преданный и благодарный. К тому же – Филон и фея Пальмира не пугали его. Не было в них… как бы это сказать? Васятниковщины и коземасловщины. Даже у чухонца, ревность не корысть, высоколобость не двоедушие низости, гордыню и стерпеть можно, вдруг в действительности есть от чего заноситься, биографии Филона он не знал, он вообще ничего о нем не знал толком, да и о Пальмире тоже. Кроме одного. Сказанного сразу. В первый его осознанный пятничный визит. Не ради их личностной безопасности, но дабы устранить неясность. Они добровольцы. Оба. Пальмира и Филон. Не посланные с заданием секретными организациями, не отправленные в научные командировки исследовательскими параллельными центрами, не внедренные хищными корпорациями в поиске ресурсов, а так, на свой страх и риск, что-то вроде благотворительности, сносно финансируемой, ну вроде как мы

даем не слишком щедрой рукой на поддержание приютов для кошек и собак. Или, чтоб не чересчур обидно в сравнении – безбашенным фантазерам-дайверам на исследования морского дна в поисках пропавшей Атлантиды. Найдут, не найдут – суть дела не меняет. Хотя, а вдруг? – извечное, каверзное, из области определения той погрешности очевидной вероятности, когда и чайник, знаете ли, на раскаленной плите, того-этого, замерзнуть, ага! Теоретически может, конечно, при сочетании редкостных условий немыслимого порядка. И потому – кто-то ищет Атлантиду, всю жизнь и не напрасно, затонувший материк, понятно, не находит, зато нет-нет, да и подвернется что-нибудь науке интересное, океанское дно есть поле непаханое. А кто-то – на тех же добровольческих началах защищает «краснокнижного» амурского тигра, может, капризная кошка плодиться желает пока не очень, зато нет-нет, да и попадется очередной злостный браконьер в руки правосудию. А кто-то – в гвинейских чащах борется с лихорадкой Ханта, чудовищной и редкой пакостью, на свой страх и риск. А кто-то – на пожертвования открывает самодеятельный, но отчаянно перспективный драмтеатр для детей-сирот. Мало ли, как и что бывает, когда некоторым странным людям хочется чего-то гораздо больше, чем денег, чего-то, однозначно невозможного на первый взгляд, а на второй, вдруг и получится, так почему бы не дать? Много ведь не просят. Одно только – он, Леонтий, как представитель здешней флоры-фауны, есть кто? Горький сирота, амурский тигр, мифический континент или злобный вирус? И чего хотят добровольные пришельцы – спасать, искать, учить или сражаться? Непонятно. Они не объяснили. Они попросили. Пойти туда, пока они не знают достоверно куда, найти того, они пока представления не имеют кого. Однако! Однако есть несколько оповестительных знаков. Вешек, меток, зарубок на древесных вековых стволах.

Так вот – не мог бы Леонтий. Обнаружить заметки и зарубки, а лучше сразу и отследить, к кому приведут. Без исключения, ничегошеньки и никогошеньки не пропуская, чтоб не ушла мелкая рыбешка через крупноячеистую сеть. Какой ориентир поиска? А самый простой. Новые религиозные течения. Здесь, здесь, на данной территории, русскоязычной, грубо говоря. Почему не могут добровольцы? Могут. И делают. Мешает – некомпетентность мышления, – это Пальмира: все же мы чужие. Местные зауженные рамки сознания, втиснуться в которые! – это Филон: все же разность уровней, нет, Аг-ры он, конечно, не берет в расчет, но все же, все же! Леонтий пропустил чухонское хамство тогда мимо ушей, его взволновало иное. Причем тут религиозные течения, и на кой, простите, ляд и черт они сдались

параллельным мирянам? В исследовательских целях – только и был ему ответ. А почему именно новые? Старые тоже вполне – магометанство, христианство, конфуцианство… Да-да! Все это занимательно, безусловно. Но ненужно. Грааль будущего – решили добыть у нас? Ну-ну! Леонтий еще и посмеялся. Но с иной стороны – а вдруг? Ему в тот момент стало лестно: действительно, чем это наша, тутошняя реальность хуже остальных? Что, в ней и Грааль поискать нельзя? Не одни же радиоактивные ископаемые. Пусть, если добровольцы хотят. Но ему сказали – и как-то странно сказали: миссия их непростая, религиозные тенденции, особенно новозарождающиеся, это не шутка. Само собой! Он, Леонтий, знает, подкован и образован соответствующе, и красоток-ведьм, бывало, сжигали, и неверным гяурам напрочь ятаганами головы секли, фанатизм, одним словом. Какие именно, все же, течения, интересуют добровольно прибывших? Буддистского, исламистского, кришнаитского толка? Нет! Был ему ответ. Ни то, ни другое, ни третье. Новые, в смысле совсем новые. Он поймет, едва увидит. То есть, прочитает. То есть, ознакомится по существу. То – чего не было допрежь совсем. Никогда на этой земле. И быть не могло. По объективным причинам. М-да! Задачка не из легких. Это сколько же надо перелопатить информации. Чтобы отобрать, рассортировать, отличить. А нисколько – так сказал ему Филон, первый раз, наверное, благожелательно-напутственно, видать, и впрямь, очень нужно было. Истинно новое всегда большая редкость, оттого всегда одно – и этого «одного» порой много, – так вот, тут задача не сортировать зерна и плевелы, а лишь найти единственное зерно, и не в плевелах даже, скорее, для сравнения, как звезду в бесконечной черноте, или одинокий белый гриб в бескрайнем и пустом от грибниц, пересохшем лесу. Потому – как повезет. Ладно. Леонтий не возражал. Хотя предложенная ему работа с одной стороны казалась интригующе-первооткрывательской в конечном результате, с другой же – кропотливо-занудной по характеру исполнения. Он пошутил тогда – его позывной отныне «эСКаПэ», разведчик на сопредельной территории, дай бог, чтобы не враждебной. Казаки-разбойники, красота! Его спросили, в частности, чухонец Филон, с почти осязаемым раздражением – он должен разгадывать глупые шарады или Леонтий сам изволит дать толкование. Что еще за «эскапэ»? Столовое блюдо французской нации, либо идиоматическое туземное ругательство? Достаточно вариантов? Ни первое, ни второе! Леонтий не обиделся, ну не понимает человек шуток, что поделаешь? И вполне ли человек? «эСКаПэ» – это аббревиатура. Иначе, Старший Куда Пошлют – он, Леонтий, такой посланец и

есть. Шутка, конечно, – Пальмира улыбнулась, наверное, не вполне до нее дошло: разумеется – если Леонтию так хочется, он имеет право. Она произносила «Эскапе» слитно, будто целое слово, будто прозвище, может, ей казалось: хорошо, если новый помощник оценит происходящее с ним, как своего рода легковесную игру. Напрасно – Леонтий собирался взяться за дело всерьез. Разговор состоялся вчера, просьба прозвучала, а ныне Леонтий определил себе – отвезти Леночку, и после никаких попоек, никаких гостей-шатунов – даже мальчика Аркашу, если не выпроводить: с утра ведь сидит! то хотя бы отшить в угол вместе с компом, – никаких незапланированных походов «за компанию жид удавился, так почему бы и мне…?» Он теперь вроде как агент, не «007», само собой, но все же доверенное лицо внеземной… тьфу ты, пакость, почему внеземной?.. скорее внездешнепараллельной цивилизации. Работа, работа, на благо и во благо, руки чешутся, точнее, пальцы свербят, или дрожат, за клавиатуру! Глаз его алмаз, чутье как у собаки, он избранный и позванный! Ну, как-то так. А тут – на тебе, здрасьте! Я ваша тетя! Точнее, Ванька Коземаслов и его роль в спекулятивном росте валютного курса.

Он все же не побрезговал. Предупредил Калерию. Как оказалось, не безвозмездно. Его и покормили, и разрешили остаться смотреть с Леночкой мультики – о пионерке и Лаврентии Павловиче Берия (упаси боже от подобного сравнения!) – о Маше и ее Медведе, конечно, вполне приемлемое творение отечественной анимации. Только Калерия все никак не давала сосредоточиться на происходящем – папа, смотри, мишка в погреб упал! ну, папа! мама, отстань! – что конкретно сказал тебе Суесловский о Коземаслове? Услышал бы кто последние слова со стороны, решил бы – анекдот. Калерия, однако, требовала подробностей. Сколько купил и когда именно? До закрытия биржи, или уже после? Ах, Леонтий сам не знает? Если не знает сам, пусть спросит, у того, кто заинтересован в происходящем. Коземаслову, он, понятно, звонить не стал, не враг здоровью, да и не стоит Ваньке говорить под руку, это как сбивать свинью с трюфельного следа. Но Суесловского еще раз допросил подробно. Семьдесят две тысячи евро, по льготному курсу за опт? Это откуда же у Ваньки такие деньжищи? Он, что, в безлунные ночи грабит на кольцевой автозаправочные станции? Нормальные деньги, для нормального человека – оборвала его неуместный саркастический комментарий Калерия. Леонтий ни в коем случае не стал с ней спорить. Огнеопасно. Да и бесполезно. Калерия, как начала, так и пошла – с продолжением. Что некоторые люди заранее позаботились о будущем, и о настоящем,

в смысле семейных ценностей: жены и детей – Леонтий попытался вставить: у Ваньки никакой семьи нет, напротив, в этом отношении ему ничего не грозит, скорее Коземаслов удавится, чем поделится, – куда там! Калерию несло, не слишком, впрочем, борзо, но неприятно. Дальше все о рыцарях, почему-то с большой дороги, хотя Леонтий никогда и ни в каком роде своих занятий не промышлял грабежом. О бессребрениках, что угодно для первого встреченного алкаша, а для самых близких! Разве подумают! Он думал, как раз всегда, но это не имело значения. Возражения его не были приняты. Тоже мне, бескорыстный джедай нашелся! Только вместо светового меча – граненый стакан!

Едва лишь Калерия вымолвила это слово «джедай», как Леонтия тут же и осенило. Дальше Калерию он слушал в пол-уха, чтобы не раздражать и чтобы – главное! – не упустить одну прегениальнейшую мыслишку. Конечно, джедай! То есть, Джедай с большой буквы. Николя Безобразов – первое искаженный вариант обычного Кольки, второе настоящая его фамилия, чего не бывает! А Леонтий Гусицын лучше, что ли? То-то! Вот как раз «Джедай» и было обиходное прозвище Николя. Собственно, он был не джедай, а диск-жокей, на одной «клевой» радиостанции, ностальгирующей исключительно в облачной области рока, от Элвиса до Оззи Осборна, от задиристых «Роллинг Стоунз» до тяжеловесных «Скорпионс». Безобразов был настоящий мастер волны – Джедай. И серьезный пользователь интернет-сайтов, имеющих отношение к КЛФ – Клубу Любителей Фантастики, если кто вдруг не знает. Без дураков, серьезный – Николя скорее стал бы собирать пустые бутылки по помойкам, чем «лайки» от друзей по «фейсбуку». Последних, кстати, у него и не было.

КЛФ слыл образованием природным, в том смысле, что возник стихийно. Давным-давно, once upon a time, во времена, когда пресловутая улитка братьев АВС еще и не думала ползти вверх по склону Фудзи. Без вмешательства вышних сил, государственных, профсоюзных или союзописательских. Клуб изначально как бы не запрещали, но и не разрешали, присматривали, конечно, так, в полглаза, чуть пристальнее разве, чем за собирателями антикварных спичечных коробков, и уж конечно, не столь строго, как за подпольными самиздатовскими перепечатками. Ну, есть и есть! Что мы, пальцем деланные или лаптем щи хлебаем! Не хуже Азимовых и Кларков имеются у нас – свои поганые, как говорили в старину отдельные славянские православные племена о соседних, погрязших в язычестве печенегах. Тоже вот Гансовский, или школа Ефремова, даже «Альтиста Данилова» напечатали и даже, что удивительно, кое-где похвалили. Хотя феерические творения Владимира Орлова, на

трепетный взгляд Леонтия, к самому КЛФ отношение иметь могли лишь косвенное. Это скорее уж параллель с Булгаковым, если не напрямую с фаусто-мефистофельскими мотивами, тут явление в литературе уникальное, особняком стоящее.

…Вот здесь, в нарушение всех мыслимых правил текстового построения и традиций литературного созидательного процесса, откровенно начихав на последние, вступит сам автор. С заглавной буквы «А» или с прописной «я», не суть. С исповедью или с проповедью, не суть тоже, но… с тем, что он, автор необходимо для себя и далеко небесполезно для читателей хочет и должен сказать. О чуде-чудном. О диве-дивном. О явлении, прошедшем мимо, без злого умысла или с оным со стороны некоторых завидующих и поныне, но мимо многих, к горчайшему сожалению моему. Мимо – Владимира Викторовича Орлова: кому не знакомо это имя, и тем более, не читано и не видано вышедшее из-под пера Его, бойтесь! Вы потеряли, может быть, неизведанную соль земли и тропинку к тому сокрытому смыслу жизни, который безуспешно искали. Ибо человек этот возник, или воплотился, где-то далеко среди звезд, между никчемными и скучными «урви-сожри-подвинься!» и прочими загребущими повседневностями, в своей собственной абсолютной реальности, цена которой есть Вселенная. Теперь Он уж умер. Теперь нет Его. И я могу смело говорить и писать о Нем – никакой своекорыстный болван не упрекнет в нарочитости умышленного рекламного лизоблюдства, потому – Ему от моих слов ни холодно теперь и не жарко. Нет пророка в отчестве своем. Нет современного нам классика, и не почитаем мы Его таковым, пока…. Пока не будет истоптана в достаточной мере равнодушными Его могила, пока не будет оплевана она от всей низости души третьесортными бумагомараками – подумаешь, тоже мне, писатель! Не Гоголь же! – кто изрекает такое, оплевал бы и Гоголя, доведись в одно время с ним. А ведь жил Он рядом, все это время – жил, с нами – живой родник сотворенного слова, никогда так не думавший о себе, потому как, пребывал Он на небе и на земле – одновременно. И не гордился. Не просил для себя ничего – ни подхалимских премий, ни вырванных с кровью тиражей, ни покровительства сильных властью людей. И совершал дивные чудеса. И рассказывал о них всем, держащим уши и глаза открытыми, на волшебном языке, не имеющем ничего общего ни с одним природным человеческим, из беспредельного Ничто возникшим, зато умеющим околдовывать и чаровать. Так что – я не дам вам забыть. Не позволю. Когда-нибудь Он обязательно вернется, это будет вечное возвращение присматривающего за нами хранителя-гения, возвращение того, кто не может просто

взять и сгинуть или навек пропасть. А в Москве, на улицах и площадях будут стоять: демон-альтист и рядом присмиревший синий бык – у Большого театра, скромный аптекарь возле старого клена – на улице Цандера, озорной Шеврикука с Чашей-Братиной в руке – в Китай-городе. Обязательно они встанут. Плохо, если иначе. Не все, конечно, в нашей воле, но многое, хотя бы и я сделаю, что смогу, обращаясь мыслью и словом снова и снова к Нему, кого я всегда почитать буду за учителя моего. За Колумба того мира, который лежит между всеми иными мирами, и куда нет доступа никому, кроме разве эпикуровых богов…

А КЛФ! КЛФ был КЛФ. И остался. Своевременно плавно перетек в интернет, оброс бородой, забурел, но главное, не растерял себя по ухабам, пребывал и поныне клубом именно любителей фантастики, а где как не там! И сайентологи вышли из фантастов, и карго-культ имеет в основании некую научно-фантастическую подоплеку, пусть и не просматриваемую сразу.

Правда, из глубин интуитивного подсознательного ориентирования к Леонтию сигнально всплывало – не туда он путь держит, ох, не туда! Но с чего-то надо же начинать! Вдруг ниточка и протянется. Клуб – сообщество, политизированное мало, а вот с точки зрения науки, религии и человека вопросы ставит нешуточные. Вопросы те, если не пророческий знак, хотя бы, путеводно подскажут в каком направлении далее брести. Какие ныне мыслительные тенденции в моде? Какие словечки, быть может, войдут в употребление? Какие идеи пока еще только витают в виртуальном воздухе? Прямая дорога не всегда самая кратчайшая, а лучшая… лучшая та, которую знаешь, хоть бы и через бурелом. Джедая, к примеру, Леонтий знал. И уважал за житейскую стойкость. А также – за некоторую бредовость в поведении. Это ж надо! С китайским обоюдоострым мечом «цзянь» за спиной – все, как положено в кассовых кинолентах, витиеватая чеканка с драконом и цветистая кисточка на рукояти, – хорошо еще, нарочно не заточенным, разгуливать по городу Москве! Дескать, спешно с тренировки, в лесном массиве на реке Сетунь, где собираются как раз ему подобные любители боевых искусств. Леонтий самолично был тому свидетелем, не с чужих слов, назначил как-то раз деловое свидание в «Шоколаднице» неподалеку, на Ленинском, Николя так и пришел, с холодным оружием, ничем не прикрытым, поставил небрежно возле батареи – перепуганные официантки, что закономерно, вызвали полицейский патруль. Правда, неприятностей никаких не вышло, сами блюстители, оба молодые парни, рок-радиостанцию частенько слушали, Безобразова узнали, по голосу, ну и документы, конечно, факт принадлежности подтвердили.

Дурищи, чего пристали к творческому человеку, сидит и сидит, он же не скачет с саблей наголо! Да и меч тот тупой, им даже батон докторской колбасы, того-этого… не разрубить! Ушли, пожелав приятного аппетита и профессиональных успехов. Но инцидент-то был. Судя по тогдашней реакции Николя, далеко не первый, надо думать – не последний. Вот от этого-то меча и пошло – Джедай, да, Джедай. А вовсе не потому, что диск-жокей. Он и прическу престранную носил – выбривал ровно переднюю часть головы, а сзади ослиным хвостом свешивалась короткая косица. Леонтий пробовал как-то втолковать – ношение китайцем косицы есть знак подчинительной капитуляции перед захватчиками из маньчжурской династии, но, похоже, Николя, пропустил его замечание мимо ушей, косица явно нравилась ему, сама по себе – так какая, в горелый пень, разница! И Николя-Джедай продолжал разгуливать по московским просторам с сомнительным в статусе плетеным сооружением на голове, которое становилось год от года все удивительнее в длину и роскошнее в толщину. Видно, не без тщательного салонного ухода – подозревал о том Леонтий. Но ныне, вспомнив о Джедае, он принялся размышлять совсем об ином.

Н-да. Хорошо бы еще прояснить, по какой острой нужде Пальмире и Филону сдались эти религиозные течения? Установить конечную цель, так сказать. Когда наперед знаешь «зачем», куда легче понять «где» и «как»? Но на этот счет Леонтия не просветили, перевели разговор, мягко перевели. На абстрактный ученый интерес. Может, испытание на прочность. Может, тест на сообразительность. Нет, чего-то пришельцы не договаривали. Определенно! Что же, придется ему плутать наобум, одним словом – ежик в тумане. Мультипликационный персонаж, кстати, положительный. Пока Леонтий оценивал себя и свое положение, отмеренная порция похождений Маши и Медведя на диске закончилась. Калерия стала не грубо, но решительно выпроваживать его вон. Что же, покормила и на том спасибо… спасибо этому дому, пойдем к другому. То есть, к себе домой. Он так на сегодня решил – Джедай и до завтра подождет, легко! Тут еще обмозговать надо, как и что лучше спросить. Ну, пора и честь знать! Леонтий откланялся.

Граждане, коцайте ваши тикета!

Молот, с удалого размаха бухавший в звонкую сковороду, поднял бы и мертвого. И Леонтия поднял. Да что там, поднял! Если бы существовал рекорд, допустим, пресловутой книги Гиннесса, на самый высокий прыжок «взвейсявверх» спросонья на кровати, Леонтий бы вышел победителем на многие годы. Товарищ Сталин таково не подскакивал, когда двадцать второго июня ровно в четыре часа…! А ведь генералиссимусу сообщали, наверняка в выражениях нестеснительных, что настал полный «караул, слоноул и барнаул», и, может, даже – «незагорамигрядущая» казнь через повешение на Красной площади у руин Мавзолея. И ничего, ни один биограф-живописатель не упомянул о том, что, дескать, лучший друг всех физкультурников повел себя неподобающим образом – с громким криком ужаса плюхнулся «с печки на пол», то есть с любимого дивана на засыпанный пеплом паркет.

Били часы. Не часы – зверюги, опупевшие, свихнувшиеся в старинном дубовом гробу механизмы. Свидетели младенческого крещения знаменитого мастера Павла Буре или даже самого Позье. Ходили ходуном и кряхтели, скрипели, ухали и грохали, но все равно били – бу-х-х-хоо-хом! Бу-хо-хооом! И так двенадцать раз, не подавившись вековой пылью и старческой немощью. Мамонтообразные, монументальные, размерами с гардероб.

Не ссы ты, они только в полночь и в полдень могут. Так заведены. Нарочно. Очень ветхие. Соседи пугаются, но терпят. Кто из них всю жизнь тут прожил – всегда эти часы били, говорят. Привыкли, наверное. Вот и не жалуются.

Леонтий едва не завопил: Кто это!??: Кто говорит со мной!?: Коварный дух, покажись! Голос, будто внутриутробный, шел из одеяльных недр или из потустороннего измерения. Ась? Кто здесь!? Уссаться действительно можно – грубо, зато верно, он чуть не обделался от двойного страха. Сначала кандально-колокольный звон, потом неведомый и незримый собеседник, ох, ты, грехи наши тяжкие! Где, кто, что? Леонтий огляделся, недоуменно и подозрительно. Грехи его и впрямь оказались тяжелы. Позвав еще раз:

– Кто ты? Покажись! Чур, меня! – Леонтий получил ответ:

– Лео, ты рехнулся, что ли? Я, Ника! От своего джин-тоника сдурел совсем, – из-под дальнего краешка пухового одеяла вынырнула голова, женская и недовольная: светлые встрепанные пышно волосы, длинные, путанные, будто кто разворошил змеиное гнездо.

– Я не дома?

– Вот чукча! Не дома! – одеяло взвилось вверх, под ним оказалась натурально голая упитанная баба, совершенно, на первый взгляд, Леонтию не знакомая. – Да ты что? Ты же вчера не нюхал и не курил, только бухал себе, и все? Лео, очнись! – перед его растерянным, испуганным лицом защелкали, раздраженно, наманикюренные, крашенные трупно-фиолетовым лаком женские пальчики, пытаясь отвлечь на себя его заплутавшее внимание. – Я, Ника! Слышишь? Может, у тебя микроинсульт, а? Ты меня слышишь? Или видишь? Вот чудак! – Леонтия довольно болезненно пнули кулаком в бок. Он тут же очнулся. Будто застопорившийся переключатель внутри сработал.

– Ника! Божечки мои! Откуда я здесь? А, ну да! А как я …? Ага, само собой…, что-то я того…

– Переклинило! Столько выжрать! Я бы сдохла, – тут особа, назвавшая себя Никой, без преувеличения заржала кобылой. Леонтий едва удержался, чтобы не перекрестить ей грудь – вдруг морок исчезнет?

Он смутно припоминал. Вернее, начал смутно припоминать, разрозненными кусками, едва-едва связно соединявшимися в нужном хронологическом порядке. Он ехал. По Новому Арбату. Потом по Кутузовскому. Зачем? А развернуться! Маразм – это ж далеко. А подумать? Подумать надо было. О Джедае, о Филоне, заодно о Коземаслове и валютном курсе на бирже. Последнее случайно присоседилось. Он ехал.

Ага! Возле театра кошек Куклачева. Ника скандалила во всю с очередным таксистом. Почему, с очередным? Она всегда скандалит, и не только с таксистами. Такой характер. Почему именно у театра кошек? Элементарно. Ника там и живет. Не в театре, разумеется, в соседнем доме. Он затормозил. Опять спрашивается, зачем? Машинально. Видит, знакомая девушка в стрессе. Как можно мимо? Запросто можно, тем более мимо Ники, потому что, «не мимо» весьма чревато. Но он задумался. И не успел одуматься. Затормозил. Привет? Привет. В чем проблема? Вот ишак, у него сдачи нет! Я деньги не печатаю! Договаривались за триста! Иди, меняй, мудель! Не мое дело, где! Слушай, Лео, у тебя нет случайно триста под расчет? А, спасибочки! На, держи, обсос! Вали отсюда! Сам, хуйло! – нормальные выражения, для Ники нормальные, потому и не завяли у него уши. Услышь он такое, к примеру, от Калерии, точно бы решил – космические пираты захватили Землю и самый жестокий и главный вселился в тело его бывшей жены – иного объяснения он бы не нашел. Но для Ники – каждодневный привычный лексикон, он не содрогнулся, не поморщился, не отвернулся вежливо-

нравоучительно. Да и бесполезно: перевоспитывать Нику было все равно, что увещевать чикагского бутлегера времен Великой депрессии оставить свое ремесло и принять дзэн-буддизм. Потом? Что было потом? А потом была стеклянная бутылка джина «бифитер», пластиковая бутылка тоника «швепс» и два бумажных пакета дешевого испанского вина, название не суть важно, все равно он не помнил. У Ники сорвалось свидание – настроение гадкое, надо отвести душу, а не с кем, подружки сучки, у всех вечер устроен, одна она, если Лео не распоследняя сволочь, то не бросит старую любовь в беде (про старую любовь было явное преувеличение, и безразмерная брехня, но тогда он не стал уточнять – из джентльменских соображений). Пришлось припарковать Ящера, подняться в квартиру. Нет, не так. Сначала в магазин, затарились спиртным, потом в квартиру. Ника еще обошлась с ним порядочно, зная его финансы – само собой, разумеется, дама не платила ни за что. Она запросто могла опустить в ноль любой мужской бюджет, одномоментно, в широком жесте, ящик «Болинжера» помножить на ящик «Вдовы Клико», заносите! Но вчерашним вечером он был для нее не мужчина-кошелек, а мужчина-поплачь-в-мое-плечо, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Еды в Никиной квартире не оказалось. Может, и не шаром покати, но квартирные тараканы точно бы передохли от малокровия и дистрофии. В кухонном шкафчике нашлась только полупустая коробка «мюсли» с изюмом, они высыпали оставшееся содержимое в тарелку, будто бы семечки – вот и вся закуска. Как же он напился! Обед, предложенный Калерией, нипочем не смог бы сдержать винно-джинные потоки, да и был, если честно жидковат – Калерия сидела на вечной «безжировой» диете, впрочем, никак не сказывавшейся на ее кариатидно-скульптурных формах: поддерживать балконный выступ мраморного новорусского дворца ей можно было предложить с уверенностью и без опаски. В общем… в общем с Никой у них и без закуски пошло-поехало, по кривой дорожке… вплоть до бомбометного грохотания напольных часов-убийц. Середину попойки вспоминать ни к чему – скучно и привычно. Нажрался до голубых тополей, в первый раз что ли – где я? – или кто я? Хорошо хоть у Ники, у нее можно было свободно, без лишнего стеснения, свой человек, точнее… а что точнее? Это все равно, как проснуться в борделе, с одной лишь разницей – угрюмый вышибала-сутенер не попрет из-за того, что вышли время и деньги.

– Кофе будешь? – Ника опять ткнула его в бок, но теперь больше для смеха.

– А у тебя есть? – от кофе Леонтий бы сейчас не отказался. Во

рту у него давал себя знать мерзостно такой привкус, будто бы он ночь напролет хлебал воду из сортира, а зубной щетки при себе – откуда взять. Лучше кофе.

– Только это и есть. Если дашь бабок, сбегаю в «маркет», колбаски хочу, докторской, жуть как! И хлеба бородинского – помираю!

– Возьми в штанах. Или в куртке. Где-нибудь, короче, возьми. Я не помню, – думать о том, куда именно он сунул портмоне, Леонтий не мог физически. У него начинала надвое раскалываться голова, и без всякого убойного часового звона. – Только оденься! Слышишь! Я тебя вызволять не пойду!

Это была никакая не шутка. Леонтий знал, что говорил. Как знал и то, что с Ники станется сунуться на улицу в людное место в короткой шубке на совершенно голое тело. И притом в домашних туфельках, отороченных лебяжьим пухом, непременно на высоченной шпильке. Однажды ее уже забирали в отделение. За неподобающий вид в местах общественного пользования. Как раз Леонтий и вносил за нее штраф – на лапу две тысячи рэ. Больше тогда никто из приятелей и приятельниц не откликнулся на отчаянный зов «в западло» арестованной несчастной узницы райотделовского «обезьянника». Так что…

– Оденься, слышишь!

– Будь спок! – донеслось в ответ. Хлопнула входная дверь. Стало быть, Ника нашла кошелек. Уже неплохо. Стало быть, там остались некоторые деньги. Еще лучше.

Какая же он… свинья, слизняк, сволочь – все равно, на букву «с». Ведь был же! Был же дан себе самому зарок – полным ходом домой, провести вечер субботы в размышлениях, а день воскресенья в разведывательных походах. Так он даже Безобразову-Джедаю не позвонил, не отписал, не отэсэмэсил, и вообще никак не связался. Хорош порученец, Старший Куда Пошлют. Пока же судьба послала его к Нике, это как на три буквы, а он, Леонтий, ничуть не сопротивлялся. Ей, судьбе. Тряпка он и жалкий бесхребетный алкаш. Опять. Ну, вот же, опять. Только-только собрался вести праведную, полезную жизнь. Сила воли подвела, как всегда. Когда он не ожидал. Думал – питекантропы в пещерах, полотерные машины в укропной вони, вежливые пришелицы в шиншиллах поспособствуют и переделают, если не характер, то, по крайней мере, отношение к добровольно взятым обязанностям. Ага, щас! Могила тебя исправит, Леонтий! – потому как, горбат ты от рождения, тут уж если родился дрожащей, шаткой осиной, на корабельный сосновый лес не сгодишься, разве на твоем суку повесят какого-нибудь очередного Иуду. И не ври себе – Ника за шиворот тебя не

тащила – нет, не тащила: Леонтий коротко вздохнул. Глубоко не мог: свирепо трещало в голове, и препротивно пищало в груди. Соблазн все же был велик. Да ладно тебе! Тоже мне соблазн – нажраться вусмерть в компании… э-э-э… а вот про компанию… тут, да. Ника – это, можно сказать, яркий представитель целого класса – так обычно начинаются стандартные определения, данные распространенным понятиям. Класса «безбилетников», точнее «безбилетниц» – Леонтий придумал словечко сам, в повсеместный обиход оно не вошло, хотя он употреблял его частенько. Не вошло оттого, что требовало разъяснения: почему, безбилетниц, и в каком именно виде транспорта. А что не доходит прямо и сразу, в обыденном лексиконе не приживается, закон обращения искусственного неологизма в неоднородной толпе.

Да и не о транспорте речь. Тут без примера не обойтись. Взять хотя бы Нику. Как яркого представителя этих самых, «безбилетных», без разницы, какого пола. «М» и «Ж» оба встречаются, только с неодинаковой частотой, женщин пока еще, слава богу, значительно больше по количеству. Так вот, о «безбилетниках» – они были всегда, во все времена, эпохи и годы, на всех берегах, островах, континентах. Москва – отнюдь не исключение, наоборот, здесь «безбилетники» расцвели особенно пышным, угарно-копотным цветом, оно и не мудрено. Если уяснить, что такое и кто такой этот самый «безбилетник». Как вытекает из названия – человек, поставивший себе целью проехаться по жизни исключительно на халяву. Не стоит путать такую «особь» с представительницами прекрасного пола в трепетном и землю роющем поиске богатых перспективных женихов. Тут другое. Хотя спроси на голубом глазу «по честноку» Нику, чего ей надобно от собственных метаний в столице, ответит, не раздумывая – мужа-олигарха, лучше сразу миллиардера. И все в этом ответе от первого до последнего звука сплошная, неосознанная ложь. Потому – какая она, Ника, что она за существо такое, хотя бы поверхностно внешне и непредвзято внутренне? Крупная, среднестатистическая блондинка (Леонтий в охоте за ними – увидел и пропал, на целую неделю, может быть) – длинные крашенные-перекрашенные из мышиного русого в ядерно-платиновый цвет волосы, прямые, вытянутые, зверски, горячим парикмахерским «утюжком», будто последние жилы из донбасского шахтера. Глаза немного «лупые», ярко серые, всегда подмалеванные густо без жалости к себе и окружающим, с раннего утра и до следующего утра, позднего или как придется. Четвертый размер и шокирующее декольте – в булочную за хлебом или в ресторан премиум класса, неважно. Вдруг и по

дороге к мусорным бакам с помойным ведром в руке она встретит его, единственного сказочного кошелька, готового отдаться со всем содержимым снизошедшей случайно принцессе-«безбилетнице». Кстати, Ника встречала таких кошельков и не раз. Даже не два. Сто двадцать два, так вернее. И что? И ничего. Козлы и мудели – вот был ее ответ, – все до единого. Почему? Не совсем потому, что богатенькие редко плачут, и еще реже женятся на первых встречных. Поэтому, конечно, тоже. Хотя, разное случается. В Никином варианте – лишние усилия. Вот если бы… обычно повторяла она, как заведенную присказку …вот если бы! Как увидал бы, так сразу бы все и отдал, не «за так», а за так – за постель по случаю и за приятную компанию. А то ведь – добивайся, признавайся, потом угождай, потом «услужай», потом, кошмар! дети пойдут. Оно надо? Да нафига? Рестораны, клубы, бани, дым коромыслом и деньги «со смыслом», добытые разгульным легким промыслом – этого ничего не будет. Одна тягомотина останется.

Вот ее-то и не хотелось. Потому что все Ники подряд как М, так и Ж искали единственно – вы не поверите, чего! Идеального мира! Да, да, того самого, о котором в письме вела речь Сцилла. Безупречного, безбашенного, сплошного праздника, бездумного беспроблемного бытия в непрекращающейся круговерти развлечений – когда уже в понедельник начинается суббота и длится, длится, без начала и конца, пока смерть не разлучит – «безбилетника» и его невозможный идеальный мир. Так не бывает. Но очень хочется. Вот за это самое «хочется», чтоб было так, чтоб стало так – сражаются «ники» обоих полов, не имеющие определенного, земного возраста – им всегда семнадцать, и всегда у них нет головы, нет цели, нет средств, нет ничего, кроме губительной и глупой мечты. Все «безбилетники» по обстоятельствам кажутся то чрезмерно жестокими, то сентиментально и плаксиво глупыми – всегда подают нищим старушкам, вдруг и в прозрении своего возможного будущего, никогда не жалеют стоящих выше себя, хоть какое горе, хоть четвертая стадия рака, хоть СПИД в летальной фазе – в четком знании, что более сильные мира сего их не пожалеют тоже, и случись беда, евроцента ломанного не выжмешь, если потерян товарный внешний вид. Но вечный праздник должен продолжаться, «шоумастгоуон!» и «ники» ищут к этому средства, не очень разбираясь в их чистоплотной подоплеке, сгодится и вор в законе, и проворовавшийся депутат, и простой инкассатор, сбежавший с чужим опломбированным мешком. Лишь бы платили за мечту. Подумаешь! Такие как Леонтий определялись только в статус приятелей, но приятели те коверные – как размалеванные

клоуны, заполняющие тоскливые паузы в цирке, а жизнь «безбилетника» и есть в некотором виде безостановочное шапито.

Часы! Часы, завидное украшение любой пытошной на Лубянке, тоже были показательны. Куплены вместе с квартирой и оставлены на своем природном месте. Как и вся прочая нехитрая бывшая хозяйская мебелишка. Потому – «безбилетнику» и в заднюю извилину не придет идея обновления интерьера. Зачем? Торшер с диваном на себя ведь не наденешь. В люди с дизайнерской люстрой на голове не выйдешь. Обои и паркет в ночной клуб за компанию не возьмешь. Так какой прок? Впустую только разводить канитель и тратиться. Имеются какая ни на есть кроватишка, встроенный прежними владельцами платяной шкаф, допотопная плита на кухне и сносно действующие ванная с душем и унитазом. Чего ж еще? Кстати, квартиру-то Ника, можно сказать, «почти сама» купила, на родительские выстраданные денежки, и никогда этого не скрывала, не хвастала и не колола глаза подружек обманом – дескать, очередной любовник-визитер подарил. От папы с мамой, давно слезами умывшихся и рукой на единственное чадо махнувших – хоть не на улице, пускай будет свой угол, а там, чем только научный коммунизм не шутит! – дочь вдруг одумается, и задумается, о прибавочной стоимости жизни, и о глубинном содержании фразы «кто не работает, тот еще ладно, другому на шею сядет, а вот кто не копит, тот в старости корку ест!» – задумается, испугается, когда морщины станут бить в глаза, пулеметной очередью из зеркала, и тогда истаскавшееся дите пойдет, пошагает по праведному пути. А точка опоры вот она – двухкомнатная квартира, все сбережения от колбасного собственного цеха в воронежской губернии, кормилец-папаня впахивал с утра до ночи четверть века без двух лет, зато жилье на престижной «Кутузе» в цене не упадет, спасательный круг с корабля «Титаник», ремонтный док – айсберг «Вялый», пункт последней приписки – мыс Доброй Надежды, за лунным морем Вечных Бурь.

Ника вскоре вернулась с колбасой. Любительской. («Докторскую» всю жиды съели – так пошутила. Как многие южные потомки казачьих родов, евреев она презирала – сама не зная, почему). Принесла и хлебушка. Бородинского. И сдобных булочек – с маком. И … о, нет!.. о, нет! Еще сто раз – о, нет! Две упаковки «по четыре» пива марки «будвайзер». Леонтий даже не сделал усилия над волевым параличом – духовно собраться и скромно отказаться. Он лишь обреченно пожалел себя. С утра выпил, весь день свободен – едва ли на белом свете существует вторая такая же однозначно, без исключений, исполняющаяся мудрость. Ладно, сегодня воскресенье. А завтра понедельник, и

опять эфир на студии у Граммофона. Но, во-первых, Граммофон после трагедии черепного ранения, приключившейся с Леонтием, не только осуществил наяву обещанный сюрприз в виде двадцатипроцентной «черной» гонорарной прибавки, вдобавок к «приятностям» сам лично к страдальцу подобрел – срабатывал менталитет «не смей обидеть инвалида, если хочешь быть, как Бред Пит» (или иной какой истинный американец). А во-вторых и в главных – завтра у микрофона сядут один «бурчун» и один «бубнила», так что Леонтию ничегошеньки делать не придется, разве вставлять время от времени хохмочки для «разбавления» атмосферы.

Кто такие «бурчун» и «бубнила»? Эти понятия как раз не Леонтий выдумал. Были они Косте-Собакинского изобретения. Потому, как определить их мог скорее частый зритель и слушатель «умных» передач, а вовсе не их творец или выпускающий редактор. «Бурчун» в этой парочке считался существом менее вредоносным и более егозливым. Не для ведущего – тому, как раз оба «кадра», и первый, и второй, были сущим дед-морозовским подарком. Для слушателя – «бурчун» казался более выносимым. Ибо «бурчун» это такой род относительно мирного знатока, который ничего путного от себя не говорит, зато чужое поносит сплошь и рядом, но аккуратно. Чтоб не получить судебную повестку – обвинение в злоумышленной клевете, или – что проще и чаще, «фейсом об тейбл», если непосредственно обиженный уверен в своем физическом превосходстве. Поэтому «бурчун» ругает все помаленьку: общая культура деградирует, авторское кино загнивает, государство дает мало, требует взамен – а взамен ничего не требует, ему, государству, плевать, что самое обидное, чиновники – бюрократы, причем все поголовно, сплошные дураки на дорогах, и все дороги в дураках – тут непонятно, кто имеется в виду, те, кто ездит, или те, кто строит, или просто «ГИБДДэшники». Непонятно оттого, что никогда «бурчун» конкретно ни единой фамилии не называет, и не назовет, он-то не дурак, а говорит и ворчит обо всем так, в общем. Зло, красиво, порой удивительно метко, но! Без имен, граждане, без имен! Образно! Образно!

«Бубнила» совершенно иной коленкор, противоположный характер. Это – проклятие скорпиона, плешь чумной крысы, аватар мумии Брежнева. Неизвестно, что хуже и все одинаково плохо. «Бубнила» это…, это такой человек… тяжелый человек, в общем. Он не ругает, нет. Он не говорит, не вещает, не жжет глаголом – он изъясняется. Как испражняется. На людях. Но с достоинством. Как правило, он лектор высшей школы, или

научный сотрудник среднего ранга, но не ниже кандидата наук, все равно каких, или самый смак! непонятный заместитель непонятного директора непонятного института, занимающегося невесть чем – то ли сбором информации о частоте наследственных заболеваний среди арабских террористов, то ли историографией большевистского подпольного движения в Восточной Бурятии. Большую часть взрослой своей жизни он обременен как раз тем, что шатается по всевозможным эфирам – по его словам: не вылезает из телевизора, или из интернета, или из радиодинамика. Шатается безвозмездно, без разбора, без отказа. Куда только ни позовут. Хоть в «Спокойном ночи, малыши», хоть в «Криминальную хронику». С удовольствием «бубнила» бросается на любую амбразуру, закрывает собой любой вражеский дот – иначе, им удобно затыкать дыры, если нужно найти «гостя в студию» в последний момент. У добропорядочного и добросовестного редактора таких «бубнил» как правило, в загашнике целый список. А поскольку всякий добропорядочный и добросовестный редактор меняется со своим соседом из дружественной программы, то очень скоро такими «бубнилами» наполняются все возможные списки потенциальных интересных «людей на крайний случай». Правда, как раз именно в «бубнилах» ничегошеньки интересного нет. Иначе они бы ценили себя, и не шастали, где попало, угождая и лизоблюдствуя, лишь бы позвали, лишь бы не выпасть из обоймы, лишь бы… они уже не могут себя представить без «ящика», хотя никто никогда не запоминает их в лицо, хоть тысячу съемочных часов кочуй из передачи в передачу – а у них бывает и по два эфира в день, чем не может похвалиться иная «горячая» звезда, – и никто в конечном итоге не в состоянии сказать: о чем же битый час толковал зрителю и слушателю этот самоуверенный, безостановочный человек? Потому что – ни о чем. Зато хорошо поставленным голосом, раскатисто охватывающим невидимую аудиторию, зато – обстоятельно и без тени сомнения и вообще какой-либо эмоции, как будто читает нескончаемую диспетчерскую метеосводку авиапилотам, чтобы те не слишком отвлекались на бубнящий в стороне голос. Их смотрят и слушают в основном подневольные родственники и знакомые, и вовсе не затем, чтобы постичь благодаря ближнему своему истину в последней инстанции, а для бытийно-сакраментальных замечаний вроде: «опять на Зайцеве новый галстук, надо же, в горошек! Купил в Стокгольме, небось, сучий сын», «Ляля, Ляля! Только посмотри, наш Гарик! Как он похудел. Надо позвонить Ниночке и спросить, что за диета такая». Но «бубнилы» не падают духом, они надеются. На славу, на признание, на Нобелевскую премию мира, наконец! (по физике

или химии кто ж им даст, чтобы ее получить, работать надо, а как раз делать это «бубниле» абсолютно некогда). Надежда не умирает в них, никогда, поэтому они ходят и ходят, и будут таково поступать вечно, пока не иссякнут мировые радиоволны и не пресечется стремительный поток интернета. Иногда их действительно узнают – абсолютно случайно, примелькались, бывает, кто-то и запомнил, если фамилия очень проста, или напротив, чрезвычайно необычна, как отпечаток коровьего копыта на городском свежем асфальте. Ни у кого не отложится в памяти, к примеру, профессор Старолисовский, но доцент Чудило имеет весьма вероятные шансы на выживание. И тут, опытный человек, не зевай! Можно выжулить поход в питейное заведение, «на шару» от расчувствовавшегося узнанного, или даже приглашение на международный конгресс – ах, у нас чрезвычайно интересно, обязательно приезжайте послушать, у меня там большой доклад, часика на четыре: о погонных метрах, традиционно отпущенных на стандартное курганное захоронение у равнинных тюркских племен доисторической эры. Ах, вам не позволяют средства, не то бы вы с удовольствием? Ничего, я внесу вас в список, за казенный счет, кого-нибудь маловажного в шею, ничего, а вам полезно, будете проходить по документам как мой секретарь. Где конгресс? А в Копенгагене, в нем самом, да, первоначально планировали в Париже, но достался Копенгаген, это тоже неплохо, согласны? Вот и чудненько!.. И вносит, и приглашает, только изображай свободные уши, и вполне вероятно посмотреть этот самый Копенгаген «за просто так».

Только с чего он, Леонтий, вдруг, развоевался? И «бурчун» ему плох. И «бубнила» скучен. Нику вот – по кочкам пронес. А бревнышко-то в своем глазу, по размеру достойное первого «ленинского» субботника? От «безбилетных» прогульщиков по жизни далеко ли ушел? Тянет пивко с утра в чужой постели. Завтра пойдет трепаться в эфире о чем? О том, куда повезут разговор «бурчун-бубнилы», и послезавтра – тоже займется какой-нибудь безобидной фигней. Разве, нет? Будь честен наедине с собой, Леонтий! Какая твоя цель? Куда бредешь ты? Чего жаждешь более всего? Ну, кроме благополучия Леночки, здоровья близким своим, и по возможности помереть относительно безболезненно в своей собственной кровати. У тебя ведь, мил человек, постоянного места работы – и то, отродясь не было. В трудовой книжке одна единственная, старинная запись – библиотечный консультант Фонда Поддержки Краеведения. Остальная деятельность – по договору. Временная. Пришел – ушел, разонравился – под зад ногой, потер синяк и – походкой «вразвалочку» – наниматься на похожее «отхожее» место.

Свободный художничек, бля! Гляди, Леонтий, так ничем все и кончится – глотнул пива и приуныл – не «безбилетник» ты, конечно, но типус еще тот. Из тех, кто вечно ездит в трамвае на «колбасе», висит на подножке – в вагон без платы тебе стыдно, а ехать надо, что делать, вот вопрос?! Пальмира, да. И Филон тоже, хотя бы и Медиотирренский. Может, оба они твое спасение и есть? А ты? Бесхребетник, молекула, стволовая клетка вселенского раздолбайства! Встал и пошел! Восвояси, быстро!

Леонтий открыл следующую бутылку. Зубами открыл – со злости отгрыз станиолевую крышечку, которую проще было легким движением отвернуть.

– Колбаску-то ешь! Напьешься опять – а у меня в четыре стрелка, – Ника сунула ему бутерброд, неловкий, слепленный наспех, будто разломанный, без ножа, так ведь не в ресторане, еда она и есть еда, это главное – в пищу употреблять можно. Только, выходит – Ника выпроваживала его теперь вон. Не нужен более, ну и катись. Обидно. Уйти по своей воле – это одно. А когда в шею…У нее стрелка. А у тебя белка. Как до дома доберешься? Четыре бутылки пива, это после вчерашних дрожжей. Допустим, руль он из рук не выпустит, глаз алмаз, даже залитой, Ящер не пострадает, а вот права? Если нарвешься на патруль. В трубочку, ни ой-ой-ой! Там на тринадцатую зарплату целому взводу! Ну и павлиний пух с ними! Повезет, так повезет. А не повезет, значит… значит, Пальмира заплатит штраф вместо него. Предлагала ведь финансовую помощь. У Леонтия уже сил нет воевать с самим собой: что такое «хорошо», а что вопиющая гадость. Если ты говно, то в пять минут золотым слитком не станешь, не надейся. Постепенно, потихоньку. Глядишь, впереди обозначится цель. Брешешь! Снова, здорово! Не обозначится – ждешь ты, Леонтий, что тебе ее поднесут на блюдечке с потусторонней каемочкой, Пальмира поднесет, а может и «чухонец» Филон. Как в анекдоте, чтобы жить иначе, надо либо самому постараться, либо дождаться пришествия инопланетян – второе вероятнее. Вот и у Леонтия так вышло. Силы небесные понадобились, и то – на сегодняшний день, мало помогло. Но еще есть надежда. Он допил пиво. Все. Стал собираться.

– Ладно. Пока-пока. Удачи тебе на поприще, – он поцеловал Нику в крашеные губы. Было неприятно, а вот ночью – все равно. Леонтий даже если нализывался «в горизонт», помнил себя и окружающих, хотя бы в поворотных, так сказать, ключевых моментах. Ночью помада показалась ему – а никак не показалась! Есть и есть. Теперь же – как-то… как-то несовместимо с пивной пеной. – Не хворай!

– Иди ты! К маме! – беззаботно откликнулась Ника, набила

рот маковой булкой: – Фы дфефь не закфывай, пуфть фыфетфифаефся!

И дух твой вон! Что же, все правильно. Все верно. Все естественно. Случайный гость. Не важный. Третий сорт, почти что, одноразового употребления.

Домой Леонтий попал только через час. Крался, точнее, полз на черепашьей скорости, больше по проулкам, опасливо пересекая людные перекрестки – день воскресный, но машин было много, Москва, столица Родины, движение – зашибись, однако, в данных обстоятельствах это было «в кассу». Дополз. Пронесло. Без последствий для себя и Ящера. И для кармана шиншилловой Пальмиры тоже. Теперь работа, работа, ничего, кроме работы. На пользу и во благо! Поднялся на этаж, запустил чуть дрожавшую руку (не от пьянки, от нервов, все же путь держал в некотором смысле по минному полю) – запустил и пощупал в распределительном щитке. Пусто. Стало быть, кто-то вперся в его гарсоньерку без приглашения. Нормально. Обыденно. И непонятно – кстати или некстати? Нападений Леонтий более не опасался, входную дверь стулом не подпирал, к чему? Страхи его давно разошлись, успокоились, мучила ныне лишь одинокая совесть. Он повернул скрипом отозвавшуюся латунную ручку – прислушался с порога.

– …и только я на кухню, он к ней подсел, пасюк бесстыжий! К моей-то фее! Сговорились за товарищеской спиной. Еще коллега называется.

– Да! Да! Я как тебя понимаю!

– Мучение одно с ними, братец ты мой! Други мои и подруги, хуже врагов. Лео, он не такой.

– Нет, Леонтий, не такой. Хотя человек он хлипкий.

– Зато не подлый…

– Это – нет. Это, да!

Леонтию сразу неудобно стало подслушивать. Что же он, о себе? Некрасиво. Надо заявить присутствие. Он закашлялся в прихожей. Голоса стихли. Леонтий прошел в комнату.

На драгоценном кожаном диване, прямо с ногами, сидели рядком воркующие, словно парочка весенних, линялых синичек, Петка-Мученик и Ванька Коземаслов. На журнальном столике дымились две полные чаем чашки. Лежала початая плитка шоколада. Рядом в ожидании – неоткрытая, нетронутая, призывная бутылка «Абсолюта» с льдяно-синюшной, прозрачной этикеткой. Леонтий не выдержал, застонал вслух. Безнадежно.

L’Estate

…Это произошло незадолго до августовского переворота. Точнее, прямо перед ним и произошло. Конечно, совпадение. Но если откуда-нибудь сверху посмотреть, если вообще такой «верх» есть, то это было совпадение, которое всякому другому такому же рознь. Будто нарочно какой-то неизвестный всевышний законченный гад призрел на нас с матерью, подумал-подумал, и решил – довольно. Ей – довольно на всю сегодняшнюю и особенно будущую полную хрень смотреть. Над ней смилостивился, а мне велел погодить, мала еще, не заслужила. Нюхни-ка крохотным своим носишкой, вдохни-ка в полную грудь, которая не отросла пока, какая она – эта «просто такая жизнь». А лето тогда выдалось ничего. Приличное лето. Веселое. Но поначалу бестолковое.

В пионерлагерь я попала только на одну смену и то, не до конца, в середине июня вернулась домой – не по своей вине, и не из-за матери. Понятно, она только рада была, если бы на все лето меня вышло сплавить, не потому, что я так уж ей мешала, давно самостоятельный человек, но нечего ребенку делать в городе, перегорелом от жары, будто забытый пирог в духовке, однако так сложилось. Невероятно и закономерно одновременно. Случился тиф. Самый настоящий, окопный, сыпной, страшный, как оказалось – от вшей, в третьем отряде, а потом бедствие перекинулось на подшефный ему восьмой, там совсем малышня. Примчалась санэпидемстанция, за ней – шум, ор, «скорые помощи», следователь прокуратуры и два фотокорреспондента. Один малек все же помер, потому замять не удалось. Лагерь закрыли, нас, кто не подцепил заразу, – в шею, «по «до мам». Газеты галдели – беспрецедентно! Вопиюще! Злоумышленно! До центральных новостей дошло. А моя мать сказала – чего хотели, когда кругом полный бардак. Еще пару лет назад немыслимая ситуация, а завтра, завтра, вот помяните мое слово – везде так будет! Когда многое сходит с рук, когда никто толком не знает, вправо ему или влево, когда по митингам ходят в поддержку Гдлянов-Ивановых, нет, чтоб хоть плохонькую работу исполнять, когда «демократические союзы» вместо того, чтобы кооперировать людей, науськивают их друг на дружку, когда передовая интеллигенция лезет в залупу, а освобожденные ответственные парторги – в кусты, вот и выходит боком. Однако развал, он начинается не в высоких кабинетах, и не в бунтарских умах даже, а когда вдруг одному человеку становится наплевать на всех прочих – и так оно сплошь и рядом, безнаказанно. Тогда можно не заметить завшивевшего ребенка, потому что медсестра,

которой положено по штату, ср…ть хотела на свои обязанности, за котом наплаканную зарплату херачьте сами! И директор пионерлагеря тоже – его думка, как скомуниздить лишний кусок для себя, а детишки – детишки все равно не его. Когда происходит такое, когда только ищут кругом виноватых: кто спер кусок от общей колбасы, когда обиженные и уголовники тискают друг дружку в объятьях, родственные души, когда не пойман не вор, и ловить-то больше некому, все в воры – спят и видят, тогда надо казать кулак. Сверху или на среднем уровне советской власти, но надо. Иначе настанет пир во время чумы, многие глубокие могилы откроются, и примут новых покойников, которым совсем еще не вышел срок на земле. Будут бушевать хаос и тьма, и что из них произойдет на свет – бабушка надвое сказала, скорее, ничего хорошего, «хабалкина лавка», чем прекрасный новый мир. Но мать не верила, что мы, мы все! – не удержимся на лезвии бритвы, что не пройдем, потому попросту забрала меня домой, в следующем году поедешь обязательно, а пока научись занимать себя сама в свободное время, ты здоровенная девка уже, двенадцать лет, в поле батрачить пора. Блин.

Середину лета я не проскучала. Помните? Ирочка и Темка. Мои два новых друга оказались ничего себе. Оба остались в городе, по своим причинам, и оба чуть беспризорными. Не так, как я, конечно. Но достаточно, чтобы в дневное время болтаться, где попало, а в ночное – с разрешения родителей оставаться друг у дружки.

Ирочка, она была единственной дочкой некоей Маргариты Платоновны, рядовой учительницы английского языка из нашей же спецшколы. Довольно странной женщины, я с ней не сталкивалась до того ни разу, у нас в классе и в отдельной группе она не преподавала, но даже издалека Маргарита Платоновна производила смутное впечатление – в смысле, непонятно было, что она такое, или, вернее, кто? Белая ворона или розовый фламинго, городская юродивая или провинциальная барыня. Маргарита Платоновна ходила по нашей школе зимой в расписном шелковом платке поверх – надо же! – громадного рыжего парика, уложенного на манер «бабеты» но с косой челкой. И на уроках так ходила и на переменках. А когда наступала летняя жара, парик закономерно пропадал, оставался только расписной платок, не один и тот же, платков у нее хватало, и все импортные, «мейд ин», по советским временам – сами знаете, недешевое удовольствие. Почему диковинная «англичанка» стеснялась собственных волос, я так и не узнала, не поняла, хотя, подружившись с Ирочкой, видела странную учительницу без

парика – вовсе не было у нее никакого облысения, как утверждала расхожая сплетня, и лишая тоже не было – довольно густая каштановая грива, стриженная, чуть ниже ушей, почти даже не седая, а хоть бы и седая, покрасить хной, и всех делов. Но Маргарита Платоновна носила парик и платок – как мимоходом обмолвилась мне однажды Ирочка: мама не любит говорить на эту тему, ходит в своем образе, и все. Зато я узнала от новой подруги, почему загадочная «англичанка» вообще такая загадочная, вдобавок высокомерная, нелюдимая, в коллективе ее должны были бы давно «зачморить», но никто не трогал, словно вокруг нее протянулась колючая проволока под смертельным напряжением. Ирочка рассказала, без всякого секрета, мне и Темке, словно о содержании передачи «В гостях у сказки» – у них раньше был папа. Хороший папа, капитан КГБ, молодой и способный, о роде его занятий они ничего не знали, только в один обычный день он исчез и надолго, Маргарите Платоновне сказали – специальная командировка. А потом он вернулся, но не домой, в тяжелом состоянии в психиатрическую больницу – а еще потом-потом его списали с инвалидностью вчистую, дали хорошую пенсию, и однокомнатную квартиру тоже дали, с Маргаритой Платоновной они развелись, так рекомендовали наверху, старая жилплощадь осталась жене и дочке, видно, вместе им жить было небезопасно. С той поры из Маргариты Платоновны лишнего слова нельзя было вытянуть, однако в школе ей много чего позволялось, большая скидка на коллективные заботы, наверное, считали – для процветания Родины ее семья и так сделала достаточно. Но с Ирочкой не водился почти никто. Поэтому ее перевели в наш параллельный класс – когда девочку открыто стали третировать ее соученики-«торгашата». Я сразу взяла ее под свою защиту. Не потому, что я очень уж правильная со всех сторон и мой идеальный мир требовал внесения поправки. А только никогда раньше – вообще никогда не выпадало мне защищать такое слабое и одинокое существо: чернявая, как цыганочка, худющая, точно кузнечик, нескладно-костлявая, личико болезненное, одутловатое: моя мать однажды сказала – «как дулька», имея в виду сложенную фигу. В общем, безголосый заморыш, жупел для насмешек, тихая овечка. Я же всегда стояла сама за себя, и здорово стояла, но чтоб за кого другого, нет, до той поры не приходилось, не нуждался во мне никто, а тут – повезло.

Только не подумайте, будто я вслепую жила и дружила, будто Ирочка тоже представляла собой придуманный мной идеал – робкое преданное одной мне существо, кругом благодарное, хвостик от юбки. Так, да не так. Где ей было выгодно – там,

конечно. Но чаще Ирочка, откровенно пользуясь мной, смотрела тоже чуть-чуть, но свысока, будто благородная барышня на горничную, очень похоже в чем-то на Маргариту Платоновну, яблоко от яблони, а глиста от задницы недалеко держатся, уж простите за грубость. Наверное, это была особая у нее, защитная реакция, Ирочке ведь доставалось, за то, что не такая, как многие. Вообще-то и я была, по семейным обстоятельствам, не как большинство прочих, вроде тут мы были похожи. Но если я давала в морду, то она, я думаю, гордо про себя говорила: скоты, быдло, не стоит обращать внимание, меня не любят, потому что я выше их всех. Вот и получалось, будто мы – дворяночка и мещанка, я к ней всей душой, а мне от нее гривенник на чай. Но я все равно ее любила и была довольна, что у меня появилась подружка. Почему? Вы решили, я мазохистка недоделанная, или у меня самооценка была в детстве, что называется «ниже плинтуса»? Не угадали. Здесь другое. Это – как со щенком, которого подобрал на дороге. Может, он вам всю квартиру описает, может, всю обувь сгрызет, может, от его лая вы с ума съедете, может, он кусучий и нрав у него прескверный, да еще вырастет тот щенок, превратится в громадного телятю, никакого мяса не хватит на прокорм. Но все равно, вы его подобрали, и вы его полюбили, потому что сами так хотели и сами выбрали, и вообще уже подло идти на попятный. Короче, мы в ответе, бла-бла-бла, за тех, кого… ля-ля-ля, приручили, приманили, прикормили, и вообще пригрели на своей груди, хотя бы и змеюку подколодную. А знаете, почему? Помните, летчик этот, вы мне как-то о его гибели исследование прислали? Сент-Экзюпери. Вот вы не думайте про него, будто он кругом прав. Я в то время его читала, и уже тогда мне казалось – обман, нечисто на руку. Он, наверное, так себе навоображал – всякий человек в ответе за приручeнного слабого, потому как, это благородно, гуманно, и вообще улучшает моральный климат мира во всем мире. Иначе говоря – блаженная все это чушь. В реальности так не бывает, хочется, но не бывает, и даже мой идеальный мир никакого подобного самопожертвования не требовал. Щенка подбирают и маются с ним потом не из милосердия, там, сострадания и всяческой иной словоблудной хрени. А только как иначе сильному узнать, что он силен, если не по отношению к слабому? Ответ – никак. Эти два понятия суть относительные. Нельзя по щучьему веленью быть добрым и справедливым на пустом месте. Добрый должен, я извиняюсь, говна наестся с пол-ушата, тогда точно сможет сказать про себя, ага, а ведь я добр! И справедливый пока не устанет получать в рыло за свою правоту, тоже не возгордится, что он самый правильный человек из всех его

окружающих подонков. А вообще многие от неподходящих щенков избавляются, и не потому, что люди они плохие, но не тянут, попробовали и поняли, приручить приручили, а дальше – гуй! Не выдюжить. Так что – щенка за шиворот и за порог. Или подохнет там, или подберет другой доброхот, из тех, кто себя на щедроту или силу проверить захочет. Так что испытание на «сент-экзюпери» не все подряд проходят. Нормально это. Не то бы, мы давно в чистом дурдоме жили, от собственного подряд ко всем сострадания и расплодившихся кругом собак.

А вот Темка, второй мой новый дружок, он был совсем другой коленкор. Его мама тоже работала в нашей школе, только… Внимание! Ап! Посудомойкой в столовой. Как вам? Такой поворот. Собирала остатки, тарелки, ведь у нас не буфет был, мы – школа для бла-ародных, нам на длинные классные столы подавали, мы ели, потом уходили, а служащие столовой – такие, как мама Темки, – за нами потом убирали. Не по-советски? Зато вполне по обкомовским нормам, для будущих подрастающих преемничков самая школа жизни. Как правильно обращаться с халдеями из гособслуги, и в чем преимущества народной власти для ее уполномоченных представителей. Темку в нашу блатную школу, конечно, не из-за матери взяли, не тот уровень. Хотя отчасти благодаря ей – оттого, что случилась поблизости, на виду, сынишка ее понадобился «для разбавления пролетариатом». Нехорошо, когда в ученической среде напрочь отсутствуют представители широкой народной массы, не по-советски это, партийные органы могут быть недовольны. Так что, Темка и его мама-судомойка очень вовремя оказались под рукой, в нужном месте в нужное время, вроде бы «из простых», а вроде бы свои. Но все же «из простых» – для нашей школы это было позорное клеймо. Потому с Темкой тоже почти никто не дружил – сам он был на год старше нас с Ирочкой, но очень маленького роста, хотя не тощий и не щуплый, сбитый такой мужичок, и глаза татарские, раскосые, мудрые. И отца у него тоже не было. Даже в помине. Так что – формально мы все трое получались безотцовщина. Однако Темку не обижали, его ровесники из старших надо мной классов, считали – шпану вообще опасно задевать, сохраняли безопасное расстояние. Но он был никакая не шпана. Вместе с Ирочкой учился в музыкальной школе – это она нас познакомила. А Темка играл здорово – числился по классу рояля, но уважал только электрогитары. Вот вы сейчас подумали… подумали, подумали, я знаю. Откуда у сына посудомойки, да еще одинокой, лишние деньги на музыкальную школу? У нее зарплата рублей семьдесят тогда была, даже если вкалывать на двух работах или в две смены, ниже прожиточного

минимума, какая там музыка? Спортивная секция при ДОСААФе еще куда ни шло. Блин.

Ладно, открою тайну. По нынешним временам это не тайна никакая вовсе. Истина сверкала простотой, обхохочешься. Не знаю, застали вы по возрасту это явление, в то мое время как раз оно расцвело махровым цветом, готовясь, на гумусе убийственного дефицита, принести свой ядовитый плод в будущий общий котел крокодильего беспредела. Короче, Темка был «советский» фарцовщик. Да-да! Мелкий, конечно. Сигаретами торговал импортными возле гостиницы «Интурист» и гондонами, тоже «мейд ин», а что? Бегал он очень даже проворно, от ментов. Все халдеи его в лицо знали, чуть кто спрашивал – «Мальборо» или там «Кэмел», или «сам знаешь что», отправляли прямиком: видишь, малец возле служебного подъезда трется, у него спроси. И спрашивали, и Темка им впаривал, различая всякого зверя по одежке, кому за пятнашку, а кому за четвертной. Швейцары и прочие смотрители порядка с него мзду не брали, ни процент, ни «гостевые», почему? Хозяин Темки и так им платил. Не только за Темку, разумеется. За девочек, за спиртное из-под полы, за карточный «развод», Темка на фоне этого бизнеса был мелочью пузатой, но зато – «козырная шестерка», а это много значило. Потому что, хозяин его был Армен Серый – говорят, так прозвали из-за присказки, с сильным кавказским акцентом, нарочно, Армен повторял, бывало: я чэловек сэрый, ваших ынстытутов нэ знаю. Когда так говорил, кто-то или умирал не своей смертью, или садился в тюрьму, или просто шел по миру сиротой. Авторитетный дядька и мразь распоследняя. Темка шестерил на него, но как-то с ухмылкой, без пиетета, дескать, служу самому! Не-а, Темка был парень умный, хоть и в тринадцать лет, быстро выучился, навроде меня, как жить самостоятельно и главное, в его случае, – как в одиночку выживать. Музыку он любил, не попсу дешевую, или даже не ту, что подороже. Он Гершвина любил. Еще Стравинского. Разбирался. А как же! Из современных нам – «тащился» от Стинга, от Гэрри Мура, на электрогитару старенькую накопил, сразу и купил, с рук, конечно, привел в порядок. Мечтал, вот через год стукнет ему четырнадцать, он сможет работать по закону уже, не полный рабочий день, но ему и не надо. Он пригрел себе место в ресторане «Кубаночка», заведение так себе было, сивушное, но для стартовой позиции подходящее – надо же где-то начинать! Обещали знакомые ему ребята из ВИА «Толькоквас» – их была точка – взять к себе в «лабухи», вторым подменным солистом, играл он хорошо, забойно, от души, и голос у него был шансонный, хрипловатый, низкий, такому «ломка» не страшна, а женщинам особенно

нравится, значит, заказов от клиентов будет много, для общего «оркестрового» кошелька это как раз и нужно. Так что – в музыкальную школу он сам ходил и сам за нее же платил, семнадцать рублей в месяц, между прочим, не хрен собачий.

А веселый был! Знаете, есть такие люди. Очень, очень редкие. Которые даже в страшных для них вещах видят смешное, не потому что придурки, наоборот, чтоб с ума не сойти и другим рядом с собой не дать. Темка любую ситуацию мог так изобразить, так перевернуть с ног на голову, что держись, не то из трусов выскочишь. Театр Эстрады и Советский Цирк. Трахаться надо Хазанову, чтоб похожее в лицах представлять! А Темка, он сходу выдавал. Его однажды доберман покусал, здоровенный, что твоя собака Баскервилей, уколы, конечно, пришлось делать, а Темка для нас вспоминал – сплошная ржачка вышла, если по его рассказу: товар весь продал, уже домой засобирался, ну и отошел он под куст, тихо-мирно ширинку расстегнул, дело темным вечером было, не увидел, как тот пес стервозный подкрался, цапнул его за зад, молча, страшно, одним словом, собака! Укус на полжопы, джинсы в клочья, кровища ручьем, блин! Вроде, чего ж тут веселого, дело-то дрянь, но с Темкой – впрямь ухохочешься, глядя, что он за дурака валял. И как хозяин псины в истерике бился, скакал вокруг, что твой обкурившийся трубкой мира индеец, все поводком тряс, будто вешаться собрался. И как обиженно выл в унисон, прижавшись подлым своим брюхом к земле, доберман, которому как раз поводком по горбу попало – ах ты харя! ну на секунду отвернуться нельзя! И как прохожая жирная тетка кричала – покусали ребенка! – тормошила Темку: твоя мама где? думала, он маленький еще, печенье ему совала, дура, – а он ее послал как раз по матери, только ментов на бабий крик не хватало! И как молоденькая врачиха в травме впала в культурный шок – сходил, говорит, по малой нужде, а с «переляку» вышло, что по большой, штаны-то он не поменял. Но он и вправду испугался, только страх свой прогнал, смог прогнать, и с другими также, скажет чего, все за животики держатся, и ужас, черный, давящий, отступает куда-то. Вот разве со мной у Темки не получилось, он не старался даже. Понимал, наверное, что у всякого веселья на земле есть предел, где не страх уже бал правит, а настоящее человеческое горе.

Середина дня тогда была. Обычного дня, рабочего. Рыбный постный четверг. Я как сейчас помню, и всегда помнить буду. Стояла чумовая жара, градусов сорок, наверное, от пылищи дышать невозможно было. Зачем, куда она пошла тогда? Замдиректора огромного института – вот за каким хреном, простите, надо было ей самой по этакому аравийскому,

верблюдному пеклу!??? – я, понятно, тогда кричала, всем сочувствующим в лицо, по злобе, с отчаяния, от неизбежной безысходности. Пошла-то она по делу. Институт ее стоял на центральной улице, что твой чикагский небоскреб, стеклянное чудовище и местная монструозная достопримечательность, а напротив общественная столовая имени революционного деятеля Шаумяна, или кого-то еще того же рода, не важно. Короче, в той столовой надо было организовать дневное питание для рабочей делегации из Южной Кореи, то ли мы им проект торговали, то ли они нам собирались впарить свои станки и приборы, но накормить полагалось по высшему разряду. Мать и вышла проследить, свой глазок смотрок, времена крутые, нефть в цене гробанулась – дешевле минеральной воды «Нарзан», взаимовыгодное сотрудничество никак нельзя было упускать. Не одна она, конечно, вышла, с ней еще секретарша Ланочка, и представитель партийно-идеологической стороны, дядька какой-то, я не помню.

Ее даже не на дороге убило. Нет. И не местный, и не таксист какой-нибудь, понаехало к нам в город тогда, из Нагорного Карабаха, будто весь он в полном составе на приморскую равнину с ихних снежных хребтов переселился. Только тех беженцев никто не жалел, наоборот, местные не чаяли уж как избавиться, наши южные тетки плевались вслед – чтоб вам всем передохнуть, окаянные, чего приперлись. Потому что выгнанные карабахцы были именно что «чурки», иного слова не подберешь, наглые, денежные, беспредельные, наверное, все честные и порядочные армяне и азербайджанцы, которых в этот убойный блудняк втравили «взападло», остались свой родной дом защищать, а шваль всякая к нам переехала. Я не против беженцев, не подумайте, я давно всякую беду научилась понимать. Но раз попросился в чужую Тулу, пустили как человека, то засунь свой самовар себе в …, именно туда, и сиди тихо, уважай принявших тебя людей, на работу иди, где с девяти до шести, а не шныряй по рынку с «волыной». Машины у них само собой, появились тут же, естественно «Волги», тяжелые огромные сухопутные катера-убийцы. Потому – пришлые ездить на них по городу ни фига не умели, рулили, как придется, скорость сто, магнитола орет в открытые окна, сигарета в зубах, печатка золотая на волосатой лапе, так они ездили. Вот один, сука, падла, тварь и пидор распоследний! Доездился в тот день. Что мохнатую его ср…ку в аду теперь на вертеле приходуют, моими молитвами, то мне утешение небольшое. Летел он через собственную крышу, горный шизанутый орел – перед тем врезался со всей е… дури боком в светофор, а затем через чугунное ограждение. На тротуар.

Ланочка рассказывала, после похорон, когда ее трясти хоть немного перестало, бедняжку, – моя мать, она ведь оттолкнула девчонку в последний момент, а сама уже не успела отбежать, ее накрыло, в мокрое место, дядька партийный тоже, с переломами обеих ног, все равно дешево отделался. Только для нашей маленькой двухместной семьи настал полный Конец Света, или иначе Апокалипсис, прямо библейский, такой же безбожный и безжалостный. Ну, что бога нет, я и сама давно догадывалась, мне доказательство было ни к чему. Но мой идеальный мир тогда в первый раз не устоял, дал трещину. И не трещину даже, разошлась, можно сказать, твердыня земная по швам, с треском. В открывшийся разлом ухнуло в тот «расстрельный» день главное – моя вера в свои силы и в конечную победную справедливость их употребления. Потому – борьба за светлое будущее хороша то тех пор и границ, пока идет на крошечном пятачке, где всего какие-нибудь галактические секунды действуют придуманные тобой правила, и всегда борьба эта заканчивается бессмыслицей хаоса, который вот так, от балды, что называется, налетает по своей загадочной воле и сметает все тобой устроенное и отвоеванное в тартарары. Не то, чтобы не нужно стало вдруг воевать за себя или за другого, лишним для меня сделалось – ожидать хоть какого-то толка или оправданного жертвой результата от этой войны. Надежда – хорошее и светлое слово, но с чего кто взял, будто подразумеваемый под ней счастливый итог вообще осуществим? Тут хоть тресни, но то, что тебя сожрет и сломает твою жизнь, приходит внезапно неведомо откуда, и уходит туда же, чтобы непременно вернуться вновь.

Все же довольно большая часть моего идеального мироздания устояла, даже в тот день. Почему? Вы не поверите, опять из-за матери, благодаря ей. Она оттолкнула Ланочку, свою секретаршу, самую обыкновенную девчонку, только и умевшую, что стучать на машинке – о компьютерах в начальственных приемных тогда слыхом не слыхивали, – еще перекладывать бумаги, налево входящие, направо исходящие, главное не перепутать. Ну, кофе, там, носила, чай, или воду минеральную. Мать ее гоняла, говорила, бестолочь, учиться надо, а куда тебе учиться, если ты толком такую простую работу не исполняешь. В воспитательных целях ругалась, или за дело, я не знаю, но только она оттолкнула Ланочку. Ее жизнь-то она спасла. А мою надолго остановила. Я думала, чем это чужая девчонка, хлипкая секретарша, каких на пятак ведро, лучше меня? Это – моя мама, а я – ее дочка! Почему? Ну, почему она подумала о ней, а не обо мне. Перед самой своей смертью подумала. О ней. Не обо мне. Вот потому-то идеал мой и не осыпался до конца. На середине устоял. Что мать оттолкнула

свою никчемную, криворукую, бестолковую секретаршу. Не думала мать о ней больше, чем обо мне, конечно, нет. Именно, что не думала. Она совершила действие, само собой для нее разумеющееся, не допускающее никаких размышлений «за» или «против», там не существовало для нее выбора – отодвинуть от беды крайнего и стать крайней самой, или позволить животному инстинкту дать себе уцелеть. Это был единственно возможный поступок, для матери – единственно возможный, ничего в нем не присутствовало геройского, как потом болтали на похоронах и поминках, мать это слово терпеть не могла: в силах что-то делать, так делай! иначе, не человек ты, а недоразумение, а если не в силах – никакое геройство тебе не поможет, так что смирись и будь тем, что есть, хоть какое достоинство. С одной стороны, она меня бросила, с другой – я долго не знала, с чем мою катастрофу сравнить, чтобы никак не унизить идеал. Все было неудачно. Почему-то вспомнила Ивана Сусанина. У него, может, семеро по лавкам и больная жена оставались пропадать без кормильца, чего б ему не взять грОши от поляков? А он не взял, потому что – жизнь за царя, чтоб не ему одному счастье – подкустовное, грошовое, но всем русским людям на всей Руси, пусть даже не вспомнит и не узнает никто, как он в болоте оккупантов потопил. Так вот, за царя, может, оно легче. А смог бы тот Сусанин за девчонку, за секретаршу-бестолковку, за ни на что не нужное ему существо? Вопрос. Вот мать смогла. Ее не стало, а мой идеальный мир, перекореженный, как Дрезден после англо-американской бомбежки, все же остался стоять. Вдруг бы и вышло еще как-то отстроить заново?

Худшее ждало меня, что разумеется, впереди. Нет, в детдом меня не отдали. Этого не произошло бы в любом случае. Дядя Паша, порядочный смешной человечек, нипочем бы меня не бросил. Или я его – тут ситуация спорная. Но вдвоем мы бы запросто выжили, ничего страшного, я была абсолютно самостоятельная и на зависть практичная, он – просто взрослый, то есть дееспособный, с правами и обязанностями, я бы ему говорила, что нужно делать, а он бы исполнял, невелика хитрость. Но тут нагрянула, что называется, «с хабарями» родня. Жадная, глазастая, мещански-хапужливая, самое дно, какие и Гитлеру хлеб-соль поднесут, случись от того выгода. Мать их не приваживала, сама изредка навещала, но к себе никогда не звала, да и побаивались ее. Хотя – это были мои дед с бабкой и материна младшая сестра с мужем (который семейная гордость, ассенизатор, деньгу зашибает, ну и водяру тоже крепко). Вторая сестра не давала о себе вообще знать, вышла замуж за барыгу-мясника, переехала с ним в Махачкалу и там пропала, ни помина,

ни привета, словно все прочие ей уже не ровня. Мать вырвалась от них от всех, наплевав и растерев, когда единственная поступила в Томский политех, на одну стипендию, никто ведь не помогал, но ей все равно было, лишь бы подальше. Словно вся ее дальнейшая жизнь была именно отторгающей реакцией на породивший ее задошливый, копейничающий, болотный мирок, словно бы она по свободной воле своей поняла, как ни в коем случае не нужно жить. Залетный гадкий лебедь, отбившийся от стаи волк альбинос, одинокий снежный барс – редкий вымирающий вид. Вырвалась, думала навсегда. В ее случае так оно и вышло, пока она была жива. Теперь же все это сорочье гнездо приперлось ко мне. Жалеть сиротинушку, и заодно прикарманить двухкомнатную квартиру на юге. Ну и разоср… лись они между собой! Было бы до мокрых подштанников, в улет! смешно, если бы в голос рыдать не хотелось.

Дядю Пашу они тут же выгнали из квартиры. Он и не сопротивлялся. Хотя с ним поступили! Я бы в морду стулом дала, нипочем не удержалась бы. И чуть не дала. Только на меня вся свора набросилась – дура, дура, дура, чужой мужик на твое добро, давить его надо, а ты? Еще у дяди Паши карманы обыскали: как он позволил? Я же говорю, безответный интеллигент, раззява, он бы права качать точно не стал, это для него все равно, что по новомодным митингам и партиям шататься, отвратительно, он настоящий, тонкий человек был. А ему – ты тут прописан, нет? Тогда кто ты такой? Это они умели, мои родственнички, сразу «на ты». Девке и ее мамаше голову морочил, только мы не пальцем деланные (это точно, что не пальцем, кривым моржовым хреном через хитрую ж…!), катись отсюдова, самозванец, прощелыга, горлохват, покуда участкового не вызвали. И мне – зарится, зарится, на твое наследство зарится – будто они все за чем другим приперлись. Сразу – подряд материны брюлики из шкатулки в кулак захапали, дед с бабкой, тетка в крик, она тоже наследница. А дед ей шиш! Наследница у нас внучка, и мы при ней. И лизоблюдно ко мне – правда, деточка? Ну, я им выдала. Про половую связь между гомосексуальными партнерами, как-то так. Бабка взвыла, что твой реактивный самолет на старте, дед – в черную брань, тетка кулаком: ах ты ж тварь малолетняя, – ассенизатор-муженек ее залепил мне леща, кровь из носу, я кубарем, голова-ноги, тут они одумались. Дед с бабкой заглохли, дело керосинное, давай юлить – меж двух огней. Ты чо, ребенка бьешь, возьми ремень и по попе, а ты – это мне уже, – как ты смеешь со взрослыми, да ты ноги целовать должна, что тебя беспризорную жалеть приехали. Меня зло взяло – знаете, что я им отмочила? Говорю же, самостоятельная была, и с мозгами все в

порядке. Сказала – вот сейчас с разбитым носом в милицию, потом на освидетельствование, жестокое обращение с малолетними, я – в детдом, а вы – нафиг! Кровищу размазала по всей роже вдоль и поперек, и давай орать «Помогите! Убивают!», чтоб они опять с кулаками не думали даже, на всю улицу – окна и балконная дверь по летней жаре у нас настежь открытые стояли. Тут родственнички все забегали, чисто их озверелые пчелы кусали. Шипели, будто я вся в мамашу, я им – еще как, вы меня плохо знаете, зубами рвать буду, пусть ваш ассенизатор убивает, плевать! Ассенизатор-то как раз под лавку первый полез, трусливый чмошник, такая порода – слабого отмудохать, самая радость, еще перед дружками похваляться тоже обормотами, как он свою бабу отходил кулаком в печень, пятилетнему сынишке мозги повыбил за разбитую чашку, или как вдесятером с «братанами» на одного «очкарика», геройски. Но чуть разок получит сдачу со всего червонца, сразу – я не я. Бабка с дедкой, и тетка моя подняли базар – у ребенка нервный припадок, не понимает, что делает, ой, ой, сиротиночка бедненькая. Я их всех распихала, пошла умываться, с матюками, мать раньше запрещала, не дай бог загнуть при ней, но не было ее, матери, а этих – я иначе, как через семнадцать этажей, воспринимать не желала.

За одно лишь я всей их пришлой, расклевывавшей мертвое мясо, «вороньей слободке» благодарна. Даже теткиному ударнику-ассенизатору. Что не дали мне спятить окончательно, я ведь как о матери узнала – дядя Паша, уж он старался, но тут слов было не подобрать, подходящих, я имею в виду, – не поверила сначала, до самого следующего вечера, не верила и все тут. А после, не знаю, что на меня нашло. Только я – в стенку головой со всего размаха, если бы не дядя Паша, вот что называется чувствительный человек, он будто во времени увидел, что я сделать с собой могу, перехватил едва-едва, я всего-то лбом саданулась маленько, вкось, не расшиблась. Он со мной до утра сидел без сна, боялся, надо думать, я тоже не спала, вскрикивала, или вот так делала: ры-ыры-рыы-ы! – я плакать никогда не умела, звериный какой-то рев у меня выходил, пугал людей. А на следующий день уже родственнички, благодетели блин! приперлись. И мой волчий, оборотнический вой, как и нежелание жить, сменился вдруг спасительной, излечивающей злобой. Так что, в некотором смысле, да, можно сказать, меня облагодетельствовали. Иногда человеку нужен враг гораздо больше, чем друг, реальный враг, который действительно пришел по твою душу. Наверное, поэтому в старину от большого горя ехали на Кавказ, или на любую войну, за тридевять земель хотя

бы, или если с войной было туго, затевали ссоры и вызывали на дуэли, потому что только так можно было стерпеть совершенно невыносимое.

В общем, бабка с дедкой забедили мою тетку с ее ассенизатором. И укрепились. Уселись, устаканились, угнездились и потихоньку принялись меня перевоспитывать. Именно потихоньку, для них очень важно было, «чаво» соседи вокруг скажут или подумают – такое нутро, без показухи не всласть. А соседи у нас известно какие – буровики-нефтяники, вахта, народ суровый, прямой, межподъездные и межквартирные склоки не уважают. Хотя, надо признать, со времени вселения тандема бабки-дедки, затяжные, бурные свары в доме и в квартале все же стали случаться, еще бы, столько сил мои бодрые родственнички-пенсионеры вкладывали в это разлюбезное им дело, что нет-нет, а добивались на единственно утешительном для них поприще успеха. Благостным, постным лицом поторговать, ажурно сплетенную клевету подпустить, стравить между собой кого попростодушней и наслаждаться драчкой в стороне – это список всех их «сердечных» развлечений был. На какой манер меня саму переделать, перекроить желали, мне было и так, без рассусоливания, ясно. Из одних только присказок и поговорок – копейка, копейка! рубль бережет, удавись за нее и воробья в поле загоняй. Все в дом, а из дома не смей, хоть бы и подыхали у твоего порога, все равно. Кого на чем объегоришь, то по праву твое. Где соврал, там выгадал, а правду только дураки говорят. В мутной воде рыбка ловится. Гнилой товар выгодней сбывать, чем нележалый. Власть далеко, бог высоко, а совесть иметь – мы люди бедные. Ну, вам, я думаю, все дальнейшее понятно. Друзей погостить в дом я уже не осмеливалась приводить. Не потому, что боялась своих парнокопытных упырей – вот еще! Но мне было стыдно. Так, что провалиться на месте. Никогда в жизни я не знала этого чувства, я даже не представляла, что можно стесняться своих родных, я, конечно, о матери говорю. Про нее ведь тоже свистели-болтали: по мужикам! И что «титановый угар», о способности к выпивке. Но не было ни стыдно мне, ни стеснительно за нее. Никогда. Наоборот. Все эти качества казались мне необыкновенными, только ей одной доставшимися, словно избранная божья печать. А теперь – стоило мне подумать, что бесшабашный Темка и уж тем более воспитанная Ирочка увидят, услышат, узнают, что происходит в бывшем моем, самом открытом на земле доме! Лучше уж сразу повеситься на балконной бельевой веревке.

А тут еще вдобавок грянул переворот, ну и все то, замечательное прекрасное, что моментально последовало за ним.

Это от хороших дел надо удачных последствий и приятных результатов ждать годами, пока посеешь доброе и вечное, пока оно прорастет, да еще ухаживай, удобряй, то прополка, то протравка пестицидами, а потом собери, сохрани, распредели – морока! Но стоит только замутить поганку, тюкнуть топориком пару раз по одной несущей опоре, подтолкнуть легким пинком жертву к палачу, и все! Разрушительный, гибельный процесс набирает ход со скоростью «рэдбулловского» болида Формулы-1, вот только не влетает с победой под шахматный финишный флаг, а врезается со всего дурного маху в бетонную ухмыляющуюся ограду. И все и всё в полный хлам. Что говорить! Как будто мне одного несчастья было мало, так нет, стихийные силы к моей личной, локальной катастрофе решили добавить еще и глобальную. Конечно, никто ничего не решал, и ничто нигде обо мне не решало, так получилось. Что самое обидное…

Ехало – болело

Время. Время… Минуты, часы, цифры, стрелки. «Что может быть проще времени?» Когда его нет. Он получил это письмо, обнаружил, открыл – наспех, на ходу. Суматошные передвижения, спровоцированные болезненными инъекциями совести, бестолковые, или могущие нести пользу в отдаленное будущее, кто знает? Филон кисло кривился – смотрите, так и останетесь, сказал ему как-то раз Леонтий, не выдержав постно-укоризненной мины «чухонца», – Пальмира улыбалась терпеливо, но будто бы с сожалением, может, о неудачном выборе порученца. Или Леонтий всего лишь сам накручивал себя, поиски его не давали результатов, впрочем, пока не давали. Он утешался только: вначале всегда любое предприятие идет, что называется, «через пень-колоду», и нужно некоторое время, чтобы дело набрало достаточный ход. Да и поисками его шныряния по Москве назвать выходило разве с известного рода натяжкой – то есть, с долей преувеличения.

Он встретился все ж с Джедаем, на следующий день, после безвыходной воскресной попойки в перекрестном обществе Мученика-Коземаслова, где сам выступал в роли жертвы, и чувствовал себя безвинной жертвой, ну, или чуть-чуть виноватой. Понимая – даже и незваного гостя обижать нехорошо, он, возможно впервые в жизни «бухал» без удовольствия, это в горячей-то компании, после разгульной ночи! прямо чудеса в решете, но так было. Не сокрушался нарочито – ой, не могу больше, чертики зеленые! здоровье не то, силы покидают, рюмка-пуд тянет руку, – для впечатлительной публики, и для собственного успокоения, дескать, чуждая воля ведет меня, а про себя – наливай, не зевай, ритуальный политес соблюден и ладно. Он и вправду не хотел, ни водки, ни пива, ни денег на ветер, нет, Леонтия не подменили, но что-то все же произошло. Его собственная совесть вдруг вышла из тени бесконечного «пофигизма» и стала есть своего хозяина, будто бы предъявляла претензию: ну, сколько можно? – давай-ка, братец, корми меня как следует, и вообще заботься обо мне, ты взрослый человек, а я довольно капризный и ядовитый цветок, свои личные проблемы решай, как хочешь и поскорее – мне, совести, сиренево, мне на простор пора.

В общем, едва погасла «зажигательная» надпись – прямой эфир! – все равно, что – не влезай, убьет! – он выскочил из студии вон, столь резво, что, кажется, «бурчун» сочувственно поделился с ним мыслью вслед – наверное, живот прихватило? Даже и к

Граммофону не забежал, а ведь полагался ему в тот день «серый» гонорар в конверте, вот шеф, небось, удивился! Или подумал, у бедняги после сотрясения совсем с головой – того-этого! Живот, не живот, а вот с головой угадал! Сотрясение тут, понятно, вовсе было ни при чем. А при чем – гудела голова-то: это после пива с водкой, пусть и марки «Абсолют», все равно, суть, как известно, в количестве. И вот, отстрелявшись, отбившись от эфирных атак, он «черезнемогу» поспешил на забитую стрелку, ненавидел это полублатное выражение, но тогда именно так произносил про себя, будто придавая тем самым незыблемую дисциплинарную серьезность своему намерению. Леонтий даже явился на рандеву без опоздания – вопрос, зачем? Джедай сроду никуда и никогда не приходил вовремя, – кроме места исполнения своих рабочих обязанностей ди-джея, но там была кормушка, там платили деньгу, в том числе: дабы шоу начиналось согласно заявленному расписанию. Назначена Леонтию была опять «Шоколадница», теперь которая у Поклонной горы – откуда у брутального Джедая взялось сомнительное пристрастие к слащавому, конфетному заведению для школьниц-«манга», оригинальных догадок никто не строил, может, подростковая любовь, или первое свидание, забавно, но не более. Хотя, внешнему виду Николя куда более соответствовали бы грязноватый и полутемный ирландский паб, недорогая стилизованная «под Советы» пельменная на Старом Арбате, на худой конец – сгодилась бы сетевая чайхана, но вот тянуло его в «Шоколадницу». Впрочем, и «Шоколадница» устраивала Леонтия, честно говоря, его бы устроило в тот день любое заведение, без громкой музыки и с удобными стульями, жить было тяжко, и стоять на ногах было «мягко», а тут одних сортов спасительного, не суррогатного кофе имелось с полдюжины в предложении. Опять же – ненавязчивый сервис, в его случае получалось «в жилу», очень не хотелось, чтобы кто-то постоянно и вежливо зудел над ухом: «не изволите ли чего-нибудь еще?»

Тогда-то, ожидая непунктуального Николя, он и зашел в почту, и обнаружил – вам письмо! Он даже прочел, – Джедай опаздывал на полчаса, время слегка притормозило в течении, надо было ловить момент, – пробежал по диагонали, почти не вникая в сущность текста: слишком серьезно, и о слишком тяжелых событиях шла там речь. Отметил лишь странность, в первом послании от Сциллы, менее заметную, но теперь будто бы выступившую наружу. Разность языка, как если бы разность потенциалов – сбивала с толку, одновременно создавая живое течение, направленный постоянный ток бытия, воспроизведенный как в стихийном развертывании, так и в развитии. Вообще

Леонтий был знаком с подобным эффектом, и знаком не понаслышке. Часто случалось пишущему о своем детстве или отрочестве человеку, в художественной автобиографии или в постороннем жизнеописании, переходить невольно на примитивный, стилизованный образ повествования, как будто бы он снова нерадивый школьник и дворовый хулиган, или маменькин сынок и очкастый отличник, пятнадцати, десяти, пяти лет, подражая себе самому младенческому, детсадовскому, подростковому, юному. Припоминались тогда словечки, давно забытые, идиоматические обороты, известные только в подзаборном приятельском кружке, несвязные мысли и отношения, выросшие из романтического «мушкетерского» хлама, ревнивые поступки и наказуемые проступки, сильно преувеличенные в тогдашней важности своей. Еще желание ругнуться, через слово, едва преодолеваемое, потому что ругательство, особенно нецензурное – самый запретный плод, за который могут всыпать учителя и родители, если поймают с поличным, конечно. За курение тайком и то меньше влетало – Леонтию, по крайней мере. Потому что, курение – баловство, вовсе не уничтожающее истинных моральных качеств джентльмена, так себе, заблуждение насчет взрослости и крутости, а вот площадная ругань – устраняет бесповоротно интеллигентность человека как человека. Насколько мама, отчим и даже упавший папа Гусицын смогли втолковать ему.

Но здесь, в письме Сциллы, получалась явная, яркая нестыковка. Будто бы писали к нему сразу две разно мыслящие индивидуальности, однако, без сомнения, одно и то же лицо. Сложные, витиеватые обороты, литературные отрывочные изыски калейдоскопом сочетались в беспорядке с уличными, во многом даже простоватыми и близкими к неграмотности «тинэйджеровскими» выражениями – которые отнюдь не чистая рисовка, и не до конца «эффект возвращения», но перемежающееся, неоднородное «Я» самого автора странного по форме изложения. Говорили в произвольной очереди двое – бесстрашный, грубый сорванец «из низов» рабочих кварталов, и прекрасно владеющий навыками «культурной» письменной речи респондент. И это чуждое ему раздвоение он, невольно и вдруг, голый импульс или сознательное побуждение? – но примерил на себя, как ношенную одежду, удивительно пришедшуюся впору. Потому что и он тоже, в последние недели будто бы двуликий Леонтий: не то, чтобы он искал подлинного себя и колебался меж двух ипостасей, как меж двух опасных огней. Все же, раздвоился. Или удвоился. И стал непонятен сам себе – оттого, что не было более внутреннего человека, цельного, годного для сократовского

познания собственной сущности, он чувствовал так, будто бы одновременно и одноместно являл и вылупившуюся бабочку, и ее нетронутую куколку, и не мог выбрать, кто он? Леонтий Гусицын или уже кто-то другой. Он вовсе не сделался крут и бесстрашен, решителен и дисциплинирован в поступках, у него даже не сложилась в однозначную фигу определенная, видимая, конкретная жизненная цель. Не поменялся природный нрав и порожденный воспитанием манерный характер – перевернулись с ног на голову, и деформировались в этом вращении лишь принципиальные ориентиры, как если бы вместо асфальтовых дорог ему приходилось бы отныне, и приходилось вынужденно, брести вновь и вновь через заколдованный лес с выморочными палками-елками. А где теперь находилось гладкое, человеческое шоссе, он словно бы и не знал вовсе, утратил это знание, спросить же было совершенно не у кого. Но хотелось обратно. И не моглось.

Джедай не поведал ему, к сожалению, а может, и к радости – будто бы в оправдание его нерасторопности, – в общем, Николя не сказал ничего существенного по интересовавшему Леонтия вопросу. Хотя вопрос тот, в виду экономии времени, был задан в лоб. Фиолетово. Вот был примерный смысл ответа. Никто сейчас не мониторит такую «парашу». Да и у тебя, Лео, повылазило? Весна на дворе, а с весной пришли проблемы. Политические. Идейные. Национальные. Патриотические. Народные. Россия входит в великое противостояние – не то, чтобы КЛФ в этой теме, но наблюдают, выжидают, спорят и пророчествуют. Какие там течения, да еще религиозные! Недавнее Возрождение АВС, настоящий интеллектуальный Ренессанс – это да! И художественный тоже. Смотрел «Трудно быть Богом»? Не смотрел?! Из какого лесу ты вышел? И это самый модный, самый передовой тусовщик от свободной, некорыстной журналистики? Обормот ты последний, и никто больше. Покойный режиссер Герман из-за тебя, Лео, в гробу сто раз перевернулся. Времени нет? А у кого есть? Постой-постой-ка! Ты в порядке, мил человек? Может, помощь нужна? Может, заманила секта и отбирает квартиру? Ну, не у тебя, у приятеля твоего или у подружки? Бабы дуры, когда их на жалость берут и разводят, что общеизвестно, правда, мужики бывают еще хуже. Ничего подобного? Тогда, какого … ээээ, полотера? Или ты в поповщину ударился? Или Патриархия заказала чего? Чего, чего – мудацкую кампанию какую-нибудь для воздвижения культа РПЦ, транспортировка сомнительного костного вещества – в просторечии, мощей святых, – с помпой и с понтом из пункта А в пункт В, для всестороннего поддержания невежества бытового. Нет? А тогда

зачем тебе? Научное исследование? Ты даешь! Не ожидал. И что, серьезно? Я говорю – за ученую степень или так, исторический романчик в суперобложке тиснуть? Монографию? Ого, ты замахнулся! Все равно не могу помочь, знаешь, без обид. Только я не очень понял, новые течения, это какие-такие?

Леонтий объяснил. Насколько вообще мог и понял сам. Типа сайентологов? – с деланным энтузиазмом подхватил Джедай, видимо, ему не терпелось поскорее отделаться от мало интересующего его предмета. Типа, типа – подтвердил Леонтий, – может, кто-то решил поклоняться арахнидам из другой галактики, а может, определил в высшую божественную расу микроба обыкновенного. Ха! Торжествующе вдруг возвел очи горе, в смысле, к стандартному «евроремонтному» потолку Николя. Ха! Повторил он еще раз. И еще раз. Ха! А чего ты, мил человек, меня пытаешь? Ты у своего Дарвалдаева спроси. У кого, у кого??? Леонтий чуть было не «скопытился» со стула, и не потому, что взыграли томлением вчерашние многоградусные пары, только – упоминание о Пашке Дарвалдаеве вызвало эффект, подобный внезапно открывшемуся канализационному люку под ногами спешащего прохожего путника… когда еще шаг, и либо сломанная нога, либо куда более травматичный полет в водосточные недра. Но удерживаешься, качаясь на краю, и даже еще не понимаешь, то ли вчистую повезло, то ли глаз-алмаз и природная реакция канадского хоккеиста, и заодно поносишь «на чем свет» сволочугу-ремонтника, бросившего без присмотра разверстое рабочее место. Если коротко – какие-то мгновения опешивший мозг не в силах определиться, какую эмоцию ему выбрать в связи с данным обстоятельством: радость-инфаркт или злость-пронесло. Так и Леонтий, услыхав о Дарвалдаеве, да еще от кого! Да еще в связи с чем! – тут, как говорится, где имение, а где вода? Или, иначе, перефразируя задушевно-ироничную писательницу Тэффи – послал бог домик у моря, высоко в горах с музыкой. Причем тут Пашка?

– Причем тут Пашка? – закашлялся Леонтий, едва переведя дух, его «думательный» орган выбрал все же реакцию радость-инфаркт, уменьшенную до степени изумления-спазма.

– Уж я не знаю, причем. Я-то точно не при делах. Но слышал, как он – намедни, давеча, вчерась, – то есть, примерно третьего дня, трепал языком. В зоне-VIP для приглашенных «по списку» гостей. Чего ж давали-то? Премьера какая-то. В Евразийском центре. То ли «Я люблю Мадрид», а может «Пороки Сан-Паулу», не-е-а, кажется «Грехи Арарата»… вроде. Пес их разберет. Я на минуту забежал, «сфоткаться» для еженедельника, представь, даже не помню название. Что я тебе рассказываю, ты и сам

попадал много крат, то есть, многократно. Одним словом – толкотня.

– Ты про Дарвалдаева… начал? – подсказал возврат к теме Леонтий.

– Конечно. Он и вещал. Двум девицам. Модным таким, с крокодильими сумками, от «Эрмес», кажется… Новая вера. Новая вера. А может, новая эра. Нет… все-таки, вера. Если это не имя очередной постельной случайности. Хотя, вряд ли. С чего бы он о новой Вере, если тех навороченных девчонок решил кадрить – сейчас особенно хорошо клеить на потусторонние сущности. Еще что-то о гадании на компьютерной гуще – вводишь свои ФИО в программу, а она тебе твой гороскоп по цветам: синий, зеленый, черно-бурый, по дням раскладывает, «вконтакте» у него колдун знакомый завелся или Пашка сам хочет стать, я не разобрал. Но про новую веру – точно. Помню.

Это было уже кое-что. Это, возможно, было уже и что-то. Наперед трудно предсказать – Леонтий не первый день обитал в одном гуманитарном пространстве с Дарвалдаевым и потому знал: Пашка, как правдивый рассказчик – седьмой перевертыш, «слепая» печать, отдаленный слух, обошедший круг. Звон-то он, определенно, слышал, но давным-давно переврал, перебрал по косточкам, склеил обратно на свой лад и выдал отсебятину-чертовщину, имеющую только то сходство с оригиналом, каким обладает скверный постановочный кинотрюк «утрастрелецкойказни» с бессмертным репинским полотном. То есть – в основе обоих лежит все же одинаковое достоверное событие. И если добросовестно покопать, можно и до первичного зерна дойти.

– Ладно, бывай.

– Бывай и ты, – Леонтий из вежливости расплатился за себя и за того парня, тем более он был приглашающей стороной. Тем более, счет по нынешнему его карману выходил копеечный. В последний раз шиншилловая Пальмира таки сунула украдкой ему в карман кредитку, новенькую, золотую, банка ВКП(б), – шутка, конечно, – не стесняйтесь, а Филончику не обязательно знать. Так и сказала, ласково, – Филончику. Видно, догадалась, что при «чухонце» ему неудобно. Не то, чтобы – ни в чем себе не отказывайте. Но – не стесняйтесь, если накладные расходы. А они и были накладные – разве по своей воле понесло Леонтия в «Шоколадницу»? Джедая он до того месяца четыре не видел, и с легкостью пережил бы, не увидь еще столько же.

А вот Пашке надо было назначать встречу. Сказать-то легко! Во-первых, не факт, что Дарвалдаев вообще согласится, тот еще фрукт – из породы «если просят, гордо стой!», во-вторых, если и

согласится через поклон и уговор, то вынет из Леонтия всю душу по молекуле своими «зачем, кому, почему, какой мой навар с этого будет». Как бы к нему зайти, так сказать с фланга? Или с тыла? В тактике военного маневра Леонтий был не силен. Но все же некоторая думка в направлении верном у него зародилась. Дарвалдаев был падок. На женский пол в «престижном» его оформлении. В отличие от Петьки-Мученика нравились Пашке не просто хорошо сложенные девицы и удавшиеся лицом, и даже не обязательно девицы – критерий отбора у возможного проповедника «новой Веры» сложился с годами несколько иной. Не зря Джедай упомянул в описании, что у внимательных Пашкиных слушательниц имелись «на руках» сумки марки «Эрмес», баснословно дорогой, с трудом добываемой, и вообще, что называется, «топ». Не оттого, что Джедай так уж интересовался сумочным вопросом, это была своего рода иллюстрация – в переводе: рядом с Дарвалдаевым, как всегда, набитые деньгами содержанки или действующие жены толстосумов, или, что случалось реже, самостоятельные начальницы и хозяйки деловых предприятий. Среди подобных девиц и дам он обычно и пасся, с переменным успехом, но не сдаваясь и не теряя надежды. На что? На взаимовыгодный брак, конечно. Единственно кому гордый Дарвалдаев готов был продаться в кабалу, так это не дивной женской красоте или беспредельной жертвенной любви, но исключительно длинному рублю – пардон, стойко конвертируемому доллару. А так – он свято хранил свою независимость, которой весьма тяготился, но никак не находилось достойной кандидатки, вернее, щедрой покупательницы на товар. Спонсорские деньги под весьма спорные пропагандистские, лекционные, издательские предприятия ему частенько выгадывать удавалось, п…добол он был отменный и головы морочить мастак, но вот постоянную спутницу-соратницу с раскрытым ему настежь кошельком Пашке повстречать пока не довелось. На то и собирался ловить корыстного карася Леонтий – ага! На Пальмиру, при шубке из шиншиллы, пока весна еще не грянула окончательно, вполне можно этак в расстегнутом виде на соблазнительные плечики, а нет – наверняка у параллельной феи еще много чего в гардеробе найдется, тот же «Эрмес», например. Он, Леонтий, подставится Пашке, будто посредник – старая знакомая, страшно красивая, кошмарно богатая, ужасно желает познакомиться, немедленно! Да и Пальмире трудно, что ли? Одна встреча. В конце концов, кому больше надо? Его, Леонтия, дело телячье, ему, в сущности, всякие течения – морские, литературные, молодежные, ах, да! религиозные, знаете ли, семь лет мак не родил, так и того-этого…

«2012», слава богу, пока не наступило.

До пятницы время терпело. Обдумать. Продумать. Или даже раздумать, наконец, если по зрелом размышлении план ознакомительного опознания шиншилловой феей Пашки Дарвалдаева признан будет неудачным. Но за день до срока Х, то есть в четверг – как раз после дождичка, зарядившего с утра и еле-еле угомонившегося в тучках к обеду, случилось событие. Тревожное, серьезно выбившее Леонтия из намеченной колеи, в чем-то даже ошеломляющее и не укладывающееся никак в привычные ему оценочные границы человеческих поступков.

Он забежал домой, как обычно, к двум часам. Ну, да, и что? Мама мальчика Аркаши. Ему даже сомнительно повезло. Подкараулил у подъезда, она – из синего джипа, он – из серебряного Ящера, мечта! Привет – привет. Божественно выглядишь, соседка. Ладно врать, я даже не накрашена. Тебе и не надо. Слушай, мой Аркашка у тебя? – ??? – Это не вопрос, я говорю, мой Аркашка у тебя, эсэмэску сбросил, мамочка, у меня «зарез» по инглишу, или «разрез», короче, ему важно. У нас сам знаешь, джунгли и маугли, пусть у тебя перекантуется до вечера? Ты только покорми его – а я дам, чем, не переживай. Пойдем, пойдем. Макароны не вари, будет просить. Аркашка на диете, все время сидит сиднем, супчик, творожная масса – и все! Конфету шоколадную? Одну, не вздумай больше. Будет канючить? Ладно, две. Вот держи. Коробку. Спасибо тебе, сосед дорогой. Чмоки-чмоки. Ах!

Мальчик Аркаша и правда, засел в его холостяцкой гарсоньерке. Дело обычное. Леонтию он не мешал, наоборот, занятно было бы перекинуться парой слов. Но в тот «четверговый» день не удалось. Потому что, мальчик Аркаша оказался в квартире не один. То есть, обосновался он в углу, за шатким компьютерным столом в совершенном и отрешенном одиночестве, видимо – действительно зарез. Но на диване обнаружил себя еще один посетитель, никак не пересекавшийся с Аркашей, и – даже не обращавший в его сторону ни малейшего зрительного интереса. Посетитель высоко держал в руках раскрытую книгу, судя по толщине и строгой обложке – англо-богвестькакогоязыка словарь, и сосредоточенно изучал текущую страницу. Это был Костя Собакин, без сомнения. Непривычно молчаливый, подчеркнуто официальный, и вообще – какой-то не тутошний, не земной. Хотя бы оттого, что был он, что называется, «при костюме». Леонтий только однажды в жизни лицезрел Костю Собакина в деловом костюме, давно, на закате студенческой эры – именно в костюме, причем взятом под залог честного слова взаймы. Костя и отправлялся наниматься тогда на первую свою

работу, переводчика и консультанта по разговорной безопасности, в то самое военное ведомство, название которого уже никогда не произносил вслух – говорил просто, в случае нужды: у меня на службе. Тот первый костюм был синий с лаковой искрой, синтетическая дешевка, трескучий нейлон, чуть разбавленный шерстью. Нынешний, серо-полосатый, как государственный флаг законспирированной бюрократической страны, наоборот, обличал хозяина своей дороговизной – Леонтий вдруг подумал: откуда такой? Не по рангу и не по карману. Впрочем, что он знал наверняка о Костином ранге и кармане? Обычно он видел друга облаченным в небрежные мешковатые джинсы, свитера только разнились, от степени торжественности случая и приема, но тоже зависти в Леонтии не пробуждали, Костя явно никогда не был им отнесен в разряд записных модников, а как раз наоборот – определен в категорию одеваемых женами равнодушников: «дали чистое, и ладно». А тут такой костюм! Может, даже от «Бриони». Очень качественный костюм. Леонтия явно зациклило – он пропустил, как Собакин поздоровался с ним. Пока его не вернул в реальность пистолетный хлопок мощно и с силой приведенного в закрытое состояние словаря англо-тарабарского языка.

– Поговорить бы, – коротко и сухо произнес Костя.

– Да не вопрос. Айда на кухню, – Леонтий напротив, позволил себе максимально приближенный к фамильярному, приятельский тон, ему как-то сразу сделалось не по себе от непривычного с Костиной стороны официоза – что за джеймсбондовские игры? Или он опять чем-то успел обидеть Собакина? Это когда же!

Неловкость дала о себе знать сразу же – со стороны Собакина, тот как вошел, так и усреднил свое присутствие на одном из четырех «под избу» грубых табуретов, кухня не парадная зала, и после молча просто сидел, будто вписался в интерьер, как его естественная часть. Просто сидел, пока Леонтий сконфуженно хлопотал у заварочного чайника – не водку же было предлагать! от одного этого слова до сих пор мутило, – о чае не было сказано, Костя и стакана воды не попросил, но гостеприимство требовало. Хотя гость вел себя престранно – для Кости Собакина, можно сказать, что и родного в доме, – очень, очень престранно. Словно полицейский, нарочно заставший врасплох вора и теперь ждущий чистосердечного признания, причем ждущий – с удручающей неотвратимостью. Вот и у Леонтия не было выбора, разговор предстояло начинать самому. Только, о чем? Он пролистнул в уме – свое собственное пьянство, кто знает, вдруг старый приятель не одобряет и предстоит решительный, мозги вправляющий выговор. Чушь! О ревности и мести даже думать

смешно, женские интересы у семейного Кости и безнадежно разведенного Леонтия вообще не пересекались. Денег у Собакина он не занимал, довольно давно, а те, что брал когда-то – вроде бы все вернул, и сумма там была взаимодружеская, такие и вообще не отдают, благодарят услугой или бутылкой на Первое мая. Да и разве возможно было, чтобы Собакин мелочился? Нет, не получалось, не придумывалось, не находилось повода. И не могло его быть. Отчего же тогда Костя заявился, чиновно разодетый «фу-ты ну-ты», и теперь неподвижно-грозно угнездился в крохотной нише на табурете, точно сыч в чердачном окне? Время тикало. Наконец:

– Тебе с сахаром? Я-то голый пью, боюсь диабета. Правда, у нас в роду никто не страдал, но…, хочу дожить до самой смерти, – попробовал пошутить Леонтий.

– Не смешно, – отрезал Костя, и замолчал опять.

– Ну, вот… Вот сахарница, сыпь сам, сколько хочешь и если хочешь. Есть конфеты, правда, мне их дали для Аркадия – это тот ребенок, что в углу, по уши, так сказать, занырнул в комп. Но он переживет, невредный парень…

– Хватит, – остановил его Костя. – Давай по существу.

– Давай, – согласился Леонтий, ну, слава богу, не то рехнуться можно! – А по какому? Существу?

Собакин посмотрел так, будто его прямо и сейчас, не сходя с этого самого насиженного места, смертельно оскорбили, оставили в дураках, развели как лоха, опустили ниже плинтуса. И вообще – заставили землю есть.

– Ты обманул нашего товарища. Иначе – соврал мне.

Вот-те раз! Хоть тресни меня потолком по голове, хоть убей – спятил Собакин, не иначе: так определил себе Леонтий, совершенно ничего уже не понимая. Товарища! Джедая что ли? Но он ничего такого…. Погоди, погоди! Товарища! Леонтия вмиг осенило.

– Это майора Серегу вашего? Нужно мне больно! – он ляпнул вслух, и только сказав, осознал, в какую поганку втравился.

– Майор Ломоть-Кричевский, Сергей Сергеевич, какой он тебе Серега? – поправил его холодно и как-то… как-то свысока Костя. Вышло неожиданно.

– Ну, да. Этот самый майор. Да ты послушай, мы хорошо же расстались, там ерунда оказалась, он помог, я ему – спасибо. Он мне – не хворай. И все.

– В квартире профессора Тер-Геворкяна никогда не проживали родственники, подходящие под полученное описание. Никогда таковые лица вообще не состояли в родстве ни с профессором, ни с его женой. Никогда ни сам Тер-Геворкян, ни

его супруга не давали разрешения на пребывание в пределах своей жилплощади стороннему лицу, и тем более никогда не доверяли ключей.

– Я не знаю, – Леонтий совершенно растерялся. Мысли бежали, беспорядочно, потому вышло, будто у Зощенко, в насмешку: – Я не управдом, я паспорт у них не спрашивал.

– Ты оставался в квартире после ухода нашего сотрудника. Ты вел разговор и непосредственно имел общение, – Собакин не спрашивал, нет, он перечислял факты – отчего Леонтия вдруг кинуло в холодный пот.

– У тебя неприятности, из-за моих соседей? Ты же сам потешался, мол, какие там шпионы? Помнишь? Ну и обошлось. Братец сумасшедший, сестра его – может, они квартиру снимают. А сказали, что родство, просто так, меньше вопросов. Я извинюсь перед Серегой…, то есть перед товарищем майором, если хочешь. А ты вообще не при чем. Я подтвердить могу, где надо. Ты скажи только. Никого я не обманывал. В игры играть! Что я, мальчишка! Ё-моё!

– Достаточно, – Костя слез с монументального табурета, будто бронзовый Ильич с пьедестала своего памятника, после чего вернул себе личность, но какую-то не свою, неприятную, недружескую, нежданную. – Теперь изволь смотреть сюда.

Собакин – четким, отработанным, будто привычным жестом! – полез во внутренний карман статусно-полосатого пиджака, и вытащил кролика. За длинные уши. Красного цвета, с золотым потертым тиснением и с… и с гербом. Леонтий, вмиг онемевший, оглохший, утопший, угоревший, очумевший и обездвиженный, едва уловил в развороте – департамент внутренней контрразведки и дальше что-то еще, страшное, служебно-приказное.

Кто сможет себе представить? Наверное, мало кто. Но все же. Попробуйте. У всякого-каждого есть друг, у кого-то – старинный, со студенческих лет, хороший парень, обыкновенный или НЕ обыкновенный, но свой. В доску свой, и пуд соли еден вместе, и детей с ним крестили, и на похоронах тещи баян рвали. Пусть даже он шпыняет вашу совесть, пусть иногда зудит над ухом о неправильности вашей жизни, пусть он будущий генерал или академик, пусть он выбился в люди, а вы еще нет, для вас он все равно, на веки вечные – просто Пашка, Лешка, Сашка, Витька. Ну, до сих пор, положим, представили. А вот дальше! Дальше вы, имея за душой грозную тайну, входите в темную комнату, и яркий свет, зажженный отнюдь не вашей рукой, высвечивает перед вами его, давнего верного друга, и вы сознаете – не комната перед вами, и не приемная, но натуральный подвал

НКВД, и друг ваш не друг, но гражданин следователь, с которым нечего ловить, и не о чем просить, но возможно только накласть в штаны от медвежьего, непреодолимого испуга. Как-то так. Вообразили? Примерно, хотя и не то же самое происходило в прошедший короткий, «представительский» момент с Леонтием. Он перестал соображать. Он устрашился. Убоялся, как не случилось с ним даже в треклятом елочно-палочном лесу, и в полете на кривые питекантропьи копья, и в смрадной аммиачной пещере, когда готов был возрыдать и вопросить, и попросить милости хотя бы у идолища поганого. Потому что, параллельный мир – он ведь мог быть, и обезьяний эксперимент существовать тоже мог вполне, как и неостроумный розыгрыш военного майора. Все это, и пришельцы, и бандиты, и полотерные машины, и феи, и филоны – все это могло быть. Могло быть. А вот ужасающего своим золотым блеском двуглавого орла и скальпельных слов «внутренняя контрразведка» в кармане у Кости Собакина быть не могло. Ну, не могло и все тут. А вот же, было. И был конец света. Который, в действительном смысле, отнюдь не фигуральном, для Леонтия только что наступил.

Все кончено. В этот самый миг все кончено. Одно сверлило и сверлило мыслительную дыру в голове Леонтия, больше не думалось ни о чем другом. Ни о следствиях, ни о последствиях, ни о степени непогрешимости поступков. Очнись он от острого психологического шока, и очнись вовремя, он бы сообразил – нет его вины, ни на капельку, он не крал, не убивал, не предавал, упаси боже, державу, он только чуть-чуть надурил влюбчивого майора, да и надурил в чем? В том, что оправдал надежды иных людей, наивно доверившихся ему? Хороших людей, даже если причислить и «чухонца», хороших, да! Он так их чувствовал, а он, Леонтий, всегда чувствовал в себе подобных гадость и подлость. Вот и в Косте Собакине не было этого – ни грязноватой низости, ни высоколобой пошлости. Потому как, собственно Костя Собакин никак не изменился, иным стало вдруг его отношение к Леонтию, «служебно-розыскным» оно стало, как у полицейского породистого добермана, с призами и медалями на ошейниковом слюнявчике, мирно спящего на коврике у порога, которому сказали – фас! И он вздыбил шерсть, оскалил зубы, и рванул, рванул, по команде, на кого покажут и прикажут, на друга, на дитя, на брата, на родную мать. Дело тут не в дрессированном звере и его безупречном долге, но в том, кто отдаст повеление, и кто пошлет. Вот и Костя был человек безоговорочной чести, плюс – раз-навсегда взятого на себя «под присягой» обязательства блюсти и защищать, как ныне оказалось. Что он и исполнил – не имело значения, по отношению к кому, к Ленчику, старому другу

и брату, или к случайно указанному нарушителю – это была лишь перестановка местами слагаемых, от чего извечная сумма в итоге уравнения ничуть не менялась. Вот в чем заключался для Леонтия самый-самый ужас. В оборотной служебной стороне Кости Собакина, о которой до сего времени он не знал и не предполагал. Просто не повезло. Очень вероятно, что в тот чудный день, в занятом под клятвенное уверение синем, искристом костюмчике, Костя мог пойти искать рабочего пропитания в любое иное место – в какой-нибудь абстрактный институт стран Ближнего Востока при Российской Академии Наук, с тринадцатой зарплатой и тремя загранкомандировками в год. И события перенаправили бы начинающего новичка по мирному параллельному пути, который всегда есть – как у него самого сложилось с пещерой, Пальмирой и Филоном.

Мог. Или НЕ мог? Возможно, послестуденческий выбор Кости был заранее предопределен, его упорством в понимании должного-недолжного, ученой языковой старательностью, строгом и однозначном сознательном отделении белоснежного добра от чернющего зла. Вдруг и не он выбирал, а кто-то решил наперед за него, и пригласил к собеседованию, заранее зная исход. Так что, Костя Собакин оказался как раз в том месте и в то время, в каком единственно и было предназначено ему свыше ответственными людьми, которые наблюдали и определяли: годен, не годен. Определили и выдали, как следствие государственного доверия, тот самый документ-оружие с гербом, и герб-то слегка истертый, значит, выдали давно и пользовался им Костя тоже давно и регулярно, по частой, видимо, надобности. Переводчик, да! Но и он, Леонтий, сам, не по стороннему принуждению ведь, обратился к другу, как будто угадал наперед его возможности, значит, тоже предполагал о Косте такое-этакое? Как любой нормальный человек может догадаться даже о гражданско одетом военном по его выправке, или о бывшей шлюхе по манере раскидисто-неприлично сидеть на людях.

Он, кажется, уже провидел, что будет дальше. И как оно будет. Если он позволит себе «самозащитный» страх. И вот этого он, хлипкий и уступчивый Лео Годо, допустить не мог. Нельзя было. Ни слова, ни звука, знать не знаю, ведать не ведаю, а зрение вообще минус тридцать по Цельсию. Глумливая истина: молчание – золото. Ошибочка вышла, гражданин начальничек! Ведь иначе – Костя без раздумий и сомнений тут же пристегнул бы его к ведомственному интересу, в качестве доносчика или подневольного наблюдателя, официального информатора, причем кругом виноватого и обязанного искупить, не кровью, но чернилами – не то, сами догадайтесь, чего произойдет. А у него

Калерия, Леночка, мама и отчим, и даже добавить сюда для ровного счета упавшего папу Гусицына, тоже ведь жаль, и тоже крючок. Но Леонтий не мог на него поддаться, каким бы жирным ни казался червячок, и какой бы жадно-ждущей ни мерещилась щука поблизости. Почему? Что он знал о Пальмире? Что он знал о намерениях параллельных пришельцев? Что он знал об их будущем и настоящем? По правде-то говоря – ничегошеньки не знал. Вот именно поэтому – не мог. Он тоже любил и почитал философов-братьев АВС, и даже без преувеличения – чтил глубоко. Пусть и не смотрел великое творение Германа, но ведь в компьютерный век ознакомление с кинолентой нетрудно отложить, чтоб без спешки и с настроением. Тем более, поведение его направлял сейчас совсем другой сюжет. Когда-то казавшийся ему, по молодости и глупости, не имеющим жизненного отношения к реально возможным событиям – речь шла о роковом полицейском поступке инспектора Глебски в отеле «У погибшего альпиниста», надуманная ситуация, так полагал он, пока сам не очутился в похожей. Он ничего или почти ничего не знал о Пальмире и Филоне, и потому не мог их сдать. Не мог выдать на расследование и растерзание, даже во имя государственных интересов. Потому что, здесь все же присутствовал интерес, гораздо более высокий, хотя еще вчера ему казалась – что может быть выше интереса Родины-России? Сам же мечтал – вот бы его призвали и вот бы ему повелели, взять в руки стреляющее перо и послужить. На благо Народа и Отечества. Но так было вчера. А сегодня? А сегодня Косте Собакину придется выкусить. И если нужно, он, Леонтий рискнет. Решится на настоящий обман. Сыграет роль. Запорошит отводом глаза. Ради… ради чего? Чтобы отель «У погибшего альпиниста» никогда и ни один другой писатель не переименовал в его честь в барак «У пропившегося мерзавца».

В одно его ухо насильно влетало, в другое свободно вылетало, Леонтий послушно и покорно кивал. Да, да. Да. Он заглянет, так, невзначай, по-соседски, он выяснит, что сможет, уж как сумеет. Кто? Откуда? Зачем? Он потом доложит. Непосредственно Косте. Или майору Ломоть-Кричевскому, ох, не простому майору! Тот дальше сообщит куда следует. А как же! Вообще-то многого не ждите. Лучше бы сами пошли. Нельзя привлекать внимание? А-а-а! Как-как? Проштрафился, отвечай. Только, что он преступного сделал? Ненаблюдательность и разгильдяйство? Разве можно было знать наперед? Мы люди мирные, в академиях ГРУ не обучались, с нас и спрос иной? Леонтий сыпал нарочно холостыми, «предупредительными» встречными вопросами. Хотя ответа Костя как раз не требовал, он

будто бы осведомлен был обо всем, что происходило за стальными профессорскими дверями, стало быть – ни о чем он понятия не имел, но лишь исполнял свою контрразведывательную работу. И сейчас Леонтий соглашался с ним, обывательски-покорно, склонив беспутную голову. И думал. Что делать? Завтра. Завтра. Предупредить. Поговорить всерьез. И что? Дальше что? Бог весть. Может даже – бежать! Тут он очнулся. Костя уже уходил. С лакейской угодливостью Леонтий бросился открывать перед ним дверь. И пусть. Если надо. Если надо Пальмире, и если надо Филону. Он бы и на брюхе пополз. Для совсем чужих и потусторонних ему людей. Может, и не людей даже. Но вот же – тот, кого он с открытым сердцем большую часть своей жизни, почитал за главного друга своего – он как раз стал ему чужим. В одночасье. Навсегда. Костя Собакин принял для себя, что разумеется, правую сторону, а он, Леонтий, отныне, выбрал левую. Надолго ли? Выдюжить бы. Не факт. Ох! Придется солоно.

И про старуху бывает порнуха

– Что такое? – с натянутой насильно на кукольное лицо, непонимающей улыбкой, спросила его Пальмира. – Это мне? Нам?

– Вам. И… взгляните, – Леонтий не позволил себе сказать – прочитайте. За истекшие стремительно сутки каким же осмотрительным стал он! переделался, превратился, обернулся, оземь с перепугу! не за себя даже! из прежнего олуха прямо-таки в обученного империалистического агента. Труден только первый шаг, воистину маркиза Дюдефан не зря произнесла святые эти слова, хотя над святым Дионисием, шествующим с собственной отрубленной главой в руках, они как раз прозвучали издевательством. Но в данных обстоятельствах, возможные подслушка и прослушка, проглядка и подглядка, тоталитарный рэп в остаточном исполнении ретивой спецслужбы внушали Леонтию крайнюю конспиративную осторожность.

Подошел, долговязой «цапельной», неспешной походкой, Филон. Брезгливо кинул томный взор на рукописные листы – числом два. Уже открыл было ехидно-щелевидный рот, но Леонтий резко и многозначительно поднес палец к своим губам, потом указал куда-то в потолок, имея в виду наблюдательные высшие силы, и для окончательного вразумления «чухонского» младенца отчаянно затряс головой, будто старый паралитик, собирающий жалостную дань на паперти. Все эти дикие знаки, на любом языке жестов означавшие крайнюю опасность, похоже, только напугали Медиотирренского умника, бедняга попятился бочком, бочком! точно покалеченный краб – наверное, он бы перекрестился, если б умел: изыди прочь, Сатано! (невольно усмехнулся про себя Леонтий) – затем, следуя неясно какому мотиву, присел, насторожено, на корточки у стены, поближе к полотерной машине, будто ждал от нее прикрытия и спасения. Может и ждал. Леонтию сие было неизвестно.

– Вы смотрите, смотрите, – настойчиво повторил Леонтий. Удостоверившись, что Пальмира, не вдаваясь в долгие ненужные расспросы, углубилась в скромные, исчерканные странички, он зычно понес нарочитую околесицу, будто в матюкальник вещал: – Как ваш братец поживает? В деревне теперь? – А? Да, да! – был ему необязательный конспиративный ответ. – И правильно. Свежий воздух. Приволье. Речка. Поле. Коровы. Гуси. Березовые рощи. Кругом. Пусть себе бегает в свободе. Только кирпичи вот – ему бы не давать. Подальше бы. – Нет, нет. Да, само собой, – Пальмира еще читала не слишком разборчивые строки, но что

поделаешь? С этими планшет-ноутбук-смартфонами он совершенно отучился внятно писать от руки. Кто же знал? Кто знал, что пригодится? – пригодится чернильный текст? С полчаса тряс полу-засохший перьевой «монблан», пока не сообразил взять у разворчавшегося мальчика Аркаши простую гелевую ручку: учись правописанию, вундер! неизвестно, когда выручит – а то: говно мамонта, говно мамонта! однако, не все хакеру – киберпространство, бывает и постный на вирусы день.

Идея с письмом пришла к нему неожиданно. Неожиданно, но… предсказуемо. В письмах была его «последняя» жизнь – Леонтий с детства именно так подразделял времена своего существования. Ушедшие, предшедшие, последние, насущные, то бишь, грядущие. Он письмами баловался, к Сцилле, и не только, много в «россейке» и других изданиях, где требовался профессионально-свежий, но в то же время непредвзято-народогласный взгляд на события, факты и их комментарии. Ему ведь нужно было предупредить. Непременно. Но как? Леонтий, что понятно, в академиях ГРУ действительно не имел чести… ни даже малейшего побуждения к подвижнической разведывательной карьере. Куда ему? Тонкорунной овце в носорожьи бега. Но читывал изрядно, и о Штирлице-Исаеве, и о кембриджской «пятерке», и о коварном и подковерном Киме Филби, и о «джеймсбондовских» похождениях тоже, между прочим, правда – в далеком детстве. Это, не считая приблудных «вокзальных» романчиков – а в вокзалах-аэропортах и подворачивались они для коротания долготечного времени, – о ментовских войнах, об ушлых киллерах и их жертвах, о кознях записных уголовников в законе, купленных на корню румыно-пакистанскими разведками: мура, одним словом, но и там порой шутя, говорилась правда. Хотя бы та, что осторожность – прежде всего. Особенно, если хочешь совершить противо… ой-ой, не так, слишком чересчур! – всего только околоправное нарушение.

Он изложил, доверил бумаге (компов и прочих электронных приборов он справедливо теперь опасался) существо произошедшего и сущность вопроса – что делать дальше? Написал последовательно. О приходе Собакина. И о своем обманном обещании всецело помогать рыцарям государева плаща и кинжала. И о Дарвалдаеве. И даже о предполагаемом плане общего тройного побега – в Сибирь-матушку, в китайские сопредельные палестины, хоть бы в новообретенный «остров Крым» – там сейчас много народу с неопределенным паспортным статусом, авось, проскочат. И о полотерной машине не забыл, предлагая безумно путешествовать по российским дорогам в американском фургоне а-ля-«домнаколесах».

Пальмира дочитала. А дочитав, вернула листы. Потом подошла к мирно спящей машине, достала – будто бы из рукава, точно шулер-картежник, – тот самый пурпурный шарик, что-то сделала, и вот – полотерная штука тихонько взвыла, словно для разогрева, в низком басовом регистре. Пока ничем укропным не пахло, однако Леонтий на всякий случай предостерегающе шмыгнул носом, вдруг коварный агрегат передумает.

– Придется потерпеть немного слегка, – Пальмира протянула ему теплую, отороченную облезлым волчьим мехом куртку-«аляску», старую походную профессорскую подругу. – Там, в вестибюле, много разнообразных остатков. Кажется, это называется хлам. Вот и сапоги огородные возьмите.

– Болотные, – уловив немой вопрос в настороженных миндалевидный глазах, пояснил: – сапоги называются болотными, огородные – такого определения нет.

– Не имеет разного значения. Все равно, наденьте. Нам нужно путешествовать, – Пальмира, тоже вдруг в подражание его давешней жестикуляции, указала в потолок. – К брату. В деревню. Вы же хотели убедиться, что он благополучен.

– Да! О, да! Еще как! Я переживал о бедняге, вы не поверите, но…, – что «но» Леонтий не смог придумать сходу, впрочем, и не было нужды. Необходимые роли они отыграли.

– Мой друг пока побудет здесь. Прибрать немного.

Филон как сидел на корточках у стены, так и остался. Ничего не возразил, наверное, готов был и в самом деле прибрать и вообще задержаться на хозяйстве, по крайней мере, растерянный несколько вид его свидетельствовал красноречиво – приткнусь-ка я до поры в сторонке, не из боязни, а так, чтобы сориентироваться мысленно. На поверку вышло, что тоже не из бравых партизан. Хотя Леонтий-то чего возгордился? Тут только, стоя уныло среди газетных завалов профессорской квартиры, в чужой, грязновато-пыльной коричневой «аляске» и в болотных, проглотивших его, сапогах сорок пятого размера, собираясь неведомо куда и неведомо зачем, он, что называется, дал себе отчет. Он-то уж подавно не герой. Поджилки у него трясутся, сердце несется вскачь, и дрожащие коленки ходят ходуном – классика «празднования труса», одним словом. Что он о себе вообразил, в конце концов? Кураж вдруг улетучился, боевой дух весь выветрился, благородный запал прошел, а что в остатке? Исписанные листы, как свидетельство невозвратного решения. И еще. Мандраж. Голого и беззащитного человека. Он нестерпимо захотел: подленько, и черт с ним! извиниться – приношу покорно, и позвольте откланяться, но дальше совместно действовать не имею возможности. И скорехонько куда-нибудь, на окраину

обитаемой вселенной, хотя бы в Нарьян-Мар, хотя бы в Оймякон, в районную газету фельетонистом, годика два провести под ковром, чтобы забылась история. Ага, как же! Осадил себя – жалобные мыслишки понеслись, понеслись! Как же Леночка? Как же его едва наметившиеся профессиональные успехи? Мама-папа как? Его гарсоньерка? Магазины-наряды? Ящер, наконец? Ужель, без привычного всего-всего? Разве мало одного отвратительного, унизительно-обличительного страха? Так еще в придачу такие жертвы! Требуют от него. Надо, надо – как Костя Собакин велел, подленько, гаденько, но неизбежно. Или избежно? Просто откланяться. Извиниться, самое умное, ноги в руки, иначе говоря. Пусть Нарьян-Мар? Но не извинился, и не откланялся. Не оттого, что перестал вдруг сокрушаться о благоустроенных жизненных мелочах. Не оттого, что не посмел и дальше заслоняться Леночкой. Не оттого, что «по щучьему велению» осмелел. Не был Л. Годо хватом-храбрецом, никогда, но вот стыд ел глаза. Не перед Пальмирой, она кто? Женщина. Стало быть, знает по опыту, что на свете полным-полно трусоватых мужиков, поддельно выдающих себя в застольных беседах и на диванных свиданиях за настоящих полковников. Другое дело, Филон. Ложка дегтя, муха в супе, случайный камешек в завертевшемся колесе стыдных, но верных мыслишек. Филон, безмолвно сидевший себе на корточках все в том же нешевелимом ничем положении у стены. Словно бы смертельно напуган был «чухонец», словно бы не имел он сил, ни дрогнуть, ни охнуть. Хотя, ему-то..? Не приведи бог чего, верхом на свою полотерную метлу, и был таков! Так вот, перед «чухонцем» получалось стыдно. Боится тоже человече, до синих ногтей, может, боится. Терять, наверное, тоже есть чего. Но сидит. Не бежит. И будет сидеть. И ждать. Тихо. Неужто он, Леонтий, хуже, чем этот параллельный чудаковатый умник? Может, и хуже, но Медиотирренский напыщенный выскочка из потусторонней коробочки никогда о том не узнает. Леонтий застегнул «аляску». Страшно конечно, еще как! А кому ныне легко?

Укропный «назальный» напор на сей раз он перенес как-то… незаметно. Голова другим занята, вот потому не до регистрации всяких отвратных запахов – нашел Леонтий неоднозначное объяснение. И вообще. Он снова очутился в том самом лесу. У той самой загаженной землянки. Только на утлой полянке снег местами облез проплешинами, и кое-где пробивалась синюшная, жалкая травка. Еще прямо перед ним распростерла берега замусоренная, глубоководная лужа, на поверхности которой противно зеленела пахнувшая гнилью тина. И те же самые равнодушные питекантропьи рыла выставились на него из пещерной дыры. Он определенно узнал старика-заклинателя,

одного из… И даже – пытливо поискал глазами маленькую дикарку, любезно однажды искавшую у него, поверженного наземь, несуществующих вшей. Будто вернулся назад, в сомнительные воспоминания, в реальную достоверность которых все же до конца не верилось. Страшно теперь не было. Совсем. Ах, не удивительно это. Когда рядом Пальмира – все тот же облегающий желтый комбинезон, закрывающий наглухо и самые ступни ног, сплошной, без единого зазора, и не холодно ей, и не ветрено, и не скользко. А в руках надежный, спасительный пурпурный шар-оборотень, случись нужда, и поминай, как звали. Вот, правда – жемчужного «водяного» пистолета, стрелявшего загадочной световой сетью неведомого изобретателя Ёрмуна, при себе у Пальмиры не обнаружилось. Значит, лесных питекосов она вовсе не опасалась, да и они, ну надо же! в свою очередь ее не испугались, нисколько. Будто виделись уже сто раз. Оп-па! Радостной, вихляющей походкой к ним устремился чего-то там доселе ковырявший у окраинной, полу-засохшей елки, кто бы мог подумать? Аг-ры! Собственной персоной. Впрочем, Пальмира так и сказала – поедем проведать братца. Неужто, буквально поняла? Аг-ры встретил ее как старую знакомую, но знакомую, несомненно, куда выше его по значению, подобострастно загодя протянул скрюченную горстью лапу, заскорузло-грязную и жалко-когтистую, кривые обломки толстых слоистых ногтей торчали точно застарелые занозы. «Гу-ра, ну-а, бу-ра», – заурчал чуть ли не ласково, но явно угодливо и просительно. Прочие его собратья только глазели с надеждой из пещеры, наверное, Аг-ры единственный исполнял должность делегата-переговорщика между тутошними аборигенами и залетным посланцем, пришельцем… то ли с небес, то ли из преисподней, о сути питекантропьей религии и ролевом назначении однажды виденного идолища поганого Леонтий, очевидно, не имел ни малейшего понятия.

Пальмира протянула руку и положила в немытую никогда лапищу… что за бред! Обыкновенный ржавый длиннющий гвоздь, толстенный плотницкий, гнутый, явно бывший прежде в употреблении. И еще кусок школьного ластика, простого голубоватого цвета, на рубль две штуки в любом писчебумажном магазине.

– Скажите немного слов. Любых. Но дружественно, – шепотом попросила его Пальмира.

– Э-э-э… примите великодушно, дары природы, э-э-э… подношения, то бишь, рукотворные…, от нашего мира вашему…, будьте здоровы, – понес Леонтий первую, подвернувшуюся на язык околесицу, и как можно шире улыбнулся, одними губами,

стараясь все же не обнажать предусмотрительно зубов: животные воспринимают оскал как проявление агрессии, а ему было велено проявлять дружелюбие.

Аг-ры неизвестно как воспринял его проявления, посчитав их за рекомендованное дружелюбие или за выступление полоумного, однако, мешкать не стал, неловко приплясывая на месте, хрюкнул несколько раз, вместо «спасибо», затем удалился в пещеру, тихонько подвывая в шаг – Леонтию хотелось думать, что от удовольствия. Хотя, какое может быть удовольствие от гнутого гвоздя и замусоленного ластика? Но Аг-ры, несомненно, видней.

– Сейчас их внимание занято. Надолго. Хорошо, что вы со мной пришли. Показались перед ними и сказали им. Теперь есть прогноз, что параллель стабилизируется на прежнем уровне. Помните? Вы нарушили равновесие. И мы не беспокоили вас. Решали проблемы сами, пока без вашей помощи.

– Что же изменилось? – Леонтий слушал, со вниманием, но смотрел в другую сторону. Ему представлялось не слишком надежной гарантией уверение Пальмиры, будто пещерные ребята надолго заинтересовались ржавой, кривой железкой и кургузым кусочком резины. Как бы не полезли обратно на свет и простор еще за чем-нибудь! – Так что же изменилось? – после небольшой, но нехорошей паузы переспросил он вновь.

– Мы… Мы с вами сюда больше не вернемся. И без вас тоже не вернемся. Здесь все закончено. Как бы ни сложились предстоящие обстоятельства. Дальше туземцам придется самим.

– Почему мы не вернемся? – тревожный был вопрос, из тех, которые Леонтий именовал «скверноследственными». То есть, любой полученный ответ не сулил ничего приятного ни в каком случае. Не то, чтобы он жаждал временами навещать братца Аг-ры, он, верите ли, еще не выжил из ума! Но знал и то, что любые посулы, начинающие словами «больше не…» или «отныне никогда не…» имеют в продолжении грустные окончания.

– Потому что, я приняла решение. Плерум-транспортер мы возвращаем. Значит, остаемся без средств перемещения в пространстве эффекта Ариовиста. Иначе, мы не сможем по желанию вернуться назад, пока по чрезвычайному сигналу нас не заберут. Через какое-то время. И сюда мы тоже не сможем попасть. Вообще никуда. Кроме вашей реальности. В ней мы задерживаемся.

– То есть, вы принимаете мой план побега? – вот те на! еще подумал вслед изрядно ошарашенный Леонтий. Он же предложил просто так! «Убегайка» и погоня в стиле «казаки-разбойники». Он ведь не всерьез. А как? Зачем тогда писал? Значит, предвидел возможность. Чего ж переполошился? Плерум-транспортер – вот

как называется эта полотерная штуковина, хорошо бы еще понять, что сие означает? Спросить, что ли? Да бог с ней. Плевать. И вообще.

– Ваш план побега абсолютно неосуществимая, глупая затея. Нам не нужно ни в какую Сибирь. Я уверена. Брать с собой в побег транспортер вообще запрещено регламентом. Из-за опасности обнаружения и нежелательного захвата. Если я и мой напарник решаем оставаться, мы решаем это на свою ответственность. Так представляться! – Пальмира заговорили взволновано, и даже в повышено резком тоне, отчего возникла некоторая неправильность в языке, Леонтий это отметил, как и то, что раньше прекрасная фея не позволяла себе ничего эмоционально подобного. В отличие от напарничка.

– Как же вы будете? Ведь не какую-то пару часов за неделю, а изо дня в день. Я не представляю, как у вас устроено все там. В смысле, там, откуда вы. Наверное, получше, чем у нас. Раз такая техника. И люди вы хорошие. Но, уж простите за откровенность, наша, так сказать, параллель… особенно, когда тебя непременно желают вывести на чистую воду спецслужбы… я бы без преувеличения… мы хоть и не пещерные, но атавизмы тоталитаризма… выйдут боком…

– Я поняла вас. И я прекрасно все представляю. Ваша ветвь еще не самая чудовищная, как вы то думаете. Были много хуже. Вы даже прогрессивны в своем роде. Иначе мы бы не стали терять ради вас время.

– А-а! Потому и Аг-ры? Ну, в смысле… вы дали ему гвоздь. Ради ускорения эволюционного процесса. И ради светлого будущего. Знаете, если вы имеете целью улучшить нечто и в нашем мире, я вовсе не буду против. Даже обеими руками за. Как в анекдоте – прилетят инопланетяне и все решат за нас. Мой любимый, кстати. Мы станем чище, добрее, умнее. И… еще…, – не то чтобы у Леонтия кончился перечень желательных улучшений, только он почувствовал, что как-то сбился на совершеннейшие банальности.

– Не станете, – Пальмира вдруг отвернулась от него.

– Что, простите?

– Не станете. Чище, лучше, добрей. И наши познавательные достижения вам ни к чему. Хуже будет.

– Почему вы столь скверного мнения о тамошнем, то есть, о нашем, то есть, о моем, человеческом обществе? – Леонтию и обидно стало. За себя. И за человеческое общество. Тамошнее. Наше. Его родное. Не стоит судить по отдельным индивидам. По Коземаслову, например. Взять хотя бы Костю Собакина. Ну и что? Подумаешь, контрразведка, но человек-то хороший! Дай ему

шанс! И он не подведет. И Коземаслов не так уж плох… размышления его были прерваны.

– Не поможет. Ни одну параллель улучшить нельзя. Это невозможно. Стабилизировать, да. Искусственно продолжить ее существование – тоже да. Улучшить, перенаправить – нет. Однозначно, – Пальмира все еще говорила в сторону. На Леонтия она не глядела. Будто не осмеливалась.

– Почему? Что за тайны Бургундского двора? Если вы мне не доверяете, так и скажите. Имеете полное право, я не обижусь, а если…

– Мы вам доверяем. Безусловно. Вы порой очень бестолковы и наивны – подделать нельзя.

– Спасибо, – не без сарказма, не без сарказма! Но ведь оскорбительно этак-то! Подумал, но не произнес вслух.

– Всегда пожалуйста, так у вас говорят? – Пальмира, наконец, повернулась. Посмотрела неуверенно.

– А я давно подозревал, между прочим: вы скрываете нечто. От меня. Не хотите нарочно говорить.

– Да, не хотим. То есть, не хотели раньше. И теперь, я не знаю. Тут дело не в доверчивости… не в доверии. Вам будет неприятно. Очень.

– А-а-а! У вас для меня скверные новости или иначе, дурные вести. Ничего, я переживу. Я Костю Собакина пережил, его истинное лицо, а он мой лучший друг, знаете ли! Так что, как-нибудь. Справлюсь, не маленький. Мы НЕ исправимы, и НЕ вменяемы, и НЕ предсказуемы, и не-не-не! Сто тысяч всяческих «не»! Но вам ли о нас судить? Вы едва знакомы, даже вот и со мной.

– Совсем не в этом дело. Мы не судим ни о ком, и ни о чем. Здесь скорее наличный непреложный закон, если формулировать точно: абсолютная реальность, – Пальмира смотрела прямо, уже не имея намерения отводить глаза. Из недр землянки к ним отрывочно долетали изумленные, разрозненные подвывания, и кажется, легкая «рыкающая» ругань. Видимо, аборигены делили гвоздь и ластик. Или обобществляли. Или испытывали на прочность. На невезучем соплеменнике. Пальмира не могла не заметить его тревожный немой вопрос: а вдруг? – Не беспокойтесь, по крайней мере, о них.

– О чем же мне нужно беспокоиться? – его как-то сразу, без предварительного холодка, обыкновенно предупредительно-медленно поднимающегося будто бы из желудочных, кислотных глубин, душным кольцом охватила необъяснимая тоска, он уже не хотел знать, не хотел быть Л. Годо «меткое перо», и любопытствовать не хотел тоже, «больше никогда…»

– Вы не параллель. И они, и все прочие, другие – Пальмира указала рукой в желтой перчатке строго в сторону земляной пещеры, потом неопределенно – в воздушное пространство. – Мы вас обманули. Немного. Но параллельные миры очень соответствовали вашим фантастическим и в некотором роде научно-популярным представлениям. И лежали близко. Я могу объяснить. Объясниться. Готовы ли вы?

– Я-то готов! – произнес с вызовом Леонтий и задним умом подумал: ну нафига! Нафига он это сказал! А пошло оно все! Но было уже поздно. Ему пришлось слушать. Ему пришлось выслушать. И то, что он услышал! М-да. Услышал он следующее.

Насколько он понял. Насколько это вообще доступно пониманию. Насколько можно воспринять то, что с трудом поддается восприятию. Хотя лично для Леонтия информация поступала в сильно адаптированном виде. Если бы ей потребовался заголовок-«шапка», то Л. Годо «меткое перо», безусловно озаглавил бы свой потенциальный репортаж так: Абсолютная Реальность. Что же такое это было?

А вот представьте себе дерево. И в центре, в самой сущности этого дерева, что разумеется, находится ствол. «Эффект Ариовиста наблюдаем только в центральном стволе». Как-то так. В сущности, этот ствол и есть главная, настоящая, абсолютная реальность существования. От мифического сотворения мира до его гипотетического конца. От Бытия до Апокалипсиса. Хотя центральные пришельцы таких понятий не употребляют, да и схожих с ними тоже нет. На языке Пальмиры это звучит следующим образом – максимальная плотность развивающихся вероятностей имеет единственный уровень аппроксимации существования. Галиматья? Не то слово! В общем, прогрессивно вперед ко всеобщему благу и процветанию, движется или растет только этот единственный ствол с эффектом Ариовиста. Все прочие веточки и побочные корневые ответвления-деревца по сути возможные погрешности, нежелательные пути развития, как правило ведущие в тупик, в никуда. Ненастоящие, выморочные, бесперспективные реальности, чей единственный смысл – очищение и охранение главного ствола. Каким способом? Очень просто. Приятием на себя гадостных вероятностей или гибельных перспектив. Чтоб не мешали росту дерева ввысь и вширь те варианты развития физических и биологических событий, которые некими естественными законами отбракованы как упадочно застойные или попросту смертельно опасные. Леонтий подумал, подумал и привел пример. Скажем, Карибский кризис не разрешился взаимно удовлетворительно, и на Земле произошла третья мировая, ядерная война.

Не совсем так. Объяснила Пальмира. Ну и пусть бы произошла. Что случается в побочных вероятностях, безразлично. Они более не квантуются, то есть, накопительно-порционно впредь не разделяются – только от здешних реалий зависит, погибнете вы вследствие ядерной зимы или от химической газовой атаки. Центральный ствол это не волнует, там никакого Карибского кризиса не было вообще, потому что ядерного оружия в принципе не существует.

То есть, вы живете как в раю? Без хлопот и забот? Усмехнулся Леонтий. Что-то ему не верилось. Хотя вдруг и захотелось… Причем здесь рай? Удивилась ему Пальмира. У нас свои проблемы и нешуточные, каждый день. Как и везде. Дело ведь не в отсутствии бедственных стечений обстоятельств, так не бывает, даже в центральном стволе, любое спиральное развитие суть тяжелая борьба – дело в способе разрешения и выводах, следующих после. А вывод прост – наибольшее извлечение опыта из сделанной ошибки, и, уж конечно, счастливая комбинация «золотой покер» в карточном раскладе вероятностей. Короче, если есть перспектива, что МОЖЕТ БЫТЬ, в планету Земля врежется коварный, блуждающий с хулиганской целью гигантский астероид, именно главный ствол вытащит удачливый билет, а где-то в иной реальности произойдет катастрофа. Если восстание рабов, скажем, в доисторическом Китае, приведет государство на край гибели, то правители абсолютной реальности сделают оптимальные выводы, которые со временем повлекут за собой сначала смягчение, а потом и полную отмену рабовладения. А в альтернативном варианте произойдут массовые казни, и как следствие – непроглядные темные века.

Однако страдания и несправедливости во множестве были и есть и в центральном стволе, разница в том, что они не бывают бессмысленными и бесполезными. Конечно, через тернии к звездам, это единственный путь, вот только не всем «параллелям» суждено добраться. Хотя это весьма приблизительное упрощение. Почему? Потому что, реальности не множатся по пустякам, каждую секунду, час или даже год. Это должно быть фундаментальной значимости событие. Как гибель динозавров, или Великий Потоп, или что-то очень мерзкое, как победившая животных конкурентов насекомая раса саранчи. Да, да, есть и такая, вам повезло, что вы, что… это долго объяснять, из-за устройства транспортера, вы могли и не туда! Вляпаться. Или попасть в бесконечно действующий парк юрского периода, где не вымерли, но закостенели в развитии динозавровые племена. Или на поверхность океана-соляриса, где многотерпеливый праведный Ной, случись ему, никогда бы не высадился на вершине Арарата,

а напротив, утоп в водах вместе со своим голубем и прочими тварями земными. Но продолжим. Еще более кардинальный случай. Допустим, в первые микромгновения возникновения Вселенной, не образовался бозон Хиггса, или образовался, но не распался вовремя. Оттого, где-то в параллельном мире сейчас летает бесформенная обреченная на вечное невозникновение масса, которую и материей-то не назовешь. И будет летать, как мусор, отстой, осадок, до… чего? До скончания веков? Ах, это все равно – был ему ответ Пальмиры.

А здешние питекантропы? Леонтий вдруг и пожалел бедняг, отринутых по закону этого подонка Ариовиста вместе с его подлым центральным стволом. С другой стороны, разве законы мироздания и люди, открывающие их, могут быть подлыми? Еще как! Ответил он себе. И бутерброд всегда маслом вниз! Чем не подлость? Тогда, придумайте, как сия поганка еще называется!.. Вас интересуют здешние? Вернула его к предмету обсуждения Пальмира. Это все очень далеко во времени от нас и от вас, может, расстояние в десятки миллионов лет. Потому – никакие соплеменники Аг-ры не питекантропы. Это очень слабая, очень больная параллель, погрешность ее развития даже не просматривается в истоках, известно только – тут однажды, в некоей «точке невозврата», оказался нарушен по формирующей реальность вероятности базовый закон неубывания энтропии. То есть, конечно, здесь она тоже возрастает, но в биологическом измерении слишком сильно – иначе говоря, чтобы было понятно: любое органическое действие в этом мире связано с чрезмерными энергетическими затратами. Поэтому и явная отсталость – ведь еле-еле выживают, хотя тоже криво и косо движутся вперед, через пень-колоду, так сказать. Мало жизненной, потенциальной энергии, и вообще свободной энергии маловато. Оттого кривые елки, гнилые палки, пародия на эволюционное течение, едва проклюнувшийся разум. А ведь все отделившиеся реальности, в которых возникло «четвертое» измерение (единственная, в которой не возникло, о ней… рассказать нечего), они абсолютно временно-равноправны между собой. Тут вы правы, в этом смысле действительно параллельный мир, не прошлое и будущее, только настоящее, никто никого не обгоняет, и никто не отстает, машина времени действительно невозможна и действительно не существует, ни у нас, ни у вас, нигде вообще. Дерево растет только вперед и вверх. Без исключений.

То есть, нам повезло? Что мы не гнием заживо, что у нас не расплодились микробы чумы величиной с коров?.. В некотором смысле, в некотором смысле… А как же тогда? А как? А? А? А?

Я знаю, у вас мириады вопросов. Но, во-первых, сейчас

некогда. Во-вторых, переварите хотя бы эту, горизонтальную, первоначальную правду. И в-третьих, когда у вас в голове устаканится, как вы говорите, тогда сформулируйте совсем немного непустых вопросов, которые вы, в самом деле, хотели бы задать.

Зато я, кажется, понял. Всю глубину моих собственных представлений – «просто такая жизнь». Кажется, я сознаю, отчего она такая, и почему так говорится. Ах ты, черт!.. Не мучайте себя напрасно. Вы все же живы. И не в пещере. Да, вы не первые, и не лучшие, и не господа Вселенной, и тем более, не венец творения. Вам присуща странная и непомерная гордыня. Но главный ствол в этом не виноват. Простите.

Но наша параллель, в смысле рода людского, не отомрет? Не выродится? Не сгинет без следа? По крайней мере, скоро? Вам от этого не холодно и не жарко, я понимаю. Но все же? Мы обречены в будущем или у нас есть шанс?

Не знаю. Теперь конкретно не знаю. Поэтому я и Филон здесь. Кто мы и что мы, я вам уже сказала, мы добровольцы. Вы не то, чтобы вероятно погибнете. Но… Видите ли, физическая и биологическая гибель еще не самое плохое. Бывает жизнь, которая хуже смерти. И еще. Запомните, пожалуйста. Если у вас когда-либо возникнут вопросы на наш счет. Или вы усомнитесь, что сделали правильный выбор в нашу пользу, а не приняли правду вашего друга. Кроме меня и Филона вы НИКОМУ не нужны, там, у нас, в главном стволе, вы НИКОМУ не нужны. Вы все. Это пока самое главное. Вы запомнили? Да, я запомнил. Тогда возвращаемся. У вас будет время до завтрашнего вечера, больше никак нельзя. Что, как?!!! Да, до вечера. Собраться в дорогу, привести в порядок дела. Ровно в двадцать один ноль-ноль. В квартире. Мы отбываем. Втроем. Куда? Мы обязательно скажем вам, когда решим. Да вы и сами узнаете. По факту – так, кажется? И прошу вас, постарайтесь не ссориться с моим напарником. Нам придется долго быть вместе, возможно. Это было бы невыносимо. Хорошо, но… Поверьте, у вас будет время на любые расспросы. И время на раздумье. До завтра, до двадцати одного ноль-ноль. Мы поймем, если вы… Нет, нет, что вы! Я приду. Я только хотел спросить одно – почему новые религиозные течения?

А вы все-таки умудрились задать единственный вопрос, на который мы не хотели бы давать вам ответ. По крайней мере, сейчас. Но вы получите его. Я обещаю.

Во первых строках моего письма…

«…как уже говорил, вернее, писал вам ранее. Наверное, послание мое выйдет несколько сумбурным. Но я сам лишь отчасти тому виной. Скорее, сложившиеся обстоятельства. Я расскажу вам, непременно, но позднее. Когда обстоятельства эти станут уже далеким моим прошлым. Я отправляюсь в путь, в дальний, наверное, и надеюсь на возвращение, обязательно надеюсь. Впрочем, на нашей с вами взаимной симпатии и переписке путешествие мое вряд ли скажется отрицательно. Интернет вездесущ, как микроб простуды, и уж точно не проблема…

…хотя о проблемах мне лучше помолчать. Что тут точно, а что приблизительно! Одно знаю – что ничего теперь не знаю наперед…

…вы даже не представляете себе, как я ценю. Да-да! Как я ценю! Ваше вдруг возникшее ко мне доверие. И я, наверное, понимаю, до какой степени вам невыносима ваша прежняя невозможность высказать, обнажить, разложить по частям свою историю. С чего я это взял? Ну, как же! Вы не просто пишете, говорите, рассказываете о себе. Вы пишете, говорите, рассказываете ТОЛЬКО о себе. Не из эгоизма, отнюдь нет, я это понял сразу, когда прочел ваш мне ответ. Вы – словно поток, который не смог бы себя сам вместить, даже если бы захотел. Поэтому вы – безостановочно о своей жизни, словно боитесь не успеть, или боитесь передумать, или… или наконец перестали бояться, меня и себя. Я ни в коем случае не хочу сказать, будто вы равнодушны к моим откровениям – хотя какие там!… о завуче Ежовой что ли?… или о моей «подкустовной» слабохарактерности, так это ведь не тайна, смешной секрет Полишинеля, я и не скрываюсь – я о другом. Вы слышите меня, но отвечаете своеобразно, для вас моя честность перед вами надежный повод продолжать. И это нужно – и вам и мне. Словно бы вы исповедуетесь, но не священнику, а другу, хотя никогда не видели его лица, будто бы в настоящей исповедальне – может, так оно и должно быть. Доверие не вывеска, и не гримаса маскировки, доверие – это…

…знаете, мне проще привести здесь свою несмелую догадку, чем холодно и логически верно попытаться определить такое неуловимо тонкое понятие. Доверие – это вечное ожидание предательства. Да-да! Не подумайте, будто я сошел с ума, или решил поиграть в парадоксы, чтобы произвести впечатление, как делают порой некоторые мои пишущие коллеги. Именно,

ожидание предательства… которое никогда не случается. Ну, или случается по независимым от предающего причинам. Или по незнанию – что чаще бывает. В общем, если выражаться точнее, доверие есть ожидание умышленного предательства. Которое никогда не случается, пока длится это доверие. Потому что, когда случается, доверие умирает скоропостижно само собой. А значит, прекращают свое существование и само ожидание, и его вечность. Прекращают существование, а не заканчиваются, к примеру, потому что вечность – это тоже всего лишь человеческое ощущение. Вопрос остается лишь – с кем вместе мы готовы к такому ожиданию? С кем согласны рисковать этим ожиданием, а с кем нет. Здесь и сокрыта вся суть доверия. В нашем выборе второй, а то и третьей стороны. Мы как бы говорим себе: я знаю, знаю, мир вокруг зыбок и неоднозначен, и ничего нельзя узнать наверняка, найти точку опоры, которая ни при одном условии не пошатнется, такой точки просто нет, но… я придумаю ее для себя, увижу в том человеке, или во многих людях, в которых захочу, и больше ни в ком другом, а потом буду ждать, исполнится или не исполнится мое ожидание плохого конца, с надеждой, что все же нет, с надеждой и только, потому что еще я знаю, чего боюсь в ожидании своем более всего…

…а все же и у меня в детстве была тяжелая семейная история. Алаверды мне, так сказать. Хотя моя история менее всего походит на праздничный тост. Тяжелая, да. Но не ужасная. Знаете ли, в обычной жизни полным-полно подобных ежедневных катастроф. Они так часто встречаются на каждом нашем шагу, почти в каждом доме за почти каждой закрытой соседской дверью, что мы давно не замечаем их катастрофичности, только лишь мимоходом признаем их неминуемую каждодневность. Всякий раз, всякий день, с кем-нибудь, подумаешь! Даже кинофильм по совокупности сходных историй-характеров и тот, не интересно снимать. Потому что, не о чем. Это как фотографировать видимую сторону Луны, висит и висит себе в небе, и Каин несет бесконечно свою неизменную вязанку дров – так считалось в средневековье, будто лунные пятна изображают собой подобную назидательную картину…

…история эта была даже не моя, хотя, безусловно, имела ко мне самое наипрямейшее отношение. Видите ли, моя семья сейчас, исключая многочисленных родственников той или иной степени сложности этого родства… В общем, моя настоящая семья – собственно, я, Леонтий Гусицын, моя дочь Леночка, э-э-э… ладно уж, моя бывшая жена Калерия, пусть будет считаться пока… еще моя сестра Лизавета, затем, конечно, моя родная мама и мой родной отчим, очень хороший человек, между прочим,

разве несколько «обыкновенный» и через меру воспитанно-вежливый, именно в том ключе, который позволяет хаму ошибочно принимать вежливую воспитанность за слабость. Но у меня, что понятно, как у всякого земного человека был отец. Точнее, есть отец. Или, все-таки, был? Я сам затрудняюсь толком ответить. Он жив, жив, вы не подумайте. У меня, не как у вас…, боже мой! Простите великодушно. Моя история тяжелая, но не страшная, не… опять простите, у меня нет слов. Подходящих слов. Да и у кого они есть? Сказать, что я вам соболезную? Ничего не сказать. Лучше помолчу на этот счет. А вы простите. Авансом, наперед…

…я не открою вам, как его звали, это совершенно сейчас не важно, потому что я называю его, про себя и порой в редких разговорах о нем, чаще всего – папа Гусицын. Или, что хуже, но так тоже случается, подворачивается на язык – упавший папа Гусицын. Потому что он – как бы это выразиться понятнее? Знаете, в журналистских кругах одно время ходило довольно гнусное и оскорбительное выражение: «сбитый летчик». Так говорили о закатившихся эстрадных и попсовых «звездах», о политиках, навсегда сошедших с арены, о ведущих телепрограмм, которые угасали в рейтинге…, ну, я думаю, вам ясно. Наверное, для жизненной ситуации отца подходит это жестокое определение. Хотя его, к сожалению, никто не сбивал. И даже не подталкивал. Чего уж греха таить – ему пытались помочь, и мама моя многое терпела. До тех пор, пока не вытерпела…

…есть такой тип мужчины – единственно остается мне надеяться: я к нему не отношусь, хотя бы частично не отношусь, если не потяну эту благую «непринадлежность» полностью. Я не могу никого осуждать, потому как сам порой на волоске удерживался, чтобы не сомкнуть свои ряды с теми, кто… Но лучше я сначала изложу, кого я собственно имею в виду под «теми, кто…» Наиточнейшее определение, какое я могу придумать и дать им, словно классу или роду, или виду, будет – «поддельные искатели». Не в смысле «лоботрясы» в поисках относительной правды или вечной истины, хотя и лоботрясы они тоже в некотором отношении. Или, что отлынивают они от любого вида работы. Или ловко имитируют оную. Нет, с ними все несколько сложнее, с этими «искателями». Ибо ищут они всю свою жизнь и всякий ее момент только одно, вернее будет сказать: только одного – виноватого. Во всех их неудачах и недостачах. Прекрасно зная про себя, что такого виноватого на самом деле нет. Потому искатели они поддельные. Зато хотят они многого, если не всего – минимум: Нобелевскую премию, собственный исследовательский институт, доход, как у

компьютерного воротилы Касперского, машину с «мигалкой» и орден Почетного легиона, – ни на секунду не сомневаясь в том, что они заслуживают все перечисленное уже одним своим особенным, «вышевсехстоящим» существованием на свете. Они готовы, в принципе! ежедневно трудиться, порой и умеренно пострадать ради достижения цели, они зачастую умны и даже талантливы, и в этом не лгут о себе. Вот только… Продвижению по службе всегда мешает им интриган-коллега. Оформлению любой пустяковой деловой бумажки – взяточник-чиновник. Научному подвигу – необходимость «выбивать» у карьериста-директора оборудование и штат сотрудников, иначе: драться за идею. Сотворению великого многотомного труда – отсутствие денег (вот сволочи, еще и алименты плати!) на орудие производства: собственный лэптоп, например, – или, если до этого в редких случаях доходит дело, указывающий на дверь корыстный издатель, не понимающий всю глубину писательских глубин. А если совсем уж некого заставить ходить в крайних, тогда – во всем виноват общественный строй и лично президент, ну или, на худой конец, его подручный премьер-министр. В реальности же, в неудачах «искателя» виновато только одно его природное или выработавшееся с годами свойство – неумение и нежелание вести любого рода борьбу. Хотя бы элементарно за свое существование. Поэтому они лоботрясы – духовные, моральные, в чем-то даже нравственные. Духовные, потому что всякое «неудобное» усилие воли им отвратительно. Моральные, оттого что скорее признают своей «крайнюю» политическую доктрину, если она оправдывает их несчастливое бездействие, чем сознаются в замаскированном «под справедливость» нежелании жить в мире реальном. Нравственные, вследствие того, что из-за пассивности душевной рано или поздно в них развивается и безразличие к общественно-приличествующему поведению. Не то, чтобы в целях эпатажа они станут вдруг ходить без штанов, и, справедливо получив по мордасам, во всем обвинят кровопийц-полицейских. Произойдет в них, напротив, именно опущение в нравах, не из нарочитости и жажды доказать нечто, но от того, что называется в народе «махнуть на себя рукой». Сначала можно в люди небритым, потом немытым, потом безобразно пьяным, все равно, в итоге виноват будет кто-то другой. Они уж найдут. Это легко, вы сами о том знаете лучше меня. Совсем худо, если рядом с ними окажется вдруг преданная женщина. Которая везет, которая несет, еще и сопли утрет. Сочувственно. Ах, тебя не понимают! Ах, не ценят! Ах, обижают! Ты не создан для грубой административной работы! Тебе не место среди обыкновенных людей! Ты выше! Ты чище! Ты не

можешь касаться грязных мелочей! Это вместо того, чтобы сказать: перестань пускать слюни, встань, иди и дерись, за то, во что веришь, и ради чего тебе вправду хочется жить, иди и дерись, как бы худо и страшно тебе не было. Каждый день, каждый час, тогда может быть. Ибо цель твоя стоит ровно столько, сколько за нее положено тебя самого. И постоянно повторять это, как спасительное заклинание. Иначе полная гибель, не физическая – жалостливая дама прокормит и приоденет, особенно, если убедить, будто перед ней непризнанный гений, который не сегодня-завтра, ого-го! если не помешает очередной завистник, что естественно. Я имею в виду гибель именно мужчины, как мужчины, его потенциала, его будущего воплощения себя. Это ведь не просто поговорка, это базовая установка – мужчины не плачут! Не плачут, и все тут! Даже такие слабые, как ваш покорный слуга. Ибо я не вижу в своей слабости никакого себе оправдания. Напротив, я знаю ее и учитываю ее, как подводный камень, который надо предусмотрительно огибать всякий раз на своем пути. Чтобы не разбиться об него в хлам. Слабый вовсе не значит – пораженец, не боец. Иногда сильные люди, вследствие ли душевной лени, или избалованности, ничего не совершают в своей жизни, навсегда пополняя вечно ноющие и воющие на судьбу-судьбину ряды «искателей»…

…вот и Калерия моя, бывшая, все хотела видеть во мне сильного, ухватистого человека, которому или непременно луну с неба, или он глотки порвет. Она с одной стороны, молодец, нипочем не пожалела бы нытика. Но с другой: не понимала обо мне некоторого обстоятельства, которое бы решительно помешало мне получить ту же набившую оскомину Нобелевскую премию. Драться-то я был готов. Только – не имел за что. Идеи не имел. Ну, не гений, ничего не поделаешь. А Калерия, она как раз мечтала. Мечтала и ошибалась, полагая, будто любая мечта сбывается исключительно благодаря трудолюбию, силе духа и упорной, все пробивающей твердолобости. Она вечно толкала меня на подвиг. Совершенно себе не представляя, в чем именно он должен заключаться. Я обладал представлением об этом еще менее чем она. Так что – нашла коса, даже и не на камень, а на отсутствие всякой кругом травы – косить было нечего, в моем случае. Жена моя злилась, я нарочно, под прессом… в общем я нарочно старался вести себя хуже и гаже, чем я есть на самом деле, безответственно и безалаберно – как раз ей на зло. Она, что понятно, злилась еще сильней. Но что я мог поделать – одного желания стать богатым и знаменитым мало, хотя честно говоря – лично я не видел в этом острой потребности. Что сказать? Перед вами еще одна «маленькая трагедия» за закрытой соседской

дверью. Почему так вышло? Просто такая жизнь. Я тоже это знаю. Может, теперь я единственный на всей земле знаю, почему она такая, и никакая больше. Знаю, и молчу, и пробую сражаться, для начала хотя бы за себя, и если получится, то за своего соседа тоже. Хотя, надо признать, я никогда не боялся и не стеснялся кланяться в нужных, но в очень неприятных ситуациях – уйти гордо проще простого, но и дело твое, единственное, тоже тогда никуда не продвинется, не улучшится, не свершится. И за бумажкой постоять, побегать, сунуть, если надо, везде люди, и те, кто берут, и те, кто дают, причем последние ничуть не лучше первых. Я себя лучше и не считал. А ради Леночки, моей дочери, я вообще – сознаться: готов в экстремальных обстоятельствах на все, – значит, налгать вам и себе. Потому, иногда страшно, на что я готов. В воображении своем, бывало, спросишь, ну, мил человек, расстреливать невинных из огнемета (я открытого огня сам боюсь до чертиков) не станешь ведь, и ради дочери? Не стану, говорю гордо в мыслях, и знаю про себя: стану, еще как. И мне стыдно. Только за себя стыдно, а не за того, кто поставил перед выбором. Выбор-то, он выбором, а ты не стреляй. Не стреляй! Без вопросов. Вот такой ненадежный я человек. Ныть я совсем не люблю, но, однако, и тех, кто ноет всю свою «просто такую жизнь» тоже понимаю. В конечном итоге самое трудное из усилий – это не встать и что-то там делать, но встать и пойти через непроходимые препятствия, а потом, если повезет, уже и сделать то, ради чего собственно, вставал…

…извините, я ударился, что называется, «в лирику». Так вот, мой папа Гусицын. Упавший на дно. Он как раз был из «поддельных искателей». Закончил, между прочим, Литературный институт, с надеждами и отличиями, да что толку! Знаете, я видел на своем коротком веку немало журналистов, рекламщиков, «конвейерщиков»-сценаристов, за душой у которых непременно лежал большой, главный «достоевский» роман, или «толстовская» эпопея, или новаторская «поэма о крыльях». Которые, ясно, никогда и ни за что не будут написаны, разве чудом удастся вывести заглавие и следом первый абзац – уже подвиг Гастелло. Но все эти люди, как бы выразиться? Ага! Они ничуть не «парились» по столь пустяковому поводу. Суетились, вкалывали, пробивались, кто вверх, кто вширь, когда и прожигали жизнь с приятелями «в одну душу», но уж точно не имели свободного времени на поиски виноватых в нерожденности их главного произведения. Некогда, что поделаешь? И вздыхали. Неискренне, между прочим, потому как главное произведение полагалось иметь, или делать вид, что имеешь в проекте, но вовсе не обязательно для престижа и в самом деле было претворять его

в действительность. А мой папа Гусицын как-то сразу после института принял на себя печальный образ «непонятого гения». Талант у него был, и даже идея была, и жажда известности. Но напрочь отсутствовала способность к противостоянию – малейшее препятствие выбивало его из колеи, сшибало с ног, отправляло в нокаут, выносило в подводное рифовое плавание «пусть идет, как идет», всегда заканчивавшееся кораблекрушением. Он не понимал, и, не понимая, сетовал на все и вся вокруг. Не понимал, Того, что… В реальной жизни не так, как в школе и в институте – где успех меряется единственно положительной оценкой. Там от тебя как раз и требуется – преодолеть «на ура» очередной барьер, исполнить сложный трюк, и в награду получить, как бобик, сочную косточку или почесывание за ухом. Так что, «поддельные искатели» зачастую весьма успешные студенты, никогда не становящиеся основательными специалистами или совершающими прорыв мыслителями. Потому что, время оценок однажды кончается, и дальше начинается – а что захочешь и на что потянешь, то и начинается. Здесь и скрыта проблема. Или жестокая правда: по школьно-институтской справедливости тебя уже никто не судит. И вообще никто не судит. Потому что – дела до тебя никому вообще нет. Папа Гусицын не сумел этого переварить. Не смог принять. Или – не захотел. Потому что, оно хлопотно. Самому за себя отмерять каждую черную и белую полосу своей жизни. Они с моей мамой поженились студентами. А разошлись уже разными в общественном статусе людьми. Старательный младший преподаватель английского языка на филологическом факультете МГУ. И безработный писака, изредка пробавляющийся случайными, «не по достоинству» заработками. Зато с кучей друзей-собутыльников подобных ему, вчерашних захваленных, непонятых отличников. Папа Гусицын вовсе не был алкоголиком, вы не подумайте, да и сейчас он не…, пьет, конечно, но не более обыкновенного. Ведь для теплой компании «искателей» само по себе количество спиртного не важно. То есть важно, в смысле, не менее уровня, потребного для запуска полноценной беседы, во всяком случае, на троих около бутылки крепкого напитка и по паре пива на каждого. А дальше – дальше известно что. Мне известно. Ибо я слыхал не раз. Когда мама допускала проведать папу. По кочкам, по кочкам, дружно, согласно, метко и язвительно. Власти предержащие, местные и высшего уровня, по прихоти своей перекрывающие кислород, творческую интеллигенцию из телевизора, обманом живущую, русское раздолбайство, вездесущее и непреодолимое, хапужническую корысть, которая душит талант рублем (ныне уже «евром» и «доллАром»). И так далее, et cetera, et cetera. Это можно

было с успехом исполнять на волынке – пересохший колодец с одинаковым пустым эхом, зависшая программа без конца, круговорот болтовни в мыслительном капкане. Их бы энергию, да на извлечение полезного КПД! Байконур обеспечили бы топливом шутя! Но это лишь сослагательное наклонение, которого не терпит реальность…

…сейчас папа Гусицын служит суточным сторожем-вахтером в «умеренной элитности» доме на Новочеремушкинской улице – два дня подряд дежурит, один свободный его. Своих работодателей он, как водится, ненавидит, но ничего поделать против них не может, иначе ему попросту жить будет не на что. Да и негде. Свою квартиру он давно спустил, однажды отправившись в авантюрное путешествие вместе с акциями «Нефтьалмазинвестфонда» – была такая пирамида в девяностые, не столь громко прозвучавшая как МММ, но не менее глумливо опустившая доверчивых халявщиков, возжаждавших сладкой жизни в надежде на чудеса в решете. Потом он некоторое недолгое время обитал у второй жены, испытав и ее терпение на прочность, и скоро убедившись, что на дверь ему укажут гораздо раньше, чем в первом варианте его семейного предприятия. Потом – у непостоянных подруг, всегда менявших его на более устойчивый вариант мужского плеча, или – у относительно гостеприимных, до определенного предела, друзей-приятелей, сумевших как-то закрепиться в тихой гавани собственной крошечной жилплощади. Ну и в итоге – пристанью ему стала каморка привратника под частнособственнической лестницей многоквартирного дома «повышенной комфортности». Никакой большой или малый роман он, конечно, не написал, да и не особенно пытался. Выдающимся деятелем культуры тоже не сделался. И вообще никем. Зато остался «свободным человеком». Есть ли в этом какой-то толк и смысл, я не знаю. Честно говоря, не хочу знать. Я помогаю ему от случая к случаю деньгами, он берет, и даже благодарит, он все же мой отец, и в его старости я должен буду позаботиться о нем. Как минимум: хороший платный дом престарелых, наверное, битком набитый такими же, как он, «поддельными искателями», уже ничего не ищущими, кроме персональной «утки», но по-прежнему костерящими налево и направо всех и вся, конкретно или безадресно – не суть важно, тут главное сам процесс, въевшийся в искательскую плоть и кровь. Думаю, однажды ему там будет беззаботно и весело…

…а вырастил меня в конечном итоге мой родной отчим. Полная противоположность папе Гусицыну – вот что можно сказать о нем. Педантичный, упорный, хотя и рядовой – он преподает в должности доцента в Высшем Техническом, читает

отдельный курс «детали машин». Студенты его любят, хотя мой родной отчим в меру строг к содержанию и не в меру придирчив к внешней форме любого чертежа. Говорят, его лекции одни из лучших – он читает свой предмет, будто в опере поет. Громко, неспешно, членораздельно. Всем все слышно, видно и понятно. И еще симпатизируют ему за подчеркнутую франтоватость в одежде. Неизменную. Сколько я помню, всегда он ходил на службу в одном из своих «английских» костюмов – синий в серую клетку, коричневый в желтоватую, – и всегда же при бабочке, попадавшей в тон. Туфли его бесконечно блестели, бритые щечки глянцевались лосьоном, реденькие волосы укладывал он с зачесом назад, ничуть не стесняясь залысин. Особенно прежде я любил его дипломат – черная кожа с золотыми шифрозамками, теперь-то его уж нет, давно мой родной отчим ходит с модным портфелем, тоже черным, но с матовой металлической застежкой. Однако в моем позднем детстве именно дипломат был для меня символом надежного постоянства его присутствия, своего рода гарантом того, что отчим не скатится в пропасть вечного искательства, и даже близко к ней не подойдет. Человек с таким дипломатом просто не способен на это. Я, вы не поверите, иногда по вечерам, когда мамы и отчима не было дома – в гости, в театр или на концертную программу они отвлекались частенько, – так вот, я подходил к этому самому дипломату, всегда на полированном столике в тесной нашей прихожей было его место, и осторожно гладил его шифрованные замки. Говорил какую-то значимую для меня ерунду: ты мой хороший, черный мой, ты стой тут, всегда стой, пожалуйста. И сводную сестренку мою, Лизу, подносил к нему на руках, когда она была совсем крохой, и она тоже повторяла за мной, лепеча еще слюнявым пухлым ротиком: фто-фто фут! Стой-стой тут! Ну, вы поняли. Наверное, от отчима я перенял немногое, все же генетически мы были с ним не родня, однако его страсть к элегантной одежде передалась мне бесповоротно. И это было не пустым подражанием. Потому что отчим регулярно, но как-то ненавязчиво внушал мне: понимаешь, Ленечка, мужчина маленького роста (а сам он был чуть выше метр-шестидесяти) не может себе позволить небрежность в костюме – парадный внешний вид зачастую его единственное оружие. Я спрашивал тогда еще наивно: оружие для чего? Как для чего? Удивлялся неподдельно он. Для завоевания женского сердца. Несколько «старорежимно», но доходчиво. И я ему верил. Потому что, он был кругом прав в этом отношении. Представьте себе только: плюгавенький паренек, да еще умыт, пострижен, одет кое-как. Шансов на успех – приблизительно около ноля. Другое дело, когда «в шикарном прикиде», что называется. На себе

испытано – легко можно познакомиться, при нужной степени коммуникабельности кончено, примерно с одной из трех. С одной из трех приглянувшихся тебе девчонок. Тридцать три процента удачи – это немало, когда ты отнюдь не актер-атлет Вдовиченков и не боксер-тяжеловес Поветкин. Так что, я вырос щеголем, даже чересчур немного, мне кажется…

…что касается ваших сожалений о нагрянувшей к вам родне, бесстыдной, жадной, мещанской, то глупо бы было с моей стороны опуститься до примитивного и пустого сострадательного повторения нашей с вами сакральной формулы: просто такая жизнь. Потому что, именно в этом случае она не просто такая, а по действительной причине. Я, знаете ли, иногда задумываюсь. Нет, не столько задумываюсь, сколько проверяю себя на вшивость. В переносном смысле, как вы понимаете. Я по роду своих занятий будто бы даже обречен выслушивать с какой-то неподражаемой ритуальной повторяемостью «свободомыслящие» комментарии ко всему происходящему в мире от моих пишущих и читающих коллег, публично интервьюируемых гостей, случайных «интеллектуальных» собутыльнико-собеседников и прочее, прочее. Так вот. Признаюсь лишь вам, как на духу! Осточертело! Да! Ос-то-чер-те-ло! Уф! Полегчало заметно. Ни одному человеку на свете до вас я не решался. Иначе могут интеллигентно и бесповоротно сожрать с… тем, что у каждого в кишках, м-да. Одним словом, устроить бойкот-обструкцию. А вам, ничего, можно, вы поймете. Дело в том, что всякий свободомыслитель в частые моменты словоизвержений мнит себя – даже и не мнит, но искренне верит, – в общем, представляет о себе, будто он настоящий потомок по меньшей мере великорусского князя или монарха, или страдальца-изгнанника с ленинского «парохода философов», или на крайний случай репрессированного близкого родственника Рыкова-Бухарина-Зиновьева. Более близким родством, скажем с Синявским или Довлатовым, гордиться или самоощущаться не к лицу. Слишком близко во времени, несолидно, а вот чем дальше в иллюзорную глубь века или веков, тем оно вдохновенней и высокородней. Беда лишь в том, что такой свободомыслитель начисто упускает из виду одну важную, самоочевидную вещь. Все нынешние потомки великих князей, сиятельных дворян, меценатствовавших купцов, каким-то лихом задержавшихся на постреволюционной Руси, все близкие и кровные наследники расстрелянных Тухачевских-Егоровых-Блюхеров, репрессированных Мандельштамов-Пильняков-Мейерхольдов, равно как и менее значимых инакомыслящих любого рода, за редкими отдельными исключениями, либо никогда не существовали, либо ведут начало

от детдомовских «иванов, не помнящих родства». Потому что прародители их, настоящие или предполагаемые в прошедшем времени, повымерли сами или были повыбиты в известные всем годы, не оставив заметного генетического наследства, но лишь свои кости в беспредельных по вместимости сталинских лагерях. А кто ж остался? Вероятно, спросите вы. Я отвечу. Мы с вами. Как раз потомки истовых партработников, шапкозакидательских агитаторов-комиссаров, вооруженных гулаговских охранников, соцреалистических творцов с иногдабрыкающейся, но всегда в конце концов согласнопримиряющейся совестью, всепроникающих доносчиков-сексотов, явных и стыдящихся-скрытных, пескарей-обывателей, именно что с крошечным мировоззрением ваших бабушки и дедушки, тети и дяди-ассенизатора, которые старались только убогонько уцелеть, любой ценой, и разве можно их винить за это?..

…или недавно услышанный пример, от хорошего знакомого. О его собственном деде-прадеде. Уцелевшем в сталинские чистки. А почему? Потому. По словам приятеля моего – дед был отличный малый, честнейшей человек, порядочный до того, что прохожие на ходу пред ним снимали шапки. Стало быть, – усомнился я, – товарищ Сталин порядочных людей не трогал, а вычищал из общественных советских рядов лишь сомнительную шушеру? Дружок мой смутился, забекал, замекал, что я не так понял. А дед был не просто дед, но еще баптистский проповедник в придачу, и вот, в силу его благолепия, верующего крепко в Господа Бога предка и не трогали. Ага! Чтобы баптисту, кальвинисту, методисту, адвентисту, и прочему «исту» посчастливилось в те времена остаться хотя бы в ссыльной полусвободе, стучать он должен был так, что барабанщик Ринго Стар от души бы ему позавидовал. Врать мы все горазды, особенно о близких своих, которые в эпоху первых пятилеток…

…война Отечественная облагородила многих из них, но далеко не всех, к сожалению. Опять разделила и приговорила: одних – вперед под танки, пулеметы, других – к выживанию любой ценой. Надо ли пояснять, каких именно уцелело больше? Поэтому, в своей родне мы имеем то, что имеем. Люди отчаянной сознательной храбрости, правдолюбия и правдоискательства, те, которые легенда и которые проклятие, которые грудью на амбразуру и которым огненный язык их первый враг – они все ухнули в физиологическое небытие, и как бы мы ни желали занять место их духовно-идейных преемников, никуда нам не деться от действительной своей родословной. От прадедушки-стукача, ставшего обкомовским воротилой, от прабабки-комиссарши, угоднически высылавшей на смерть

«благороднокровных» после убийства Кирова, от пра-пра-двоюродных и троюродных, тихохонько молчавших и тихохонько приторговывавших из-под полы поддельными продуктовыми карточками в голодные военно-гражданские годы. Потому что, они и есть в основном выжившие – а мы есть их потомки. Кто идет впереди, идет на подвиг, тот доходит рано, до геройской гибели своей или до общей могилы в магаданской стылой земле. Поэтому – у вас и у меня нет выбора. Надо принять наше прошлое таким, какое оно есть, необязательно им гордиться, не обязательно и грязью обливать, но знание есть великая сила, противоядие, хотя бы от высокомерного зазнайства. Потому, прежде чем плюнуть в чью-то сторону, для начала уверься, что не попадешь в зеркального самого себя. Потому, не могу произнести приговор, даже будь на то ваше позволение, осудить или унизить суждением ваших родственников, ведь если хорошенько покопаться каждому в корнях своего генеалогического древа, еще не такое отыщется. Что ж, стыдиться нам, вероятно, есть чего и кого, но и отрекаться тоже, знаете ли, стыдно. Если мы не хотим в свою очередь примерить на себя доставшуюся нам по наследству маску чудовища. Вот так, дорогая моя Сцилла…

…опять позволю себе преподнести вам в заключение анекдот. Сидят двое только что познакомившихся «голубых» в гей-баре за кружками безалкогольного портвейна. Один другого спрашивает, кто тот по профессии, наверное, фотомодель? Такой милашка. Нет, отвечает его новый знакомец, я биофизик, занимаюсь генной инженерией. И зачем? – спрашивает несколько обалдевший визави. Затем, чтобы люди в будущем возникали посредством науки сразу из пробирок. О-о-о-! – восхищенно отвечает первый, – тогда мы будем совершенными, здоровыми и красивыми, как это все чудненько-пречудненько! Нет, не так, – возражает ему биофизик, – тогда бабы будут не нужны, и кроме нас, педерастов, никого на земле не останется. Первый подумал, подумал, и отчего-то звезданул биофизика тяжелой полной кружкой по голове. Хотя тоже был нетрадиционной сексуальной ориентации. Такая вот завуалированная мораль…

Часть третья. Делай лучше нас!

Пацак и чатланин

Терминатор в который раз неугомонно гонялся за Сарой Коннор – вот сейчас ка-ак пальнет из… а черт его знает из чего, такое длинное… Леонтий зевнул. До утра было далеко, зато близко – несколько завалявшихся горкой компакт-дисков, остатков чужой, кем-то позабытой фильмотеки еще во времена то ли царя Гороха, то ли его прадеда Бобового короля. Первый «арнольдшварценеггеровский» «Терминатор» оказался самым приличным, но и самым «запиленным» – не смотреть же, в самом деле, «тупого-еще-тупее-тупого», с когнитивным мышлением у Леонтия и без идиотизирующего публику Джима Керри случались большие проблемы в последние дни – перегрузка от переизбытка: инсталляции, инаугурации, инициации – информации, причем не только умозрительной, но и чувственной. И по ночам не спится, и бесконтрольный выход в интернет запрещен, Филон вообще арестовал его лэптоп, во избежание, так сказал. Приходится пробавляться стареньким плеером и не менее древним злобным роботом «с человеческим лицом». Зато погони отвлекали – хотя и знаешь наперед, что сейчас будет бам! а потом полыхнет бу-бум! а после очередью тра-та-та! но все равно переживаешь, что – вдруг! Саре Коннор не повезет, а Терминатор, наоборот, досрочно завоюет Землю, короче, на сей раз спасение мира кончится большим обломом.

Именно всякое, даже косвенное, упоминание раздуваемой Голливудом непомерной киношной жажды спасать мир подспудно не давало Леонтию покоя. Ни утром, ни днем, ни вечером, что уж говорить – пусть тогда и по ночам дурацкий «спасательный» миф вступает в свои права, все равно не спится. Не спится – так может разве подумается. В «идущем верной дорогой» направлении. Хотелось бы! Леонтий вообще терпеть не мог богатых коммерческих поделок на тему: последняя надежда человечества в лице одного-двух его представителей, страдающих комплексом Эдипа и Магомета, причем одновременно. На него даже порой находила-накатывала едва ли осуществимая блажь написать открытое письмо, по-английски тоже, всем представителям продюсерского фабрично-грезящего цеха, что дескать… Да снимайте вы, господа хорошие, ураганные голые боевики и прочие иные фантастические «бастеры» без разных там соплей-воплей, и вообще лучше без всякого, ладно бы и самого примитивного сюжета! Потому что, гиря до полу дошла. Пардон. Спасать мир совсем уж занятие глупое и бесперспективное, но разве объяснишь? Суррогатным сапиенсам, у которых от

рождения всего полно, и которые слишком кучеряво и скучно жили все то время, пока другие прочие вокруг привычно выживали. Разве объяснишь? Что как раз такие спасатели и есть наиглавнейшее зло, иначе – устраняют следствия катастроф, причины коих сами же и вызвали, и что – не лезь они никуда и не трогай они никого и ничего, прямо их не касающееся: однозначно те, кому приходится пока еще выживать, справились бы с этим занятием сами. Тихо-мирно, когда-нибудь, как-нибудь, но непременно бы справились. Разве объяснишь? Самое краеугольное – обычно в момент, когда уже по экрану валко тянулись постановочные титры (порой, возможно, самая содержательная часть отбарабанившего свое «сикве-приквела»), у Леонтия невольно выскакивал на поверхность сознания и языка вопрос: а дальше что? После спасения. И зачем? В принципе было спасать. Может, машины, населяющие землю, оно и к лучшему. В плане эволюции, в котором логично и по заслугам жизненное пространство достается победившему виду, и нигде ни одной теорией не говорится, что вид этот непременно будет человеческим. Ну, поставьте себя на место саблезубой кошки, или несчастного затравленного мамонтового стада – они бы тоже сняли свое кино, если бы могли. На тему, как чудесным образом гордо сносят башку последнему неандертальскому или первому кроманьонскому человеку. С точки зрения проигравшего весьма желательное развитие событий, а вот отскандалившему себе теплое и законное место под солнцем победителю все это, что называется, до лампочки Ильича. Справедливо или нет, для него более таких понятий не существует, потому что – дело прошлое, и прогресс, сука такая! он, мать его! не отвратим! Сколь сильно бы обиженному вымирающему виду ни хотелось обратного.

Но Леонтию не спалось не… совсем поэтому… если быть честным с самим собой. Не спалось же ему потому, что бестолковый тот, мудаковатый, протодебильный сюжетец как раз и мог, предполагаемо несчастливо, начать осуществляться в его собственной жизни. Еще не хватало, чтобы он, Леонтий! Такой дуростью! Тоже мне занятие – спасать! Да еще непонятно кого и что, вернее, кого от чего или наоборот. Ни фея, ни «филон» вовсе подобного ему не говорили, нормальные, вполне вменяемые пришельцы, они узколобой блажью бы не стали маяться. Но подозрение, смутное, тяжкое, и прямо сказать – неважнецкое, нехорошее, – обременяло душу Леонтия. «Вы никому ТАМ не нужны кроме нас». Было сказано. И было тревожно. Конечно, ни на миг Леонтий не то, что не мнил, а даже не пытался вообразить себя спасителем, противно это, избито и смешно, но некий оттенок фальшивого геройства, о котором он не просил, против

воли его накладывался на текущие события. Оттого именно, что не понимал он все-таки, ясно и отчетливо, от начала и до не наступившего еще конца, не понимал – что же такое происходит. А параллельные его «друзья-однополчане» пока тоже ничего толком не говорили. Он кожей чувствовал – можно спросить, они ответят, «чухонец», тот охотно. Но спрашивать не хотел, потому как чувствовал, уже не кожей, но мужественным мягким местом – он страшится ответа. И фея это знает о нем, и напарник ее тоже. Потому молчат. Ну и он помолчит пока. Он, Леонтий, случайное лицо, во всей этой начавшейся непонятной катавасии – он совершенно, абсолютно случайное лицо. Так вышло. Так он выбрал. На кой? Спрашивается.

Ведь вот оно как. На экране разве только отлично смотрится – храбрые папа-мама будущего спасителя рода людского, вперед! На нержавеющего монстра! Но Леонтий был более чем уверен в ответе, спроси любопытный простак настоящую Сару Коннор, буде бы такая существовала на свете, а каково на самом деле? Побеждать зло? Ответ получился бы крайне лапидарен. А так – пошел ты на…! Естественная реакция. И понятная. Оттого что, живому, подлинному герою, не занятому самолюбованием на «себя родного» со стороны, менее всего именно в герои хочется. Взять хотя бы подневольного папашу Джона Коннора, вот кого жалко, реально и действительно. А ну-ка кто попробуй! Резво прыгать или убегать с пулей в… в том месте, в каком с ней вообще возможно бегать. Притом еще истекать кровью, стрелять одновременно с обеих рук, соображать на ходу: вправо, влево тебе нужно или лучше провалиться совсем. Да не забыть о первостепенной задаче – механическую гадину в конечном итоге надо прикончить, и чтоб без следа. В придачу у тебя на шее беременная баба, которую требуется попутно охранять. И по пятам – полиция, которую предполагается благоразумно избегать. Думаю, выживи этот бедолага и встреться опять в грядущих временах со своим козлом-сыночком, м-м-м! Многое между ними было бы сказано друг другу, и не только на словах!

Нет, думал бессонно Леонтий, в «сарыконнор» я записываться не хочу. И, скажем, хоббитом Фродо становиться тоже, как-то не… Робкий невысоклик, иначе норный гомо рэббит, который идет на геройскую погибель, потому что пойти «кроме» некому. Что же, и обычный человек в чрезвычайных обстоятельствах может взять на себя чужую страшную ношу, вздыхая и ропща, но в конце всех концов смиряясь с участью, бла-бла-бла… и еще раз бла-бла-бла. Фигушки! Леонтий представил себя, виртуально, разумеется, на месте толкиенского Хранителя, ага! Повесил бы он потихоньку то колечко на ближайший к Мордору терновый куст и

был таков. Особенно если морально-вдохновительного Гэндальфа Серого не оказалось бы поблизости. С теми же словами бы повесил – а идите вы все на…! Точнее, сами идите, если такие умные! И даже если бы колечко то не повесилось, но соблазнило его совсем, тогда… эх, ради Леночки, исключительно! Он бы договорился с… нет, не с Сауроном, это чересчур, но с тем, у кого еще осталось среднее арифметическое количество бытовой совести – с Саруманом Белым, конечно. На наш век хватит, а после нас хоть потоп. С другой стороны – однако, к Косте Собакину он с покорным доносом не пошел. А ведь хотелось. И сейчас порой хочется, как накатит! Вправо? Влево? Куда? Не по Хуану ему досталось на сей раз сомбреро. Леонтий запутался окончательно, разозлился, ни на кого конкретно, а так вообще, с горя перезапустил Терминатора, опять с начала, нет, не уснуть! Бессонница замучила его.

А мучила бессонница Леонтия – территориально в весьма интересном месте. В неожиданном, можно сказать. Место это было – жалованная генеральская дача, наследство пресловутого Ваньки Коземаслова в пресловутом же Завидово. Так что, беглецы, собравшись с духом и наличными силами, взяли и отправились… не то, чтобы далеко. Не в Крым, не в Рым, уж конечно, ни в какую не в Сибирь, а так, в близлежащую, по соседству, Тверскую область. Полтора часа хорошим ходом на хорошей машине – вон он, вон он Ящер, под навесом на дворе! – и ты уже ласточкой влетаешь в пределы величайшего современного достижения русской транспортной мысли: на Московскую кольцевую автодорогу. Так что, дезертир-партизан из Леонтия сложился сомнительный. Это-то и расхолаживало, но и действовало на нервы, как бы нарочно ставя всю нынешнюю миссию в положение шаткое, ложное, словно бы и призрачное, фантазийно-театральное. Если бы и впрямь, пускай подобие амбразуры, пускай! Бега, погони, преследования, следствия, даже аресты, пускай! Конечно, не то, чтобы Леонтий стремился добровольно к революционно-каторжным испытаниям, упаси боже! Но допускал. Допускал, что может быть таково. Внутренне направлял себя, к униженному странствию отторгнутого изгоя, к общему и плацкартному грязному вагону, к пешему неприкаянному скитанию, к поимке с прицельной перестрелкой, к допросу с пристрастием – ко всему им надуманному и подавно не был он готов, и не был уверен, что дойдет хоть куда, но будто бы полагал, что знает – чего ожидать. На деле вышло – через пень колоду, насмешка над подвижничеством, над паломничеством, над отшельничеством? Тьфу! Пропасть! Вышел анекдот, вот что! В реальности – все не так уж плохо, не так уж страшно, как-то и

обыденно даже, но здесь сокрыта всякая пакость и загвоздка. Казалось Леонтию – миссия их будто бы кратковременна, Тверская область, ха! Если Пальмира согласилась, и с радостью согласилась, то положение их несерьезно, разве подстраховаться на случай. Может, неделя-другая, календарный месяц от силы, да разберутся они! С этими течениями, тоже мне, подумаешь, арабо-израильский конфликт! Так размышлял Леонтий. А дальше – как разберутся, – пришельцы отправятся восвояси, сам же прямиком к Собакину, наплетет, с три короба, а хотя бы и правду-матку прирежет, хочешь, верь, не хочешь, пятнадцать суток за оскорбление должностного лица, все равно. Пальмира и Филон будут уже далеко, поди, проверь! А может, может! Пальмира вовсе не бросит его на произвол и судебное разбирательство, кто ведает, что в ее власти? Подкуп, откуп, закуп, пыль в глаза? Вот уже десятый день пошел, как сидят они на коземасловской даче, и что? Никто ворота не штурмует, они вовсе открыты, никто с полицейским нарядом не приходит – предъявите ваши документы, а и договор аренды в полном ажуре, никто даже сторожа не подсылает: поднюхать, подглядеть и подслушать. Так ведь и прежде – до Пальмиры и ее «чухонца» никому из «власть содержащих в порядке» дела не было, пока Леонтий сам, образно говоря, не проявил инициативу. Но и после – разве незаконные обитатели квартиры профессора Тер-Геворкяна значились в первых строках «особой важности» списка у того же Собакина? На всякий случай проверить – максимум! Дойдут руки, хорошо, а нет – Ленька, ленивец и бестолочь, лишь бы ему отбоярится, утек на огороды, ну и расписные кренделя с ним! Это минимум. Не афганские террористы, не пентагоновские шпионы, и даже не южнобутовские гопники. Наверное, Костя только с паршивенькой бумажонкой на скрытое наблюдение не одну неделю промается, тоже ведь разрешение надо показать, а для этого надо доказать, что… что гламурствующий журналист Л. Годо потенциальный изменник Родины… брррр… нет, лучше – потенциальный укрыватель, или покрыватель, рядовых серийных аферистов, работающих, к примеру, по бесхозному элитному жилью и сдаче оного подложно внаем. Если контора у Кости статусная, а она уж точно такова, как бы не услышал Собакин в ответ – то самое, ага! А пошел ты на…! Со своими квартирными, пробирными, сортирными, и проч. аферистами, у нас здесь люди серьезным делом заняты, а ты! Передай в «ментовку» и не морочь мозги товарищам. Чтобы бумагу твою бравые полицейские дознаватели засунули в самую… дальнюю точку мужественного мягкого места, или вообще культурно потеряли насовсем. Не переться же им оперативно в Завидово, да еще на генеральскую дачу, по поводу…

а по какому, собственно, поводу? Дела-то никакого нет. Ни уголовного, ни административного. Ни заявления от потерпевшего, то бишь, Леонтия, ни жалоб от соседних жильцов, даже и на укропную вонь. Скажут участковому – Петров-Иванов-Сидоров, присмотри вполглаза, вдруг и «рупь» халявный выжулить можно? Это, если скажут. Иначе – увидит он Леночку, скоро увидит. И все свое вернет, жизнь, работу, эфир на радио – официально наплел с три короба, будто по состоянию сотрясенного здоровья, берет за свой счет – а за чей же еще! И на воды в Пятигорск! Даже Граммофон посочувствовал, хотя гроша ломанного на поправку не дал, зато опять призвал Звездинского, держа за Леонтием предусмотрительно место. Все вернется, и все вернет! Гарсоньерку, мальчика Аркашу, расписание и быт, все не так уж плохо и все это ненадолго, Тверская область, Завидово, генеральская дача, Ванька Коземаслов. О последнем персонаже Леонтий думал-передумывал в бессонные «терминаторские» ночи особенно навязчиво и напряженно.

Ситуация с Коземасловым казалась ему чудовищно пародийной, без преувеличений. Но, однако, и поучительной. В назидательно-метафизическом смысле. Как все вышло? До смешного легкого. В день, отпущенный Леонтию на сборы. Ванька приперся с утра, тут как тут, ему хотелось до медленной, пыточной смерти поделиться своим прозорливым превосходством. Насчет валютно-обменных операций. Деньгу-то Коземаслов отоварил удачно и в полной мере, теперь настал черед поучать других. Леонтий в этом плане казался ему существом самым безопасным – не обложит по матушке (и воспитание не дозволит, и попутное любопытство к подробностям не даст покоя), уж тем более, не заедет в «морду лица»: дескать, где ты был, советчик-антисоветчик! пока мои рублевые кровные летели в трубу, а теперь похваляться, ах ты, тля?! Последнее отвергалось напрочь потому, что свободных крупных сумм у борзописца Л. Годо от начала деловой карьеры никогда не водилось, интерес его к выгодам Коземаслова мог быть только абстрактного свойства, оттого тому же Ваньке ничего не стоило приврать на свой счет, хотя чего и привирать? Таланты его были известны всесторонне уже давно и так же давно никого не удивляли, ври не ври, в случае Коземаслова выходило, что больше правды все равно не скажешь. Это льстило тоже, и у Леонтия на кухне оборотистый незваный гость, хлебнув пакетного «ахмад-ти», стал заливаться утренним соловьем-разбойником. Сначала для приличия о том, как с военно-полевыми трудностями достал для Сестрорецкой тетки натурального, контрабандного барсучьего жира – от спондилеза, от спондилеза, как ты упомнил-

то? – пользы, наверное, не случится, но и вреда не будет тоже, зато трепетное внимание племянника, дай бог, завещательно зачтется: а там картины, серебро, антикварный ломберный столик «цены немалой», и прочее. Перечисление заняло немногим более трех минут, ибо Коземаслов спешил перейти к заглавному предмету – кипучей своей, купчей деятельности. Он и перешел – тут уж не упустил ни единой малюсенькой деталюшки. На пятом заварочном пакете не авантажно спохватился – надо в туалет, потом зарядил опять, будто крупный победный весенний дождь по подоконнику, барабанная дробь, Леонтий слушал даже не без удовольствия, все же брала его тоска. Вдруг и Коземаслова тоже, не увидит, надолго, случись что, и навсегда? Привык он, к Ваньке. Такая жизнь.

Отчего он спросил? Отчего нелепая мысль пришла ему в голову? Мысль, оказавшаяся впоследствии ничуть не нелепой, но на поверку удачной и находчивой. Вся истина заключалась в том, – хотя и тяжко признаться самому себе, – ни к какому побегу не был он готов, ни морально, ни материально, ни тем более, физически. Старался, будто и подсознательно, отсрочить, отстранить, отодвинуть – возможно, бесповоротное прекращение нынешней его, устоявшейся реальности, и перемену текущего спокойного бытия на черт знает что, на крысиные бега, на шараханья от тени, – он не мог не пойти, в девять вечера был положен ему предел, но и пойти – не мог найти в себе силы. Потому спросил. А не сдает ли дружище Коземаслов в данный момент свою наследную фазенду? Есть надежный клиент, очень денежный – за глаза уверен был, что Пальмира ни в коем случае мелочиться не станет, и за ценой не постоит. Если вариант подойдет. Вместо Сибири. Ванька сперва насторожился, потом с ходу принялся выпендриваться и дорожиться, потом – уразумев нюхом и брюхом, что Леонтий тут финансово не при делах, лицо кошельком стороннее, комиссионных не выгадывающее, и вообще, старающееся «христа ради», тон сменил. На благолепно-откровенно-угоднический. Фазенда, да. Она пока не сдана. Ранней весной это тяжело, хотя у него есть предварительная договоренность с Первого мая и на все лето, от прежних клиентов словесное обещание. Но в наше время, да на слово! Нет, верить нельзя. Никак нельзя. Коземаслов сокрушенно тряс головой, дрыгал рассерженной ножкой, с угрозой поднимал палец к давно не мытому кухонному абажуру. Потому, если за наличные, то… как, прямо сегодня? Даже так? Во сколько? В девять вечера? Зачем ждать так долго? Ах, связь односторонняя. Но люди ищут срочно? Аж горит! Во ка-а-ак? А что вдруг? Понимаешь, Ваня, тут такое дело. Конфиденциальное. Одна дама, моя знакомая…

Можешь не продолжать, гнездышко, и все прочее, для взаимной любви, ну ты хват! И платит за все она? А то! У меня откуда? (Вот и записался в альфонсы, счастье еще, что для Коземаслова и всего его окружения это «мужчинский» подвиг, а не вселенский позор, тем и утешил себя Леонтий). Платит не просто сумму, а вдвое против рыночной цены, или как там называется? В общем, платит много. Только строго секретно. Под страхом распятия вниз головой. Чтоб ни-ни! У нее муж не обычный муж, а… Коземаслов понимающе ухмыльнулся и подсказал: муж у нее волшебник! Случись что – заколдует. Если бы, – вздохнул нарочно Леонтий, – сразу прямо и закопает, в его власти. Однако Коземаслов ничуть не испугался, двойная цена затмила ему все – ум, разум, и даже предрассудок. Да и потом, – осенило вдруг Леонтия, – за Ваньку не стоит переживать. Горластый, ухватистый, скандальный, мелочный, четко знающий свои права при общем равноправии, и свои обязанности при общем «либеральном» попустительстве, жаль будет Собакина или кто там придет от него. Ваньку и удостоверение не устрашит, любое, он за двойную прибыль… да что угодно! Не продаст, потому что уже куплен. А запугивать Коземаслова – дохлый номер, тем более, брать на «понт». Не то, чтобы Ванька так уж и был намного отважнее и храбрее самого Леонтия, нет, зато, несомненно, заполошной крикливости и неуемному кипешу его позавидовал бы целый средневековый еврейский кагал в момент угрозы погрома, потому – выпытать у Ваньки нечто, ему не выгодное, и сам бы Лаврентий Палыч спасовал, пришлось бы торговаться. Нынешние хозяева Кости Собакина по счастью торговаться не умели, брали голой силушкой, а против Ваньки силовое воздействие, что решето супротив стремнинной воды. Леонтий все это сообразил за десяток секунд, потому принялся и далее расписывать Коземаслову чудеса грядущей аренды. Сомневаясь и боясь одновременно, в первом случае – что угадал с предложением, во втором – что Пальмира на ближнее убежище нипочем не согласится. Но все равно, мчал вперед, повинуясь одному голому наитию, более не было у него резонов: почему именно свет клином на коземасловской даче?

Леонтий продолжил в первоначальном, нагловатом духе. Кстати, расходы по оформлению дама принимает на себя, но собственно договор на имя… На твое, на твое! – радостно подхватил сообразительный Коземаслов. Услаждайся, сколько влезет, на пушечный выстрел никого не подпущу! Только предоплата… Как же! Все по честному-благородному – за полгода вперед. Ванька тут вовсе запрыгал мячиком на табурете, загалдел восторженно-невнятно, все же не усидел, заметался по кухне.

Зачем-то стал совать Леонтию в виде премиального бонуса визитку «своего» стоматолога, который сделает хорошую скидку на зубной протез.??? Леонтий еле успокоил его, пришлось налить, с полстакана хорошей водки «грей гус», приберегал на день рождения Граммофона, пришлось располовинить чистую бутылку, только чего уж теперь жалеть?

А еще последовательно подумалось ему, в тот момент, когда и себе – не смотреть же? – плеснул пальца на три. Ванька как раз ретиво принялся жарить яичницу «полу-омлет» – гибрид болтушки с кетчупом, – спина его мелко вздрагивала от предвкушения: водку он предполагал выудить у Леонтия всю, оттого и взялся куховарить. Далась Коземаслову эта яичница! Хмыкнул предосудительно в сердцах – а чего, собственно он хотел? В пределах гарсоньерки яйца были единственно свежим и приемлемым продуктом, кроме разве рижских соленых сухариков, не оставлять же в холодильнике, тухнуть и гнить на срок, совершенно неопределенный? Что же, смотрел он на Ванькину трепещущую голодно спину и думал. О нем – а он ведь тоже. Из той самой породы, из «сорочье-вороньей», как и тети-дяди-ассенизаторы, нагрянувшие на беду к Сцилле. Только, положеньицем социально-сословным повыше, да пообразованней малость и пошустрее, как раз в силу этой образованности. И не ради пары якутских бриллиантовых гарнитуров и квартирки на юге, но старается Ванька за высокий куш – сандалового дерева ломберный столик, два полотна В. Маковского, из которых одно точно подлинное, полный столовый набор серебра в стиле модерн конца девятнадцатого века, на двенадцать персон, вдовий дом под Питером в целых восемь комнат, не считая погреба и пристроенного гаража, и много чего еще второстепенно-существенного. А так – что разница между шакалящей гиеной или гиенствующим шакалом. Санитары общественного леса и классового самосознания. Дожирают то, что не дожрали перебившие друг дружку серые волки.

Хотя, зря он взъелся. Как раз крохоборная жадность Коземаслова казалась ему воистину гарантом надежности и нерушимости: нет, не подвела интуиция, родимая, знала, кому довериться. Тому, кто серебряный доллар зубами перегрызет – попробуй, отними. Да и потом, главное. Такие, как тети-дяди-ассенизаторы, Коземасловы-Васятниковы, как раз в глубине души истово ненавидят власть, хотя на виду и прислуживают усердно, почему? Возникает вопрос. «Элементарно Ватсон!». Потому что единственно с властью предержащей «сорочинцы» не могут сладить, когда эта власть патриотично хочет у них что-либо отнять, и порой отнимает без оговорок, самое обидное, грабеж

происходит, как правило, средь бела дня, явно, напоказ, еще и виноват окажешься. Сбережения, накопления, схоронки, укрытки, сундуки-рундуки, все, что нажито, нахапано, загребуще-завидуще, все-все! «За так» отдай, за дефолт, за облигацию, за девальвацию, за злостную эмиграцию. И радуйся. Не то, хуже будет. Потому каждый Коземаслов давно решил про себя – спросят, так молчи, нашел-потерял, все едино. Молчи, с одной стороны, о том, что имеешь, и по-сиротски поддельно скули со стороны другой, мол, грабят-убивают честного, скромного обывателя. Какой-такой Гусицын? Знать ничего не знаю, и вообще, как раз сейчас пишу в Страсбургский суд по правам человека. Еще и не трогал никто толком, так, едва руку протянули, а уже вопиет, уже – вони пошло, точно от американского скунса, дальше только злее будет. Ни один правоверно-правдоискательствующий, всамделишне-бескорыстный либерал таково не разорется, потому как задаром так и не орут, стимула настоящего нет. Ситуация чреватая. Тут надо разве солидный обменный бонус предложить, чтобы Ванька сдал. А власть, она на этот счет – прижимиста, что и понятно. Заинтересованность у нее казенно-служебная, а у Ваньки, напротив, захребетно-кровная. Такие Коземасловы не одну смену «сорочьих» поколений, поди, с ней, с родимой, играют в догони-найди-утрись-ка. И частенько выигрывают, потому что, в отличие от Леонтия, слишком хорошо знают хитрые правила навязанной игры. И правила те полу-уголовные: никому нипочем не верь, никого, ни мертвых, ни живых, не бойся, но ежели чего просишь, делай так, чтобы дурак сам тебе предложил, а ты как бы условно согласился. Главное же, завсегда чти свою выгоду! А за безгонорарную идею пусть всякие «ириныхакамады» стараются, мы пока в сторонке обождем.

Вот и получалось. Как в известной народной притче о замерзающем воробье, гадящей корове и ловкой кошке. Не всякий тебе враг, кто искупал в дерьме, и далеко не всякий тебе друг, кто из того дерьма вытащил. Выходит – на сегодня лучший друг ему Ванька Коземаслов? А возможный безжалостный недруг – все равно, что родной, Костя Собакин? В который раз Леонтию приходилось опять признавать – просто такая жизнь. А пошла она на…!

Он закрыл глаза, отгородив себя от зверствовавшего показательно в полицейском участке «железного Арнольда», от лунного света, бессовестно пробивавшегося из-под скошенных неровно планок алюминиевых жалюзи, от реальности абсолютной и относительной, от мира, от кровати, от всего вообще. Как же хочется спать! Хоть на часок. Леонтию предстоял не то, чтобы трудный, но рискованный и непонятный в исходе день. На завтра

запланирован был их совместный с Пальмирой визит в Москву. И опять без Коземаслова не обошлось. Что же – вышел бы толк.

Здесь Родос, здесь прыгай!

Леонтий лениво слонялся по душному залу, равномерно и непрестанно накалявшемуся от раздражающих своим все обнажающим сиянием световых софитов, в одной руке стиснув на манер царского жезла высоченный бокал с ядовито-шипучим шампанским «асти-мондоро», в другой – скрепив намертво вместо державы тарелку с рассыпающимися на составные части закусочными тарталетками: горка переморожeнного масла и сверху три оранжевые икринки, оставалось надеяться, что все же от лососевых рыб. Борзописец Л. Годо отчаянно скучал. Или усердно делал вид, создавал впечатление, наводил тень на плетень. Только не выдать свой интерес! К тому, что происходило на единственно оживленном пятачке возле бесплатного бара – наливали всем желающим сколь угодно и чего угодно, не жалко, на вяло-торжественном приеме, преувеличенно выдававшемся организаторами за великосветский раут в честь открытия года помощи малолетним исполнителям фольклорных песен, все наличное «бухло» было барахло полное, Леонтий уж отведал от каждого по чуть-чуть. «Асти-мондоро» оказалось наименьшим и наилучшим из веселящих публику зол. Но привередничать не имел права – он обеспечивал будто бы и тыл Пальмире, работавшей в данный момент «под прикрытием». Иначе – бедняжка вот уже битых полчаса выслушивала оголтелую ересь, которую нес совершенно уже занесшийся и зазнавшийся Пашка Дарвалдаев.

Все случилось, как по писанному. Когда Леонтию было сказано – пора! Пора выводить на Дарвалдаева – план по охмурению Пашки заманчивыми капиталами в женском обличье был одобрен и принят почти без оговорок. Разве «чухонец» поморщился: мол, пошлость какая! Но возразить Леонтию оказалось нечего: действительно, пошлость ужасная. К тому же, попрекнуть намеренно: дескать, шел бы сам, чем советы давать из угла – никак выходило нельзя, ибо вечно брюзжащий Медиотирренский придира как раз был не той половой принадлежности и пойти вместо Пальмиры ни за что не мог, и уж тем более, по причине своей светской некомпетентности, не годился на место самого Леонтия. На том и порешили. И тут, будто он генетически чувствовал всякую тоскующую по нему пустоту, позвонил Коземаслов. На строго секретный телефонный номер, который дал ему собственноручно Леонтий, и который, вот странность! сам он получил у Пальмиры по первому требованию, без предупреждений и оговорок.

Ванька всего лишь бездельно интересовался, как дела? А никак, все идет своим чередом и все идет слишком уж обыденно, как бы не выдохлись отношения, не пали в однообразную рутину – вот, хочется вывести свою даму сердца в приличные люди, само собой, иного для нее круга, во избежание ненужных знакомых встреч. Так не в курсе ли их заботливый домохозяин: что интересненького сейчас в культурных сообществах, и особенно – какие именно мероприятия намерен посетить их общий дружище Дарвалдаев? Такой масштабный человечище – его даме сердца будет любопытно познакомиться с пророком нынешней русской словесной свободы. Леонтий говорил все это в свой старый верный «самсунггэлэкси», сменивший только карту-симку, но никак не многострадальный внешний вид (приключение с соплеменниками Аг-ры не прошло даром, по всей плоскости экрана обиженным зигзагом струилась трещина – будто морщинка на память). Говорил, и представлял себе, как на дальнем расстоянии от него, Коземаслов, не удержавшись, покрутил пальцем у виска, все равно Леонтий его видеть не мог. Дескать, ну и дурень ты, мил человек! Кто же станет знакомить даму сердца, красивую и состоятельную, с Пашкой Дарвалдаевым? С персонажем, далеким от мушкетерской чести – уведет ведь! Ну, или попробует. Обязательно попробует, еще и соперника опорочит, мимоходом, подозрением в содомском грехе – в первый раз что ли? Известное наперед дело. Но если подумать, хозяин барин. Хочется Леонтию веселить подругу на столь странный манер, так это его забота, уж никак не самого Коземаслова. Потому Ванька сразу и охотно выдал всю требуемую информацию. Завтра, в три часа по «афтенуну» Дарвалдаев почтит своим присутствием какой-то дурацкий прием, и не в приеме суть – у него встреча с возможным спонсором, придет обязательно, куда? Ага, погоди. Да! Гостиница «Марко Поло», адрес… ах, Леонтий хорошо знает, где это? А вот чего он не знае-е-ет (нарочито-злорадно пропето, естественно для Ваньки)… так это того, что с регистрацией он опоздал, в списки уже поздно, но кажется возможно за пожертвования в кассу. Если его сердечная дама раскошелится. Хихикнул, не сдержавшись. Видимо, развеселил его тот факт, что за операцию «умыкания» подруги придется еще и заплатить кругленькую сумму. Леонтий тогда пропустил коземасловский смешок как посторонний. Ему самому точно было не до смеха.

Вообще все то время, что он сиднем сидел на «обетованной» даче, некоторые, хотя и немногие новые странности не давали ему покоя. Не одна лишь бессонница, разразившаяся над ним, словно египетская казнь за неповиновение воле господней. Но вот

ничем не объясняемый запрет бесконтрольно – то есть, по собственному свободному желанию, – выходить в интернет. Он пробовал втолковать «чухонцу» – переписка с тиражными журнальными и газетными издательствами есть часть его работы, Кисловодск, конечно, Кисловодском, но никакое лечение, кроме разве электрошоком, не выставить уважительной причиной неделания простых писательских поручений в форме заказанных ему писем, отзывов и статей. Вышибут и дорого не возьмут! Увещевал он Филона, и надо ли повторяться, что с нулевой и даже отрицательной прибылью – в итоге «чухонец» вообще не отходил ни на шаг все то время, пока на руки Леонтию выдавался его же собственный лэптоп, все равно – писал ли он письмо Леночке, или занимался постылым розыском уже и по совершенно безумным сектам. Вдобавок к вышеуказанным неудобствам, пользоваться верным цифровым рабом приходилось через какую-то, сомнительного вида штуковину, более напоминавшую безголовую пупырчатую жабу, чем скажем, модемное или иное трансляционное устройство. Пахла штуковина соответственно – тухлой рыбой и ацетоном, сочетание премерзейшее. Отчего у пришельцев-добровольцев все так? Все так воняет и так выглядит? С полотерной транспортерной машиной дело более-менее понятно, она «дает путевку в жизнь» эффекту Ариовиста, стало быть, вещь полезная. А с компьютерной жабой сплошная функциональная «невнятность». Какой в ней смысл? Страховка, петля заячьего следа, ускорение и расширение? И подключается не как все нормальные приставки, дистанционно или с помощью провода обыкновенного, нет, она словно бы присасывается к нужному порту или к нескольким одновременно, растекается, разбухает, как если бы питается потоками инфракрасными и электрическим. Неужто, она живая? Или, что много хуже, разумная? От одного этого предположения сознание Леонтия впадало в морально-эстетический ступор. Он ведь и выражался в присутствии… то есть порой чехвостил вонючку последними в приличном лексиконе словами. Или все же нет? Ацетон запах явно неорганический. Зато тухлая рыба… Гадать можно было без конца, а спрашивать Филона – безнадежно. Пальмира тоже ничего не говорила, кроме только двух слов «необходимая мера». Однако, он подозревал, что ацетоновая серо-зеленая тухлятина – не что иное, как преобразившийся по неизвестному принципу и прежде знакомый Леонтию пурпурный, проворный мячик, без которого «плерум» для перемещений оставался всего-навсего грудой мертвого металла, ну или той субстанции, из которой он на самом деле был сотворен.

Искал он в пространствах «буков» и твитнутых «контактов» все то же. Религиозные течения, неладны они будь в своей реальности и виртуальности! отягощенные ссылками теперь уже на Дарвалдаева. Порой течения эти мерещились ему в монструозном виде, в краткие мгновения забывчивого сна, отравляя и без того вымученный у бессонного бдения мимолетный отдых. Будто бы река расплавленного металла – и тут никак было не миновать навязчивых аллюзий-мороков на подвиги надоедливого Терминатора! – она текла и текла гипнотически-безостановочно, но Леонтию так надо было перейти ее вброд! Так надо было! Сновидение не снисходило до пояснения – зачем. Надо! И не перейти. За спиной его раздавалось убийственно мерное тик-так-тик-так, как если бы невидимый тамбурмажор задавал ритм для штурмового марша, но повернуться и посмотреть или отступить назад Леонтий не имел никаких сил, он только повторял, повторял, до крика – мне надо! Надо перейти! На ту сторону. Где все тоже самое и ничего нет. И в нем самом пустота, и ничего нет. Кроме давящего, спастического чувства ужаса – тик-так-тик-так. Расплавленный металл, его собственный прорывающийся в явь испуганный вопль, он просыпался в липком, жгущем кожу поту, садился в кровати, глядел в темный, непрозрачного дерева потолок своей мансарды-спальни будто в бездну, и уже не мог заснуть до самого утра. А самоотверженный его, компьютерный поиск так и не завершился успехом. Потому и возник просьба-вопрос к Коземаслову, и потому – он слоняется теперь с занудной назойливостью маятника по гостиничному холлу, с бокалом скверного игристого вина в одной руке, и тарелкой с несъедобными тарталетками в другой. А Дарвалдаев все говорит и говорит, пусть до смерти себя самого заболтает, лишь бы хоть ниточка, хоть намек, хоть хлебная крошка для Гензеля и Гретель, и поскорее бы им выбраться наружу. На воздух и нормальный, солнечный свет.

Леонтия окликнули вдруг, дружелюбно, но и настырно, «Лео, брателло! Ба, знакомые все морды лица!» Обращение было более чем, фамильярно-панибратским, он как-то даже испуганно оглянулся. Кто бы это мог быть? Оказалось – закадычные соавторы, литературно-пародийный тандем Симак и Коляда. Фамилии собственные, на удивление, не псевдонимы, они так и подписывали свои коварные опусы «Симак-Коляда» без инициалов и прочих указаний на авторские род и пол. В некоторых кругах попроще, подобных им персонажей, иначе записных шутников, называли «приколистами». Леонтий хорошо знал этот сложившийся в последние времена производственно-творческий тип а-ля «ильфопетровка 50», цифра 50 возникла отнюдь не по

фантасмагоричной аналогии с булгаковской «нехорошей квартирой», но всего лишь в параллель Б. Никитской, где по схожему адресу располагался уцелевший Писательский Союз. Многие совестливые и не найденные до поры таланты, желающие переждать черные безденежные времена, устремлялись в коммерчески выгодную и не чересчур «желтую» пародийную степь, где царили «полный глумеж и стеб» над чем угодно и как угодно, стремились, да, многие, но не многие, как то и положено простым законом естественного отбора, достигали ощутимого успеха. Именно сообщество Симак-Коляда, случай нельзя сказать, чтобы исключительный, такого успеха смогли достичь. Леонтий очень даже представлял себе почему. Всего-навсего созидающая «продукт» удачливая парочка выполняла главное и необходимое условие любой суперуспешной пакостно-ироничной поделки. Включая, понятное дело, непременное наличие порогового, проходного значения таланта обыкновенного. Они, без преувеличений и исключений, стойко работали в паре. Потому как, злобно-глумливое произведение, это вам не «Дворянское гнездо» Тургенева, и даже не «Молодая гвардия» Фадеева, требующие усидчивых, отшельнических трудов-изысканий. Там, где повествование идет не столько вширь, сколько устремляется вглубь, без кабинетной изоляции не обойтись. Напротив, если заявлен лишь возможно более широкий охват событий текущих и явлений поверхностных, тут уж один ум хорошо, а два еще лучше, свой глазок смотрок, а четыре глазка высмотрят чего нарочно не придумаешь. Потому – уж так сложилось, юмор-сатира в одиночку пишутся плохо. Если само собой, ты не безумный, редкий гений, балующийся порой пустяками. Иначе – требуется эффект «трута и огнива», чтобы из искры вышло пламя, когда экспромт-издевка передается соседу, порождая пограничный в пристойности сарказм, одно нарочное языковое искажение цепляется за другое, и возникает неплохо продаваемое произведение, скоро и споро разбираемое читателями на повседневно употребляемые гэги и клише.

Симак-Коляда были авторами себя уважающими, что значит – «употреблявшими по назначению» только самые расхожие в российском обществе франшизы. К порождениям их пера относились, в частности, следующие бессмертные творения: «Парк юркого гибрида» в трех последовательных частях, противный любой конструктивной мысли «АлКхимик или военрук и Света», так же совершенно уже скандальная, апокалиптическая эпопея «Рельсы 2041», «Шпалы 2042» и «Полный каюк РЖД 2043». В отношении всяких там «гаррипотеров» и «властелинокольцов», однако, они считали недостойным себя повторяться, вернее,

повторять за другими прочими уже переваренное и выданное на книжные прилавки и в общедоступное «интернет-скачивание». Симак-Коляда свой созидательный союз ценили и не разменивали на мелочи. Они уже пустили слух, что в неотдаленном будущем, о-о-о! ни в коем случае не пропустите или сами себе не простите! В ближайшем и непосредственно грядущем времени, то есть уже вот-вот, ожидается типографское рождение окончательной версии «Горы пустых престолов», может даже и в шести отдельных томах. Причем каждый очередной том, если, разумеется, то пропустит цензура, планировалось прямо назвать «Жопа 1, 2…» и так далее. Без обиняков.

Леонтий не слишком торопливо, с достоинством, подошел к порядком уже нализавшимся соавторам. Хоть какое развлечение. Симак-Коляда даже и в нетранспортабельном виде никогда не давали слабину на язык, точнее на пару языков, змеино-жалящих и обидно-неограничительных.

– Обставил тебя Пашка-мордашка! – тут же уныло-ехидно сообщил ему первый номер литературного тандема, коротко стриженный, каким-то неестественным наждачным ежиком, вечно обморочно-тощий и неопрятно-небритый, похожий на беглеца из мест отдаленных, то ли уже господин, то ли еще товарищ, Симак.

– Пашка-какашка! Пашка-негритяшка! Пашка-смирительнаярубашка! – выстрелил трескучей очередью невнятную белиберду номер второй, колобкообразный Коляда, лысина его, необыкновенной, дынной продолговатой формы возбужденно светилась. Коляда был пьян куда основательней своего «содельника», кажется, уже до той гранично-приличной степени, когда нужно удалиться по-английски, во избежание скандала.

– А-а-а-а! Капитан очевидность! Тоже мне, – в ответ только и выдал Леонтий, для вящего эффекта махнул решительно рукой, будто обрубал концы случайного, надоевшего романа. Пусть думают, дескать, Пальмира к нему не имеет слишком уж сердечного отношения, что на самом деле было более чем, правдой, о которой ведал лишь он один. Однако, надо же, углядели, стрекозлы этакие! Ну, пародистам-приколистам сам бог Момус велел смотреть в оба.

Завязалась необязательная, легкомысленная, вольнотематическая беседа. Какие и всегда завязываются в подобных случаях. Знакомые меж собой, и в принципе, благорасположенные друг к другу люди сталкиваются изредка на общих для их круга плановых и стихийно возникающих «по поводу» тусовках, хоть бы они не виделись еще лет сорок, не много бы и потеряли, но раз встретились, то… по настроению.

Если градус слаб, разговор сам собой дрейфует в неизбежную, зараженную, будто радиоактивным осадком, политическую гавань, любые разногласия здесь могут привести и к настоящей многолетней мстительной ссоре, или к поражению противника унизительно-провокационным клеймом, от которого век не отмоешься.

Хотя в последнее время сам Леонтий путался порой в общественных настроениях. К примеру, недавно-прежде словосочетание «либерал окаянный», звучавшее как похвальное ругательство, отнюдь не позорило своего носителя, но с некоторых пор, когда к понятию «либерал» стали добавлять эпитет «поганый» или «вонючий», и добавлять презрительно, Леонтий несколько подрастерялся. Кончено, остров-Крым, экспансия и агрессия, всё это вновь возникшие реалии российской жизни. Но слово-то хорошее, с богатой и почетной историей, – взять хотя бы карлистские войны в Испании, – отчего вдруг сделалось оно каиновой постыдной печатью? Потому что, ЛТЧИЙ ГЛДЕЦ, по тому же самому. Отвечал Леонтий себе, кто иной стал бы его слушать? От бездумности и безграмотности. От несознательного порыва срочно поделиться на своих и чужаков, плевать по какому избирательному расчету и основанию, лишь бы поскорее. Все это понятно, но надо же и соображать слегка. Для начала, тем отдельным, доверенным персонам, кои выходят публично на экраны, в радиоэфиры, в новостные интернет-порталы, на страницы печатных газет, с мало обдуманными в последствиях выражениями. Оно конечно! патриотизм – это в известной степени спасительная вещь, до поры, пока знамя его не перекрасится из общенародного триколора в черносотенный полузабытый цвет. Потому что, произнесенное слово есть самая страшная и самая мощная на земле власть, и как же пользоваться ею без меры? Если «либерализм» – это отвратительная бяка, то что же тогда конфетка? Если в разгоняющемся автомобиле действует непременно педаль газа, то как же потом обойтись без тормоза, заранее изъятого неблагоразумно из конструкции? Если положено начало для травли хоть кого-нибудь, хоть по какому обличению, но вне закона, как удержать толпу от самодеятельной, отвратительной расправы? И как вообще удержать потерявший самоконтроль народ от того, чтобы он не стал толпой? Вот на эти свои вопросы Леонтий пока не видел ответа. Не то, чтобы он не знал, как всякий общительный, достаточно образованный столичный житель, он знал, еще бы! Но не видел. Не видел вокруг себя, ни ответа, ни желания его давать. Потому, нарочно избегал он «зараженных» тем, ибо ничего не мог сказать своим собеседникам утешительного, а врать? Ему никто

официально и не предлагал, он не был допущен. И думал теперь, может оно и к лучшему?

С духовными близняшками-пародистами врать, надевать личину, кривить душой совсем не требовалось, Симак-Коляда политикой и общественно-социальной сферой отношений интересовались лишь постольку-поскольку, разве сфера эта выделяла из себя нечто непроходи-мимо кричащее и вопиющее, что даже замороченный спамом дурак не мог бы ее не заметить и не запомнить надолго – на тот срок, который потребен для издания следующего глумливого творения. Так, февральские севастопольские события, словно катализатор, помогли выбросить стремительно на книжные и виртуальные прилавки довольно едкий «романец» с несколько чреватым названием «Пруха», начинавшийся завлекательно: американский эскадренный миноносец «Офф Фаг» крался вдоль освещенных кострами аборигенов скал Феодосии. Или галстучная эпопея опереточного гения М. Саакашвили подтолкнула обоих «братьев из ларца» наваять что-то вроде многокуплетной переделки на расхожий мотив, «в Цхинвале танки грохотали», а дальше нецензурно про целый воз со съедобными подштанниками для грузинского президента. Но это были все цветочки. Впереди – о чем Леонтий еще не ведал, и потому к поделкам Симак-Коляды относился снисходительно, – открывались перед юродствующей парочкой совсем иные высоты, лишь подтвердившие во времени его пророческую невольную правоту: дай спуск, на полную катушку, и стоп-крана не будет. О скором падении малазийского боинга, событии, в общем-то, мало пригодном для веселья, эти признанные шутники еще сочинят ерническую, забойную хохмушку-частушку на сюжет «гусь был весел и смел, гордо в небе парил», старинной студенческой песенки, повествующей о неравной борьбе гусака перелетного и «фантома», летящего с бомбогрузом на Вьетнам. О хронологически последующем затем убийстве «крайне левого» либерала Немцова – событии еще менее пригодном для осмеяния, сотворен будет целый анекдот в стихах: вдоль «кремлевки» киллер ходит хмуро, пост дозорный тишиной объят, у высоких кирпичей бордюра… ну, и так далее, совсем уж на грани всякого человеческого приличия, за которой об усопшем только плохо. При том при всем, что собственно к фигуре непоседливого экс-премьера Симак-Коляда относились даже и с дружелюбием, но ради оплаченного красного словца тут мать родную не пожалеешь, не то, что стороннего мужика, особенно когда власть говорит… ничего не говорит, стало быть, все можно. Хоть покойников из гробов таскать.

Но пока же неспешная приятельская беседа текла в иную,

будто заранее подготовленную скверным шампанским вином и хорошим уже градусом в крови, безобидную сторону.

– Кто придумал пить без закуски, тому ухи-ноги оборвать! – порывисто жестикулируя зажатым нетвердо в руке стаканом с виски, резюмировал колобок-Коляда. Виски выплескивалось у него «черезкрайнаружу», распространяя в душном воздухе резкий и довольно на любителя запах разбавленного патокой денатурата. – Дай канапюшку, лучше две, – Коляда потянулся к тарталеткам, полную посудину которых Леонтий все еще держал перед собой на весу.

– Все возьми, мне не хочется. Зачем брал? Все хватали, ну и я стянул, авось пригодится. Вот, пригодилась, – Леонтий с удовольствием избавился бы от глубокой, пластиковой тарелки – того и гляди прогнется вместе с содержимым, но и Коляда был не дурак.

– Все не надо, – отмахнулся великодушно.

– Он на диете. Два дня уже, даже два с четвертью, – подколол подельника вечно мрачно-ухмыляющийся Симак. Тарелку он тоже брать не пожелал, но и от «канапюшек» не отказался. Стал выбирать себе у Леонтия из рук, пригнувшись к кормушке, точно заморенный зимовкой сохатый лось. Возражать вышло бы бесполезно, да и беспардонность Симака по отношению к «своим» считалась общеизвестным фактом.

– Лазарь Каганович был натурализованный крымский еврей, только это скрывали от народа, – тихо, будто бы по секрету, попутно зашептал, разгибаясь, на ухо Леонтию.

– От какого народа? – он сразу даже и не понял.

– От крымского. А теперь будет можно. Теперь это российская история, тебе как другу, первому говорю, после Тольки (так звали по имени сокращено Коляду). Оцени?

– Н-да, непременно, – состряпанную наспех обманку Леонтий ничуть не собирался принимать всерьез, но и обижать Симака не хотелось, записной шутник он всегда на работе, то бишь, на боевом посту. Пусть прибаутки его в основном дурацкие, и отдают дурновкусием. Никто же не требовал, скажем, от Альберта Эйнштейна, чтобы он раз в неделю выдавал по одной теории относительности. Так почему – снисходительно судил уже порядком подвыпивший Леонтий, – почему от приколиста-юмориста все непременно ждут неиссякаемого фонтана исключительно талантливого веселья?

– А говорили, ты в Пятигорск подался, как Лермонтов, – это вышло неожиданно, откуда Симак-то узнал? Леонтий уже успел позабыть о сложносочиненной легенде, под прикрытием которой ему полагалось ныне существовать.

– Не в Пятигорск. Я в Кисловодск. Ездил. Вчера вернулся. Нини, никому! Не то мне по шее! От Граммофона, и вообще. Не вынесла душа поэта…

– То-то я смотрю, ты к стакану прилип, отлепиться не можешь. Вот где целебная водичка, хотя и дрянь. Но что ни пьется, все к лучшему! – захихикал подоспевший в разговор Коляда, он только что, взмах, опрокинул в себя не расплесканные остатки виски, и теперь уже денатуратом благоухало от него самого.

Леонтий набрал побольше воздуха в грудь, чтобы отозваться на предложенный тост – святая правда, что ни пьется, то…! Набрал. Да. И даже приподнял свой бокал, будто в настоящем застолье, дабы потом чокнуться душевно с обоими приятелями, однако, не успел. Ни того, ни другого. Прямо поверх голов на него наплывало, накатывало нечто. Ощущение, предупреждение, неотвратимость, безысходность. Родственное его несговорчивой бессоннице. Нечто безнадежное, на что он не стал бы смотреть по своей воле, но… «не выдержал он и глянул!» В дверях, в темном проеме, будто трагик, появляющийся на сцене из мрачного разлома кулис, – там, в дверях, в мгновенно-неподвижной стойке пойнтера, выследившего дичь, стоял Костя Собакин. Взгляд его, прицельный и примеривающийся, был обращен как раз на шумно разглагольствовавшего Дарвалдаева, и на его слушательницу, ничего о том не знавшую, не ведавшую, мирно потягивавшую из высокого, гладкого стакана розово-вишневый коктейль. Улыбавшуюся с ласковым, искренним одобрением даже и Пашке, она все-таки была фея, из разряда добрых красавиц. Леонтию сделалось нехорошо. Тошно. Мертвенно. Страшно аж жуть. Словно бы он заглянул вдруг в ледяную, бесцветную пропасть, и повредился закружившейся головой, пить ему расхотелось, говорить тоже. А захотелось ему расплакаться, неожиданно, нестерпимо. Расплакаться и убежать. Он не храбрец, он даже не Филон, куда ему до «чухонца». Хлюпик. Сдаться и покаяться, как отрекшегося «либерала» его, наверное, простят. Но разве можно? Нет, нельзя. Этого никак нельзя. Нервы ни к черту. Соберись-ка и живо! Как? Как сможешь, ты – мальчик Аркаша, маленький хакер и «айтишный» асс. Внутри многоуровневой компьютерной игры, представь, спокойно. Спокойно. Сказал он себе, и действительно – вмиг успокоился. Словно чувства его отключились сами собой, оставив владельцу только трезвый рассудок. Ну, может не слишком трезвый, все лучше, чем ничего. Итак. Извечный русский вопрос: что делать? Предельно ясно. Надо. Предпринять что-то. И немедленно. Здесь. Сейчас. Спасти. Увести. Хоть что-то. Уже все равно что. Смятая тарелка шлепнулась на пол у самых ног,

несъеденные канапюшки раскатились во все стороны, запачкав желтым маслом правый ботинок. «Ты что, брателло? Что с тобой? Валидол? Имодиум? Дать воды?» Но эти простые вопросы участия уже прозвучали совершенно вне направления его внимания.

Расстрел через повешение

Каждый короткий промежуток, когда Леонтий был в сознании, ему приходилось сосредотачиваться, чтобы ответить на единственный вопрос – где он находится? Каждый раз – заново опознавать. В неизвестной комнате. Потом, уже после ответа, он видел, нечетко, как в приступе внезапной сильной близорукости, плоское, белое лицо склонившегося к нему человека. И лишь различив на этом лице выдающийся остро нос, он опять определял для себя следующий шаг-ответ. Этот человек мне знаком, его зовут Филон, он неприятен мне. Потом он отключался, надолго? Такой вопрос он не задавал. Потому что пока не представлял себе простого понятия «долго».

Наверное, прошло сколько-то дней или даже лет. Когда он сказал себе так, ему стало – нет, не лучше, он совершенно не чувствовал никакой боли, и вообще не ощущал ничего, ни запахов, ни вкусов, ни даже элементарной тяжести своего тела. Ему стало иначе. Словно бы в сознание его включился новый поток, заработал вот еще один мозговой отдел, контролирующий осмысленное положение уже не в пространстве – во времени. Он нестерпимо захотел спросить: который час? И не смог. Произнести ни слова. Но его поняли. Опять над ним склонилось неизменное лицо и неизменный «буратиний» нос, затем квакающий, будто бы электронный, голос произнес. Половина второго ночи. Почему-то он поправил про себя – час-сорок-семь, почему-то он знал, что именно час-сорок-семь, какого дня? Голос не ответил.

Потом он очнулся словно бы совсем. Только не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни пальцем шевельнуть, да что там! Он не мог повернуть головы, скосить в сторону глаза. Лежал и смотрел в потолок. На потолке горел светильник, полукруглая серая лампа с зелеными разводами, и потолок тоже серый с разводами. Незнакомый. Нет в его памяти такого, знакомого ему потолка. И лицо, то самое, с носом, Филон, который ему неприятен, почему? Кажется…

– Вы можете говорить? – голос был глухой, теперь не электронный, живой, но словно бы доносился через вату, или через силу.

Может ли он говорить? Странный вопрос. А в самом деле… может?

– Да, – он произнес, не почувствовав усилия, обычного для языка и носоглотки, он вроде бы даже не вдохнул-выдохнул, мамочки! Нет, не дай бог! Он испугался смертельно, безнадежно

и безгранично, но… как-то без самого испуга, ничто не екнуло, не похолодело, не оборвалось, не сжалось, не понеслось вскачь, ни сердечный ритм, ни животный желудочный спазм, ни стремительный жар тела. – Я парализован? Навсегда?

– Нет-нет, – поспешил его успокоить голос, прозвучавший брюзгливо, но и с оттенком заботы. – Это временное явление. Потерпите. Вам нужно настроиться… то есть, оправиться. У вас, э-э-э, травма. Была серьезная, теперь уже ничто.

И еще отрывистое, звенящее издалека сопрано-интерес:

– Симулятор?

– Работает, задержка в пределах нормы, – ответил тот, который Филон, в сторону, неизвестно кому. Наверное, к Леонтию это не имело отношения, но и проверить он не мог, предательская голова не желала поворачиваться. Но он вспомнил. Женщина, фея, милая, Пальмира. Она добрая.

– У меня была травма. Сотрясение мозга, – тут он вспомнил еще, что как раз добрая фея Пальмира и была причиной события. Но он давно простил. Осознанная необходимость. Сама причинила, сама в итоге вылечила. Простоквашей.

– Простоквашу? – попросил он на всякий случай пустоту перед собой. Тотчас, однако, увидел вновь склоненное носатое лицо.

– Нет, это не поможет, – значит, его поняли, Филон понял. Уже неплохо. Лицо продолжило: – простокваша, как вы выразились, совсем не лекарство, – голос заколыхался неуверенными нотами, забрюзжал в паузах, видимо, подбирая слова, – это вещество суть стабилизатор, после длительных перемещений, в чужой реальности низшего порядка долго нельзя… мн-н-нэ… находиться.

– А вам? – вполне осознанно спросил Леонтий, он помнил почти все, что с ним происходило прежде, кроме главного – где он и как сюда попал? – Вы здесь давно. Я знаю точно.

– Нам можно. Это сложно объяснить, – и тут Леонтию показалось, будто владелец стремительного, клюющего воздух носа, врет. Или нарочно не говорит. И пусть его. Однако, продолжение следовало: – Лечебный эффект так называемой простокваши был побочным, иначе – комплексным. Пример – кипячение воды не только необходимо для согревающего напитка, но и попутно убивает опасные микроорганизмы. Вам ясно?

– Предельно, – отозвался из своей неподвижной глубины Леонтий. Он уже мог и язвить. – Давайте побочный. Эффект. Я согласен. Лишь бы сработало.

– Нет нужды, – Филон ответил с некоторым раздражением,

отчего-то показавшимся Леонтию, странно признать, неловким? Или смущенным? Но Филон вроде бы был еще тот фрукт, наверное. – Мы делаем все возможное, то же самое – от нас зависящее. Так. Скоро вы будете ощущать себя вполне хорошо.

– Опять голова? – вдруг припомнил нечто Леонтий. Припомнил смутно, но в верном направлении. Так он чувствовал. Нет. Так он знал.

– Опять голова. Вас контузило. Потерпите, голубчик, – сочувственные последние слова невидимой ему Пальмиры едва не заставили разрыдаться, но он не стал, потому что, ему было нечем. Его тело еще не вернулось к нему, хотя и появилась явная жалость к себе.

Что ж такое? Хоть бы какая другая часть – рука-нога-грудь-живот, так нет же! Опять голова. Прямо– таки, заколдованное место его организма. И самое, выходит, слабое. Но видит, слышит, только не чувствует запахов, не осязает и неподвижен. Однако, это временное явление. Так говорит Филон. А он знает, что говорит. Вредный «чухонец». Чухонец. Заносчивый. Пренебрежительный. Слова сквозь зубы. Цедит. Теперь вроде бы нет. Заботливый друг. Товарищ. Немного брюзга. Он был к Филону несправедлив. Глубоко раскаивается… провал…

Он очнулся. Когда? Где? Все в той же комнате, было темно. Значит, вечер или ночь. О боже! О господи! Ураураура! Трижды ура! Он шевелится! Он двигается! Правда, тело еще не до конца… будто бы он внутри автомата, которым можно управлять. Но ведь можно! Голова влево, вправо, ничуточки не кружится, шея не хрустит и не болит, удивительная контузия! Удивительные пришельцы. Это все их заслуга, что, если… Леонтий попробовал сесть в кровати. Получилось! Чудный, чудный Филон! Нет, не соврал. Все прошло. Не все. Положим. Кое-чего не хватает. Вкуса-запаха. Полного ощущения себя. Но это неважно. Это тоже пройдет. Он огляделся вокруг. Вот они оба. Сидят – в дряхлом облезлом кресле Пальмира, и рядом на обыкновенном стуле за обыкновенным столом, Филон. На столе – собственный Леонтия раскрытый ноутбук, у ноутбука – присосавшаяся намертво к портам жаба, хорошо, что он пока не чувствует запахов.

– Я не чувствую запахов, – не то победно, не то жалуясь, неопределенно сказал им Леонтий. – Это временно.

– Возможно, нет, – по-прежнему смущенно-неуверенно произнес Филон, клюнул воздух носом, – возможно, контузия не до конца… не все в нашей власти. Возможно, некоторые чувства не вернуть…

– Пустяки. Пустяки, – успокоительно повторил Леонтий. В самом деле, после того что он пережил! В смысле, испугался.

Полного паралича и вообще. Утеря обонять ароматы компьютерной жабы показалась ему смешной утратой, из наименьших. – Зато голова. На месте. И соображает. Где это мы?

– В загородной гостинице. Тульская область. Тут рядом Ясная поляна. Ваш памятник культуры. Пока это безопасное место.

– Когда? – упавшим голосом и как-то просительно вышло у него. Нет, не все вернулось. По крайней мере, с определением времени у него проблема.

– Сегодня, – Пальмира печально и синхронно-просительно улыбнулась ему. Будто бы уговаривала довериться ей без дальнейших расспросов.

– Как это – сегодня? – Леонтий не то, чтобы не захотел поверить, скорее не мог. – Сегодня, в смысле… вы имеете в виду… день после травмы, то есть, контузии? Да знаете ли вы, что я провалялся на этой самой кровати черт его разберет сколько дней! Или даже месяцев! Лет! Сегодня! Что вы мне лапшу…, – он хлопнул в сердцах раскрытой, полной ладонью-пятерней по одеялу рядом с собой, но никакого удара не воспринял. Это обескуражило его. Немного.

– Сегодня, – упрямо повторил за Пальмирой, с постоянством педанта, механически, Филон.

– Как же так? Может ли быть? Не морочьте. – Леонтий переводил взгляд с помрачневшей феи на опасливо вдруг отвернувшего взгляд «чухонца». – Я был без памяти. Но мне показалось…

– Да, показалось. Сегодня – сегодня. Уже вечер. Вчера мы перевезли вас сюда. Более-менее подходящее убежище, хотя выбрано наугад. Нужно было южное направление. И вот – частное гостиничное подворье «Мормышка». Мы зарегистрировались сами, минуя вас, не беспокойтесь, расспросов не было. Потом вы приходили в себя. Недолго, – Пальмира будто и желала подбодрить его. – Время очень относительная величина. Ваши провалы длились секунды, но показались вечностью. Ваши впечатления обман. Фантом. Сродни наркотическому отключению.

Значит, сегодня. Стали бы они оба врать. Значит, все тот же день, когда он очнулся в первый раз. Тот же день, после того, как он… А что он? Леонтия пронзило воспоминание.

Он увидел, словно бы сознание его включило кинопроекцию на голую белую стену, где-то во внутреннем пространстве «Я», отчетливо потекло изображение, возник даже звук. Смазанный фон и яркий проблеск – брателло, что с тобой? Тарталетки по полу, он, Леонтий, делает первый шаг. И знает – еще можно отвернуть, а через мгновение будет нельзя. Он делает второй.

Костя Собакин в своей охотничьей стойке, замечает его, выступает навстречу из темного проема. Взгляд его страшен. Не потому, что угрюмо-грозен, карательно-обличителен, истребительно-ненавидящ, презрительно-окончателен. Хуже. Это ощущение Леонтий, пожалуй, сохранит навсегда. Таким взглядом, наверное, ставил к стенке родного брата правоверный пламенно-пылкий первый чекист, году примерно в восемнадцатом – втором от революции октябрьской. Ставил и не дрожал. И рядом десяток таких же несчастных, уже не братьев, простых обывателей, но не делая различий, даже толком не глядя – и зачем бы ему было глядеть? На брата и на обывателя? Он видел уже вдали светлое будущее, он жил в нем и ради него, не существующего «несегодня», все прочее не имело важности, не несло в себе вины, любое событие, которое не служило этому выдуманному прекрасному завтра. Цель не то, чтобы оправдывала средства – вопрос таково вообще не стоял, цель и была средством, рычагом, кастетом, свинцом, а все прочее – его просто не существовало, так какая разница? Друг, отец или брат? Реже – сын или мать? Иногда так случается – цель и высшее, «бесчеловеческое» правосудие совпадают, как будто бы: если сможешь переступить через невозможное, твой рай на земле все равно, что наступил, сотворился из ничего в единую секунду, остальное-прочее дело времени и опять же переступания через невозможное. Своего рода гарантия того, что будущее сбудется, сбывается уже, пока ты совершаешь страшное – страшными же средствами, словно в опору закладывается очередной труп-щепка от бесконечного людского древа, лишь бы здание стояло, великолепный пустынный мираж, которого нет. В реальности нет.

Он ничего нового не открыл для себя в Косте, ни в то мгновение, ни ранее, словно бы давно уже все знал об этом человеке. Он и раньше, бывало, смущался Собакина. Его частой бескорыстности, неизменной правильности выбора, иногда Собакин казался и непреклонным судьей его, Леонтия, поступков, второй, истинной совестью. Тогда все это было одним чувством и выражалось одним словом – надежность. Костя был надежен, хотя от него Леонтий порой утаивал мысли и поступки, казавшиеся ему нравственно-сомнительными. Как же выпало изначально не сообразить? Что у всякой вещи есть своя тень, каждый ян не отделим от инь, каждый день от ночи, каждое добро от своего зла. Что мнимые или действительные похвальные качества лучшего друга – настанет такой момент или нет, – но могут, могут! Однажды повернуться изнаночной, оборотной своей сутью. Огонь греет и огонь жжет – как же мог он позабыть! Хоть бы присутствовало в Косте нечто «коземасловское», хоть чуть-чуть,

кривое, животное, спасательно подгнившее, серенькое людское, лучше продажный Тальен, чем неподкупный Робеспьер, потому что при первом еще можно выжить и как-то сносно прожить, а при втором – в стерильном обесцвеченном аду не живут, как не живут в вакууме и пустоте, в нем даже мухи дохнут. А что, если – крамольная мелькнула и канула, испуганная, прочь его мысль, – что если, в несовершенстве и есть мир, покой и благоденствие рода людского? Что если, напористый себялюбец Коземаслов, подозрительный стукач Васятников, завиральный хвастун Дарвалдаев – они и есть та опора, на которой этот мир стоит, как на трех китах, а те в свою очередь, на черепахе, животном опасливом, ленивом и вполне себе на уме. Он понял в тот миг, в миг своего второго шага, что хуже безликой, правильной прямоты ничего нет. Ничего нет ужаснее ходячего идеала, этой человеческой крайности, которая осмысленно расставляет уже не себе строгие волчьи флажки, нет – она давно вне всяких флажков, но ставит их для других, только для других, без разбора и без пощады. У крайности есть лишь незримая граница, тот самый край – до него с тобой обращаются как с равным, как с другом, после – переступил, не обессудь. Это и было страшное. Но Леонтий разве что поразился своему открытию, но не испугался. Он сам не понимал, почему.

Пальмира пошла за ним сразу. Без вопросов и без расспросов. Единственно Пашка Дарвалдаев, оставив всякую напускную свою интеллигентность, обиженно верещал вслед:

– Рогоносец! Тварь! Пидовка! – и будто из затихающего эхом далека просительное: – Так мы договорились? Не забудьте! – и опять похабное: – Лузер! Пестель каличный! Клизма сортирная-а-а…

Это было хорошо. На руку. Удачный легкий шум-гам привлек внимание. Небольшое, минутное, но непроходимое для Кости. Леонтий, стремительно увлекавший за собой к пожарному, запасному зеленеющему выходу фею Пальмиру краем глаза отметил, что Собакин растворился, пропал в темном дверном проеме, значит, возможно выиграть время.

Ничего это не значило. Как оказалось. Они даже не рискнули выйти наружу, хотя тугая, на замедляющем держателе дверь не была заперта, вот он глухой проулок, в центре Москвы трудно ли запетлять свой след по дворикам и переулкам, если не обращать внимания на запретительные шлагбаумы? Не трудно, если… если, едва переступив порог ты не натыкаешься вплотную на массивную, пограничную спину знакомого бравого майора Сергея Сергеевича: как раз Ломоть-Кричевский прикуривал вполоборота, отгородив ладонью от порывистого ветерка дрожащий огонек

зажигалки. Какое счастье! Какое счастье, что исполнительный майор не внимал предупреждениям Минздрава и агитационным кампаниям «за здоровый образ жизни, свободный от сигаретного дыма». Он обернулся на стук и возню, когда дверь возвращалась уже в исходное положение. О чем он догадался и что предпринял, Леонтий так и не узнал никогда, потому что летел, как обманутый приманкой сокол, совсем в другом направлении. Обратном.

Они оказались в долгом жилом коридоре. На втором-третьем? А, неважно каком этаже! Золоченные номерки на солидно-глухих дверях, постучать? И очутиться в ловушке, в замкнутом пространстве чужих апартаментов, чей временный владелец наверняка тут же их и сдаст. Кто они ему? Нахальная помеха или того хуже, преследуемые авантюристы-мошенники. Дальше. Дальше! Центральная лестница – пуста. Чисто-чисто. Пальмира нервно и порывисто дышала за его спиной. Наверное, ей невмоготу на высоченных каблучищах, но терпит, спешит, как может, только невольно тянет его руку, потерпеть, потерпеть, еще чуть-чуть! И на свободе. Может быть, если повезет.

Оставалось пересечь главный вестибюль, небольшой по размеру, все же гостиница-бутик, но Леонтию пространство, отделявшее его и Пальмиру от входной, монументальной двери показалось необъятным, не проплываемым, как море. Потерпи, девочка, сейчас-сейчас – он обернулся, чтобы вымученной улыбкой приободрить: себя или ее, сам не знал. Пальмира в ответ улыбнулась ему страдальчески – проклятые туфли, – но и спокойно. И верно – чего волноваться? Волноваться будут, когда поймают. Допрос, камера, зона, вышка, часовой. Тьфу! Напасть и гадость.

Они почти достигли дверей. Может, понадобилось секунды три, а может полчаса. Леонтий уже налегал на ручку, когда голос, приказной и до обморока знакомый, окликнул его:

– Гусицын, остановись! – по фамилии, чтобы не перепутать ни с кем. Чтобы не было отхода и оправдания. – Немедленно.

– Ага, еловый корень тебе в дупло! – бесстрашно и совершенно неожиданно для себя выругался Леонтий, он обернулся на окрик, и смотрел Собакину в лицо. Их разделяло порядочное расстояние, преследователь его только спускался с лестницы, и замер на ее середине, видимо кричать и бежать одновременно показалось ему несолидным, однако теперь – захотел бы, не успел. Леонтий судорожно-истерично хохотнул. Наружу, на волю, а там бегом, в первое попавшееся такси, Леонтий предусмотрительно – предполагалась дежурная выпивка, – не запряг верного Ящера, оказалась – как в воду

глядел. Ищи, свищи, молодца (ну и молодицу заодно) в чистом поле. Он отвернулся, крепче зажав тоненькую ладошку Пальмиры в своей уверенной руке, дернул дверную под бронзу, тяжелую ручку на себя, совершенно напрасно, услужливый моложавый швейцар уже помогал ему, как гостю, с улицы. На излете скользящего, убегающего своего взгляда, Леонтий уловил скорое движение Собакина куда-то в недра щегольского пиджака, который может даже от самого «Бриони». Шутишь, браток, опоздал ты звонить, не успеет твой майор Сергей Сергеевич, так-его-перетак, Ломоть-Кричевский, на пару профукали и про…ли вы ситуацию.

А потом что-то злое, жгучее, гремящее толкнуло Леонтия в затылок и словно бы взорвало бедную его голову. Еще мгновенный звон, будто от бьющегося вдребезги хрустального стекла, невыносимая невозможность вздохнуть и … собственно больше ничего Леонтий не помнил. Да и помнить нечего было. Видимо, он был оглушен и отключился…

Кинолента кончилась, белый экран потух, сознание настоящего вернуло его в реальность. Гостиница «Мормышка», затрапезный номер, худосочная кровать, вечер сегодняшнего дня. Все прочее – его недавнее прошлое. Вдруг Леонтия осенило. Поразило, пронзило, вывернуло, до тошноты – если бы он мог почувствовать тошноту, если бы хоть что-то мог он почувствовать поврежденным своим телом, но ощущения так и не вернулись до конца, ему показалось, сейчас это к лучшему. Иначе – он не удержался бы, выблевал из себя отвратительное, не имеющее право на существование событие.

– Он что, стрелял в нас? В меня? – спросил, бесчувственно сидя на кровати, у феи и Филона сразу.

– Да, – ответил ему коротко «чухонец», а ведь он-то как раз не присутствовал при этом событии, Пальмира кивнула вслед, будто и произносить таких слов нарочно не желала. – Глушитель. Выстрел был, как хлопок. Трудно опознать.

– Это меня пулей контузило? Близко прошла – не целился точно, а мог бы…

– Да, мог бы, – что это? Всхлип, вздох, стон? Филон чуть ли не сопереживает ему. Бронтозавр в папоротниках сдох, не меньше!

– Вы меня вытащили? Но как? – он обратился к Пальмире, не веря.

– Я много сильнее, чем кажусь. Дальше технические подробности отступления, бегство, такси, вы не полностью потеряли сознание, рефлексы работали. Если тащить на плече. Вы и ногами перебирали. Впрочем, было недалеко. И служащий у

дверей помешал. Закричал. Он не понимал, что произошло, кого нужно преследовать. Наверное, решил – хулиганство подвыпившего постояльца.

Она все врет. Опять увидел Леонтий. Очень неловко у нее получается, тоньше бы надо. Только, зачем? Наверное, опять их параллельные штучки-дрючки, вроде карманного ковра-самолета, и пурпурный мячик, что всегда при ней, кто ведает, что еще может эта штуковина, кроме как превращаться в ацетоновую жабу или управлять «плерум-транспортером». Не хочет говорить, не надо, вдруг спасала она Леонтия каким-либо постыдным способом, подключив устройство к его голой заднице, ась? но спасла же, вытащила, вынесла, за одно это – спасибо.

Но бог с ней, с ними. С обоими. Даже если оба врут. Все же – любому из человеков свойственно вранье, а из нечеловеков? С этим как? Как быть дальше. Не жить, именно быть? Прожить Леонтий проживет, как-нибудь. Но что это будет за бытие? Пусть даже выйдет сухим из полымя, пусть в воде не сгорит, в казематах не утонет, пусть. Вывезут пришельцы или отбрешется, на худой конец, сам – на что же иначе господь бог и хорошая наследственность дали ему подвешенный удачно язык? Чтобы остаться навсегда, на все время бытия своего в том мирке, где ходит по литературным приемам и дружеским тусовкам Костя Собакин, и будет ходить впредь, что ему сделается! В растянутом свитере, в мятой панибратской рубахе, в коцаных обвислых джинсах – уж не нарочно ли скрывающих за поясом то самое, с глушителем? И Леонтий, встретившись с ним, – а как же может статься по-другому, московский круг даже и не тесен, но душный Ноев ковчег, вздохнуть во всю ширь и грудь нельзя, чтобы не уткнуться в знакомое брюхо, – и вот как же ему поступать тогда? Отвернуться. Огрызнуться. Забыть. Припомнить. Дать в морду. Подставить правую щеку. Ничего из этого не казалось Леонтию осуществимым и переносимым. Впереди – возможно было только бежать. Насовсем. От возможности самой встречи. Хоть на край света. Хоть куда. Хоть в параллельную реальность. Может, Пальмира не откажет, возьмет с собой. Должна же она понять! Добрая, жалостливая, волшебная. Должна понять, что он не сможет сосуществовать. В одной живой природе. С Костей Собакиным. Никогда больше. На этой земле. Он согласен… он согласен… да. Даже на Аг-ры. Без всякой лечебной простокваши. Не надо ему стабилизатора – превратиться, внешне и внутренне, в обезьяна-питекантропа не самое распоследнее из зол. Обитать в пещере-землянке, кричать в нос «бары-гура!», потрясать на заячьей охоте каменным удалым топором, на досуге подружиться теснее с хорошенькой девчонкой, что вычесывала ему некогда

вшей, завести с ней щенят, в старости, сидя на уютном сугробе под трухлявой елкой, рассказывать внучатам байки о не существующей стране, в которой их дед некогда претерпел множество ненастоящих приключений. А как же Леночка? Одернул он очнувшегося себя. А как же Собакин? Отозвался сам на свое отчаяние. Нельзя быть, если из тебя высосали, вытравили всю горячую кровь – если остаться, он будет вурдалак, ходячий мертвец, ядовитый зомби, поражающий все и всех вокруг отравленными укусами. Какая уж тут Леночка. Теперь только пещера. Хоть бы там не так воняло…

– Хоть бы там не так воняло! – Леонтий не заметил, что произнес последние слова громко вслух.

– Простите, что? – отозвался словно издалека нежный голос феи Пальмиры. – Вы сказали…

– Мне бы в пещеру. К братцу Аг-ры. Вот хоть бы там не так воняло. И еще огонь. Это же дикость несусветная. Жить в сырости и темноте, когда… Я бы их научил. Не беспокойтесь, очень осторожно…

Леонтий не договорил свою реформаторскую мысль, в светлом будущем могущую принести племени Аг-ры чудеса реальной цивилизации. Не договорил, потому что… «чухонец» Филон – буквально, – не в переносном смысле, – взорвался гневом. В ту секунду, если изумленный глаз не соврал Леонтию, между Медиотирренским занудой и седалищем стула образовался никак не меньше, чем тридцатисантиметровый просвет. Так его разобрало! А уж что он выкрикивал, грозя простертой рукой, будто Ленин с бронепоезда сулящий смерть мировой буржуазии, то вогнало Леонтия в стыд и краску. И поделом!

– Как же вы мне надоели! Какого Ариовиста я ввязался в это дело! Полоумки! Недовежды! Чудовища ледниковые! – тут его простертая ладонь сжалась в бешено летящий кулак, лэптоп сложился от потрясающего удара сам собой, столешница жалобно тренькнула, расщепившись стрелообразно по краю. – Гордыня заела? Я вам покажу гордыню! Преобразователи мироустройства! Вы себя вытащите сперва! За волосы! Из гумуса! – и уже тише, снизойдя до объяснения. – У них нет прямого использования огня. А вы подумали, самонадеянной своей головой, на короткую секунду, подумали? Что в нежизненно активном лесу любая свободная искра – верный смерть, тотальный пожарище, окончательный конец, – Филон сбивался, от волнения, в речи, но Леонтий все равно прекрасно понимал его, – чтобы протопить, только чтобы протопить! жилище-пещеру нужно за один раз пережечь все окрестные насаждения. Для нас, для вас, огонь друг, а там – опасный враг, или, вкрайне, оружие против врага. (Огонь

греет и огонь жжет – невольно охолонуло Леонтия). Вы казались враг, вам угрожали, но заметьте, не убивали, в отличие от некоторых всех поучающих ветвлений. И вы еще смеете! Запах не нравится! А что это и есть выход? Обогрев? Спасение? Вы не подумали? Какой альтернатив? Да, аммиак! Да, навоз! Но соединение дает тепло, вы доходите? Бедные не виноваты, что в их параллели только можно так! Выжить, да! Вам здесь повезло. А вы, вы! В такой прекрасный мир! Жить! И так гадить. Своей гордыней, тупой, злой, черной зазнайством! Не хочу больше помогать, – последнее сказано было уже полушепотом.

– Простите, – тоже тихо произнес Леонтий. – Уж вы простите. Я действительно недоумок. Но столько событий. Страшных происшествий. Мне не по себе. Я ляпнул, но я не виноват. Вы же сами говорили, что у параллелей нет особенного выбора. Может, гордыня дана нам неизбежно. Зато у вас ее стало поменьше. Ведь так?

– Идиотик, – буркнул, выпятив скорбно губу, несколько успокоившийся Филон. Он уже не скакал на стуле, не сжимал кулаки, напротив, сделался грустен и как-то даже симпатичен Леонтию. – Не так. Я же объяснял вам, и не однократный раз, что отделившиеся относительные реальности далее не расщепляются, они остаются не однозначны, а значит, в определенных границах, есть право на выбор. Вы можете строить все, что угодно, в том, что вам оставлено, а вам – ВАМ здесь оставлено достаточно. И все же – вот я здесь, и моя сестра тоже здесь, и мы должны вытягивать вас от погибелей, кому это надо? Нам? Или вам?

Я и моя сестра. Во-о как! Как же он раньше не догадался. Только теперь, теперь заметил он, обратил внимание. Не ревность то, вернее, конечно, ревность, но иная – яснее ясного, чего в ней не хватает. Собственности. Забота есть, и любовь есть, и тревога, и обида, и защита, и послушание, а собственности нет. Стало быть, не жених и невеста, не ухажер и подруга, но да! Брат и сестра. Разве не видно было сразу! Они ведь родные. Только такой болван, как он, Леонтий, не заметил очевидное. Внешне не слишком похожи. Разве? Он урод, она красавица. Но глаза! Глаза! Поменяй местами, не увидишь разницы. Глубокие, внимательные, темные. Так бывает. Один есть кривое зеркало другого. Но не все в том зеркале изменено.

И вдруг Леонтия осенило. Екнуло, торкнуло, кольнуло. Словно бы новая его контузия включила неизвестные и незадействованные прежде ресурсы его, не самого, честно говоря, мощного рассудка.

– Стойте… Стойте. Не говорите больше ничего. Я дурак. Мне нужно было давно. Давно! А я не догадался спросить, – он хотел

глубоко вздохнуть, но было нечем, набрать побольше воздуху и решительной отваги не получилось, ничего, так сойдет. – В нашей реальности. В вашей реальности. Что произошло? Где мы разошлись, разделились. Почему и отчего? Какая катастрофа не разразилась над вами? Какое несчастье случилось у нас? Или наоборот. Я хочу, я должен знать. Имею право?

– Ну, добрались до днища, под конец, – Филон сказал без малейшей издевки, будто бы даже испытал определенного рода облегчение, какое испытывает порой неверный муж, открываясь своей жене, что бесповоротно уходит насовсем к ее лучшей подруге. – Конечно, такое событие имело тут место.

– Какое событие? – хотел ли он и впрямь это знать? Да, хотел. Не страус. Ему надоел вечный песок. Пускай впереди ждет его казнь египетская. Саранча или нашествие песьих мух. Хуже не будет – уж наверняка.

– Все просто, – теперь и Пальмира смотрела прямо на него, твердо, не сгибаясь. – Нам удалось выяснить, хотя порой такие вещи отследить нелегко. Именно потому, что в нашей реальности они оставляют след случайный и малозначительный на первый взгляд.

– Так что же? – настойчиво повторил Леонтий.

И Пальмира повторилась тоже:

– Все просто. В нашей реальности не распяли Христа. Человека, которого вы называете Спасителем, Иисусом.

Дальше – была тишина. Пауза. Антракт. Интермедия.

L’Inverno

Все, что я наплела о себе раньше, мне кажется – теперь «тугинда» какая-то, это словечко, неизвестно откуда и взявшееся, у нас означало – ерунда, брехня, чушь пасторальная. Вы писатель или журналист, по образованию, я так вас поняла, все равно – пишете сейчас сами или «по заказу», но ведь пишете, стало быть, думаете и знаете о литературе побольше моего. Я это к чему…

Еще со школы заталдычила для экзамена, и чтобы не хватать «параколы», будто единственное непреложное правило – плох тот роман, ну или повесть там, пьеса какая ни на есть, в которых нет «развития характеров персонажей». Все про все и про одно и то же. Катерина утопилась во время грозы, у нее характер так развился, терпела-терпела и бултых в воду – ей бы с мое, курица! – или осточертевшую старуху-процентщицу топором, и развивайся себе в каторжанина, ладно. Я по-своему упрощено понимаю, неверно, конечно. Только меня так учили, но когда спрашивала – учителя у нас были известно какие: школьные, – а по жизни как? С характером-то? Мне был один ответ, хотя учителки у нас сменялись раза четыре, но все на единый шаблон. И в жизни. И в жизни, так-то. Характер, он непременно развивается, в лучшую сторону, даже если у кого кишка не выдерживает, и он себе, тихохонько, без помпы, идет на реку топиться. Допустим, крайность. А на самом деле, – опять, мне с укоризной за бестолковость очередная словесница, – если характер не развился, кончен человек. Вот вы мне и отпишите, о том, что я вам расскажу, как раньше, как на духу. Вы и про бабку с дедкой, и про мою мать покойницу уже слыхали. Теперь осталось про меня. Так вот…

Идеальный мир, помните? Надо думать! Я вам этим своим миром плешь проела в паху. Но и деваться от него некуда. Не мой был выбор. В меня будто бы заложили изначально основание, типа программы. И к природному, врожденному, добавила моя мать рукотворное ядро. Не добавила – вбила. Ценность ему была – повыше, чем у плутония. Вроде бы – разве не начало характеру, книжному, всамделишнему, приобретенному? Живи и радуйся, через тернии к звездам, развивайся себе, хоть в нигилиста, хоть в пофигиста, хоть молись, хоть женись, твое дело. Только вышло иначе. Мать сотворила, а я не уберегла. Никуда я потом не развилась, и ни во что толковое, на мой взгляд, а он алмаз – уж поверьте. Ядро мое, оно оказалось сахарное. От воды, и от беды, и от грязи реальной, чем дальше, тем больше, стало рассасываться, растворяться. Пока не осталось голое основание. И уж на нем я

построила, кто скажет, что мудрое, доброе, вечное, тот сам набитый дурак. Я не кокетничаю, вы для меня уши только, а нисколько не мужик или потенциальный женишок-хахаль. Бывает так, да. Бывает. Никакой характер у персонажа не развивается, вот у меня – я же ваш персонаж и есть, иначе стали бы вы отвечать. По идее – дальнейшая моя исповедь что-то вроде: тяготы закалили ее, друзья-приятели поддержали и взбодрили, школу преодолела, институт осилила и выросла, через лихо и напасти, в настоящего честного человека, в областного прокурора, например. Фиг.

Все с рынка началось. Не с того, который свободный, а с того, который стихийный. Много их возникло в девяностые-то. И наш южный город не был исключением. Я тоже мимо не прошла. С моими-то дедкой-бабкой. Как только приотворились врата – те, что из нарочно устроенной горбачевской голодухи в гуманитарную помощь антикоммунистического сочувствия, – тут же старый хрыч спохватился, обрадовался, будто «Волгу» на рублевый билет выиграл. Еще бы – его время пришло, зазря что ли ждал-надеялся. На лучшее. Это лучшее для него было. Вы представляете?! Ни черта вы не представляете. Не в том поле вы ягода. Проехали… дальше. Короче, старый хрен, он продовольственные талоны скупать стал, которые организации выдавали, ветеранские и от собеса, выдуривал хитро у тех, кто подурнее, за гроши, пугал, дескать, на всех все одно не хватит, где это видано, чтоб на всех хватало? А тут живые деньги, хоть и малые. Ушлый был, связи в распределительных низах завел, тут сунул маненько, там пожалился, талоны те он в первых рядах, первопроходец, б…, превращал в материальные продуктовые ценности. Потом известно, с коробами на черный торг, тем же бедолагам, что ему поверили, втюхивал их же законное, втридорога, сначала с опасочкой из-под полы, потом уже, когда гласность окончательно издохла, и настала очумелая вседозволенность, нагло, широко, открыто – прилавочек арендный даже завел на вольном «сенном базаре», бойкое место. За спекуляцию уже не сажали, в лапу чуть менту, побольше крышаку, и вперед, свободное предпринимательство! Понятно, хрыч не один вертелся – почему хрыч, спросите? Не из-за материных бриллиантов, и не из-за квартиры, а потому хрыч, что… тут дело интимное. Подглядывать взялся за мной в оконце, когда я ванной, и все норовил «пошшупать» бедную сироточку, упитана ли? Ну я раза дала ему прямо по яйцам, ночь старый псюк промаялся, бабке, однако, ябедничать не стал, испугался, но и жизнь мне отравлял, где мог и умел, а я отвечала, всегда с лихвой. Он мне – мутную свою микстуру на единственное

парадное платье, которое только для дискотек. А я ему – стыдно, правда… ладно… нассала однажды в суточный борщ, для кислоты, и призналась потом, с гоготом, он блевал в сортире долго, да плевать! Не знаю, легче мне от того стало, или наоборот, жили мы, как в хреновой коммуналке, вы читали о таком, наверное. А я по себе знаю. Что куски хлеба разные бывают.

Но от работы я не увиливала. Не так была воспитана. И тары для бар таскала тяжеленные, и торговые уличные площади подметала, жестяные стойки на рядах мыла, все на том же рынке, дед устроил, я ему ползарплаты, остальное мое по праву, он не особо возникал, я, что твоя ломовая лошадь, зашибала немало, для той нищенской поры, это сейчас смех, а не деньги, еще бабкиным компотом в разлив и вразнос подкалымить – без проблем, базарный человек он по жаре томный, все время пить хочет, – тоже из половины дохода, мне не зазорно было, а про законность трудоустройства я не заморачивалась. Ну и подумаешь, школьница! Будто в «девяностые либеральные начала» это имело какое-то значение. Еще хорошо, что мне выпал рыночный удел, не проституция малолетних, а как же? Могло быть. Тогда все могло быть. Думаю, теперь уже задним числом, я бы и там не потерялась, не растерялась, то есть. Страшно, да? Такое вот признание. Это потому, что вы, может, не знаете до конца, как иногда случается. Честь всякая девичья и женская, соблюдение себя любой ценой – оно тоже часто присутствует, человек изначально с достоинством рождается, пока не трахнет его время по башке.

Чтобы не голословно – у нас, по соседству, через этаж жила одна такая семейная девушка. Красивая. На юге красивых и статных много. Тоже о себе представляла. И держалась, долго держалась, хотя пьяница отец и больная кособокая сестренка с ДЦП, работала даже не в ларьке, куда зазывали, но на ремонтном заводе, фильтры вручную промывала от химикатов, за несытые деньги. Все тянула-тянула воз. И не из-за того пропала, что голодно. Я бы тоже не повелась ради одной еды, хотя не знаю, по-настоящему, чтоб до слезного обморока я никогда все же не голодала, я вообще другой породы. Я умела вертеться за хлеб с маслом. И девчонке той подбрасывала, когда тайком, когда нарочно явно, чтобы взбесить хрыча: то пачку макарон в расписной иностранной упаковке, которая лучше отсырелого содержания, то килограммовую китайскую склизкую банку тушенки из живодерных обрезков. Чем сама богата. Так она перебивалась, меня всегда благодарила, целовала наскоро в лоб, пока я не сбегала со ступенек, (вот еще, нежности! мне стыдно

было), потом крестила тихонько в спину, думала, я не вижу – я же неверующая была, и тогда, и сейчас, впрочем, тоже. Только однажды забулдыжный папаня ее – не подумайте, он, неутешный вдовец, с горя слабину дал, согнулся, с концами, не по убеждениям лодыря, – за наличную бутылку и обещание светлого будущего подписал приговор на их кооперативную квартиру, в тогдашнюю неразбериху многое случалось, опоили и заморочили его, наверное. Однако, пришли скоро к ней, чистой девице, дюжие братки – с вещами на выход. И с сестренкой тоже. Тут-то соседка моя, молодая-красивая, не выдержала. И кто бы выдержал. Умоляла она, плакала, в ногах валялась. Просила простить папаню и пожалеть, хотя бы сестренку. Любое бы сердце в хлам растаяло, даже хрыча-деда моего, любое – кроме уголовного. Для них ведь самый сок и смак чужими страхами и болями питаться, как вурдалакам киношным, беда лишь – они наяву, тут ведь не бывает: свет включился, сеанс кончился, все разошлись благополучно, набравшись острых ощущений за пять баксов. Тут по полной программе, до трех шкур с одного тощего зайца, без пощады, это их навар, цимес, хлеб, природа вещей, модус вивенди, ноблис облидж и тому подобное.

Простить братки согласились, но не за так. А чтоб отработала. Я же говорю – чистая и красивая она была, к тому же молодая совсем. И вступиться некому. Парнем она так и не обзавелась – работа, отец, сестренка, когда же? В общем, растрепалась ее самоотверженная стойкая чистота даже не в борделе, а хуже некуда – пускали ее по кругу для забавы и пьянствовали в доме, который уже стал притон, сколько хотели, когда и отдавали на время, напрокат, кому попало, денег за это не платили, как же, долг? Все равно плохо кончилось, никого она не спасла. Отец ее паленкой отравился, случайно или с умыслом, кто теперь скажет? А сестренку сразу отобрали в детдом для увечных, никто не помог. Что с красавицей стало? Исчезла она, просто исчезла в один ужасный день, с концами, квартиру ту братки сразу продали какому-то ларечнику-кавказцу. Вот и вся история. О чистоте, гордости и праве выбора. Не кашляйте.

Это еще не самая кошмарная быль. Хотите, я вам порасскажу… не-е, довольно с вас, пока. Но что замечательно. Дело было не в Гарлеме двадцатых годов, не в наркокварталах Колумбии, не в бараках вышедших на поселение бывших зэка, а в приличном благоустроенном доме, кооперативе нефте-газовиков, людей в общем-то бывалых и часто бесстрашных, вплоть до того, что отчаянно схватывались с властью предержащей за порядок без перегибов, и спорили – за справедливость в профкомах, за облик моральный на партсобраниях. И ведь все видели, все знали, что

происходит – а теперь помыслите только! Ни один единственный человек не вступился. Вот что в моей истории главное, а не кошмары-ужасы, какие сплошь и рядом происходили, уже не удивляя и не устрашая никого, словно обыкновенное событие. А почему, сказать? Потому что, в головах все вдруг обратно перевернулось. Правильно вы тогда отписали мне: дескать, сплошные мы потомки вертухаев, стукачей и безродных подзаборников, ну еще дедок-бабок, таких как мои. Вот и вспомнили времена, когда была всемогущей блатная лагерная власть над безвластным и безгласным простым народишкой. Вспомнили, и не вышли защищать, потому – слишком хорошо вспомнили. Что против лома нет приема, что бессильная милиция дремлет, а мафия в этот же час умело разделяет и правит.

К тому же, большинство искренне не понимало – граждане дорогие, да что же это такое происходит на советском белом свете? Обещали счастливое будущее, свободные слова и печать, чтобы умному и предприимчивому, но все равно трудовому обывателю открытую дорогу без планово-социалистических препон к богатству и процветанию, а поимели – баррикады эти мудацкие, Белый дом правительства, который впору было уже переименовывать в желтый дурдом, алкаша конченного в шутовском колпаке на президентском престоле, красную кровь и черную грязь, вот люди и сплоховали. От недоумения, от растерянности, от чуткого ощущения катастрофы, когда все вокруг взяло и пошло себе в … одно дырявое место, где и накрылось… «краснойармией», скажем так. Единственное пристойное сравнение, какое приходит на ум – как если бы взяла и исчезла разом всякая гравитация на земле, ни верха, ни низа, сплошная невесомость, и неизвестно, навсегда так, или вернется хоть к какому человекоподобному состоянию. Это сейчас благодать – ежели что не по нраву, пиши в прокуратуру, а лучше сразу в Кремль, так сильно опять зажрались, но тогда, в начале времен, слово это ругательным стало, вы, наверное, помните. Символ целого мира и вдруг ругательство, тут у кого хочешь крыша в Гваделупу съедет. Вот и соседи наши не знали толком, как реагировать им на происходящее. И стоит ли вообще? Хотя бы ума хватало не бежать с донесением на притонодержательство к нашему квартальному участковому, потому как младший лейтенант Лидкин пришел бы или нет, бабушка надвое сказала, а что братки бы непонятливому бегунку мозги вправили путем вышибания, то реальная действительность. Некоторые делали вид, будто ничегошеньки не происходит, но старались держаться подальше от пропащей квартирки, некоторые даже заискивали перед несчастной девушкой, будто бы ее заступничество, словно

святой мученицы, могло отвратить от них самих, или от их дочерей, лютую злую судьбу, которую они всякий день видели и не видеть не могли, если бы и захотели.

Одно только – никто никогда не фыркал ей вслед. Никто никогда. Это в нашем-то городе, где ребеночек у безмужней матери считался чуть ли не беспредельным распутством, невозвратным падением, то, что называется – дальше некуда. А вот – не фыркали, и не попрекали, не от трусости даже, и не столько потому, что изменились вдруг правила нормальной жизни. А потому – уразумели, что со всяким может быть. Вообще со всяким. С трижды распартийным, и суперположительным, такая настала жизнь. Соседи тоже это поняли, когда грянуло на них. И характер, который развивается в какую-нибудь сторону, тут вовсе ни при чем. Потому что, ничто дальнейшее по твоей воле не происходит, но всегда и у всякого человека найдется непременно, что его сломает, будь ты хоть академик Сахаров, хоть лауреат Солженицын, хоть правозащитник Щаранский, о голубом воришке Ходорковском и балаболе Навальном я уж не говорю. Найдется, еще как! Не обольщайтесь. Потому всякого человека надо смолоду готовить не только, как ему в «капитанские дочки» выйти и честь сберечь, а что делать, когда ничего поделать нельзя, а возможно только пережить. Что легко может так случиться – любой твой выбор, даже отсутствие его, в смысле дерьмом по течению, все одно плохо. Особенно когда ты за других отвечаешь и других любишь, больше чем себя. Тогда могут вовсе прихлопнуть. И к этому надо быть готовым. Выстоишь, хорошо. Не выстоишь – смирись, бывает, потому, есть вещи, которые превзойти не в человечьей силе, что же, такая жизнь. Вот к этому! К этому надо быть готовым. Каждую свою секунду. А не сопли распускать про циклическое развитие положительных характеров. Хотя и они тоже нужны, если создать тепличные условия. Лизы Калитины, благородно в монастырь, Анна Каренины в знак протеста под поезд, Сонечки Мармеладовы, за любимым в каторжную ночь по собственному, что важно, почину. А вот если бы к ним на порог такие братки, к их сыночкам, братишкам, любимым племянникам? Представляете картинку? Маслом. Интересно, сколько бы доносов подписали заслуженные стоики Мейерхольд, Вавилов, Ландау, на всех подряд коллег и на собственных не самых близких родственников, если бы их престарелую мать у них на глазах… или маленькую дочку в клочья… да мало ли кого или что, у каждого есть ради чего он живет, если это отнять или осквернить, потом уже не имеет значения никакой характер, потому что совсем сошел на нет человек. Я так знаю, и не понаслышке. Ну,

будет. Не о том я пишу… так, о чем? Ах, да. Свободный стихийный рынок и старый хрыч, мой дед.

После челноки пошли, сплошь в туретчину и полятчину, зачастили и сюда разные «мусики» и «франеки». Из Китая к нам напрямую мало возили, далеко. Зато перекупщики были близко. И знаете, что? К ним-то я и пристроилась. Точнее, меня пристроили. Не, не дед, тот сам скоро стал на торговых побегушках, когда пришли серьезные дельцы, но старого хрыча лавочным наместником поставили, уж очень борзо он торговаться умел и падаль за хорошие деньги втюхивал без зазрения того, чего у него изначально не было – то есть, совести. Сосватал меня Темка, через нового своего хозяина (старого к тому времени уже подрезать успели в зверской кабацкой драке на затонах), через Малюту Зеркального – такое вот прозвище. Почему Малюта, это ясно, а Зеркальный – присказка у него такая была, в том смысле, что криминальный новый мир есть зеркало новой русской революции. Гопота законченная, и все окружение его тоже, но меня не очень-то обижали. Не из-за Темки, стали бы они на пацана смотреть, и уж тем более не из-за дедка моего, тот бы меня сам продал, если бы кто дал подходящую цену. А потому не трогали, что я сама, будто цепная собака сделалась, боялись они приставать: мало ли, машину подожжет, а они только-только слово «БМВ» научились по буквам выговаривать. Или отбитым горлышком бутылки наотмашь полоснет, бешенная, мат-перемат, еще и опустить может, гадкой шуточкой на тему ниже пояса и половой ориентации, прилипнет-не-отлипнет. Оно надо? Вот и не «чепали» меня, хотя по деньгам вечно надуть норовили. Да считать-то я умела не хуже, а по мастерству горлом брать – сами бы одолжились. Такая я стала, мать бы увидала, своими руками на оконной форточке повесила. Что дочь ее, в четырнадцать-то лет, – торгашка неумытая, законченная, фря базарная, оптом купить – в розницу с наваром продать, за одни эти выражения «хабар», «челнок», «бабло», руки-ноги бы повыдергала. Однако, не было ее.

Вы думаете теперь, такая-сякая, тварь, память о матери не удержала, предала свою цельнопорядочность, идеальный мир свой предала? Так это нормальное, закономерное явление жизни, что покатилось у меня под откос, все светлое, советское и вечное. Потому как, ни один подросток на свете, будь он хоть потенциальный Эйнштейн или Ульянов-Ленин по существу, ничего сам в себе удержать не сможет. В какие университеты попадет, то и выйдет, и со мной то же, мать ковала одно, а после выплавилось из меня другое. Типа – короля играет окружение, а шпану – двор. Ребенку худого набраться – не стоит ничего,

потому что опоры еще настоящей в себе нет, только в других, хлипкий он и что твой флюгер, откуда ветер сильней. Недееспособный он и есть недееспособный, несовершеннолетний, ни в чем еще не совершившийся, то есть. Без строгого призора, однозначно вниз, ну не бывает по-другому, хоть убей! И не брешите мне про пионеров-героев, Гайдара с его малахольным полком и молодогвардейцев в подполье. Они тоже не сами от себя, и Павлику Морозову кто-то хитрожопый и многоумный запудренную идейку в душу вложил. А бывает – что и ножички с кастетами в ручонки вкладывают. Кто-то потом, конечно, возвращается на «стезю праведную», кто-то идет куда идется, но это позже, а в детстве-юности так не бывает, все за тебя решают «большие-взрослые», ну или просто случай. От природных начатков, конечно, что-нибудь, да и останется, но это святая истина – без воспитания нет образования, я имею в виду – не образуется хороший человек. Потому, если где на белом свете есть истинные упертые педагоги, перед ними шляпу снимаю и поклон до земли, они настоящее дело делают.

Все же школу я не забросила, за прогулы совать в прохудившиеся лапки учителкам навострилась, кому марсы-сникерсы, кому детское финское питание для внучка, кому шипучий аспирин, по интересам называется, вот и закрывали глаза, самую малость, а все же испуганные. Зато и я чуть ли не по ночам, спички в глаза – и вперед, грызть гранит, хотя бабки-дедки в унисон бурчали: кому оно надо, упираться раком над книжкой, теперь рубль все вершит! Но я уже тогда умнее их обоих была, и соображала: рубль только над ними вершит, а есть еще и те, кто над рублем. Для этого знать много надо, иначе выше прилавочного воротилы не поднимешься. Правда, куда подниматься, толком уже не представляла. И Темка не представлял. Крутился по привычке, все ускоряя обороты. Электрогитару он совсем развенчал и отставил, разве для себя и для меня иногда, вроде «крутого» хобби. До ансамбля «Простоквас» ему уже не было дела. Зеркальный приблизил его к себе порученцем. А я приблизилась к Темке. С восьмого класса мы с ним стали вместе спать. Не скажу, что любовь у нас была до гроба, нет, нисколько, скорее запретное любопытство, отсутствие настоящего присмотра и западная порнуха, полновластно вторгшаяся в наш быт. Им можно, а нам нельзя? У Темки знакомый был, – у него вообще везде знакомые были, такая, блин, работа, – видеозал держал. Вы небось позабыли, что это такое? А это первые, советские еще, «мультиплексные» с понтом кинотеатры, на дюжину персон. Грязные, прокуренные, часто и подпольные: две-три комнатенки а-ля чулан, ублюдочный видак

«Электроника», отечественный телек, самопалом заточенный под «пал-секам», обменный фонд допотопных кассет. Крутили в них известно, что: чем ниже проба, тем доход выше. Не знаю, конечно, может, те, которые вы посещали в столице, привередливому интеллигентному клиенту Ингмара Бергмана в ретроспективе показывали, или какого-нибудь Милоша Формана с кукушкой, а у нас попроще – Чак Норрис и подробная шведская «сексуха». Вот мы и развлекались с Темкой, от всей непорочной души и на халявные корейские гондоны, так, что стали даже всерьез считать, будто это промеж нас любовь. А через год Темку убили, по подставе, он переправлял «жженную тачку» и не подозревал об этом, большой куш ему пообещали, в процентах, и он, сам битый-перебитый, клюнул на легкие деньги, наверное, думал – шестнадцатилетний пацан, ну что менты ему сделают? Да и хозяин отмажет, не впервой. Менты ему и вправду ничего не сделали, зато реальный владелец «железного мерина» – тот сделал семь дыр, столько их было, ни одна пуля мимо не прошла, шесть в обойме, седьмая в стволе, – в упор, без шансов. И кончилась наша любовь. Я дня три проревела, бабка-дедка ко мне не лезли, загрызла бы, потом утерла сопли, а как иначе? Жить надо. На рынок побежала. У нас новая партия товара подходила – детские шелковые платьица с машинной вышивкой, тряпка на одну стирку, но шли хорошо, провинциальные здешние мамаши такие подделки пока не распробовали.

Спросите, наверное, куда моя дружка Ирочка подевалась. А никуда. Ей со мной навсегда запретили, даже на соседнем толчке приседать, она не противилась, гнутая, затюканная, хорошо мама ее, учительница-англичанка помирать не собиралась и с головой дружила, они обе просто перебздели те времена, нище, за печкой, впроголодь, но удалось без особых моральных потерь переждать. А моральные проблемы, они пострашнее материальных, вы уж поняли через меня. Ирочка после закончила музучилище, по классу рояля, теперь в нашем местном театре оперетты солидно заведует музыкальной частью, не жирует, но и не бедствует, я ведь вижу ее иногда – она здоровается с опаской, издалека, все же положение у нас далеко не равное. Но я о ней помню только хорошее, зря она.

В общем, о моей жизни – главное-то я вам изобразила-описала. Дальше уже скучно, вам может и нет, но мне – даже лень пересказывать. Так только, для полноты картины, вкратце. Институт я закончила – вы и сами догадались, политех здешний – по классу нефтегазовой трубы, проектирование и укладка оной в условиях вечной мерзлоты. Одной рукой училась, другой – приторговывала, по той же пройденной схеме, сунь-вынь, преподы

брали еще как! У них на сей счет особая бандерша была, типа сводни, Раиса Марковна, через нее я и договаривалась, всегда успешно. Могла бы и целиком диплом купить, но мне знания нужны были, знания! Не все подряд, но которые реально необходимы. А еще с курса примерно третьего стала я изображать сироту. Удивились, да? Ничего удивительного. Не на рынке же мне было век торчать. И трубы прокладывать в Ямало-Ненецком округе не хотелось. Мать – та меня за шкирку бы выперла, в люди, в «поле», трудовую жизнь узнавать, но прилавок уже сотворил надо мной свое гиблое дело. Чего ради я попрусь? Чтобы очередному мудозвонскому Прохорову-Алекперову-Потанину на очередной персональный «боинг» зарабатывать? Нет уж, пускай сами вечную тундру бурят, если им надо. Ладно бы еще как в советской присказке – «длянародадлястраны», а то для самозваного ворюги, которого бы Андропов за расхищение госсобственности у первого забора грохнул. Мне же нужна была хорошая практика в хлебном месте с последующим сотрудничеством на постоянной основе. Иначе – предстояли мне хлопоты о будущем, как писал ваш любимый Владимир Орлов – кстати, прочитала, понравилось: сильно, но очень уж западает, и в чувство, и в мысль, а мне сейчас сложно.

Короче – это у меня новая визитная карточка такая появилась, траурная, слезливая – помогите сироте. Многие прежние мамины сослуживцы и собутыльники в большие люди выбились. Иные – гнусь распоследняя, иные – ничего себе, более-менее совестливые мужики оказались. Бывший мамин шеф, главный инженер Берлиев, тогда как раз оттяпал под себя кус, обозвал его «Южанинросгазпром», акционерное общество с уставным государственным капиталом, типа полусамостоятельной «дочки» головной фирмы, и сел он там полноправным царьком. К нему на прием попасть – вот была задача. Подарки там, взятки разные не катили, не прошибешь, мой рыночный мелкий блат и вовсе смех курам. Но я была мамина дочка – что значит, не сдавалась никогда, и не собиралась даже. Я его подкараулила. День сидела, что называется, на заборе. На приступке-ограждении у большой дороги напротив его парадного служебного подъезда. Оделась победнее, но культурненько. Все забросила – и товар свой и институт. День прошел. Без толку. Второй туда же. На третий он появился. Из черного «линкольна», длинной в полквартала, около – шобла телохранителей. Я бросилась наперерез. Могли запросто пристрелить, или все зубы повыбить. Они и хотели, только я завопила как оглашенная – на сколько воздуху хватило, – кричала свою фамилию и про мать, и что-то вроде простого «помогите», я

уж точно не помню, по наитию получилось. Берлиев приказал меня отпустить, а после приказал привести в приемную, а еще после – чаем отпоить, мой жалкий вид произвел впечатление. Ну дальше понятно – через пять лет я уже вместе с дипломом и аспирантурой при больших делах состояла, пока только как подручная, типа, блин, монашки-послушницы при кардинале Ришелье. Берлиев не прогадал, опять же – доверять не боялся, вроде, как своя, и вроде отдавал долг покойному товарищу. Но и я доверие то оправдывала, соображала быстрее, чем при мне высказывали вслух, молчала под пытками любопытных прокурорских допросов-проверок, ха, тоже мне! Ну и само собой, частенько исполняла приказания специфические, на которые начальство только наводит намеком, и за которые по-хорошему в правильной и праведной налоговой стране полное поражение в правах и два пожизненных без условного освобождения. Или, как говорил Атос-Смехов в известном сериале – Бастилия, срок заключения лет сто. Но у нас было можно, если осторожно. И если есть надежный хозяин наверху, который произнесет ключевую спасительную фразу – цыц, это мой человечек!

Еще через семь-десять лет, точнее не скажу, это свершалось поступательно, постепенно – в путинские уже, срединные времена, я и сама стала таким хозяином, сначала не слишком, чтоб очень. Но потом, мало-помалу… вы не подумайте чего… будто я перед вами хвастаюсь. И близко этого нет, только лишь, чтоб вы понимали. Денег я, скрывать не стану, нажила, что твой бомж несчастий, и примерно с той же приятностью. У меня контрольная доля в местной сети бензоколонок: выкупили франшизу у «Shell», весь комплекс услуг, при каждой автомойка-спа, безалкогольный бар с фирменными коктейлями, никель, хром, биотуалеты – туземные бонзы и просто понтярщики, каких на юге пруд пруди, те сразу к нам, дескать круто, бизнес процветает. Еще я совладелец и вице-президент одной конторы – назовем ее к примеру «Метавтоматика», первоочередное право на поставки оборудования догадайтесь куда? Все туда же, родная газо-нефтянка. Еще – я депутат нашего Законодательного собрания. Не то, чтобы я в законах так уж рубила – я свои дела там делаю, и дела тех, кто мне это место гарантировал. Это нормально. И это – внешняя моя жизнь. Захочу – через пару лет в вице-губернаторы выгрызусь, есть связи и пути тоже есть. Вот и думаю порой, повеситься, что ли? На осине. Но тут же злоба меня берет – фиг, не дождетесь! Стоять до последнего бойца! Такой вот мой идеальный мир.

Все остальное. Ну, что вам сказать. О сугубо личном. Почти нечего. Три аборта, последний я даже не знаю от кого, детей у

меня нет и уже никогда не будет, так доктора говорят. Куча романов, но ни одного серьезного, кругом или слабаки, а сопли я разве кулаком утирать умею, или если сильный мужик, то ему нянька домашняя нужна или кукла заводная, а я так – товарищ и брат. Меня не одиночество само по себе с ума сводит. А то, что я белка в колесе, или бегунок по лезвию бесконечной бритвы. Остановишься – упадешь. Это – как разматывающаяся беспрестанно спираль, удержаться можно, только если в беспрерывном движении, и только вперед и вверх. Иначе будет назад и вниз, уже насовсем. А в тот низ я не хочу, я там уже побывала. Правда – на верхах не лучше, но хотя бы отвлекаешься на работу, которой невпроворот. А денег мне совсем не нужно. То есть, мало потребностей. Для соответствия занимаемому положению конечно, есть и дом, и три машины, и три водилы на три смены, а что? Люди, между прочим, на семьи зарабатывают, я плачу хорошо, хотя и спрашиваю – шаг в сторону расстрел. Иначе нельзя, тут же бардак выйдет. Но чтоб я сама удовольствие получала, вырядившись и расфуфырившись – пыль в бедняцкие глаза, – не выходит у меня, хоть тресни. Я даже украшения никакие не могу носить для самой себя, ни картье-шмартье, ни а-ля-винтаж, ничего, кроме тех нескольких маминых якутских гарнитуров, которые в кривых представлениях нынешних парвеню выглядят жалко. Я их надеваю разве, когда одна, по секрету, для души. Они единственные греют, будто из каждого камня тепло идет, суровое, жесткое, колкое, но родное.

Много из своей доли прибыли я раздаю. Но не кому попало. Просто так давать, хуже нет, можно человека на всю жизнь испортить, погубить, без возврата. Церковникам я тоже ни фигушки не жертвую, перебьются. Я как родилась воинствующей атеисткой, так и помру. А чтоб бездельнику, напялившему на себя черную занавеску, за гнусавое песнопение и корыстные нравоучения – поищи дураков. Мне духовные костыли не нужны, я смерти не боюсь, я даже позора не боюсь, мне от одного плохо. Что здесь, на земле, невозможно полное торжество коммунизма, который пытались строить. Торжество идеального мира невозможно. А загробного мне не надо, я не архангел. Я воин. Проиграю или выиграю свою войну – не важно. Главное тут – сам процесс. Потому что, только он и открывает тебе, кто ты есть. А в сторону отползать, с нытьем-вытьем – ой, попики святые, помогите, найдите за меня никчемного мой смысл жизни, да еще утешьте, наврите с три короба, про то как задарма все будет тип-топ и за терпение воздастся, нет уж! Я в лицо хочу смотреть страшному и неизвестному, сама хочу. И сама выберу, кому помочь, а кого на простор. Я деньги детям даю. Не на сиротские

приюты, там худо-бедно вырастят, да еще таких головорезов, что держись. Я больным даю, тем, кто вытащил несчастливый генетически билет, и чтобы из них что-то вышло, доброе или худое, им еще выжить надо. Вот я и помогаю. Тишком. Интернет великое дело. В каком-то отношении. Можно остаться инкогнито. Читаешь чей-то родительский вопль сердца, потом проверяешь – звонок в клинику и врачующему персоналу, в наше время отнюдь не пустая перестраховка, – потом платишь сколько надо, с пояснением: хоть копейку зажилят, башку сниму. Потом самим родителям детеныша целевой перевод – леченного еще поддержать требуется, выкормить. Так, поэтапно. Лишние деньги и уходят. Не то морока с ними. Главное, чтоб никто не знал. Я отчего-то благодарности не выношу людской, мне тут же по заискивающей роже съездить хочется, до дрожи, до бешенства, такая я уродина.

Я, как вы поняли уже, читать люблю. Наверное, бессистемно и бестолково, но именно поэтому зарегистрировалась на вашем сайте, и клуб ваш мне понравился. Кстати, он и сейчас существует, название не сменил, не бойтесь, по-прежнему СВИНОПАС БОГОРАВНЫЙ, никакой не ЛТЧИЙ ГЛДЕЦ, чуши там много, балаган чистый, но веселый, хотя и пошлый местами. Я туда захожу иногда, тоже ведь общение, непритязательное, порожнее, но не всякое же свободное время Спинозу штудировать. Кстати, его «Этика» дурацкая доктрина, может, эпохальная, гениальная, но все равно – дурацкая. Надо же, все в нашей жизни наперед предопределено, стоик вонючий. Да если б оно было так! Проблем бы не было. Но сколько раз случалось – от тебя вдруг зависит вправо или влево, решать надо в одну секунду, и никакой нравственный долг не поможет, не подскажет, потому что, непонятно, что лучше, а и то и другое взаимообразно хреново или вообще неизвестно, как повернется. А иногда – такое сверхусилие надо приложить, лишь бы хоть куда повернулось, что ничего уже вообще не надо, и все пакостью кажется несусветной. Но все же поворачиваешь, через силу, через сопротивление материала, тупого и неблагодарного. Тогда точно знаешь – ты единственный себе господин, и никого и ничего нет над тобой.

Или. Я вот думаю частенько. Нашлось бы такое место на белом свете, чтобы жить и как бы не жить, ну вроде хитрющего господа бога, когда можно людскую жизнь не проживать, а только смотреть в покое со стороны и помогать, когда сам решишь, что оно хорошо. Потому что бежать в колесе уже достало. А бежать надо. Такая вот дилемма. Как вы думаете, Лео, ее можно разрешить? Что мне делать? Я совсем не знаю.

Деревянное железо

Это был грустный день. Вовсе не серый, тоскливый, пасмурный, дождливый. Нет. Совсем наоборот. Светило безобразно веселое весеннее солнце, отвратительно высветляя всю несуразицу окружающих ландшафтов и предметов. Убогая, пыльная зелень леска за гостиницей, битая «в хлам» дорога, отрезающая тот лесок от мусорной, корявой кучи ржавых железяк – кучу эту из-за пронзительной яркости света никак не получалось представить себе чем-то иным, фантазийным, грозно-историческим, нет, что называется, аутентичная, будь она неладна, реальность рукотворной горы лома из сельскохозяйственно-промышленных отбросов, во всей их красе. И неупадающая грязевая взвесь в стеклянном воздухе, стоячем, плотном, изображающем завесу, занавес, некогда прозрачный, а в этот день – будто загаженная строительная пленка, над недоделанным и заброшенным остовом, то ли бытия, то ли пародии на оное.

Леонтий чувствовал себя скверно, на пределе того состояния, когда не напиться нельзя, и напиваться бессмысленно, когда любой последующий поступок ничего не отнимет, и ничего не добавит к непереносимости существования. Отчего ему было так плохо? Он не знал сам. Не потому, что не имел к тому причин и бедовал на голом месте. Как раз причин у него хватало, более чем достаточно – в этом и заключалась коварная ловушка: какую из их скопища выбрать, какую определить в причину главную, осевую, и выбрав, попытаться избавиться.

Именно в этот беспризрачный день он с особой тоской ощутил свое непарадное одиночество, таким не похвалишься, цветасто не опишешь, не поднимешь победно на щит. Одиночество, в некотором роде, в толпе – хорошие они люди, «пришельские» брат и сестра, но чужие, хоть каждый час ради них рискуй и пропадай, все равно, это только долг, никакая не близость. И вообще – Кости больше нет. Для него, Леонтия, нет. Неужели всю оставшуюся жизнь – если она сбудется, – обречен он на Ваньку Коземаслова и его присных? Правда, оставался еще Петька Мученик, но где он? Призвать его к себе? Но вправе ли втягивать в свою новую, лежащую как бы и вне закона человеческого, сомнительную сферу, будто в черную дыру, человека невинного, чистого, и защищенного мало? То же мальчик Аркаша, драгоценная зеница соседского маминого ока. Леонтий и беспокоился за него – как бы не вышло боком пареньку знакомство? Как далеко простираются ведомственные принципы

Собакина, он опасался даже представлять. На женщин уж точно. А на детей? Потому и от Леночки надо пока подальше. Впрочем, переписка с дочерью, как и всякая иная, была Леонтию решительно не рекомендована, но и прямо не запрещена. Впрочем, рекомендации он следовал неукоснительно, хотя страдал сильно. Все же рисковать не собирался. Зря пришельцы упреждать и стращать вряд ли станут – значит, есть основания.

Он бы нынче согласился, пожалуй, на общество Калерии, пусть бы ее. Все равно ведь – родная, хотя и бывшая жена. Видящая цель, прагматичная, приземленная, несгибаемо-однозначная, будто деревянные бухгалтерские счеты, она пришлась бы сегодняшним днем спасительно кстати. Хватит с Леонтия романтики, и рыцарских похождений тоже хватит. Добро бы драться ему с мельницами, как большинству нынешних мушкетеров пера, так нет же! Даже не с великанами, а черт знает с чем, с черными кляксами-тенями из черных же чердаков и закоулков, с безжалостной силой, не имеющей формы, только лик. Обманный лик Кости Собакина, бывшего гласа совести и друга, а ныне программного робота из ожившей компьютерной игрушки, ладно бы еще был он пресловутый Терминатор, подобное сравнение отчасти сюжетно понятно – вся власть машинам, экспроприация экспроприаторов, то есть создателей-изобретателей и хозяев из людей. А в случае с Костей, что? Кто? Ради кого и зачем? Ради государственной безопасности. Звучит, будто ради дроченного хрена в огороде, а зеленого или спелого, неизвестно. В конце концов, он, Леонтий, тоже государство, его равноправная единица, живая мыслящая молекула, потому как – он есть гражданин, и стало быть, тоже часть безопасности. И ему тоже решать – что государству на благо, а что нет. Он не беспредельный гопник, не дебилоид отсталый, он полноценный и дееспособный, в указках Собакиных, Кошкиных, Попугаевых не нуждается. В силах разобраться сам. Что такое хорошо, а что такое – неистребленное зло.

А еще хотелось ему. Хотелось ему. Отчего-то именно в этот грустный, солнечный день. Сказать хоть кому-нибудь. Любой неравнодушной к нему женщине. Я люблю тебя. Вот что хотелось сказать. Калерии – оттого, наверное, разведенная, отделенная от него супруга и возникла в мыслях, или красивой маме юного Аркаши – ее он и не думал забывать, вот только это совсем невозможно, было даже тогда, когда до ее двери рукой подать, что уж говорить про сейчас. Сказать Пальмире? Наверное, «чухонец» бы не обиделся, и вряд ли теперь возразил, все же Леонтий спас в некотором смысле жизнь его любимой сестре, тем, возможно, что пуля, как ни крути, полетела в его сторону,

хотя и не долетела с точностью. Только не было рядом Пальмиры, и брата ее не было. Со вчерашнего вечера. Скоро вернутся, совместные их поиски вошли в новую фазу, наводка Дарвалдаева оказалась не бесполезной. Вернутся, да. Но ему хотелось именно теперь, именно в эти мгновения одинокого беспросветного солнечного сияния. Он даже подумал – не ответить ли на письмо? Письмо Сциллы. Но тут же отбросил и эту мысль, как совсем уж порочную. Она ведь ждала от него ответа. Ответа – не признания. Но что он мог? Что имел за усталой душой? Уж точно, не открытое, приглашающее окно в идеальный мир, или в реальность покоя и наблюдающего бытия со стороны, он не знал, что же с ним самим станет завтра. Куда бы позвал он другого одинокого человека, если не понимал, где он, Леонтий, находится!

Значит, была еще причина для грусти. Ну, как же, была! Родилась, выкристаллизовалась она не сразу. Поначалу он даже не понял, что это причина гибельная, поворотная, он бы и ныне отмахнулся, но, наверное, уже было ему нельзя. Наверное, оттого он не спал, теперь совсем, и не нуждался ни в сне, ни в отдыхе, так казалось, не чувствовал вкуса к пище, да он толком и не ел все эти дни, или не ел вовсе? Он не помнил. Кажется, даже не пил. Нет, вряд ли. Он бы умер. Вот то, что ничего материального он не желал, ни еды, ни воды, ни красивой одежды даже, это был уже симптом. То ли упадка, то ли припадка, то ли контузии, то ли начинающегося депрессивного психоза.

Поначалу ему показалось: смехотворно просто. Не распяли Христа. Ну не распяли, и что? Не побили камнями вавилонскую блудницу. Не сожгли Рим. Разве имеет какое-то значение, какое-то влияние на… на что? На историю? На перелом – кому быть в главном ее древе, а кому выродиться в боковую, уродливую ветку. К христианству он относился двояко. С одной стороны – никак не относился, прирожденный тайный скептик, он почитал за лучшее не перечить истово верующим, утешая себя примиряющей мыслью: мало ли что бывает, вероятность любого события всегда отлична от нуля. Со стороны другой – как всякому претендующему на всестороннюю интеллигентность гуманитарию, Леонтию полагалось разбираться в хитросплетениях религиозных конфликтов, а стало быть, неплохо знать священные книги не только христианских течений и ересей, но и положения буддистских, конфуцианских, исламских, иудейских доктрин. Потому он никак не мог взять в толк. Отчего у пришельцев такая озабоченность касательно предмета… хмхмхм… маловажного. Ну народилась бы иная какая религия, на почве зороастризма, например. Или остатков египетских культов.

Называлась бы, к примеру, зенобианством, или халдеянством, или еще каким – анством, не суть.

– Вы пока не можете принять, что событие это – не малость, – тогда сказала ему Пальмира. – Вы не знаете пока альтернативную историю. Нашу историю. Историю главного ствола. Вам не приходило в голову, почему фундаментальное открытие нашего мира, известное вам как эффект Ариовиста, носит именно такое имя? – это был не риторический вопрос, Пальмира ждала тотчас ответа, брат ее укоризненно покачивал давно не стриженной, лохматой головой, словно бы давал понять Леонтию: не думай улизнуть.

– Видимо, потому что Ариовист этот самый эффект и открыл, – буркнул он тогда неохотно, что же, его держат за дурака?

– Понятно, что открыл, – Филон пришел в явное раздражение, впрочем, его нормальное состояние, вот и во время памятного позавчерашнего разговора, он так резко скривил и без того перекошенное свое лицо, будто гадюкой давился. Но тут же через силу, и немалую, заставил себя, что странно! чуть ли не улыбнуться Леонтию, по крайне мере, в тоне его звучащего пилой голоса, возникли и учтивые модуляции, – Вас спрашивают, само имя первооткрывателя вас не удивляет?

– Ариовист, что-то из кельтской истории. Кажется, восстал против Юлия, который Цезарь.

– Почти. Он был вождь свевов, одного из народов, впоследствии взявших общее именование – германцы. Он был союзник Цезаря, за свою помощь получивший в управление часть Галлии, и как иногда бывает, вчерашние союзники не поделили между собой прекрасный новый мир, победил, как известно, сильнейший. Первооткрыватель эффекта, вдруг вы и догадались, его однофамилец, – не удержавшись, съязвил «чухонец», но тут же, Господь-Всемогущий-ой-держите-меня! покраснел, от стыда? – впрочем, общее прошлое нам и вам не столько сложно знать.

Пальмира, видимо, во избежание недоразумения и недопонимания, со своей стороны пояснила:

– Тогда ваша параллель еще не отделилась, приблизительно до тридцать третьего года у нас была единая история. Хотя из-за естественных искажений вы видите ее и трактуете иначе. К тому же многие свидетельства в вашей ветви не сохранились, но по вашей собственной вине, – Пальмира задумалась, запнулась на долю секунды: – если говорить о вине здесь вообще уместно.

– Уместно, – братец ее зачем-то погрозил потолку закорючкообразным пальцем. – Так вы подумали?

– Подумал. Ничего не понимаю. Ну, хорошо. Имена, я

согласен, у вас не вполне традиционные, но и не слишком уж, чтобы необычные. И потом. Вы сами раньше говорили. О масштабах. Большой взрыв. Энтропия органической материи. Вселенная Аг-ры, она имеет существенные научно-физические отличия, а вот…, – Леонтий пожал плечами, тоже раздражившись быть может, не меньше «чухонского» братца, – ерунда полная.

– Не ерунда, к сожалению, – дальше говорила только Пальмира, братец ее замолчал, и смотрел на Леонтия как-то даже плаксиво, неужели в самом деле расстроился от его недогадливости или, что вернее, нежелания внимать и понимать? – Вам бы надо увидеть самому. То есть прочитать. Просмотреть. Я могу вам показать отсюда. Через амикуса – она достала, словно бы из рукава, коварный пунцовый мячик, примерно и тихо лежавший, на ее ладони, и пока ни во что противное не собиравшийся преобразоваться, ни в пахучую жабу, ни в иное земноводное. – Одна относительная неприятность: это будет адаптивный для вас вариант событий. Чтобы понять существо главной ветви, надо исключительно к ней принадлежать.

– Все равно, что проникнуть в мысли инопланетян, или в миропонимание дельфина, например, – попытался проявить сообразительность Леонтий. Вопрос, хотел ли он вообще проникать куда-нибудь? Но Пальмира, видимо, считала – двух мнений тут быть не может, а Леонтию совестно было сознаться в какой-то, словно бы обывательской равнодушной нелюбопытности. Или в боязни подглядывать через замочную скважину за жизнью… гмгмгм, допустим, что и привидений. – Я лишь об одном еще спрошу, важном. А что, Христос действительно был? – ох, и дурень же он! Вопросик, точно украденный у безуспешно преследовавшего Воланда печально известного поэта Бездомного. Как бы не получить схожий ответец! Оно тебе надо, Леонтий, был – не был? То же самое, что спросить у очевидца, есть ли бог!

Все оказалось, однако, не так уж страшно. Пальмира не посмеялась над ним, не разразилась откровением, не отвергла высокомерно «есть вещи, друг Леонтий, которые не положены даже мудрецам»! На деле произошло так, как Леонтий и сам давно бы предположил про себя, если бы всерьез задался целью выяснить действительность некоторых библейских персонажей. Ответ ему был:

– Да, такой человек существовал. К несчастью, он оказался в ненужном месте в совершенно ненужное время. И все повисло на волоске. Иногда, а порой весьма часто, возникают одержимые проповедники, иные и с полезным в перспективе мышлением. Тут

как повезет, может, остаться без последствий, может… Не столько, повторяю, важны они сами, сколько место и время их появления.

– Все вышло так неудачно? – Леонтий не поверил, что ж удивительного?

– Да уж! Я не привираю ни в малой степени, наш мир повис на волоске, – Пальмира столь убежденно и столь энергично закивала, будто каждое движение ее крошечного подбородка должно было подкрепить и каждое слово, произнесенное ею.

– Полно вам. Все же обошлось. И обходилось всегда. Как я понимаю. Ваш главный ствол, он словно бы приобрел пожизненную страховку, у кого или у чего, не скажу, но вы же в безопасности. Были, есть и пребудете навек. Аминь! – Леонтию захотелось вдруг плюнуть на пол, жаль не оказалось слюны, нет – не из озорства, но с досады, жгучей и ядовитой. Живут себе, за каменной горой, тьфу ты! стеной, в общем, за своим Ариовистом горя не знают, а другим-прочим всяких «спасителей» подсовывают! Неясно только – само событие, что этот человек, Христос, на свете жил, хорошо в конечном итоге, или плохо?

Опять в разговор встрял Филон, и опять он скривился, будто нашатыря нюхнул, и опять – взял себя в руки, наклонился, заговорил вкрадчиво, будто разговаривал с больным ребенком. А Леонтий все это время и действительно лежал на постели, поверх линялого одеяльного покрывала, потому, такое к себе отношение ему окончательно разонравилось – да что это «чухонец» в самом деле! Жалеть он Леонтия вздумал, что ли?

– Вы искажено воспринимаете. Никто из нас не имеет в виду удачу в вашем смысле. В смысле страховой гарантии. Мы тоже часто выживаем, и выживаем на пределе. Наша удача – это фортуна римлянина, вот как надо понимать. Она дана лишь в возможности, весьма и весьма трудно достижимой.

– Ага, достижимой! – Леонтий и перебил. Хотя всегда не любил и старался столь невоспитанного поступка не совершать. – То есть, банан обещан, только висит высоко. Однако, что в конце концов он будет добыт, обещано тоже, – он поднялся нарочно с двух тощих подушек, комната закружилась, воздух тонкой стрелой запел в ушах, не так резво! Потихоньку он присел, опираясь ладонями на одеяло – по виду колючее, но он не ощутил ничего, даже веса своего не почувствовал толком. Как же ему должно быть скверно, внутри многострадальной черепушки! Ну ничего, посидит, не рассыплется. Но Филон не должен более его жалеть!

– Не банан, – кажется, «чухонец» не разобиделся, даже напротив, возражение ему словно бы и понравилось, – и не висит.

Есть чистая возможность. Чтобы приблизиться к ней, надо преодолеть нечеловеческие трудности и напряжение, решить почти не разрешаемые задачи. Если просто сидеть и ждать ваш банан, то досидишься до полной гибели. Наша страховка стоит чудовищной, непосильной работы вселенной, или ее воли, как понимаете это вы, только тогда осуществляется возможность удачи. В нашей общей реальности в Античном Риме это хорошо представляли. И верно подразумевали. Под удачей полководца, например. Быть поцелованным фортуной значило – через миллионы падений и смертей ты сможешь с отчаянной трудностью пройти – пройти и провести других за собой. Не иначе. Правило, которое, кстати, касалось и богов, не только людей. Хаос порождал Небо, Землю, и уж они затем Время-Кроноса, который ополчался на отца своего. И далее. Бесконечное противостояние и бесконечное вращение. Побочные ветви – это очистка главного ствола, а не его даровое светлое грядущее, вы все являетесь, когда наш мир уже справился, материя, живое существо, разумное человечество уже одолели и уже заплатили цену, вовсе вы не берете на себя наши страхи и грехи, вы не пресловутые козлы отпущения, наши ужасы и наши участи остаются при нас с собой. Навсегда. Скорее, именно вы приобретаете чужой мир как бесценок, как слабую копию, от которой не ждут и не требуют ни неистовых усилий, ни свежих побегов, живите как придется, и радуйтесь по возможности, и даже если угаснете, то закономерно – разве только мы придем к вам в помощь. А мы, как видите, здесь.

Вот это речуга – подумалось Леонтию, и даже с усмешкой подумалось. От души толкнул. Раньше подобных подвигов за Филоном не водилось. Не удостаивал слушателей. А теперь, стало быть, снизошел. Или вправду, после всего случившегося, воспринял чухонский братец Леонтия как своего?

– Ладно, давайте, – Леонтий протянул открытую навстречу ладонь, даже сопротивления не ощутил, рука повисла, будто невесомая, будто лишенная крови и плоти. – Давайте, как его там? Амикуса. Приятное название, дружественное. Кстати – а почему бы просто не показать ваш мир в абсолютной реальности? Вернете же вы когда-нибудь плерум-транспортер, так кажется. Прокатили бы заодно, или я не заслужил?

Они переглянулись. Опять загадочно и тревожно. Что ж такое, в конце концов! Коли сказано А, смешно делать вид, что и алфавит на том закончился. Леонтий уставился молча и с вызовом, точно в гляделки на спор играл с обоими. Кто кого, и первый не выдержит.

– В любом случае…, – первым не выдержал братец.

– В любом случае, это было бы невозможно, – подхватила сестрица. – Вы бы не прошли барьерный контроль. Вы не можете к нам совсем, даже ненадолго. Вы там погибнете. Дело в квантовом энергетическом обмене. В параллелях он вырожден. Потому плерум отправил вас в мир Аг-ры, долго объяснять, но коль скоро вы не предъявили требование пункта соединения, а лишь биологическую массу в виде… э-э-э, указательного пальца, транспортер решил на свое усмотрение.

– И определил меня к наиболее близким человекообразным. По его мнению. Все ясно. Я не в обиде, Аг-ры, надеюсь, тоже, хотя он-то как раз оказался буквально в ненужном месте в ненужное время. В конце концов, даже забавно вышло. Вроде бы тамошние аборигены люди ничего себе, я ведь и сам просился давеча…, – Леонтий поневоле тогда замолчал, хотя и догадывался: тема вернется к нему не раз, и вывернет его, что твой пустой карман, наизнанку.

– Амикуса я прямо не могу вам дать. Вы не умеете управлять, и настройка займет время. Но вы ложитесь, спокойно. Закройте глаза. Это будет, как живые картины. Если информация пойдет слишком быстро, подумайте «брадос», если наоборот медленно – «тахос», но с усилительным акцентом, будто вы растягиваете по слогам. Иначе амикус вас не поймет и собьется.

Он подумал. Брадос-тахос-и-опять-брадос. В тот позавчерашний долгий день. И увидел. До сих пор не мог прийти в себя. От того, что увидел. Это было его третьей неразрешимой проблемой и причиной скверного состояния. Потому что, из увиденного через амикуса он, пардон, ни фига не понял. И это еще эвфемизм, хотелось-то выразиться куда крепче. Леонтий по сю пору не знал, что ему лучше сделать – обидеться или прикинуться. Обидеться на амикуса и Пальмиру, что показали белиберду, или прикинуться умником перед Филоном, дескать, и без того все ясно. Но ясно Леонтию было только одно – не все так просто. Понимание вообще – чрезвычайно дорогостоящая и редкая штука. Какое там, инопланетяне! Гуманоиды! Братья по разуму! Вот, пожалуйста – синхронная параллель, чуть ли не искомая дверь в идеальный мир, и что? А ничего. Чтобы разуметь иной мир, пусть даже идеальный, надо, нет – чрезвычайно необходимо и единственно! – находиться внутри одинаковой матрицы понятий, где даже знакомые слова обязаны иметь тождественный смысл. Скажем, тополь, как произвольно взятое именование, должен обозначать высокое многолетнее лиственное дерево, а не передвижной ракетный ядерный комплекс, или наоборот, но равнозначно для обоих собеседников, иначе профессор-ботаник и конструктор-ракетчик не сразу договорятся

друг с другом, если договорятся вообще. На что уж надеяться в отношении представителей, мммм… иных цивилизаций?

Да, Леонтий видел. Видел и не понимал, или понимал ничтожно мало из того, что сообщал ему амикус о главном стволе. Но еще усвоенные крохи надо худо-бедно переварить! А ведь крохи эти, как было условлено, представляли собой адаптированный вариант событий. Мир Филона и Пальмиры оказался не то, чтобы даже чужд, – маломерное, не выражающее сути определение, – чуждое все же соприкасается с привычным, именно поэтому можно различать свое и иное, как можно всегда сказать – вот мусульманская мечеть, а вот православный храм, однако и то и другое священное, ритуальное здание, хотя несхожи формы куполов и целевое внутреннее оформление. И вообще, в еще более глобальном отношении – то и другое архитектурные постройки, выполненные руками человека, в этом простейшей факте заключено их извечное родство. Но абсолютная реальность главного ствола, она была…, она была… как в скверном кинофильме, снятом пьяным сапожником и смонтированном не опохмелившимся пирожником. Где самые обыденные действия не имели должного для Леонтия, естественного продолжения. Как если бы некто вошел в служебную столовую, во время обеденного перерыва, взял банальный поднос, наполнил его наиобыкновеннейшей едой, заплатил у кассы, да так и ушел, оставив нетронутый товар у стойки с грязной посудой, без малейшего неудовольствия и скандала, но будто бы совершал привычное, каждодневное дело. Или – вообще без продолжения, незаконченное действие: вы подходите к турникету метро, прикладываете карточку к электронному, считывающему оконцу и… и все. Более и далее ничегошеньки не происходит. Совсем. Нет, безусловно. Какое-то объяснение есть. Вот только сами вы его не найдете, а если вам его предоставит некто посторонний, кто в курсе дела, то вы все равно не сообразите сразу, потому что объяснение это будет отсылать вас к другому электронному оконцу и бессмысленному на первый взгляд событию, и так до бесконечности. Или до неведомого момента, откуда вы начнете наконец постигать происходящее, но весь мыслительный процесс займет у вас лет сто.

Кроме того: Леонтий не смог совершить и этакую на первый взгляд малость – сопоставить нормы морали своего и незнакомого ему «абсолютного» социума. Ведь чего, казалось, проще? Зло есть зло, добро есть добро, из коего факта, как вещали все великие гуманисты, вытекает разумная однонаправленность стремления через внутренний нравственный

закон к небу в алмазах, через эгоистические подлости к альтруистическому великодушию. Критерий оценки, заметим, чужих поступков, таким образом, Леонтию был задан много ранее. Оставалось лишь – применить его к обстоятельствам, событиям, быту и нравам параллельных соседей. Вот только. Вот только – применять, прилагать, приноравливать было не к чему. Потому что критерий оказался совершенно несоразмерен предмету. Как если бы какой-нибудь человек, – на взгляд Леонтия, и не его одного, – очень глупый, принялся измерять давление в автомобильной шине медицинским градусником. Чувствительный прибор, без сомнения, выдал бы результат – температуры ладони досужего болвана, затеявшего гиблое предприятие. С тем же успехом завершились изыскания самого Леонтия – его внутренний этико-моральный барометр глумливо показал чушь-галиматью: смутно и над-туманно, еще тревожно и вне-облачно, потому что … давление отсутствует, и данное отображение есть лишь реакция экспериментатора на совершеннейший вакуумный хаос, или хаотический вакуум, и вообще – на полное отсутствие полного присутствия, ну может, наоборот. Но что было удивляться? Параллели разошлись две тысячи лет назад, каждая наладила собственный ход, ритм и размер, как некогда животный и растительный миры разделились на подводное царство и надземный эдем, обитатели первого получили в свое распоряжение жабры, ласты, ультразвуковое сообщение, вторые – когти, крылья, стереоскопическое зрение. Или для пущей ясности– то, что ближе. Леонтий представил себе. Средневекового европейского обывателя, например. Случайно, посредством волшебного алхимического шара, подсмотревшего за московскими горожанами. Пусть не на проспектах и площадях, пусть не в мчащихся автомобилях и метрополитенах. В адаптированном виде – прогуливающихся праздно в парке… допустим «культуры и отдыха имени Горького». Что бесовская одежа, тьфу, тьфу! – это ладно. Это, по крайней мере, доступно пониманию. Но как оценить, объяснить, осознать, обкорнать для своего восприятия – отчего варварски наряженные лохматые люди все время держат одну свою ладонь возле уха и при этом говорят «вникуда»? Условие – тишком подглядывающий человек эпохи ранней инквизиции представления не имеет о мобильных телефонах, и объяснять ему бесполезно, только еще больше пугать зазря. Потому в лучшем случае он подумает следующее – у всех у них болят уши. Или колдовством наведена односторонняя глухота… но зачем кричать в пустое пространство? Порча, не иначе. Или стихийное помешательство вследствие дьявольских козней. Такой будет ответ. Затем обыватель в откровенном испуге

отшатнется от коварного колдовского окошка, и будет думать, что в грядущем времени вовсе не Христос принес людям спасение, но Сатана победил, и очень расстроится, с одной стороны, или весьма обрадуется с другой: ведь сам он наверняка попадет в царствие небесное, где – хвала Создателю, – никогда не будет ему суждено держаться за одно ухо и вопить в пустоту. По-своему выйдет он прав. Потому что и современный человек вряд ли поймет его болести, горести, расклады, уклады, как и благоговейное удовольствие от коленопреклоненного недельного бдения в готическом соборе.

Леонтий окончательно и бесповоротно раскис. Окаянное солнце никак не желало снижать обороты, куда там, наяривало, что называется, во всю ивановскую. Солнечный свет уже начинал душить его, Леонтию в какой-то момент показалось, что он и вовсе не дышит, но нет – грудь его мерно поднималась и опускалась под клетчатой рубашкой-ковбойкой, откуда такая? Не из его вещей, наверное, Филон обрядил его во что уж пришлось, или нарочно купил в придорожном маркете, не в издевку ли? Впрочем, рубашка была удобной, и похоже, стерильно чистой, хотя Леонтий носил ее – дай бог памяти, три, если не все четыре дня. Да где тут испачкаться? Он и не вставал почти. Или вставал? Он как-то подозрительно мало помнил. Но что поделаешь? Он не «железный человек», а третье сотрясение подряд кому угодно выйдет боком, хоть бы тому же Роберту Дауни-младшему, будь он десятижды «последний киногерой». Ну, ничего, Пальмира рядом, а у нее пурпурный амикус и целительная пенка-простокваша, что хорошо – имея под боком завидную парочку пришельцев не надо заботиться самому, по крайней мере о добром здравии.

Все же он попытался дойти до двери. Из чистого упрямства. Шаг. Шум. Шатало. Штормило. Тошнило? Нет, только все вокруг плыло и плыло перед глазами. Будто бы отравленные солнцем глаза его не могли поймать нужный фокус, произвести настройку четкости и резкости видения. Может, на свежем воздухе станет полегче, хуже, во всяком случае, точно не будет. Леонтий подергал за ручку. Однако! Та не поддалась ни единым, крохотным шевелением. Будто приваренная. Вот значит, как! Заперли. Словно ребенка в манеже. Его внезапно разобрало зло. Заколотил что есть сил в фанерную филенку. Удары канули в загробную тишину, в кроличью нору, в межпараллельную прорву. Ни гулким грохотом, ни даже ничтожным звуковым колебанием не отозвалась немая дверь. Нарисованная – на стене, в обман для него: пришло Леонтию на ум возможное сравнительное, но совершенно нелепое объяснение. Он прислушался. За порогом явно протекало нормальное земное житие-бытие, ходили какие-то

люди, переговаривались, пересмеивались, перехихикивались, перетаптывались, звенели ключами, шуршали дорожными картами, шлепали шлепанцами, то ли экскурсанты, то ли командировочные «толстоведы», потом загрохотала пустым цинковым ведром уборщица, где-то в отдалении, затем – чугунные бабьи ругательства на дно падучего зловредного предмета и возмущенные интеллигентные призывы в умеренной тональности – не портить воздух непечатным словом. А ведь в снятый пришельцами номер горничная так ни разу за три-четыре дня не зашла, будто нарочно ей приплачивали за «небеспокойство». Значит? Идея! Леонтий подал и свой голос – завопил «напомощьгражданепомираю», и… никакого результата. Что ж такое? Он перепробовал, по возрастающей, трагические призывные попытки от «трубупрорвалопожартутбомбатеррористы!» до «женаушлапомагазинамзабывоставитьключ!!!» Эффект был велик в части его полнейшего отсутствия. Словно бы проклятая фанера, своеобычно отличавшаяся разоблачительной и наглой звукопроницаемостью, как раз теперь решила восполнить пробел в имеющейся совести – не выпускать наружу и самый мало уловимый шум. Леонтий затрепыхался, забился, напоминая себе одинокую муху, попавшуюся в смертельную, паучью сеть.

Ничего не поделаешь. В конце концов решил он. Бессильные метания по убогой гостиничной комнатенке выпили его до дна. Лучше лечь. Обратно, на кровать, может – костлявую, ребристую, отощавшую от гостевых злоупотреблений, но все равно Леонтий не отяготится неудобством, тело его утратило здоровую чувствительность, каждое движение его совершалось будто бы в «тяжелой» воде, будто бы плыло в пространстве вязкого глицерина, предательский выстрел что-то повредил в голове, что-то важное, украв у нормальности его ощущений добрую половину, если не большую часть. Да ну их совсем, жить-то можно, если осторожно. Отлежится, отваляется, очухается. Не впервой. Леонтий раскинулся, на сколько хватало возможностей наемной койки, в покойной позе затаившегося в гробу вампира, попытался уснуть. Безуспешно. Что ж, к этому он тоже почти привык, мысли безостановочно проходили, проплывали, прорывались в его смущенное сознание, некоторые напролом, некоторые в обход через тайные окольные пути, но это по-прежнему были все те же самые мысли, те же три проблемы, навязчивые и мучительные, пиявки его бытия в ближайшем обозримом настоящем. Леонтий решил – лучше уж он начнет считать овечек, бесперспективное и дурацкое занятие, зато в своей зомбирующей цикличности – несомненно, волне приличное

успокоительное. Овечек не получилось. Получилось считать ящеров. Не Ящеров, подобных его многострадальному педальному другу, а настоящих доисторических завров, внешне похожих на травоядных игуанодонов: Леонтий считал их по бревнообразным хвостам. Один-два-три-четыре. Миролюбивые динозаврики в его голове послушно кивали в такт – один-два-три, – это было очень мило и очень ясно, потрясающая четкость изображения, вот уж дали по башке, так дали! Но должен быть хоть один положительный момент. Вот, живой мультфильм. Леонтий улыбнулся и открыл глаза. Посреди все также утомительно освещенной комнаты в промасленном луче света пасся дружелюбный небольшой игуанодон, синюшно серого оттенка, Леонтий уставился на него в пристальном изумлении, отчего животное сразу же стало рассасываться в воздухе, словно детский сахарный леденец в чайном кипятке. Галлюцинаций ему только не хватало! Дожил. Дотерпел. Домахался на себя рукой. Надо было лечиться как следует. Нет уж, пускай Пальмира отмерит ему часть пенной простокваши, поможет – не поможет, есть выбор? Вообще, нужен хороший томограф, да где здесь взять? Разве амикус? Подключить к голове, и всех делов. Если под силу ему обернуться смердящей компьютерной жабой, отчего бы не превратиться на время в довольно примитивный, по передовым «пришельским» меркам, исследовательский прибор? М-да. Вернемся лучше к нашим игуанодонам. Однако:

Досчитать и додумать ничего Леонтий не успел. Открылась нарисованная дверь, оказавшаяся, как то и должно, вполне обыкновенным куском фанеры с врезанным дешевым замком, отворил его гостиничный источенный ключ с номерной алюминиевой биркой. Филон и Пальмира вернулись. Наконец.

– Где вы были!? – возопил Леонтий, обиженно, покинуто, слезливо. Сам удивился. Неужели все это время наедине с собой ждал он этих двоих? Или кого-нибудь неконкретно ждал вообще?

– Не вставайте. Все в порядке, – неужели, Филон? Сказал сочувственно, даже любезно. Это чухонец-то!

– Все в порядке, – Пальмира улыбнулась ему, словно ребенку. Ну, ей можно. – Мы нашли. Здесь неподалеку. Художник. Нет. Отшельник. Вообще, скандальный человек. В округе его не любят. Так что расспросы помогли.

Понятно. Отчего вид у них такой. Какой? Леонтий задумался. Неразочарованный. Но и… нерадостный. Будто у каторжан, закончивших в шахте дневной урок, от коего им ни тепла, ни трудовой гордости, но сделать было надо, вот они и сделали.

– Вам неприятно? Отшельник. Или его новая религия. Кстати, в чем ее смысл? Я так и не узнал, – Леонтий обратился сразу к

обоим, не выбирая брата или сестру, словно теперь представляли они собой одно неразъемное целое. И без перехода к ожиданию ответа выпалил: – Что теперь? Возьмете меня с собой? Поговорить. Или усовестить. Или…

– Нет. Ничего этого не надо, – ответил ему за двоих Филон. Так сдавленно и так тяжко, будто каждое слово раздирало ему горло и с трудом пробивалось наружу. Еще одно – угрюм и неуловимо страшен сделался высокомерный и едко-насмешливый прежде братец, не стало более в лице его сардонической кривизны, но появилось… так смотрят, когда ничего уже не хотят видеть, кроме того единственного пути, с которого некуда свернуть. Оттого смотреть на Филона было жутковато.

И, как оказалось, не зря. Потому что брат нежной Пальмиры сбросил с плеча прямо на нечистый, затоптанный пол грубую базарную пластиковую сумку, сбросил, точно охапку дров усталый поселянин у порога, не донеся до печи. Что-то звякнуло. Глухо. Железом. Нехорошо звякнуло. Филон нагнулся. Открыл. Потом сел прямо на пол рядом. Леонтий глядел во все глаза и никак не мог уразуметь. Пока… в руках у пришельца не оказался…

– Пистолет-пулемет…, – успокоительно произнес голос Пальмиры, если вообще можно успокоить в такой ситуации, и дальше перечислялись скороговоркой какие-то чужеродные буквы и номера, вроде УЗИ 1234…, а может и нет, Леонтий не разбирался и не разобрал. Да и какая разница?

Он сжался. Съежился. Ощутил свою жизнь на кону. Неужели, против него?

– Это пока должно побыть здесь. Надо привести в порядок, – Филон поднялся. Положил немыслимую стальную вещь на хлипкий, задрожавший под ее весом и смыслом, инвентарный столик.

И тогда Леонтий понял. Это не против него. Это… неужели они знали? С самого начала. Что будет так. Вот почему. Почему Филон… он тоже знал, что именно ему предстоит? Выходит, вся его напускная желчь и не желчь была вовсе, а боль? Выходит, не прятался он за женской спиной, но ждал, когда придет его черед? Выходит, брат тонкой и прекрасной Пальмиры прибыл сюда как… как палач? Или как исполнитель, чего? Или как спаситель. Но кого? Господи! Леонтий закричал. Не выдержал. И возопил в голос: «не надо!», «стойте!?», «зачем?». Филон посмотрел на него. Так, будто навстречу его вопрос. Хочешь вместо меня? Нет. Нет! А, собственно, почему? Почему Леонтия оставили в стороне? Это его параллель. И значит, его дело. И значит оружие должно вложить в его руку. Он ничего уже не понимал. Закружилась

голова. Он опять утратил сознание.

Сад с горчичное зерно

– …так все произошло. Когда послание прокуратора Понтия было доставлено, занятного проповедника привезли к Тиберию Августу, на остров Капри. Он говорил с ним. Он выслушал его. Он даже рассердился. Но не казнил. Велел поселить в Вечном Городе, в египетских кварталах за Тибром, римские иудеи его бы все равно не приняли. Что сталось с ним дальше мы не знаем. Видимо, ни школа его, ни сердобольный аскетизм так и не прижились.

– Как же так? – подивился Леонтий. Он по-прежнему лежал в покойной позе, не в силах и головы поднять, но никого это не обеспокоило, даже его самого. – Величайший из живших на земле людей…

Пальмира предупредительно подняла пальчик – минутку, минутку! Словно желала погасить ненужный выговор. Филон хмуро корпел в углу над «железной вещью», казалось, все познавательное собеседование его вообще никак не волновало: Леонтий боялся нарушить невольно его будто бы и нечистое одиночество, потому старался не глядеть в сторону «чухонца».

– …для вас, да. А мы не столь уж много знаем о пророке по имени Иисус. Только те из нас, кто интересуется историей отделенных подпространств. Простите, смежных с нами миров. Это не слишком важно для центрального ствола.

– И что же было дальше? – интерес жгучий, вот только можно ли его утолить? Леонтий ждал.

– Ну… Калигула был изгнан из дворца. Навсегда. То ли пророк повлиял на императора, то ли Первый-среди-равных изменил свое отношение к возможному наследнику самостоятельно. Гай Цезарь, сын Германика, именуемый Калигулой, вскоре был отравлен в Александрии из-за сомнительного финансового поручительства, данного им наместнику. Темное дело, частный случай нашего прошлого. Новым принцепсом сделался родной внук императора Гемелл, хорошо воспитанный и довольно талантливый юноша, девизом последующего правления стали красота и умеренность. Конечно, они не осуществились на практике так, как мечтал юный правитель, да и сам он вскоре перестал быть таким уж наивным и юным. Но благотворный импульс, посланный им в верном направлении, достиг цели, хотя и через великие препятствия. Главное – Божественный Цезарь Гемелл сумел достичь равновесия, пусть поначалу шаткого, между единоличным началом своей власти и республиканским Сенатом.

– И не случилось апокалиптического Нерона, актера-императора. И не было падения Иерусалима. И рабы, в конечном итоге, в царствие небесном не превзошли господ. Последние так и не стали первыми.

– Да, не стали. Но не потому, что было повержено добро. А оттого, что очень скоро не стало ни самих рабов, ни их господ. Но речь теперь не о нашем мире. За него не стоит волноваться.

Филон неловко, и наверняка, не нарочно, громыхнул своим страшным железом, уронил, поднял:

– Это уж точно, – фыркнул в подтверждение так свирепо, словно намеревался извергнуть серу и пламень из собственных носа, рта и ушей.

– Но почему? – то ли мерзкий лязгающий грохот, то ли «точечное» вторжение чухонца в «божественное собеседование», однако… Леонтий таки разразился тривиальнейшим вопросом малобюджетных детективных боевиков, невольно выдав свое волнение, в данный момент не имевшее отношения к сути разговора.

– Что, почему? Почему за нас не стоит волноваться? Или почему исчезла дилемма рабов-господ? – Филон не язвил, в отличие от привычной его манеры, нет. Он совершенно искренне удивился, оттого переспросил, снова будто бы явив жалость к больному и страждущему ближнему.

– Да нет же! Нет! При чем тут… то есть, конечно, простите. Дай бог вашему дому… в смысле миру. И хорошо! И славно, что…, – понес сущую околесицу Леонтий, путаясь через слово в выражении своей мысли, – в общем, славно, что вы не нуждаетесь. В моем беспокойстве за вас, так сказать. Почему? Я имел в виду вот это ваше орудие. Оружие. Пистолет-пулемет ваш… как там бишь его… не важно. Зачем? Против отшельника, того, который художник. Ладно. Может быть. Но почему? Я понять хочу. Я имею право!

Он и в самом деле желал понять, хотя не вполне ощущал себя вправе претендовать на это понимание. Почему, собственно? Что такого страшного? Новое религиозное течение. Что же, вот так сразу и стрелять? Если уж Иисус был им плох, (… пришельцам был или казался плох), то все же. Все же! В его родной параллели явление Христа пережили и неплохо пережили, может, потому и пережили, что уверовали. Им там, в центральном стволе легко. Ну или трудно. Зато они во главе угла, то есть прогресса или поступательного эволюционного развития, короче – храбро и смело идут вперед. А как остальным прочим? Аг-ры, например. Или тем, кто тоже шаг вперед, да. А после порой два назад. Но убивать-то зачем? Пальмира и Филон. Ведь добрые же люди. Или

НЕдобрые? Кирпичом его по голове. Правда, после-то лечили и спасали. Теперь вот – пистолет-пулемет. Имеет он право или не имеет, но он хочет знать. Иначе… – а иначе, в полицию! Поднимет шум, выломает эту клятую, заколдованную фанеру. Пусть! Даже к Собакину, в крайнем случае… Нет. К Собакину – нет. Да мало ли в России службистов! Как в пресловутой Бразилии «донов Педро». А если и его, под горячую чистую руку, с холодным сердцем… того-этого? С шумом он, пожалуй, погорячился. И…

– …и не только право понять, – Пальмира уже что-то говорила ему, он пропустил начало, пришлось внимательно вслушиваться, – в вашем случае несколько больше. Мы спросим вас, после того, как объяснимся. Объясним вам. Это не обязанность. Не долг. В нашем восприятии мира другие понятия. Мы не обобщаем единое правило на каждого подряд, все более гибко происходит. Но после мы спросим вас – согласны ли вы?

– Пардон, пардон! – заторопился Леонтий. Перебил. Опять. Хотя не уважал эту привычку. Да. – Согласен ли я? Принять на себя решение. Принять на себя вину за чужую жизнь. Ну, знаете ли! Если вы ТАК ведете свои дела…

– Не хотите, не принимайте, – Филон и головы не повернул в его сторону. Снова уткнулся в свою работу, Леонтий осмелился было подумать «грязную», но теперь не решился. – Умойте руки, закройте глаза, отойдите в сторону, так у вас называется? Мы ни к чему не принуждаем. Никого.

– Только выслушайте сначала? – Пальмира выжидающе и как-то просительно на него посмотрела. Глаза ее, глубокие, черные, словно бы наполнились тоской. Может, ей тоже мучителен был весь этот затянувшийся, безнадежный разговор. – Это не просто новая религия. Это тупик. Страшный. Из которого не будет никогда никакого исхода.

– А если поподробнее? – Леонтию показалось, что он от волнения привстал в кровати, хотя на деле даже не шевельнулся. Но так показалось.

– Вы зависнете в мертвом. виртуальном пространстве. Между смертью и бытием, и это не будет ни то, ни другое. Здешний отшельник, или художник, он проповедует очень вдохновенно, связно и расчетливо, не догадываясь даже о сути того, что творит. Он, видите ли, нашел вечную жизнь. В компьютерном коде, в размеры которого он желает втиснуть все смертное человечество. А тогда…

– Постойте! Послушайте! Это же белиберда! Не бывает! Это наша фантастика! Вы, наверное… перепутали, или насмотрелись вместе со мной. Терминатор выдумка. Голливудский боевик.

Ничего кроме. А жизнь в информативном поле тем более невозможна!

– Возможна, – каркающим голосом отозвался из своего угла Филон, и снова очень подозрительно вздохнул. Будто бы даже над Леонтием.

– Ну, хорошо. Допустим. Возможна. Не сегодня, так завтра. Передовые технологии и всемирная паутина. Новый повелитель мух для развитого человечества. Только, что здесь плохого? И страшного? Видите ли, мне самому мой сосед Аркаша много раз об этом рассказывал. Насчет вечной жизни не знаю, про вечную жизнь он ничего не говорил. Но об остальном прочем! Мысли, знание, душа, все останется! Не будет лишь болезней, стареющего тела, и вообще ничего уныло плотского. Следующий уровень развития. Продвинутый этап, так сказать.

– Так сказать – еще полбеды. Все куда хуже, – Пальмира резко замолчала, при этом закусив нижнюю губу, так остро и так сильно, до белой полосы, что Леонтию стало не по себе, раз уж она переживает, даже и боли не чувствует. А может, с досады? Он почти утратил доверие к чему бы то ни было. Молчание также резко прервалось. На том же месте, где и случилось: – Все много хуже. Не столько важно, каков уровень развития, сколько, какого Бога ваш проповедник создаст на его основе. Технологии еще не новая вера, по сути это вообще никакая не вера. Всего лишь очередной способ усовершенствования бытия. Нет, не бытия – бытового сосуществования. А всякая вера, новая ли, старая, всегда – совмещение. Жизни здесь, и смерти ТАМ. В произвольно и вдохновенно выбранной фантазии. Увлекательной для последователей. В вашей параллели особенно. Религиозный фанатизм по любому поводу и есть здешний вектор ориентации. Который нам удалось изжить, от которого удалось очиститься. Будет следующее…

И она рассказала. И он услышал. И когда она закончила, он не пожелал остаться в стороне. Если все так, как она говорит. Может, не так страшно: нарочно пугает и преувеличивает? Но вдруг если так… он тоже пойдет. Вместе с Филоном. Иначе нечестно. Не стрелять, конечно, но разобраться, или усовестить, или устрашить, или как повезет. Только… где доказательство? Где? Того, что виртуальная жизнь вообще возможна. В природе вещей. В том, что человек найдет этой природе самое скверное применение, теперь он нисколько не сомневался. Но в остальном…

– Доказательство есть вы сами, – был ему голос, нет, глас, из угла.

– Что, простите? – Леонтий даже не улыбнулся.

Филон отложил свою железную штуку. Встал. Вытянулся. Будто на парад. Потом снова сел. Очень прямо. И очень нервно. Если что самое трудное, тяжелое, гадкое – брат берет на себя. Припомнилось Леонтию его же собственное умозаключение. Так что же? Гадкое? Тяжелое? Трудное?

Он подумал о Леночке. Не вдруг, ни с того ни с сего. С ним это бывало. Не часто, но бывало. В последние годы, когда вот-вот должно произойти чему-то плохому, по-настоящему, – он начинал думать о дочери. Раньше, до ее рождения, он разве что принимал известия, сообщавшие о несчастьях, принимал легко, как мимолетное затруднение, непременно преодолимое и временное, может, оттого, что не представлял и не испытал на себе истинных потрясений? Но с появлением на свет Елены Леонтьевны Гусицыной легкомыслие его несколько поостыло, и, хотя действительные беды на его голову до недавних пор не выпадали, осознание их возможности не давало покоя. Тогда, в моменты непрямой угрозы, Леонтий начинал думать о дочке. Не о том, как она будет без него, если шальной пьяный водитель, инфаркт миокарда или обкурившийся джихадист с самопальной бомбой. На этот случай имеется Калерия и прочая многочисленная родня – обидно конечно, что свет клином на нем, родном отце, не сошелся, но слава богу, не катастрофа, обойдутся, лишь бы Леночке было хорошо.

Началось это как-то однажды, Леночке исполнилось полгодика только, и Калерия была еще его женой. Глубокой ночью с подвыпившим случайным приятелем, и сам «датый» выше умеренного, нарвались в районе Филевского парка – хулиганье подростковое, трое обдолбанных дешевой травкой мушкетеров, но один был с ножом. Вот тогда Леонтия и прошибло, с тремя сопляками вообще-то можно было справиться, и нож тот далеко не бандитская «финка», но он убежал. Позорно. Драпал со всех заплетающихся ног, приятель дышал ему в затылок: Лео, да погоди, да подумаешь, да наваляли бы им по первое число! Приятелю что? Удрал как бы нехотя, вослед, как с гуся вода, а за Леонтием могла закрепиться репутация. Но как раз об этом он не думал. Ни тогда, ни потом. Когда критические переломы возникали вновь и вновь, а у кого в жизни их не бывает? Но с той поры плевал он на репутацию. Он думал в подобные минуты о совсем другом. Что вот он, именно он! не увидит более ее лица – никого и никогда вообще не увидит, это ерунда, это не пугало его, – и что не заговорит, как со взрослой по-детски, тоже ведь надо уметь, не поиграет, не поцелует, не позаботится в мелочах. Он всегда уважал и ценил эти «вроде бы пустяки», более важные, чем главные заботы: поправить задравшуюся одежку, отряхнуть

шубку, перевязать бантик, а вот пирожное! можно ли? размышлял серьезно вслух, и какую игрушку выбрать, и какой мультик посмотреть, если все это уйдет из жизни вместе с ним, какого черта тогда? И он встречал грядущие потенциально смертельные несчастья во всеоружии паникера. А теперь.

Когда Филон вот так выпрямился на стуле, все четыре ножки закачались, затряслись, от телесного напряжения, только подумал он Леночке, и сразу перестал. Потому что. Нет, не почувствовал и не предугадал, как сказали бы – на интуитивном пороге звериного чутья. Он узнал. Посмотрел и узнал. Так просто. Грядущее несчастье нечего ждать. Оттого, что оно уже настоящее, уже свершившееся, и Филон лишь хочет ему сообщить о том, чего избежать никак нельзя. Как нельзя избежать прошлого, которое наступило – наступило на тебя и потом, злорадно скалясь, пошло во времени в ногу рядом, даже если ты еще не подозреваешь об этом. Леонтий будто бы перескочил через собственные чувства и предчувствия. Не ощутил ни холодка в груди, ни подступающего к горлу комка, ни томления в послабевшем животе. Как если бы скорый поезд метрополитена миновал без остановки все промежуточные станции до конечной нужной, в полном небрежении всех правил своего движения. Так произошло и с Леонтием. Он не почуял след, не уловил запах беды, не впал в естественное сомнение со скрытой надеждой – вдруг и пронесет. Он узнал. Вот так сразу. Что его ждет – наихудшая новость, то самое объявление о конечной станции, от которой поезд дальше не идет, и просьба освободить от своего присутствия вагон. Однако ему хватило мужества заговорить первым.

– Как же с доказательством? Вы изволили сказать, будто бы я оное и есть. Если вы имеете в виду амикуса, мой контакт с ним, то ведь он всего лишь устройство. Что же до меня…, – Леонтий осекся, затруднившись сформулировать. Запутался. И голова. Томограф бы сюда.

– Что же до вас, то…, – Филон выдохнул, тут же обмяк на стуле. И на выдохе было произнесено: – вы умерли.

– Как, как? В смысле? – но это был уже пустой вопрос.

– Вы У-М-Е-Р-Л-И. Простите, – Филон не отвел взгляда.

По тому, как он смотрел прямо в лицо, можно было сверять детектор лжи, и Пальмира, она сделала то же самое, да. Они больше не переглядывались, незачем более было таиться и врать, эта прямота обоих взглядов устраняла самую возможность малейшего недоверия. Брат и сестра заговорили как-то вместе, не перебивая и не дополняя друг дружку, но вместе, будто голос и его отраженное эхо, порой не повторявшее, но шедшее от себя.

– Ваш друг, хм… ваш бывший друг. Он не промахнулся.

Попал точно в затылок, меткий выстрел, без вариантов выживания. Вы и не выжили. Моей сестре, … да, мне… лишь удалось за долю секунды переместить вашу биополярную личность в резервуары амикуса, копию вашей базовой памяти мы сделали загодя. На всякий случай. Да, мой брат… я всегда предусмотрителен, хотя мы не ждали, что дойдет до расправы. Вас похоронили позавчера… точнее, кремировали. Ваша жена, Калерия Брониславовна, не пожелала отдать урну с прахом в колумбарий, забрала с собой – как же вы будете там совсем один, она так сказала.

– Позвольте. Позвольте! Я хожу, я говорю. Вижу! Слышу!! Я ощущаю себя, наконец!!! Пусть и не до конца! Я вовсе не чувствую себя цифровым кодом или виртуальным героем. Я вещественен. Я есть!

Он кричал. И знал. Что бесполезно. Они уж точно не виноваты.

– Конечно, вы есть. В пределах этой комнаты. Модулятор амикуса встроил вас в реальное пространство, но очень ограниченное. Не хватает мощности. Вы извините.

Да что же за привычка у них теперь! Все время извиняться. За что? За то, что спасли ему жизнь? Но он не жив больше. Как же так? Бред собачий. Он перешел на шепот. Ползучий. Шипящий. Подземельный.

– Бред собачий. Я же вот он, перед вами. Вы видите меня, а я вас. Бре-ед собач-чий. Мы разговариваем. Я, правда, не чувствую запахов, и с осязанием проблемы. Я, может быть, давно не ел, но нет аппетита, при контузии это нормально. Я не сплю, но…ш-ш-ш…

– Но это и невозможно. Вы контактируете только в пределах необходимого интерфейса. Звуковые и световые волны переведены в соответствующие сигналы, на ваш нынешний язык, если можно так сформулировать. Вы действительно не пили и не ели. И не спали. Вам и не надо. Да, да! – брат и сестра закивали, подтвердили в унисон. И словно бы просительно одинаково склонили головы набок – ты уж поверь нам! – Конечно, вы ощущаете некоторые неудобства в восприятиях. Вам порой кажется, будто вы падаете в обморок, или будто бы все плывет перед глазами. Это оттого, что полная настройка еще не завершена. Вы переводите информативную недостачу на привычные вам понятия. Но их на самом деле нет.

– А! А-а-а! тогда все ясно, – он ответил машинально наяву или во сне, ответил ли? И не достаточно ли с него? Невыносимо… Леонтий снова утратил сознание.

Не до конца. Он созерцал внутри себя, или создавал внутри

себя. Образы. Видения. Сны. Словно бы сам снимал кинофильм и сам же его смотрел, параллельно и одновременно. Обкорнанная, обокраденная жизнь, но все же существование. Лучше, чем ничего? Может и лучше, если бы… он это видел. Когда не остановили, опоздали. Не спустили вовремя курок, пощадили, пожалели. Новая вера и ее пророк, успевший стать мессией, некстати со своей гибельной проповедью. Уже мертвый пророк, к тому времени, когда она готова будет осуществиться, овеществиться полностью. Ничего нет хуже мертвого пророка. Именно его «мертвость» и переводит вдохновенную еретическую новизну в не рассуждающий фанатизм. Бедный отшельник. Он хотел, как лучше. Все пророки, без исключения, хотят, как лучше, в этом их главный недостаток. Справедливость – их главная цель. Во все времена и во всех собственных сотворениях бога. На небе и на земле. В Аиде и в Великой Пустоте. В абстрактном деизме и в бесконечно возрождающейся дхарме. Или – логический разум бинарного построения, как высшая сила, просчитывающий мгновенно оптимальные варианты разграничения между добром и злом. Что не может человек, то по плечу машине – стало быть, она и есть Бог. И стало быть, нет иного выбора, кроме возвращения в его лоно. Бедный художник. Он нарисовал свою, абсолютную, реальность. Виртуальная вселенная, поделенная на рай и ад. Вечная жизнь. Воскресение, Страшный суд, Божья кара. Пощупать и потрогать. Здесь и сейчас, не надо ждать. Это не завтра, это уже сегодня. Правоверных – обречь на бесконечное наслаждение. Высшее из которых – вечно терзать тех, кого должно обречь на бесконечное же наказание. Первых, конечно, много меньше, чем вторых. Иначе, какой смысл? Заслужить царствие небесное. Это нелегко. А кто решает? Возвысить или ввергнуть. В учении будет сказано. Двенадцать праведных. А кто решает об этих двенадцати? Те, кто вовремя сообразили, в чем дело, и чем оно рано или поздно кончится, дальновидно решили сами за себя. И захватили виртуальное пространство в свою власть. Он видел их образы. Безжалостно-обреченные. И облегченно-радостные, оттого, что успели. Подчинить себе еще живых проще простого, каждый желает жизни вечной, и далеко не каждый знает, что она такое. Тупик. Бесчеловечность. Мрак. Действительный ад, разделенный на две части. Для чертей, и для их жертв. Так впредь, да пребудет всегда и более не случится ничего. А сам он – вот. Может, для него все сложилось не столь уж плохо? И почему он не сошел с ума от ужаса, с ним происшедшего? Мертвый и все еще живой. Или ему более не с чего сходить? Равнодушие. Странное, неописуемое. Одолело его. А ужаса нет, как не было. Перед случившейся судьбой. Значит,

Собакин все же попал. Это многое упрощает. А, плевать слюной! Ему более нет нужды возвращаться на «собачий» пир. Хоть одно радует.

Он подумал, что пора очнуться. Сколько времени прошло, пока он обрел относительный покой? И смирение. Годы? Или часы? Или секунды? Здесь нет времени. Больше нет. И сколько угодно его. Время не резиновое. Теперь – еще как! А он все же есть! Зачем? Для чего? Жизнь без жизни. Лучше так? Нет, ни фига не лучше! (А крепкое-то словцо не разучился еще произносить. Да что, в самом деле! Если он есть, то он и не изменился). Есть-то он есть. Хочешь, не хочешь. Но что поделаешь? И все-то он впадает в «бессознание» по малейшему пустяку. «Сейчас я в обморок паду!». Словно какая-то Вампука, принцесса Африканская, ей-богу! Стыдно. И довольно уже.

– Леночка. – Было единственное слово, произнесенное им при пробуждении.

– Мы понимаем. Мы понимаем, – ответствовали ему два голоса. – Мы не могли позволить вам писать ребенку и вашей бывшей жене. В эти дни. Представьте себе их чувства. Но теперь вы сможете. Весь простор вашего интернета, как любое информационное пространство, ныне доступен вам.

– Я смогу написать дочери? – он не до конца уяснил. Верить или не верить – таких понятий более не было в его новом лексиконе.

– Вы сможете жить параллельно с ней. Даже больше. Вы сможете заново подружиться с ней, опекать ее, наставлять и учить. Представьтесь каким угодно именем. Отныне вы всякое лицо, которое только пожелаете на себя надеть. Друг по переписке. Всегда рядом. Но учтите!

– Что? – еще какая-нибудь пакость. Он не сомневался, что узнает оборотную сторону и этой сладкой медали. Да все равно. Леночка будет с ним. При нем. Нет, он будет при ней. Ах, да все равно!

– Ваш ребенок будет расти. Сначала. А потом будет стариться. И умрет. Примите это, как данность всякой жизни.

– И тогда я останусь один. Я и сейчас один, – он только что понял. Виртуальное пространство было безгранично. Потому, что было пусто. – Я не хочу.

Они переглянулись. Не заговорщицки, нет. Теперь открыто. Филон утвердительно склонил голову. Только после этого Пальмира ответила:

– И не надо. Вы сможете взять с собой в ваше состояние одного человека. Только одного. Если найдется таковой согласный. Эту меру не мы выдумали и не мы предусмотрели.

Контактный преобразователь на большее не рассчитан. Подумайте, и подумайте хорошо. Кого бы вы хотели пригласить, видеть рядом с собой. Очень, очень долго. Пока у вас не возникнет желание отключиться навсегда.

– А разве можно? – что же страховка ему не повредит. Кто знает, как все сложится. Он, конечно, трус. Но он боится и этого, вечного, виртуального бытия.

– Разумеется. Вам необходимо понять главное. У вас, наверное, уже напрашивался вопрос. Нет, мы в центральном стволе не бессмертны, хотя могли бы. Между «мочь» и «сделать» порой неодолимым препятствием стоит «зачем». Просто такова цена, – Филон запнулся, будто подбирая точные и нужные слова. – Смерть – это цена всякой жизни. Самое прекрасное должно быть оплачено самым кошмарным, иначе не может быть. Иначе прекрасное утратит свою ценность. Потому у нас нет религии. Есть только это бескрайнее понимание. Никаких скидок, никаких посулов грядущих небес. За жизнь платят смертью. А если малодушно отказываются – что ж, тогда в конечном итоге… я не вас имел в виду. Но вы знаете. Наверное, единственный в вашей реальности, о чем речь.

– Поэтому сейчас вы возьмете ваш пистолет-пулемет, и сделаете то, ради чего пришли. И я не могу пойти с вами. Потому что – больше не могу никуда пойти. Но я не согласен, как представитель своей параллели, я не даю такое согласие. Не могу. Не в силах. Даже – ради светлого будущего. Впрочем, вы поступите, как хотите, не в моей власти остановить, но и позволить – решительное «против», я не Собакин. И если здесь есть вина, то я ее приму. А если нет, тем лучше. Но скажите. Потом, после деяния… наша реальность изменится? По крайней мере, я надеюсь хотя бы на это.

Он и вправду надеялся. Будто его жертва тогда бы стала не напрасной. Но был ли он жертвой? Вот в чем загвоздка. Что? Что там такое? Пальмира. Она повторит для него. Он вновь отвлекся и пропустил.

– Я же объясняла. Ваша параллель более не разделится. Не повернет коренным образом. Нет точки бифуркации. Устранение одного отшельника, даже своевременное, не закроет проблему. Очаги станут возникать вновь и вновь. Тут и там. Надо основательно чистить, пока не пройдет опасное время. Но вы останетесь такими как прежде. Угли по-прежнему будут тлеть, мы собьем лишь пламя. Наша задача – чтобы вы вообще остались! – Однако, уловив цифровые волны недоверия, продолжила: – Вы не первый. То есть, наш приезд в Москву не начало дела. До этого мы поработали в Лос-Анжелесе.

– Кого вы… устранили там? – он не был изумлен. Он вообще больше ничему не удивлялся.

– Никого. Хватило переориентации настроения. Тот человек ударился в крайний атеизм, в данный момент сочиняет новую продвинутую игру «разврати своего святого». Я думаю, он заработает на ней тьму долларов, и силиконовый Мамон задавит в зародыше его бога, безболезненно. С художником так нельзя. Не выйдет. Что будет после него, мы пока не знаем.

– А будет продолжение? – стало быть, Ясная Поляна не конечный пункт. Впрочем… ха!

– Следующая остановка Куала-Лумпур. Затем, если прогноз подтвердится, мы возьмем курс на Багдад. Очень опасная точка. Нам не хотелось бы.

– Значит, вы покидаете меня. Бросаете одного. Но спасибо и на том, что вообще спасли, – он и впрямь был благодарен. Хотя бы в утешение остается Леночка. И Сцилла. А вдруг и прекрасная соседка, с ней тоже можно по переписке, теперь уже можно.

– Ни в коем случае, – как решительно отрезал Филон! Словно его уличали в неблаговидном проступке, даже и возмущение прозвучало. – Мы только доберемся до места. В дороге неудобно. У вас закреплен канал прямого контакта. Ассимиляция в натуральную среду обитания вам теперь не нужна, вы уже в курсе ваших обстоятельств, потому выходите прямо на амикуса, когда пожелаете, ночью, днем. Мы отныне ваши друзья и к вашим услугам. Когда мы вернемся в центральный ствол, вы сможете нас навещать. Узнаете много интересного.

– Это моя награда? – он бы улыбнулся, если бы был уверен, что улыбка его осязаема.

– Это компенсация. Просто примите, – зато Пальмира улыбнулась ему наяву, нежно и тепло.

– Я вам надоем. Со временем. Навязчивым быть не хочу, – он и впрямь не хотел.

– О-о-о! Вы не будете. Вам только сейчас кажется, что на мне с братом свет клином сошелся. Но очень скоро вы станете напоминать себе, что давно не навещали своих друзей. Мертвы вы или живы, вас ждет много разнообразного. Мы позаботимся. Вот, хотя бы для начала, ммм… Научитесь полноправно управлять вашей новой цифровой средой. Мы не очень сведущи, мы лишь подстраивались под возможное для вас, в центральном стволе в незапамятные времена переросли увлечение электронными машинами, перенесли, будто детскую корь, такие технологии давно вчерашний день. Да и сами слова «технология» и «машина» не употребляются, потому что нет предмета, который они некогда обозначали.

– А как же? Как же вы живете? – вот тут он подивился не на шутку.

– Со временем… вы увидите. Не адаптированную копию, но абсолютную реальность. Своими глазами увидите. То есть, при помощи интерфейса. А сейчас… как если бы в здешней реальности средневековый алхимик вопрошал у ядерщика-физика, почему невозможно превратить свинец в золото. И услышал бы о современной вам модели атома Резерфорда-Бора. Он бы решил, что имеет дело с сумасшедшим. Или в худшем случае, с самим Люцифером.

Они стали собираться. Неспешно. Но и не мешкая. Пластиковая сумка была упакована. Филон обратился к нему с предупреждением: сейчас отключат внешний модулятор, пугаться не надо. По прибытии на новое место дислокации брат и сестра тотчас выйдут на связь. А в ближайшие часы им предстоит одно дело, он знает какое. Но лучше ему не вспоминать более об этом.

– Постойте! Последний… нет, крайний вопрос, пожалуйста! – У него, судя по всему, впереди имелась уйма времени, для любых вопросов, дурацких и любознательных, но этот ответ он желал получить непременно тотчас: – Почему вообще? Почему вы добровольцы? Должна же быть хоть какая причина? Всегда есть причина…

– Да, всегда есть, – Филон отставил сумку, опустился на край стула, видимо, о серьезных вещах он умел говорить исключительно в сидячем положении. – Мы, я и сестра, полагаем, что у каждой параллели есть скрытое предназначение. И мы стараемся продлить активное будущее тех отложившихся миров, которые еще имеют потенциал. Вот если взять пример. Помните? Вырожденная ветвь, в которой не возникла частица тахион, и потому нет никакого четвертого измерения. Оказывается, эффект Ариовиста позволяет основать там вневременную опорную точку. И так поступили не мы одни. Обнаружилось множество оповестительных бакенов иных планетных цивилизаций центрального ствола.

– Ух, ты! – не выдержал он. – Значит, они все-таки есть. Межзвездные пришельцы. И мы сможем…

– Вы не сможете. Путешествия меж звезд для вас недоступны, – Филон нахмурился, будто его опять раздражила чужая тупость. – Неужели вы вообразили, что вместе с вашей параллелью удвоилась и вся вселенная?! Лишь небольшой клочок ее, участок максимум до окрестностей орбиты Плутона, вот все, что вам доступно, и…

Пальмира прервала плавную скороговорку брата, не от случайности бестактно, но со значением:

– В реальности племени Аг-ры просвет еще меньше, примерно до орбиты Луны. А существуют подпространства, где и того нет. Представьте, что вы видите отражение в кривом зеркале. Величина которого напрямую зависит от площади зеркальной поверхности и радиуса изгиба. Все сущее за вами и вокруг вас пространство ведь невозможно отобразить. Эффект Ариовиста в чем-то очень похож. Но вы не расстраивайтесь. Нам в центральном стволе тоже не дано летать меж звезд, это бессмысленно, это слишком долго, скорость света абсолютно нельзя одолеть.

Опять вступил брат:

– Взамен можно общаться при помощи подпространственных бакенов. Сейчас наши, э-э-э… скажем, ученные-генераторы совместно с мыслителями из откликнувшихся звездных систем решают задачу воспитания такого транспортера, который сможет перемещать через промежуточный вневременной скачок, из одной абсолютной цивилизации в другую. Представляете, как у нас интересно? – Филон перестал хмуриться. – Вы не пожалеете.

Да уж. Об чем тут жалеть? Спорить не хотелось. И пора была расставаться. Его визави полагали, на несколько дней, может, на какую-то неделю, пролетит быстро, но он вдруг понял. Понял о себе. Бесповоротно. Все притворство. Не постучаться ему более в эту дверь, и не ответить на их призывный стук. Потому что – первый вопрос и первый ответ, заданный и услышанный, могли быть только о НЕМ. Том самом отшельнике. И далее говорить с братом и сестрой ему было бы совершенно не о чем. Не умеет он общаться с убийцами. Жаль и, наверное, несправедливо, однако, из песни слова не выкинешь, именно, что с убийцами, пусть не такими, как Собакин, пусть лично ему симпатичными, но… может, когда-нибудь. А пока… все исчезло враз. Он повис в нигде, в безмолвии и в бесцветии. Все же испугался. Или ему так показалось. Очень неприятное впечатление. И что, черт возьми, ему делать дальше? А дальше он увидел перед собой парящий в пустоте обыкновенный компьютерный стол, а на столе обычный широкоэкранный монитор, и возле – клавиатуру, и еще рядом мышь, и монитор вспыхнул светом, и он прочел алые буквы – «к контакту готов». Он шагнул в пустоте к столу, под ногами сразу возник пол, нормальный, орехового паркета, и даже звук от его шагов, он тоже возник из ниоткуда. Когда он решил присесть, позади него появился удобный офисный стул. «К контакту готов». Экран замигал призывно. Однако. Для начала надо заказать хоть какую-нибудь визуальную обстановку. Что же пожелать? Дачный домик и речку? Закат, пригорок, шелестящий травами луг? Он мог воздвигнуть себе хоть замок короля Артура, хоть Золотой

дворец Нерона, даже – легендарный особняк скандального Хью Хефнера, с толпой длинноногих супермоделей, которые все, как одна, станут запрограммированно твердить о своей любви к нему. Но почувствовал отвращение. И к особняку, и ко дворцу. Он хотел сейчас только одного. Прикоснуться. Рукой, ладонью, одним пальцем, к живому, теплому существу. И еще дышать. Чтобы были запахи. И вкусы. Воздуха, воды, льдинки, тающей на языке. Ничего этого никогда. Нет, нет, нельзя. Иначе он отключит эту клятую штуковину. Навсегда. А ему еще растить Леночку. Забыть и не вспоминать. Он теперь есть то, что он есть. Но этому «есть» надо же и обитать где-то.

Подумал немного. Потом еще. Потом вокруг него постепенно стали складываться очертания единственно желанного места. Его гарсоньерки. Вот возник любимый кожаный диван, журнальный столик и на нем кружка, плешивый ковер «под Персию», дверь в спальню, за ней краешком виднелась кровать, дверь в кухню – пара пустяков согреть себе чаю, вкуса все равно не почувствовать и веса кружки не ощутить, но можно представить, что они реальны. Он вызвал настройку витального симулятора образов – немедленно где-то в районе холодильника зазвучали подшаркивающие хмельные шаги, стукнула дверца, голос Петьки-Мученика забурчал что-то о прекрасных феях и бессовестных пасюках. Он включил таймер: теперь ровно через полчаса в дверь позвонит Ванька Коземаслов, с дурацкой улыбкой на многозначительном лице и с массой расхожих интернет-анекдотов на языке. Так. Что-то он упустил. Что-то непременное. Ах, да! Еще! Еще одна необходимая деталь. В отдалении нарисовался письменный рабочий столик-уголок. И за ним – полноватая фигурка мальчика Аркаши, с сопением уткнувшаяся в массивный учебник китайского языка. Подросток оборотился к нему:

– Знаешь, Лео, все на свете сплошная фигня. Кроме пчел, – и снова усидчиво погрузился с головой в раскрытую книгу.

Vale et plaude! (прощайте и хлопайте!)

…чего не бывает. Однако есть вещи, знаете ли, которым совсем незачем бывать. Вы уж простите. Но ваш искомый, желанный, идеальный мир, собственно, он вокруг нас. Да, да, именно так он и выглядит. Вот уже две тысячи лет. Мы его создали. Не по своей воле, зато на свою голову. Упрямый, фанатичный, упорно пытающийся впихнуть живую, текучую, непостоянную мысль в нерушимые, абсолютные, безжалостные рамки высокой идеи, совершенно не подходящей, в любом исполнении – религиозном, мирском, абстрактном, – для стремительного существования бесконечно изменчивого бытия. Мы потерялись за непрозрачным забором, который сами же и выстроили, без двери и без верхнего края, так что невозможно заглянуть к соседу и узнать – а что он там себе думает? Да и не желаем мы заглядывать…

…все равно кто. Либералы, демократы, пацифисты. Фашисты, коммунисты, монархисты. Все та же глухота, все те же непроницаемые огороженные огороды, все тот же навязчивый ритуал в единственном числе, все то же стремление извести, иногда даже физически, любой ценой чужеродные элементы, не вписывающиеся в отдельно взятую идеальную систему. А в идеальной системе жить невозможно. Да что там, невозможно даже существовать. Потому что – она изъян, казус, бесконечный замкнутый круг, а вовсе никакая не спираль поступательного развития, где одно неоспоримое мнение, пусть и научное, приводит к другому неоспоримому мнению, истребляющему первое, и так далее про белого бычка. Важен не диалектический переход, не мистическое торжество, не преображение избранных душ в невесть какую мертвечину. Важно только – безостановочное слияние всего и вся, преобразование всякого во всякое без исключения и пренебрежения, с риском, с болью, со смертным страхом порой, но – никак иначе. Только так можно выйти из круга, одолеть довлеющий, как финальный гроб, человеческий придуманный идеал. Только тогда – никогда не будешь знать, что тебя ждет за поворотом. А это и есть самое главное в любом движении – никогда не знать, что тебя ждет, не предсказывать пророчески, не вычислять математически, не прозревать философски, и вообще не измышлять гипотез. Никогда не задавать заранее цель, которая снова и снова будет обращаться к собственному же началу, ибо содержит в лучшем случае хорошо забытое старое, а в худшем – тщательно пережеванное вчерашнее. Но быть готовым все принять, и все впустить, и все перестрадать,

и все вытерпеть, не ради чего-то, что надумал себе сам, а потому – что это и есть подлинная жизнь, ее абсолютная реальность. Иначе – бытие превратится в крутящийся на месте волчок, до тех пор, пока не кончится завод, а там иная рука придаст иное вращение и назовет это вращение последней истиной, и все равно – это будет одна и та же карусель в одной и той же недвижной точке «неотсчета»…

…потому в идеальный мир загоняют только палкой. Или жезлом для пасомых агнцев божьих. Или прикладом винтовки. Или угрозой ядерного кистеня. Помните? Сон разума рождает чудовищ. А что, если разум однажды взял и заснул навеки, и более не проснется никогда? И сон свой, чудовищную грезу многоименной гордыни, выдал за прекрасный идеал? Недостижимый – и ладно, тоже ничего. Надо стремиться, надо каяться, в том, что не можешь его достичь пустопорожней тратой сил. Надо переместить его в потустороннюю даль, как заманчивую морковку перед мордой доверчивого осла. Надо назначить цену. Надо установить плату. И обязательный фейсконтроль. Вы будете смеяться, как говорят в Одессе, но без всего этого можно прекрасно обойтись, и можно счастливо жить – без свинцового, тяжкого, кандального хомута того мира, который прозывается идеальным…

…однажды мы стояли у порога. Но так и не вошли. Явили себе новое божество. Монотеистическое убожество. И повели задуренных плебеев в кривую даль избранные для спасения на небесах невежественные изуверы-мракобесы, возгордившиеся вчерашние рабы, которые вдруг увидели подлую возможность самим сделаться господами без служения и труда. Уместно тут спросить: собственно, для спасения от чего? От того самого безбрежного бытия, которого устрашились, и от которого в буквальном смысле открестились ради малопонятного, в этом вся суть! «духовного подвига». Не стоит упоминать о теологах-теоретиках, в голодном одиночестве келий дорабатывавших логические основания «инновационной» веры – бедную интеллигенцию всех последующих эпох куда только не заносило из элементарного самосохранения! В том и смысл любой правоверной гордыни, чтобы всякое полезное знание ставить и ценить куда ниже слепой одержимой истерии. Лиха беда начало. Собезьянничали все. Словно гамельнский крысолов заманил людское природное понимание и сочувственное здравомыслие в капкан некой злой воли. «Армянин лучше, чем грузин. Чем лучше? Чем грузин!». Сатира, нагляднейшим способом иллюстрирующая то, что я хочу донести до вас. Католик лучше, чем протестант. Принявший ислам – чем собака «неверный».

Пламенный коммунист – чем предатель-меньшевик. Идейный лагерник – чем затюканный обыватель-бухгалтер. Главное выяснить – кто лучше. И тогда гарантированно попадешь в рай. Или в обитель Шангри-Ла. Или, в крайнем случае, на Новодевичье кладбище. Мы сами устроили так, что многие века юродивый инквизитор, в шизоидном сне увидавший деву Марию, куда значимее в иерархии, чем, скажем, умелец, смастеривший первые очки. Или страдалец за «права человека», неизвестно какого, абстрактного, без разницы хорошего или плохого, куда более достоин уважения, чем государственный санитарный врач, придумавший такую простую и полезную вещь, как общую, пусть и принудительную, диспансеризацию школьников. Не просто сбившаяся шкала измерений, но само присутствие этой шкалы по отношению к разноликой, живой материи, которую вообще измерить нельзя, особенно одним общим аршином…

…а теперь вообразите на мгновение – вошли другие. Кто-то. Неважно кто. В первом веке нашей эры. Которая так и не наступила, потому что время продолжало идти своим ходом. От основания Рима – ab Urbe condita, – но не только. Те, кто вошли, охотно допускали сосуществование прочих времен – от торжества династии Цинь, от дня воцарения Чандрагупты, да все равно! Представьте, можно прекрасно жить без единого календаря, без единого словаря, без единого эталона нравственных правил. Даже без ООН. Тоже можно жить, и куда лучше. Потому что – мне кажется, хорошо, когда можно жить свободным от тоталитарных организаций, контролирующих все тот же всеобщий расхожий идеал, который не по размеру никому, а подгонять по собственному росту – чревато последствиями. Ну, поедем далее…

…они были, на наш взгляд полуграмотными, полудикими язычниками, да еще рабами владели, вот мерзавцы! Но оставив за собой полную свободу воли, они смогли. Найти в себе силы, и не распять очередного пророка. А потом для них, для рабов и для господ, пришел завтрашний день. Представьте, что уже в третьем веке нашей эры возникает то, что мы именуем рождением новой, современной науки. А до этого – они уже сотворили (нет, отнюдь не царствие небесное), простенький паровой двигатель, а еще – технику первых полостных операций под эфирным наркозом, и правила фармакологии – труды Антония Муса нашли во множестве своих продолжателей. А еще – спустя полвека они массово внедрили электричество. Но все это было не важно, и все это было не главное, ни у кого не вызывало ни пиетета, ни восторга, ни тайного самообожествления. Потому что – главное было. Запад соединился с Востоком. Империя Поздняя Хань с Союзом Римских Провинций. Противоположности встретились,

слились в одно, и породили – какая разница что! То. Чего никогда не было ранее. И настало подлинное преображение. На земле. Не на небе. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут – да, у нас они останутся каждый при своем, аж до Страшного суда, останутся, бесплодными, как мужчина и женщина поодиночке, в унылой изоляции, всяк на отдельном острове. Культура, нацеленная ввысь, не соединилась в решающий момент с культурой, простирающейся вширь, и оттого никогда не выйдет целого. Потому что, Запад нажал на свой тормоз, и выбрал духовное высокомерие истового верующего христианина, иудея, мусульманина, выбрал пророка. А Восток ничего не смог с этим поделать, и отпустил педаль газа. Оставив за собой право недоумевающего – ждать и смотреть. И замкнуться наглухо в своей банановой кожуре. Если полюсы напряжения существуют сами по себе, разделенные непроницаемым изолятором, движения тока не возникнет в проводах, да и в самих проводах уже не будет нужды…

…империя инков. И царство народа Монтесумы. Полинезийские княжества. Кельтские свободные города. Германские феоды. Славяно-готские курульные республики. Бактрианский каганат. Одни не сгинули – остались, другие возникли и не пропали. Похожие только на самих себя цивилизации никто не истреблял, это и в голову не приходило им, тем, перешедшим через порог. Хотя влияние их, как любых первопроходцев, было велико. Однако на римских форумах достанет места для всякого храмового божка, из всякой части ойкумены, да будет он почитаем в своем и в чужом доме. На пути Дао хватит простора всякой метаморфозе, бесконечное обращение Инь и Ян не даст остановится колесу. Затем полюса утроились, учетверились, порождая новые и новые ключевые повороты. Конечно, было взаимное недоверие, и столкновения, и тупики, и кровь порой, но никто не считал себя абсолютным эталоном для другого. Ацтеки, римляне, парфяне, нубийцы, скифы, мяо, готы – преодолевали чудовищные трудности совместного вихревого обращения, ежесекундно мысля о них. А не заставляя друг друга делать вид, будто этих почти неодолимых препятствий не существует, а лишь – существует некто виновный в них. Изничтожить виновного и не хотящего – чем не решение любой проблемы? Есть незыблемый воцерковленный, воплощенный, материализованный, одухотворенный, черт его знает какой еще – идеальный рецепт идеального мира, и в шею, в шею! Гоните всех прямо в него! На него! В супермаркеты всех расценок, в молельни всех мастей, в мавзолеи всех вождей, в партии всяких радикальных толков. Всех в строй! Всех – в ряды

гомосексуалистов и лесбиянок! В патриотические ревущие зверинцы! В толерантнейшие к любой без исключения гадости общины! В покорители космоса! В банковские столпы! В мир во всем мире! В свободу – и в нее в шею, в шею! А кто не загонится? Вы сами знаете. Не жалейте, что нельзя построить коммунизм. Капитализм тоже нельзя, уж поверьте. И либерализм. И демократизм. И прочий садомазохизм. И с раем на земле тоже ничего не выйдет. Впрочем, как и на небе. Однако можно льстить себе. Надеждой на…

…моя бывшая жена. Или НЕ бывшая. Теперь даже не знаю. Что сказать. Так вышло, что меня не стало, для нее не стало. Это долго объяснять, это после, обязательно когда-нибудь, вам – обязательно. О чем я? Ах, да. Меня не стало, я сгинул, покинул, навеки ушел, но она, Калерия, она взяла, то, что осталось. Признаться – совсем немногое. Взяла, чтобы тоже не расставаться вовек. Что я почувствовал? Нет, не вину. В большинстве происходящих с человеком вещей вообще никто не виноват, даже он сам, просто такая жизнь, помните? Но я почувствовал. Некое отношение, которое давно втайне осознавал, а теперь открыл для себя, обрел смелость увидеть, извлечь наружу. Она ведь любила меня. Любит меня. Смешно сказать: по-настоящему. Будто вновь кто-то неведомый вышний и паразитирующий-идеальный задает эталон – это вот настоящая любовь, а это – подделка, будто имеет право судить о сокровенных чувствах, лежащих вне пределов любого суждения. Я, знаете ли, боялся долгое время, что вот Калерия найдет свое счастье – дай ей бог, конечно, – найдет и приведет моей дочери другого отца – непереносимая мысль. Теперь мне кажется, она даже искать не станет. Не станет, потому что считает себя несвободной, такая удивительная женщина, хотя и тяжелая. В чем-то похожая на стоических жен погибших героев – и даже смерть не разлучит нас, а может, никто ей не нужен. Никто, кроме меня. Не знаю, что и думать. Я все равно не смог бы выжить с ней, только к человеческой любви это не имеет отношения, кто с кем и кто где живет. Все равно у нее есть семья: ее родственники, ее мать, отец еще живы, ее дочь, и ее муж, хотя бы в виде погребальной урны (не принимайте всерьез, это будто бы преувеличение), наверное, она по-своему счастлива, я надеюсь, по крайней мере. Слепые часто бывают счастливы, до поры, пока не заподозрят, что рядом есть зрячие, но моя жена не из сомневающихся. Я полагаю, она и наш развод не восприняла всерьез, возможно, как перевоспитательную меру с ее стороны, возможно, как очередную мою глупость, которая рано или поздно пройдет, обратное бессмысленно, наверное, вышло бы объяснять. Мы оба покалечились друг об дружку, сильно, неизлечимо, и ни

одни из нас не понял до конца, как это произошло, и каждый винил другого. А теперь… теперь я совсем никак не могу сказать – она не права, я не прав, мы не правы. Тут нет правоты, тут есть течение непредсказуемой, невычисляемой наперед жизни, и кто не уловил поток, тот навсегда застрянет в водовороте, или того хуже – пропадет в омуте…

…была на сердце еще одна женщина. Очень непросто. Она моя соседка. Бывшая, то есть, соседка, я некоторым образом переехал, съехал, квартира пойдет в прибыток моей дочери, хоть какое от меня наследство. Я ведь ныне… не то, чтобы беден, наверное, я немыслимо богат, если захочу, то и материально. Если захочу. Зачем? Моя соседка, она была моя мечта. Обыкновенная, недостижимая мечта. Знаете, как бывает на пустом месте? Представить: она влюбится, бросит законного мужа, безоглядно пойдет следом, мы будет счастливы до конца наших дней. И это все. Потому что – куда девать троих ее детей? Я и одну свою дочь, то есть, я бы все для нее, но тащила родительский воз в основном Калерия, и сейчас тащит. А тут, мало того, что трое, вдобавок прекрасная моя мечта никого и ничего, ни за что и никуда тащить не будет, она так привыкла – привыкла получать, она жена весьма богатого иностранца, и капризная, насколько я мог судить. И что значит, все бросит? Мне бы пришлось, кроме ребятишек, содержать ее саму, ее джип, ее домработницу, двух ее сменных нянь, или – видал бы я виды до конца моих дней, которые бы настали очень скоро. Что великолепно смотрится в призрачных грезах, упаси бог, если осуществится наяву. А фантазировать на всякую вольную тему я и теперь могу, да что толку. Это не разочарование. Это скорее прозрение. Содержать мечту – что может быть глупее? И потом – воплощенная мечта, она есть противоречие в определениях, чудовищный оксюморон, кошмарный сон, который начинает сбываться всякий миг и никак не прекратится. Нет уж. Для меня остались только вы, вот я и признался. Не в любви. В одиночестве…

…однажды, на берегу реки. Это случилось еще в университете. Я ведь окончил университет, журфак МГУ, пишу и сам себе не верю, словно не со мной и не моя это была жизнь. А я всегда старался удержать свою жизнь всю целиком, мне казалось мрачной шуткой представлять свое бытие в виде нарезанного треугольными кусками праздничного торта, необязательно вкусного кремового, возможно сухого вафельного, неугрызно-пресного, но тут вся суть в кусках. Съел один, съел другой, невозвратно, растворил в себе, переварил, и также вышло из тебя дерьмом, остался лишь сомнительный осадок. И еще – поедая

свои куски, ты порой обманываешься их различием, который с розочкой, который с шоколадной присыпкой, забывая, что это все тот же самый торт и тот же самый вкус, обманываешься, будто предыдущие куски ел не ты, но кто-то другой, прежний, хотя дерьмо на выходе все такое же, но ты обманываешься и продолжаешь есть и есть. Пока не останется пустая коробка. И заглянув напоследок за ее картонные расписные борта, спрашиваешь ни у кого – а где же я? Где же я был? Нет, не мой подход, не терплю, и торты не люблю. Я смотрел тогда на реку – дрянную, грязную, мазут мазутом, и замусоренная набережная середины девяностых, даже у Кремля, все равно какие-то обрывки блестящей мишурной обертки, можно было напороться и на кусок стекла, на мне тонкие парусиновые туфли, начало лета, я ступал на ощупь носком, осторожно. Обшарпанные прогулочные катера с наивной, убийственной рекламой МММ, скользили мимо-мимо, мне не было дела до них, до полупьяных гастролеров-пассажиров, я сдал первый свой зачетный «гос», сдал на крепкое «хорошо», меня ждала теплая компания, я должен был идти, но вот убрел в сторону и – засиделся на парапете. Тогда, в те минуты, в те часы, я был страшно, высокомерно, сказочно одинок. Я хотел своего одиночества, глупо тщеславился им, мне не хватало для полноты счастья только «байроновской» тоски. Почему «байроновской»? А черт-те знает, почему! Слово понравилось. Может, одиозный лорд и вовсе не тосковал никогда и ни о ком? Но «пушкинская» или «толстовская» тоска – как-то не подходило по смыслу, а «бальмонтовская» или «надсоновская» звучало мелко. В общем, я тосковал, байронически. И сильно гордился собой. Воображал. Фигура, одинокая в своей значительности под луной, хотя светило во всю ивановскую ярчайшее и наглейшее солнце, и у самой воды воробьи базарно и дробно переругивались над остатками просыпанных картофельных чипсов. Но я-то, я! Представлял себе свое будущее памятника на рукотворной скале, среди суетящейся мелкотравчатой толпы, равнодушный в вечной вселенской тоске, и опять гордился и упивался, упивался и гордился. Если б я знал! Кретин, идиотик, недоумок, если б я знал! Не искушал бы судьбу, или что там нынче модно искушать собственной самонадеянностью? Настоящее одиночество – это когда вокруг нет никакой реки, воробьев, памятников, толпы, совсем-совсем ничего нет, ни живого, ни мертвого. Я его знаю теперь, абсолютное одиночество. Впрочем, я не жалуюсь, могло быть много хуже…

…вы подумайте. И если надумаете когда-нибудь, то я – нет, я не смогу наполнить ваше существование жизнью, это не в моей власти. Но одно ваше желание исполнить мне вполне по силам.

Не удивляйтесь, я теперь никогда не вру, для моего частично «машинного» состояние ложь вовсе невозможна, как всякая иная недостоверная информация. Итак. Я могу. Если вам опять придет в голову мысль о веревке и будет эта мысль невыносимой, тогда примите мое приглашение. Вы ведь сами обмолвились не нарочно – смотреть со стороны, как смотрел бы всемогущий бог, буде он существовал. И не участвовать более ни в чем. Что же, такой отстраненный покой я могу вам даровать. Здесь, рядом с собой. Вы не останетесь человеком, но вы и не умрете, вы лишь претерпите превращение, для вас возможно спасительное. Возможно – для вас одной, из всех людей на земле. Я приглашаю вас. На будущее. Когда решитесь, пошлите мне только два слова – «идеальный мир», и тотчас все будет исполнено. А до тех пор – лучше нам не держаться друг друга. Почему? Ну, вы все открыли мне про себя, а мне и вовсе недоступно на словах рассказать, что я такое теперь. Выйдет лишь показать, но это при встрече, если однажды произойдет. На что я отчаянно надеюсь…

…как обычно, для дружеского прощания, я представлю на ваше суждение последний мой анекдот. К чему отступать от традиции, тем более, если это может быть заключительный аккорд нашего с вами ирреального дуэта? Слушайте. Ближайшее не наступившее пока будущее. Сидят двое ученых в секретной лаборатории и ладят новейшую нанобомбу. Месяц ладят, второй ладят, третий ладят. Обросли ассирийскими бородищами, нажили по язве на сухом бутербродном питании, посадили зрение до минус семи, извели деньжищ: примерно бюджет республики Никарагуа за десять лет вперед. Наконец, сладили! Включили стенд. Выключили. Вздохнули горько. Один посмотрел с укоризной на другого, потом перевел взгляд на «адидасовский» логотип своей спортивной куртки. И сказал: «Что бы современный ученый ни изобретал, у него все равно получается одно – спортинвентарь!» Радужная мораль… Здесь, на этом месте, я попрощаюсь с вами так, как давно уже хотел к вам обратиться, да все не решался. Вот – целую вашу руку. И, надеюсь, до свидания. Дорогая моя Сцилла…

КОНЕЦ